

EDITA

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ В ВЕСТФАЛИИ

**ВЫПУСК 2(94)
2023**

СОДЕРЖАНИЕ

Пауль Госсен МАРАФОН	3	Лирик А ЗАВТРА ВСЕ ЛЮДИ ПРОСНУТСЯ... СВАДЬБА В НЕМЕЦКОМ ПАРКЕ	39 40
Владимир Марышев КОДЕКС ЧЕСТИ ЧУВСТВО ДОЛГА	5 11	Мира Ирис РАЗВЕ МОЖНО ЛЮБИТЬ ДИВАН?	41
Леонид Ашкинази ВИЗИТ НА ПЛАНЕТУ	13	Сергей Игнатьев ОКЕЙ, ДЕВЧОНКА	45
Андрей Загородний СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС	15	Женя Крич СВЯТОЕ БРАТСТВО	51
Елена Антипычева СТИХИ	21	Татьяна Тихонова МЕЧТАТЕЛЬ	57
Марина Саввиных СТИХИ	24	Анжелика Стынка ПРОВИНЦИАЛКА ИМЯ ПРЕДЧУВСТВИЕ	61 64 72
Дмитрий Аникин ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. СТИХИ	26	Илья Замешаев ОБМОРОК	75
Александр Герасимов НЕ КАЖДЫЙ УМЕЕТ ПЕТЬ ЯРЧЕ ВСЕХ ЦВЕТОВ ТАИТИ НИ СЛОВА О ТЕЛЕВИДЕНИИ! КУРЬЁЗ ДОРОЖКИ БОСЫХ ЛАП	28 29 32 35 36	Вадим Волобуев ВОЙНА	96
		Владислав Лецик ПЕРВЫЕ ПРИВЕТЫ	113

Литературная редакция: Сергей Булыга, Евгения Халь, Сергей Катуюков, Александр Герасимов
Редактор по связям с общественностью – Кирилл Берендеев
Редактор-составитель – Анна Райнова
Технический редактор – Камелия Санрин
Корректор – Ирина Грановская

Фото на обложке – pexels-inga-seliverstova-3939369
Издатель и главный редактор Александр Барсуков

<http://www.editagelsen.de/>

Что нового?

<http://edita-b.livejournal.com/>

Импрессум

EDITA, Ausgabe 2(94), 2023
Verleger: Literaturverein „Edita Gelsen e.V.“
Postfach 100304, 45803 Gelsenkirchen
Verantwortlich i.S.d.P. A.Barsukov
E-Mail: logobo2023@gmail.com / **НОВЫЙ МЕЙЛ !!!**
ISSN 1866-6310
Выходит 4 раза в год / Erscheint vierteljährlich

Мнения редакции и авторов публикаций не обязательно совпадают

РАССКАЗ



Пауль Госсен
Йютербог, Германия

МАРАФОН

Весьма респектабельный журнал «Астро-сити» обратился ко мне с просьбой поделиться воспоминаниями о ныне покойном

Роберте Финче, чье имя в последние годы приобрело самый что ни на есть легендарный статус. Я вежливо, но твердо отказался. Однако приближался полувековой юбилей полета к Марсу корабля «Моби Дик» и всех связанных с этим событий, и предложение пришло снова. На этот раз к сумме гонорара добавилось такое количество нулей, что отказаться было бы просто безумием. Кроме того, меня заверили, что текст воспоминаний будет опубликован в авторской редакции — без какой-либо правки. И я подумал: почему нет? Возьму и напишу, как всё было — облегчу душу.

С Робертом Финчем, а по тем временам просто Бобом, я делил одну — совершенно крошечную — каюту. Практически всю ее занимала двухъярусная кровать, и Боб спал снизу. Ему тогда было двадцать три, он был невелик ростом, полноват и, несмотря на молодость, имел залысины. Но внешность — это мелочь. Боб и по характеру был вовсе не тот чудо-парень, образом которого сейчас, десятилетия спустя, умиляют онлайн-сериалы. Часто он был груб, порой лстив, всегда напорист и, главное, умел жить. На борту «Моби Дика» находилось 460 колонистов, и многие практически без гроша. Билет на Марс стоил семьсот тысяч новых юаней — сумма огромная. Мне пришлось продать доставшийся от родителей дом, денег едва хватило, и я совершенно не представлял, как буду выкручиваться дальше. А вот у Боба с финансами проблем не было. Более того, находясь за миллионы километров от Земли, он каждый день, не жалея сил и средств, выходил на связь с маклерами, покупал и продавал акции, делал ставки на лошадиных бегах и женских боях топлес, и за время рейса удвоил свое состояние. По крайней мере, так он говорил.

На Марсе его уже ждала девушка-колонистка, с которой он познакомился через сайт знакомств. Он показал мне ее стереофото. Наполовину японка, наполовину испанка, невероятно похожая на Марию Одзаву, актрису из древнего ужастика «Токийская особь». За дружбу с такой можно отдать десять лет жизни, Бобу счастье досталось бесплатно — он ввел чужой пароль при посещении сайта. На орбите Земли его провожала не менее яркая звездочка. Больше всего она походила на негатив — черная кожа и длинные светлые волосы. Эта действительно была актрисой — я видел ее пару раз в нигерийских боевиках. Высокая и красивая, она держала Боба за большой палец левой руки и ревела на весь космопорт. Наш коротышка выдернул палец,

чмокнул девушку в плечо и пошел к ближайшему шлюзу, не оборачиваясь.

Были ли мы с Бобом друзьями? Над этим я тогда совершенно не задумывался. В нас кипела молодость, у нас имелась куча свободного времени, и надо было его как-то потратить. Помимо прочего, мы излазили «Моби Дик» вдоль и поперек, все шестнадцать палуб с каютами и еще столько же с многочисленными складскими помещениями. (Тут надо отметить, что благодаря постоянному вращению на корабле поддерживалась искусственная гравитация и мы могли передвигаться на своих двоих, а не парить под потолком, уподобляясь архангелам). На каждой новой палубе нам встречались металлические двери с надписью «Только для персонала», но Боб не растерялся — стянул в столовой электронную карточку одного из пилотов, и со словами «Сезам, откройся!» мы беспрепятственно проникали повсюду.

Но хотя настоящей дружбой наши отношения я не назову, должен признаться, что некоторое время испытывал к Бобу искреннюю благодарность. Дело в том, что еще на Земле, готовясь к полету, я прочитал кучу специальной литературы. Помимо прочего я узнал, что главной проблемой экспедиций к другим планетам является повышенная радиация в результате вспышек на Солнце. На земной орбите мы защищены магнитосферой, а вот в дальнем космосе ее нет. Разумеется, за Солнцем следили космические станции и земные обсерватории. Они регулярно присылали сводки. Только сводки не радовали — вспышки, а вслед за ними и коронарные выбросы массы могли начаться в любой момент. Это была почти верная смерть. На «Моби Дике» имелись помещения, защищенные от радиации, но вместить 460 колонистов плюс команду они не могли. Помнится, меня это страшно волновало: я по нескольку раз за день бегал читать свежие сводки, почти ничего не ел и выглядел не лучшим образом.

— В чем дело? — спросил Боб.

Выслушав мой истеричный рассказ, он пожал плечами.

— Случится повышенная радиация, и что ты сможешь сделать?

— Ничего! — простонал я.

— Значит и нет проблемы, — констатировал Боб. — Всё равно ситуация от тебя не зависит.

Его простой и рассудительный взгляд на столь важный вопрос меня тогда просто сразил. Уже через полчаса я ел пирожные и светился от счастья. А вот Боб сразу после нашего разговора поспешил к капитану, нашел нужные слова и заручился, что в случае всплеска радиации за ним, Робертом Финчем, забронировано место в надежно защищенном помещении. Он сам мне об этом и рассказал, как-то изрядно перебрав текилы.

Но вернемся к совместным экскурсиям. «Моби Дик» действительно был огромным, и заплутать в нем было несложно. Так что каждая вылазка за пределы жилой зоны превращалась в небольшое приключение. После нескольких таких экскурсий наши знания о «Моби Дике» значительно расширились, мы открыли немало

секретов, например, где корабельный кок хранит всякие деликатесы, но, к чести Боба и моей тоже, мы к ним не прикоснулись. Куда как больше нас заинтересовал лифт, тоже предназначенный исключительно для персонала. Оказывается, преодолеть все палубы «Моби Дика» можно было почти мгновенно, в то время как мы тратили по нескольку часов, пробираясь по бесчисленным люкам, коридорам и лестницам. Но если меня это открытие лишь позабавило, то Боб сразу стал задумчив, и я понял, что это не просто так.

Полет к Марсу продолжался 243 дня, за это время произошло немало событий — как комических, так и драматических. К концу полета колонисты и экипаж были вымотаны по полной, всем заметно не доставало положительных эмоций... И вот, когда до выхода на марсианскую орбиту осталось три недели, Боб решил использовать эту ситуацию.

— Хочешь заработать? — спросил он меня во время очередной прогулки.

Мы находились на одной из отдаленных палуб, и нас никто не мог слышать.

— Было бы неплохо, — ответил я. — Но не вижу никаких шансов.

Боб остановился, я тоже. Боб скривил странную физиономию.

— Тут появилась идея. Знаешь, что такое марафон?

— Забег на длинную дистанцию. Кажется, 42 километра.

— Правильно. А если быть точным — 42 километра 195 метров.

— И что?

— Я решил организовать такой забег. Думаю, после стольких дней пути многие будут не прочь размяться. С капитаном я договорился — он обещал всяческую поддержку.

— Что? Марафон на борту «Моби Дика»?

— Именно.

Я расхохотался.

— «Моби Дик», конечно, велик, но 42 километра... Откуда на корабле беговая дорожка необходимой длины? На Земле, как мне помнится, для проведения марафонов используют шоссе. Боб, ты точно ничего не путаешь?

Боб терпеливо ждал пока я насмеюсь, потом поднял указательный палец, крепко обхваченный массивным перстнем.

— Послушай, не зря же мы столько раз облазили весь корабль. Я все рассчитал и нашел нужные километры. В принципе, существуют полумарафон и даже четверть-марафон — вначале у меня появилось искушение выбрать один из них и резко сократить километраж, но марафон, согласись, звучит лучше. Так что я остановился на классической дистанции.

— Погоди-погоди! — взмолился я. — Да где ты возьмешь необходимое расстояние?

Указательный палец с перстнем начертил перед моим носом большой вопросительный знак, Боб самодовольно хмыкнул и ответил:

— Шестнадцать пассажирских и шестнадцать грузовых палуб с лестницами, тамбурами и коридорами дадут в сумме 12 километров 311 метров.

— Так много? — удивился я.

— Никаких сомнений. Капитан подтвердил мои расчеты.

— Хорошо, Боб! Пусть будет 12 с лишним километров. Но ведь требуются ещё 30!

Теперь палец начертил что-то мне непонятное. Похоже, какой-то восточный иероглиф.

— Не забывай про обратный путь. Итого 24 километра 622 метра.

— Э-э! — протянул я, чувствуя, что меня бессовестно обманули. — Но ведь если марафонцы побегут назад, они столкнутся с теми, кто отстал и потому бежит им навстречу... Так не пойдет. Да и все равно не хватает более 17 километров.

— Не столкнутся! И недостающие километры тоже найдутся. Послушай... — Боб начал чертить в воздухе какие-то совсем уже невероятные фигуры. — Участники марафона бегут по кораблю 12 километров 311 метров. Дорожка размечается так, что в конце их пути находится шлюзовая камера. Добежавшие надевают скафандры и выходят в космос, где им предстоит, цепляясь за скобы, пройти по внешнему корпусу корабля. Понятно, что по прямой там не будет необходимых 17 километров 573 метров, значит, надо разметить путь зигзагами, удлиняющими расстояние. Их маршрут будет напоминать очертания рождественской елочки — внутри корабля это невозможно, а на внешнем корпусе ничего не мешает. Когда же колонисты, обогнув корабль, вернуться к шлюзовой камере, все, даже самые припозднившиеся, давно ее минуют, и путь назад будет свободен. Остаются финальные 12 километров 311 метров — назад по палубам корабля. И вот он — марафон!

Перстень прочертил перед моим носом восклицательный знак.

— Боб, я не могу проверить твои вычисления, — сказал я. — Надеюсь, ты нигде не ошибся. Вот только... на борту «Моби Дика» 460 колонистов. Даже если каждый десятый решит принять участие в марафоне, то их не вместит ни один коридор.

— Я очень надеюсь, что побегут почти все, — ответил Боб. — Ведь участие платное — 200 новых юаней с носа. Можно хорошо заработать.

— Это чересчур большая цена, — засомневался я. — Да и бежать 42 километра — совершенно изматывающее развлечение. Пусть колонисты и истомились за месяцы полета, но вряд ли найдется слишком много желающих.

— Найдутся! — заверил Боб. — Ведь семьдесят процентов собранной суммы будут выплачены как приз победителю. Не забывай: мы летим на Марс, а значит у нас на борту полно авантюристов. А что до узких коридоров — в первом забеге примет участие десять колонистов. В следующем — еще десять. И так далее. Победит тот, кто придет к финишу за минимальное время... Мы можем это позволить — до Марса еще три недели пути.

— Ладно-ладно! — замахал я руками, так как все эти расчеты стали уже надоедать. — А я-то здесь при чем?

Боб изобразил самую слащавую улыбку из тех, что мне приходилось видеть.

— Повторяю вопрос: хочешь заработать?

Я неопределенно пожал плечами.

— Почему бы и нет? Только не пойму, что от меня требуется. Продавать билеты участникам?

— С этим я справлюсь и сам, — усмехнулся Боб. — Меня интересует: не хочешь ли ты принять участие в забеге?

— У-у, да это всего лишь рекламная атака! — скривился я. — Уволь, Боб! Я найду лучшее применение для 200 новых юаней.

— Ты не понял! — Боб дружески хлопнул меня по плечу. — Я предлагаю тебе победить в этом забеге.

— Это как? — опешил я. — 42 километра... Кончай издеваться!

Боб затряс головой.

— Никаких издевательств. И я вовсе не переоцениваю твою физическую форму. Просто... — Боб извлек из кармана электронную карточку, ту самую — для персонала, и протянул ее мне. — На каждой палубе есть двери, которые она открывает. Это позволит тебе сократить маршрут. А если ты ухитришься незаметно для всех воспользоваться лифтом и промчишься с ветерком сквозь палубы... то тем более.

Я оттолкнул его руку.

— Боб!.. — С дыханием начались проблемы, я говорю с трудом. — Боб, я не смогу! Это обман, это... преследование.

— Брось! — ответил Боб. — У тебя, похоже, весьма наивные представления о спорте. Среди моих знакомых есть парочка чемпионов — я неплохо знаю, что творится на стадионах. Если ты думаешь, что там всегда побеждает сильнейший — ты очень ошибаешься.

И Боб снова протянул мне карточку. Я попятился.

— Нет, я не смогу.

— Сможешь! — Боб шагнул вперед и ловко засунул карточку в мой нагрудный карман. — Ведь тебе нужны деньги. Так что лучше скажи спасибо, что я предлагаю стать победителем тебе, а не кому-то другому. И, надеюсь, ты честно поделишься выигрышем, а? Ведь это я все придумал.

Вот, собственно, и всё. Не вижу смысла описывать непосредственно первый космический марафон — на эту тему имеется много книг и еще больше фильмов. Сама же идея так всем понравилась, что подобные марафоны стали проводить на многих крупных пассажирских кораблях. Более того, вскоре появились лунный футбол и марсианский волейбол — удивительные игры, если учесть низкую силу тяжести на Луне и Марсе. Произошло это уже без помощи Боба, но именно он считается основоположником космического спорта — его огромная статуя украшает марсианский Олимп, высочайшую вершину Солнечной системы. Вполне возможно, что Роберт Финч это заслужил — я вовсе не собираюсь сгущать краски и недооценивать некоторые из его достоинств. Нет-нет. Я просто решил честно рассказать, как всё было. Напомнить, из какого сора этот мир порой прорастает.



Владимир Марышев
Йошкар-Ола

КОДЕКС ЧЕСТИ

Генерал Кононов стоял на самом краю пригорка, Славич — немного поодаль. Отсюда сбитую гаастийскую капсулу было видно в деталях. Она наполовину зарылась в землю, корпус треснул вдоль до самого хвостового оперения. Закопченные края распоротых броневых листов вывернулись наружу, по ним расползались, как живые, клочья пожарной пены. Из рваной черной щели сочилась струйка сизого дыма — похоже, там, в глубине, что-то продолжало тлеть. Остро воняло гарью — у Славича даже запершило в горле.

Роботы вытаскивали из капсулы тела гаастийцев и складывали их рядком на обугленной траве. Бок о бок, лицом вверх.

— Отлетались, красотки, — желчно сказал генерал. — Эти последние, других не пошлют. Они, конечно, большие охотники жертвовать собой, но не идиоты же!

Кононов был прав. Противник окончательно убедился, что сквозь кордон из спутников-истребителей, простреливающих все околопланетное пространство, ему не пробиться. Посылать на верную гибель новые десантные капсулы глупо. Поэтому корабль-матка врага так и будет наматывать витки на орбите, дожидаясь подхода основных сил. Но гаастийский флот далеко, он надолго связан затяжными боями в Змееносце. Так что судьбу Ники предстоит решить исходя из нынешнего расклада. Достаточно сильная группировка землян, против нее — горстка гаастийцев и неисчислимые полчища септов. Кто кого?

— Пойдем, майор. — Генерал кивнул в сторону капсулы и начал спускаться с пригорка. Славич последовал за ним.

Гаастийцев было семеро, и ни один не подавал признаков жизни. На четверых комбинезоны обгорели и были заляпаны оранжевой кровью. Оставшиеся трое, без видимых повреждений, выглядели так, будто просто уснули.

Последний раз Славич видел врагов так близко год назад, да и то мельком. Сейчас он мог рассмотреть их как следует. Гаастийцы относились к гуманоидам. Ростом и комплекцией они напоминали людей, но на этом сходство и заканчивалось. Кожа пепельного цвета, четырехпалые кисти рук, заостряющаяся кверху и увенчанная костистым гребнем голова, ромбические ушные раковины... Наиболее чуждо выглядели глаза. Они прятались под прозрачными роговыми линзами, и издали могло показаться, что все представители этой расы носят большие овальные очки. Но вблизи становилось понятно, что края линз вросли прямо в кожу лица, и от этого открытия делалось не по себе.

— Так и думал, — сказал Кононов, деловито оглядев тела. — С этими четырьмя вс ясно — попали в самую зону поражения. А те, чистенькие, могли уцелеть,

но покончили с собой, чтобы не выдать военную тайну земным изуверам. Они бы и капсулу взорвали к чертовой матери, да что-то не вышло. Майор, ты ведь изувер, не правда ли? Ну, не скромничай. Я так точно монстр, каких поискать.

Хорошему подчиненному полагалось оценить генеральскую шутку. Но Славич так и не смог заставить себя улыбнуться. Он пытался представить, что творилось в головах «чистеньких» за несколько минут перед концом

О гаастийском кодексе чести ходили легенды. Люди никогда не встречали его текста, но были уверены, что он существует — пусть даже не в виде графических символов, а исключительно в мозгах. Слишком часто и практически не раздумывая враги землян отдавали свои жизни ради общего дела. Кое-кто даже сравнивал их с японскими самураями времен Второй мировой.

Но если самоотверженность всегда в цене, то другие черты характера чужаков никак не могли вызывать симпатию.

Гаастийцы были нахраписты и бесцеремонны. Они презирали дипломатическую гибкость, считали ее уделом слабых, а потому, дотянувшись до любого космического тела, тут же объявляли его своей собственностью и не шли ни на какие уступки. Пытаясь найти компромисс, земляне много раз предлагали им разграничить сферы влияния, но все призывы отвергались с ходу. Между тем люди имели свои виды на эту область Галактики, и о том, чтобы, поджав хвост, убраться отсюда, не могло идти и речи.

В конце концов случилось неизбежное: пара-тройка мелких стычек из-за спорных секторов пространства — и вспыхнула полномасштабная звездная война. Спустя какое-то время ее пламя опалило и Нику — планету земного типа, которую обе цивилизации поспешили объявить своей.

Вскоре после начала боевых действий выяснилось, что при сходной военной технике земляне намного превосходят противника числом.

Но гаастийцы сгладили этот разрыв удивительным способом. Как оказалось, в число их умений входило и такое — «ставить под ружье» местных представителей фауны. Люди сполна осознали это в ходе битвы при Полифеме. Там их флот атаковали гигантские космические медузы, которые распускали на миллионы километров ловчую сеть из щупалец и пожирали пойманные объекты, разлагая их на атомы. Потом с ними научились бороться, но в первом столкновении потери были серьезные. А сейчас гаастийцы непостижимым образом сумели мобилизовать населяющих Нику септов...

Роботы откапывали капсулу, проворно орудуя коленчатыми-лопатками. Скоро ее подцепят к двум авиеткам, и те доставят ценный груз на Базу.

— Ну, будет пожива нашим технарям! — довольно сказал Кононов, когда хвостовая часть вражеской машины пошла вниз и гулко ударилась о землю. — Ждали уже настоящей работы. А теперь к делу. Какие у тебя соображения, майор?

На то, чтобы обдумать ответ, Славичу хватило нескольких секунд.

— Они знали про наш спутниковый кордон. Представляли, каково сквозь него пробиваться, и все-таки попытались. Ради чего было так рисковать? У нас ведь тут пока что паритет — можно долго играть в «кто кого пересидит». Я думаю, дело в том, что гаастийцы, натравливающие на нас септов, начали выдыхаться. Если не физически, то морально. Постоянно держать под контролем целую армию существ, с которыми не имеешь ничего общего — это бесследно не проходит. Вот они и хотели заменить уставших бойцов на свежих. А мы не дали.

— Логично мыслишь. — Генерал смотрел, как авиетки, надсадно гудя, отрывают капсулу от земли. — И как бы ты поступил в этой ситуации?

— Я считаю, если противник действительно ослаб, надо воспользоваться этим и нанести удар. Чем быстрее, тем лучше. И когда их флот наконец-то сюда доберется, планета будет уже наша.

— Что ж, похвально. — Кононов проводил взглядом капсулу, уплывающую в сторону Базы. — Тебе осталось только сделать из этого вывод.

Славич понял, что всё уже обдумано и решено, его просто ставят перед фактом. Он зачем-то посмотрел вниз и, не зная, куда деть руки, прикоснулся к черной ажурной головке сожженного, но устоявшего цветка. Тот, разумеется, тут же осыпался кучкой пепла.

— Когда? — коротко спросил Славич.

— Завтра. План такой. Спутники до сих пор не обнаружили никаких центров управления септами, но, по косвенным данным, один из них находится в квадрате 518. Там сплошной лес, с воздуха ни черта не рассмотришь, поэтому возглавишь сухопутную операцию. А мы постараемся максимально обезопасить группу — завяжем в полусотне километров к северу отвлекающий бой, бросим туда роботизированные системы, они оттянут на себя основную массу септов из окрестностей, включая пятьсот восемнадцатый. Вот тогда и начнете прочесывать местность. Выявим этот центр — возьмемся за другие. Вопросы есть?

— Есть.

— Надо думать, — прищурился Кононов. — Подробности узнаешь на Базе.

Обсудив с генералом детали, Славич занялся формированием группы. Сколотил состав, отдал необходимые распоряжения и направился в ангар. Там, поговорив с механиками, отобрал три вездехода, придирчиво осмотрел каждый и, выполняя давний ритуал, похлопал по броне: не подкачай, мол!

Из ангара майор вышел с ощущением, что перегрузил себя мыслями о завтрашнем дне. И решил немного пройтись, чтобы развеяться.

Сооружения Базы раскинулись на обширной территории. Их рассредоточили специально, чтобы гаастийцы не могли уничтожить противника одним ударом. Всё это хозяйство накрывал силовой купол, за периметром которого в укрепленных подземных бункерах притаились ракетные установки. Они оживали, когда

удавалось выявить угрожающе большое скопление септов или другую значимую цель.

Солнце Ники сияло не так ярко, как земное, зато на добрую четверть превосходило его в диаметре. Небо слегка рябило — безошибочный признак того, что защита включена. Сейчас генераторы, экономя энергию, работали в режиме ожидания. Возводимый ими барьер ограждал Базу от образчиков местной жизни, и этого пока было достаточно. Когда уровень опасности повышался, росла и напряженность поля, однако до пиковой величины его еще не доводили ни разу.

Минувя серую приземистую глыбу арсенала, Славич заметил в полуметре от стены зеленое пятнышко. Он подошел поближе. Так и есть! Из стыка между выстилающими дорожку литопластовыми плитами нахально пробивался тонкий стебель никийского вьюнка. На нем уже красовались четыре листика и готовился распуститься пятый, пока еще свернутый в трубку.

Такое случалось часто. Несмотря на все меры предосторожности, с людьми и их машинами на территорию Базы регулярно проникали семена и споры. Побег любых растений, даже самых безобидных, предписывалось уничтожать. Славич собрался вызвать службу биоконтроля, но неожиданно для себя самого замешкался. Уж очень заодно этот вьюнок выставлял напоказ свои четыре листочка, и ему было нипочем, что кругом чужаки, а совсем рядом идет настоящая война. Дай волю — дотянется до стены, ухватится за нее цепкими усиками и поползет навстречу солнцу. Да только кто ж такое допустит? Рано или поздно те, кому положено, увидят «лазутчика» и выжгут сильнейшим гербицидом всю площадку, на которой он осмелился пустить корешок. Но пока не увидели...

«Ладно, живи, — сжалился Славич. — Хоть сутки, хоть несколько часов — как получится».

Обогнув арсенал, он вышел к лабораторному корпусу. Хотел пройти мимо, но, уступив внезапному желанию, задержался у двери. Наконец открыл ее и вскоре уже отсчитывал ступени лестницы, ведущей в подвал, где находился инсектарий.

За суперглассовой броней под светом мощных ламп кипела жизнь: тысячи насекомых, блестя черными панцирями, копошились в ячейках гнезд, сновали туда-сюда по искусственным мостикам, текли несчетными струйками внутри прозрачных тоннелей.

Они напоминали сильно увеличенных головастых муравьев. Но у самых массовых обитателей Ники, кроме шести ног по бокам, имелась еще одна. Из-за нее этих странных созданий и называли септоподами — «семиногами». Или попросту септами.

Непарная конечность, вдвое длиннее остальных, была направлена строго назад. Когда требовалось, септы подгибали ее под себя и, мгновенно выпрямляя, подпрыгивали на метр-два. Даже отдельные особи, «выстреливая» из-под ног десантников, заставляли тех напрягаться в ожидании крупной пакости. И пакость редко заставляла себя ждать: рядом с группой вспухало зловещее черное облако, грозя опрокинуть людей и накрыть их живой лавиной. Подобную атаку переживал не всякий, а тех, кто отделался испугом, считали везунчиками.

Подобно муравьям, септы поедали всю мелкую живность, которая не могла спастись от них бегством. Кроме того, они обожали сладкий сок бруксий — самых примечательных местных деревьев. Срезали острыми жвалами кончики особых «дойных» побегов и жадно глотали сочащуюся оттуда тягучую янтарную жидкость.

Казалось бы, что еще нужно этим лакомкам? Какие у них могут быть симпатии и антипатии, кроме заложенных природой миллионы лет назад?

Однако такие представления о септах продержались недолго — до момента, когда люди подверглись первой атаке. Тут-то они и узнали, что септы могут не только прыгать, но и, намертво сцепляясь друг с другом, образовывать огромные подвижные структуры. Причем действовали семиногие букашки на удивление эффективно — не тупо повторяя заученные ходы, а проявляя явную смекалку.

После этого септов принялись усиленно изучать. Выяснилось, что они живут в подземных гнездах, создают разветвленные сети коммуникаций, выращивают несколько видов грибов.

Но это умели и многие земные муравьи, а у них подзревать разум было смешно.

Не находя разгадки, биологи начали звереть. Они заставляли септов решать задачи разной степени сложности, препарировали их мозг так тщательно, будто собирались исследовать каждую молекулу. Но ничего не добились: мозг оказался типичным для насекомых, а в инсектарии подопытные вели себя скучно и предсказуемо. Какие там мыслительные способности... На воле, за пределами Базы — другое дело. Но не будешь же ставить эксперименты в боевых условиях, рискуя человеческими жизнями!

В конце концов ученые заявили: септы неразумны, а их якобы осмысленные действия объясняются происками гаастийцев. Те добрались до Ники немного раньше землян и каким-то образом превратили местных насекомых в свое орудие. Может быть, с помощью неких чудо-приборов. Сумели же они напустить на людей медуз, а это, наверное, было посложнее...

Славич медленно обошел инсектарий по периметру и вновь остановился в начальной точке. Он смотрел на септов, а те смотрели на него. Не все, конечно — основной массе, втянутой в бесконечный трудовой круговорот, отвлекаться было некогда. Но несколько десятков насекомых выпали из общего ритма. Они тарасили на землянина бусинки глаз и ожесточенно скребли стенку треугольными жвалами, словно надеясь прогрызть супергласс.

План генерала неплох, подумал майор. Пусть септы упорны, неудержимы, лишены чувства страха и прочих вредных для идеального солдата эмоций — без управления извне это всего лишь примитивные обитатели лесной подстилки. Уничтожить на Нике все опорные пункты гаастийцев трудно, но реально. И тогда, возможно, противник пойдет на переговоры. А там и войне конец.

Он представил, как вернется домой, где не был полтора года. Обнимет жену и, дурея от счастья, уткнется лицом в ее волосы. Но сначала подхватит на

руки и закружит выбежавшую навстречу Анюту. Дождавшись вопроса: «Пап, а ты мне привез?..», таинственно улыбнется, опустит дочь на пол и, сделав несколько «магических» пассов, вынет, словно из воздуха, заветную коробочку с подарком.

Когда Славич улетал, Аня попросила его привезти «самую-пресамую инопланетную диковину». И он сразу решил, что дочурку покорит золотистый минерал с Корвуса. Конечно, далеко не всякий: крайне редко среди обычных камешков попадался равномерно вспыхивающий «фонарик». Это чудо творила колония живущих внутри крошечных светлячков.

Угрюмый, почти не исследованный Корвус находился вне зоны боевых действий, так что попасть туда не удалось бы при всем желании. Однако Славич сумел наладить контакты со штатскими и в конце концов через сложную цепочку обменов и взаимных услуг раздобыл «фонарик». Теперь иногда после грязной, тяжелой, изматывающей работы он вынимал камень из коробочки, и каждый раз, когда лицо озаряла новая вспышка, на душе становилось чуточку теплее. А уж в каком восторге будет дочь!..

С этой приятной мыслью Славич повернулся к выходу.

Лес принял три инородных тела безучастно, не проявив ни враждебности, ни хотя бы настороженности. Но расслабляться не приходилось — Славич слишком хорошо знал цену этому напускному равнодушию. Он всматривался в нависшие над головой кроны и не мог избавиться от ощущения, что в узорчатый полог вкраплены тысячи глаз. Лес-великан разглядывал чужаков и обдумывал, как их поостроже наказать за дерзость...

Вездеходы скользили над самой землей, вороша лесную подстилку кромками приплюснутых силовых коконов. Двигались треугольником — это давало лучший обзор, чем в цепочке, да и защитить друг друга в случае угрозы было проще. На острие — АНМ, автоматический наземный модуль, набитый боевыми и вспомогательными роботами. За ним — две машины с десантниками. Славич находился в той что шла справа.

Из-под носа вездехода разноцветными брызгами разлетались потревоженные мелкие твари. Пружинисто подпрыгивали и уносились назад, за корму, лопнувшие жгуты лиан. То и дело приходилось давить грибы, похожие на большие, по пояс человеку, причудливые кубки. Внешне они различались мало, но одни гнили скучно, незаметно, а другие — видимо, созревшие — взрывались облаками фиолетовых спор.

Славичу часто приходилось, кляня всё на свете, продираться сквозь подлинные дебри, но здесь деревья росли не так скученно, чтобы между ними нельзя было проехать. Эффектнее всех смотрелись бруксии: толстый ребристый ствол доходил в высоту метров до четырех, после чего расщеплялся на три мощные горизонтальные ветви. Они, в свою очередь, через несколько метров «переламывались» под прямым углом и устремлялись вертикально вверх, обрастая второстепенными ветвями и темно-зеленой глянцевиной листвой. «Перевернутые треножники» — так назвал их первооткрыватель, биолог Энди Брукс.

Когда война докатилась до Ники, нашлись горячие головы, предложившие покончить с септами раз и навсегда. Чего, мол, с ними церемониться? Зловещим словом «геноцид» называют истребление мыслящего противника — а тут простое выведение насекомых. Чем дешевле и результативнее его проведешь — тем лучше. Поэтому надо создать бактерии, вирусы или грибки, убивающие септов наповал, и внедрить их в места наибольшей концентрации зловредных букашек. Как долго продлится мор, сказать трудно. Может, десятилетия. Зато потом получите планету на блюдецке!

Многим наверху эти планы понравились, но против них ополчились ученые и заявили, что будут стоять насмерть. Оказывается, септы лакомились сладким соком бруксий не задаром: они платили тем, что избавляли чудо-деревья от целых полчищ прожорливых вредителей. Стоит кусачим защитникам исчезнуть — и «треножники» обречены. А поскольку с их корневой системой состояла в симбиозе масса местных организмов, после гибели бруксий Нику ждала неминуемая экологическая катастрофа. Ну и какой землянам прок от убитой собственными руками планеты?

В конце концов с этим доводом согласились даже «ястребы», и войну решили продолжать традиционными средствами.

Вездеход вильнул в сторону, объезжая очередной ствол, и тут ожил коммутатор.

— Плохие новости, — заговорил в правом ухе Славича капитан-штабист Леонидес. — Отвлекающий бой идет что-то слишком вяло. Мы думали, в него втянутся септы со всей округи, но просчитались. Похоже, гаастийцы раскусили наш план и оставили все воинство на месте, чтобы встретить группу. В случае серьезной опасности немедленно...

В этот момент вездеход трянуло, да так, что людей сорвало с мест и повалило друг на друга. Голос в ухе майора продолжал звучать, но мозг уже не воспринимал смысла слов, потому что начался кошмар.

Казалось, под покровом лесной подстилки готовилось адское варево — и вдруг, поспев, выплеснулось наружу.

Над травой выросли извивающиеся черные жгуты. Они тут же сливались по двое, как змеи в брачном танце, потом снова и снова, образуя щупальца невероятной толщины. Наверное, такими не могли похватать и кракены из старинных «ужастиков».

Щупальца обхватили силовую кокон, рывком поставили вездеход на попа, затрясли, как детскую игрушку, потом завалили на бок. Славич отработанно вцепился в поручни и сгруппировался, но болтанка была такой жестокой, что уберечься не удалось.

Сначала боль пронзила колено, затем хрустнуло плечо, а под конец майор с силой приложился головой об одну из стоек. Шлем погасил удар, и всё же перед глазами вспыхнул сноп ярких искр. На несколько секунд сознание помутилось...

Придя в себя, Славич обнаружил, что всё еще сжимает поручни.

Септы любили нападать внезапно. Разлившись тонким слоем в траве, они прятались от видеокамер, а благодаря своим блестящим панцирям, хорошо экранирующим инфракрасное излучение, обманывали тепловизоры. Но нанести удар, оставаясь невидимками, было невозможно, и теперь земляне, оправившись от первого шока, получили возможность ответить.

Пока Славич боролся с заставшей глаза пеленой, опрокинутый вездеход вывернулся из захвата и вновь стал на днище. С подобными задачами справлялась автоматика, для активных действий требовался приказ.

— Купол — 100! — скомандовал Славич, кривясь от разламывающей плечо боли. За спиной слышались стоны и ругань десантников, но оборачиваться и оценивать, кто в каком состоянии, не было времени. — И сразу — плазма!

По первой команде диаметр силового купола скачком возрастал до максимума. Генератор поля натужно взревел, и окружившие вездеход уродливые черные языки разметало в стороны. Мгновение спустя бортовой компьютер вырубил защиту, чтобы не мешала стрелять.

Ослепительно полыхнуло — это ствол боевой башенки, выросшей позади кабины, метнул в септов струю плазмы. Ффух! — и один из отброшенных от машины языков превратился в огненный столб. Ффух! — и поодаль, разваливаясь на глазах, жарко запылал другой. Третий, не дожидаясь удара, осыпался, превратился в бесформенную кучу, края которой тут же начали расплываться. Башенка успела навести ствол на тающий холмик и плюнуть в него плазмой. Там вспыхнул новый костер, но септы с периферии уцелели и волной устремились к вездеходу, чтобы убраться из зоны обстрела.

— «Ар-джи» из правого ствола! — крикнул Славич и бросил взгляд туда, где за густым облаком дыма от догорающих септов вели бой остальные вездеходы. Силуэты обоих еле угадывались под захлестнувшей силовые колпаки шевелящейся черной массой. Им требовалась поддержка огнем, но сначала надо было зачистить подступы к собственной машине.

Из правого борта выдвинулось сопло распылителя, оттуда веером брызнула прозрачная жидкость. Когда-то «Ар-джи» считался идеальным инсектицидом и выкашивал септов начисто, но у них быстро выработался иммунитет, и с тех пор эффективность отравы сильно упала. Вот и сейчас обильно политая ею трава местами колыхалась: выжившие насекомые собирались в островки, чтобы продолжить наступление. Из десантного отсека эти скопища не больно-то разглядишь, а вот сверху...

Резко обернувшись, Славич встретился взглядом с одним из бойцов — Вилле Матссоном. Кажется, тот был в порядке.

— Вилле, давай на крышу! — приказал майор, открывая верхний люк. — Поджаришь всех септов, кого увидишь поблизости, — и сразу назад.

Матссон взлетел по лесенке, встал над самым бортом и открыл огонь из лучевика... — но успел сделать

лишь два выстрела. После второго на него обрушился черный дождь. Нет, даже не дождь — лавина.

Прямо над вездеходом сомкнулись кроны двух исполинских бруксий, и сейчас оттуда посыпались десятки, а то и сотни тысяч септов. Вилле пошатнулся и, не сумев удержать равновесие, скатился по броне на землю. А насекомые хлынули в открытый люк.

В десантном отсеке раздались вопли. Ситуацию еще можно было взять под контроль, но Славич потерял несколько драгоценных секунд, пытаясь спасти Матссона. Он захлопнул верхний люк и открыл боковой — чтобы нырнуть в него, парню требовалась буквально пара движений.

Однако Вилле никак не мог подняться. Он ерзал по траве с искаженным лицом — похоже, при падении серьезно повредил ногу. А тем временем септы, словно того и ждали, шуршащим водопадом потекли по борту внутрь вездехода.

Оставаться там было безумием.

— Все наружу! — крикнул Славич. — С полным боекомплектом!

Он выпрыгнул из командирского люка, наклонил дуло лучевика и, крутанувшись, окружил себя огненным кольцом.

— Оставайтесь на месте! — взывал в ухе Леонидес. — Мы вас видим, подмога уже летит. Еще немного... — Он замолчал, и после секундной заминки раздался голос генерала.

— Держись, майор. — Каждое слово давалось Конову с трудом. — И, если можешь, сбереги побольше ребят. Мы вас вытащим. Только продержись...

Это «держись» и «береги ребят» Славич на Нике слышал не раз. И действительно держался. Но сейчас... Наверное, в квадрате 518 собрались септы со всех окрестностей — многие миллионы особей. А противостояли им всего пятеро землян: сам майор, Вилле Матссон, которого можно было и не считать, да трое десантников, успевших выскочить из машины. О том, что случилось с теми, кто не успел, думать не хотелось.

Второй вездеход и АНМ застыли мертвыми глыбами, и при взгляде на них Славичу всё стало ясно. Септы использовали простой, но эффективный прием: слившись в щупальца, обхватили обе земные машины и начали со страшной силой бить их друг о друга. При каждом столкновении силовые мембраны испытывали сумасшедшую нагрузку, и в конце концов генераторы поля захлебнулись. После этого удары сделались еще жестче, и септы не успокоились, пока сохранялась вероятность, что внутри вездехода остался кто-то живой.

В модуле-автомате умирать было некому, и его «экипаж» продолжал борьбу. Однако после стольких ударов башенку очевидно заклинило, и роботам, лишенным главного калибра, пришлось выбраться наружу. Сейчас они вели бой, образовав полукруг возле борта своей машины.

Славич глянул на Вилле и передернулся от мысли, что тому точно не дождаться подмоги.

Парень был самым молодым в группе, прилетел на Нику последним транспортом, не участвовал до этого

ни в одной операции и радовался, как мальчишка, когда его взяли в лес. А теперь ему оставалось жить от силы пару минут. Он отстреливался сидя, но из-за дикой боли в ноге не мог поворачиваться, и септы, конечно же, напали на него сзади.

Война — жестокая штука, и майор мог бы списать Матссона со счетов, как выполнившую свою задачу боевую единицу. Но вместо этого рванулся вперед, выхватил ручной распылитель и, заорав: «Пригнись!», окатил спину парня струей «Ар-джи». Затем приказал бойцам окружить Вилле, а роботам — подтянуться к людям и встать перед ними. Два периметра обороны — то, что надо: первыми септов встретят автоматы, а тех, кто прорвется сквозь стальную заслон, добьют десантники.

«Продержимся, — упрямо тряхнув головой, подумал Славич и пересчитал запасные батареи к лучевикам. — Надо только экономить заряды...»

Но он не дождался даже подхода роботов. Слева, из-за чудом уцелевших среди пожарища кустов, стремительно накатил волна насекомых, и земляне попадали, как сбитые кегли. Мгновение спустя огромная черная лапа выдернула майора из мешанины тел и поволокла в лес. Он отчаянно рвался, пытаясь выскочить из податливой живой массы, но та внезапно загустела и сковала его, как янтарная смола — муху.

Затем септы быстро и слаженно, будто только этим и занимались, разоружили пленника: отняли лучевик и зашвырнули в кусты, отправили следом распылитель, перегрызли пояс с боеприпасами, разломали мощными челюстями коммутатор, не забыв и приемник, прилепившийся к ушной раковине.

Майор бывал в разных переделках, но никогда еще не чувствовал себя таким беспомощным. Не мог даже повернуться — оставалось только разглядывать проносящиеся над головой ветви и сплетения лиан. Куда его тащили?

«Хотят скормить своей матке, — ни с того ни с сего подумал Славич. — Царице — царская пища».

Это была полная чушь: по словам биологов, в гнездах септов насчитывалось множество маток, и они не имели даже тени той власти, что царицы земных муравьев. И всё же поганая мыслишка едва не вызвала у него рвотный спазм.

Черная волна долго катилась между стволов, то вздымаясь горбом, то почти припадая к земле. Наконец она сбавила ход и, застыв на краю небольшой поляны, расплескалась в стороны. Славич мягко шлепнулся на траву. Попытался встать, но тело не слушалось — казалось, мышцы превратились в желе. Тут же вспомнил, что сразу после похищения ощутил несколько укусов. Не иначе, септы впрыснули ему вместе со слюной какую-нибудь обездвиживающую гадость...

Впереди возвышался серый морщинистый ствол старой бруксии. От него радиально расползались толстые узловатые корни, и между двумя из них в земле виднелась дыра диаметром не меньше метра.

Догадаться, для кого ее проделали, было нетрудно: насекомым, чтобы попасть в гнездо, такие «ворота» ни к чему.

«Вот и всё, — подумал Славич. — Отвоевался...»

Септы снова устремились к нему, облепили снизу и, приподняв, затащили в провал.

Узкий темный коридор вилял из стороны в сторону — возможно, огибал жилые камеры гнезда.

Наконец впереди забрезжил свет, и септы вытолкнули пленника в помещение размером с небольшую комнату. Стены и низкий свод обильно покрывал мерцающий зеленоватый пушок — та самая люмо-плесень, которую сейчас увлеченно изучали биологи Базы.

В центре подземной полости раскорячилась странная фигура, словно обмотанная лохмотьями. При взгляде на нее Славич почувствовал, как у него вновь подступает к горлу тошнота.

Это был гаастиец — совершенно голый и настолько худой, что казался изможденным. Раскинутые в стороны руки и ноги, голову, грудную клетку опутывали многочисленные белесые нити и жгуты. Нити слабо шевелились, жгуты едва заметно пульсировали. Наибольшее отвращение вызывало лицо. Собственно, его и не было — сплошной волокнистый кокон, из которого выглядывали только уставленные в потолок роговые линзы.

«Живой мертвец», — подумал Славич.

И, прокрутив в голове всё, что знал о гаастийцах, понял смысл увиденного. Врагу так и не удалось создать приборы, позволяющие поддерживать с септами ментальную связь. Пришлось идти биологическим путем, дорабатывая отменно развитые у никийских насекомых сигнальные системы. Путь этот оказался настолько непригляден, что земляне не выбрали бы его даже в случае крайней нужды. Но гаастийцы — не люди, над ними довлел пресловутый кодекс чести, заставляющий идти на всё ради торжества своей расы. Не страшно превратиться в утыканный нейрощупами неподвижный кусок мяса — страшно, если эта жертва окажется напрасной и не приблизит победу.

Но, похоже, «кускам мяса» была отпущена не такая уж долгая жизнь. Может быть, для лучшей ментальной связи их накачивали стимуляторами, которые ускоряли процесс старения. Так что и этот гаастиец, и его соратники в остальных центрах управления представляли собой быстро дряхлеющие развалины. Надежды на замену растаяли вместе со сбитой капсулой.

Однако кодекс чести не позволял кануть в небытие, не оставив преемников, ибо это значило проиграть войну. И тогда у тех, кто доживал последние дни в подземных «саркофагах», возник дьявольский план. Чем земные мозги хуже гаастийских?..

«Нет! Нет! Нет!» — Славич повторял этот беззвучный крик, пока не ощутил болезненный укол в шею. А потом, заволакивая один за другим островки сознания, в голове начал расползаться туман...

Кошмары принято видеть во снах. Но теперь кошмаром стало пробуждение.

Он лежал, не чувствуя тела, в той же позе, что незадолго до него гаастиец. Среди белесой поросли и путаницы змеящихся жгутов виднелись только ступни,

колени и кисти рук. Какое-то время Славич отрешенно разглядывал потолок, заляпанный пятнами светящейся плесени. Когда надоело, закрыл глаза — и словно ухнул в распахнувшуюся под ним бездну. Но не разбился, а застыл в точке, где ощутил себя центром вселенной — пусть небольшой, но собственной.

Она напоминала паутину, в узлах которой находились подземные гнезда, а вдоль нитей двигались походные колонны септов.

Если в прошлой жизни Славич был майором, то в этой — полководцем очень высокого ранга, которому повиновалось бесчисленное воинство. Непостижимым образом он знал обо всем, творящемся на подвластной ему территории. Не покидая «саркофага», «видел» и место только что проигранного людьми сражения (подмога с Базы подоспела слишком поздно), и саму Базу — четкий прямоугольник на окраине леса.

«Как всё просто», — подумал Славич, оправившись от первого шока. И повелел септам беспрепятственно пустить землян в лес, выдав им с потрохами всех гаастийцев.

Но он переоценил свое могущество.

Гаастийцы были не дураки. Они создали превосходную систему, действующую только в одном направлении — против людей. Когда Славич приказал септам «изменить присягу», те изо всех щелей хлынули в «саркофаг» и начали возбужденно прыгать до потолка. На какое-то время в тускло освещенной камере стало черным-черно.

«Это предупреждение, — понял Славич. — Паратройка таких ошибок — и закусает насмерть». А чуть позже пришла еще одна жуткая догадка: если прикинуться слабоумным и не отражать атаки землян — закусает тоже. Командир должен командовать, а не сидеть трутнем на всем готовом!

Враги совершили невероятное — добились того, что септам понравилось воевать. И они будут воевать, пока в их распоряжении мозг, знающий, как максимально эффективно послать на смерть полчища крошечных бойцов. Гаастийский, человеческий — без разницы. Когда его не станет, септы провалятся в прежнее свое состояние — будут поедать жучков-червячков, наслаждаться соком бруксий. Вот оно, счастье, и незачем подгонять матушку-природу — пусть сама решит, кого пора наделять разумом...

Значит, надо сделать так, чтобы мозг исчез.

От этой мысли Славича затрясло. На войне всегда страшно, но в горячке боя задумываться о смерти нет времени. Сейчас был страх другого рода — липкий, удушающий, парализующий волю. Страх расстаться с жизнью, когда тебе ничто не угрожает, кроме глупой случайности. Когда при хорошем раскладе можно протянуть годы, а если чертовы стимуляторы не вызывают старения у землян, то десятилетия!

Но вскоре эту мысль вытеснила другая: «А стоит ли цепляться за ТАКУЮ жизнь?»

И страх отхлынул, улетучился, впитался в стены «саркофага». А затем пришло решение.

«Спешите сюда!» — приказал Славич.

И миллионы его солдат, бросив все дела, послушно устремились на беззвучный зов.

«Сегодня великий день! — продолжал распятый в подземелье полководец. — Мы одержали победу над врагом и должны ее восславить. Стройте башни до неба — пусть все видят, кто хозяева на планете!»

И детали гигантского живого конструктора начали соединяться — быстро, четко, как по программе.

Сначала на подступах к «саркофагу», словно охраняя его со всех сторон, вспухли небольшие холмы. Вскоре они превратились в курганы, курганы — в колонны. Четыре исполинских черных столба проткнули лесной полог и продолжали расти, как будто их строители в гордыне своей действительно собрались дотянуться до небес.

О столь щедром подарке от противника командование Базы не могло и мечтать. Майор представил, как взбешенный провалом операции генерал получает картинку со спутника и не верит своим глазам. А поняв наконец, что гаастийцы по-глупому засветили свой центр управления, приказывает немедленно его уничтожить.

Славичу почудилось, что он ощутил далекую, едва уловимую дрожь земли от стартующих ракет. Затем перед глазами выткалось из воздуха личико Анюты, так и не дождавшейся подарка — чудесного «фонарика» с Корвуса. При мысли об этом стало невыносимо обидно.

А потом... Для него уже не было «потом».

ЧУВСТВО ДОЛГА

Чем дольше Ляхов разглядывал своего собеседника, тем больше тот ему не нравился. Тощий и нескладный, с маленькой сухой головкой, восседающей на цыплячьей шее, визави Ляхова напоминал птицу. Казалось, сейчас он встанет из-за столика, взмахнет непомерно длинными конечностями и улетит.

И в лице его было что-то странное, но что именно — Ляхов не мог уловить. Впрочем, имела ли для него значение внешность этого типа? Лишь бы дело оказалось стоящим! А оно как раз обещало быть таким.

Ляхов был владельцем небольшой фирмы. Когда-то она числилась в перспективных, но в последнее время всё явственнее дышала на ладан. Прежние заказчики, как их ни ублажали, упорно воротили нос в сторону расплодившихся конкурентов. Анализ ситуации показывал, что скоро придется закрывать лавочку. Последнюю неделю Ляхов ходил мрачнее тучи, и вот тут-то в его кабинете раздался загадочный звонок. Некто, не назвавший себя, сообщил убитому горем хозяину, что хочет сделать ему крайне выгодное предложение.

— Я готов! — не раздумывая выпалил Ляхов. Но тут же спохватился: — Какое?

— Это не телефонный разговор, — ответил таинственный спаситель. — Давайте встретимся в ресторане и все обсудим. «Парма» подойдет?

От блюд, принесенных официантом, поднимался дразнящий обоняние пар. Незнакомец взял хрустальный графинчик с водкой и наполнил рюмки.

— За процветание вашего бизнеса!

Лучшего тоста придумать было нельзя, но Ляхов уже не раз убеждался, что за самыми красивыми словами чаще всего и скрываются ловушки.

«Надо договариваться сейчас, — подумал он, закусывая. — Кто его знает, этого щуплого! Может, он чемпион по части «приема на грудь», десяток тостов может выдержать. Подпоит, обедеет вокруг пальца, а потом ведь от своих слов не откажешься — репутацию надо блюсти».

— Не перейти ли нам сразу к делу? — предложил Ляхов, доев какой-то экзотический салат. — Кстати, до сих пор не знаю, как вас зовут.

— Зовите меня Грининым, — сказал незнакомец.

Ляхов немного подумал.

— Я знаю нескольких Грининых. Извините, ваше имя-отчество?

— Просто Гринин. Или, вернее, Грин Эн.

Несколько секунд Ляхов молча разглядывал пустую тарелку, затем поднял голову.

— Интересное имя. Если бы вы еще говорили с акцентом, я, пожалуй, мог бы заподозрить в вас агента ЦРУ.

Тонкие губы Грин Эна растянулись в улыбку.

— Ну что вы! Неужели ваша фантазия не идет дальше подобных банальностей? Всё гораздо интереснее. Я прибыл оттуда. — Он ткнул пальцем вверх.

Ляхов хмыкнул.

— С Марса, что ли?

Тощий субъект посмотрел на него с явным уважением.

— Как ни странно, вы угадали. Именно оттуда, хотя земная наука утверждает, что жизни там нет.

Ляхов пожал плечами.

— Знаете, господин хороший, сто лет назад ваша хохма еще могла иметь успех. Но с тех пор кое-что изменилось. По Марсу ездило уже немало техники, и если найдут хотя бы полудохлого микроба, это будет величайшей сенсацией. — Он сделал небольшую паузу и хитро прищурился: — Впрочем, польщен, что о моей скромной персоне слышаны деловые круги Солнечной системы. Правда, сомневаюсь немного: неужели на вашей замороженной планетке тоже занимаются бизнесом?

Грин Эн поскущел.

— М-да, Ляхов, я был о вас лучшего мнения. Забудьте вы о сделке. Это лишь предлог, чтобы мы могли встретиться. На самом деле всё намного серьезнее. Прошу меня выслушать.

Ляхов уже понял, что зря тратит время на этого умалишенного. Но не уходите же сейчас, не распробовав всех блюд! Он закурил сигарету и откинулся на спинку стула.

— Хорошо, валяйте. Говорят, слушание разных необылиц способствует пищеварению.

Грин Эн пропустил его реплику мимо ушей.

— Давным-давно, — начал он, — сотни тысяч лет назад, на Земле уже существовала развитая цивилизация. Следов ее, правда, у вас не сохранилось, но там, откуда я прибыл, есть доказательства.

— Да ну? — усмехнулся Ляхов. — И кто же тут жил до нас? Динозаврики головастые? Лягушки двухметровые? Или какие-нибудь букашки-переростки?

— Люди, — не обращая внимания на его тон, ответил Грин Эн. — Хомо сапиенс. Только тогда они разделялись на две ветви. Была раса господ, или джагов, и раса слуг — ваннов. Первых было в сотни раз меньше, чем вторых, зато они обладали более мощным интеллектом и особыми способностями, которые вы сейчас называете экстрасенсорными. Имелось и одно внешнее различие. Скажите, вы ничего странного не нашли в моем лице?

Ляхов чуть не поперхнулся табачным дымом.

«Ну конечно! — подумал он. — Меня ведь сразу что-то насторожило в его физиономии. Теперь понятно, что именно».

У Грин Эна был удивительный разрез глаз: внутренний край закругленный, а внешний, напротив — чрезвычайно заостренный, как наконечник стрелы.

— Верно подумали, — сказал Грин Эн, словно прочитав мысли Ляхова. — Кстати, вы сами часто смотрите в зеркало?

Ляхов насупился. Намек был более чем прозрачен: его самого, пока он не выбился в люди, частенько дразнили из-за формы глаз. Правда, она была не столь ярко выраженной, как у Грин Эна, но сходство, несомненно, имелось.

Ляхов потянулся к графинчику, налил себе водки и тут же выпил.

— Так что же, — мрачно произнес он, — мы с вами, выходит, родственники?

— В какой-то степени. Доказательство налицо. Вернее, как у вас любят шутить, на лице. Конечно, сразу видно, что кровь ваших предков тысячелетиями разбавлялась кровью низшей расы. И всё же что-то осталось. Однако позвольте мне закончить.

— Пожалуйста. — Ляхов уже вертел в пальцах новую сигарету. — Продолжайте ваши байки.

Грин Эн остался невозмутимым.

— Та цивилизация достигла серьезных успехов. Достаточно сказать, что уже были построены первые космические корабли, готовые нести джагов к другим планетам. И тут все рухнуло: ванны взбунтовались. Не думаю, чтобы их так уж сильно эксплуатировали — просто нашлись смутьяны, захотевшие сами стать господами. Джаги превосходили своих слуг во всех отношениях, но их было слишком мало. Спасаясь от бунтовщиков, они ринулись к кораблям, и те, кому хватило места, навсегда покинули Землю.

Весь вопрос заключался в том, куда лететь. Увы, астрономия у джагов была развита явно недостаточно. Они не знали, где условия жизни окажутся более-менее сносными, а потому флотилия разделилась, и корабли направились к разным планетам. Мне повезло: мои предки попали на Марс. Он, конечно, во многом отличается от Земли, и всё же это был единственно верный выбор. Джагам удалось построить подземные города-пузыри, создать внутри них подходящую атмосферу и зажить. Причем неплохо зажить! А вот экипажи кораблей, опустившихся на другие планеты, несомненно, погибли: там-то существовать абсолютно

невозможно. Между прочим, на Марсе очень малая сила тяжести, поэтому не удивляйтесь моему телосложению.

— Замечательная история! — сказал Ляхов. — Кто не попал на Марс, того ожидал кошмар-с... А с Землей-то что дальше было?

— Как и следовало ожидать, предоставленные самим себе ванны не сумели управлять сложнейшими производственными процессами. Они быстро деградировали и вскоре скатились до уровня неандертальцев. Пришлось человечеству пройти тернистым путем эволюции еще раз. Конечно, на Земле оставалось немало джагов — улететь смогли далеко не все. Но им, сами понимаете, не приходилось особенно высовываться. И все-таки их потомки всегда были талантливыми людьми. Взять хотя бы вас: раскрутили дело, за которое в этом городе еще никто не брался!

— Просто у кого-то черепушка варит, а у кого-то нет, — возразил Ляхов. — Слушайте, господин марсианин, я никак не возьму в толк: что вам от меня-то нужно?

— Не всё сразу, — ответил Грин Эн. — Наберитесь терпения и дослушайте до конца. Оказавшись в суровых условиях Марса, джаги долгое время были заняты элементарной борьбой за выживание. Однако сейчас мы на вершине могущества и полны решимости вернуть себе Землю.

— А все потомки джагов, значит, должны вам помогать? Как же, сейчас! Мне, знаете ли, и одному, без родственников, неплохо живется.

— Зря вы так, Ляхов. — Грин Эн сплетал и расплетал тонкие гибкие пальцы, и в этих его движениях было что-то паучье. — Имейте в виду: особые способности джагов, оставшихся на Земле, постепенно ослабевали, а у нас, марсиан, они, напротив, развивались. Мне, например, ничего не стоит простым усилием мысли согнуть вас в бараний рог. Но зачем прибегать к столь грубым методам? Я уверен — да-да, абсолютно уверен! — что в вас не может не заговорить чувство долга. Не так ли, Ляхов? — В голосе Грин Эна возникла легкая тень угрозы. — Интересы всех джагов должны быть общими. Мы, вооруженные могучей техникой, будем действовать извне, а вы, подрывая устои общества презренных ваннов, — изнутри. Вот теперь я всё сказал. Хотите немножко подумать — пожалуйста. Но отказываться было бы с вашей стороны крайне неразумно. А может, вопрос уже решен?

— Решен. — Ляхов вдруг энергично подался вперед, черты его лица преобразились, сделались жесткими. — Но не в вашу пользу.

Он наполнил рюмку Грин Эна.

— Выпейте, расслабьтесь, а то боюсь, как бы у вас после моих слов не сдали нервы. Так вот, любезнейший Грин Эн: вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что выжили лишь джаги, обосновавшиеся на Марсе. Несколько кораблей достигли Венеры, и люди, находившиеся на борту, повторили путь, пройденный вашими марсианскими предками. Доказательство у вас перед глазами: я прибыл с Венеры уже довольно давно, но родился, уверяю вас, именно там. А поскольку природные условия на Утренней звезде несравнимо более

тяжелые, чем на Марсе, мы в борьбе с трудностями научились тому, что вам и не снилось.

Ляхов устремил немигающий взгляд на Грин Эна, и тот вдруг оторвался от стула, поднялся сантиметров на пять и завис в воздухе. В глазах его был ужас.

— Вот видите, — продолжал Ляхов, — сила на нашей стороне. Но нам, сами понимаете, не хотелось бы к ней прибегать. Я совершенно уверен, что в вас, марсианах, заговорит чувство долга, и вы добровольно поможете нам установить господство над Землей. Интересы всех джагов должны быть общими — это ведь ваши слова? Кстати, можете не сомневаться в чистоте моей крови. Просто я сделал пластическую операцию, слегка подправил глаза, чтобы не слишком выделяться здесь. А теперь идите. И хорошенько подумайте над моими словами.

Грин Эн поднялся и неуверенно, как человек, находящийся под гипнозом, направился к двери.

Ляхов подозвал официанта, расплатился и встал из-за столика...

Но тут начала твориться чертовщина. Он вдруг почувствовал, как внутрь него проникла неведомая, могущественная, явно враждебная сила, жвала сердце, затем сковала ноги, налила их тяжестью, превратив в чугунные тумбы.

Ляхов медленно обернулся. К нему приближался огромный, просто необъятный мужчина, похожий на мастера японской борьбы сумо. До этого он сидел за столиком в самом углу зала — настолько неподвижно, что напоминал предмет обстановки.

— Удивляюсь я вам, венерианам, — сказал здоровяк, остановив на Ляхове взгляд бесстрастных серых глаз с характерно закругленным внутренним краем. — Почему-то считаете себя венцом Вселенной... А на каком основании? Неужели вам, Лах Эфф, никогда не приходило в голову, что корабли джагов, направлявшиеся к Юпитеру, тоже достигли цели?

Леонид Ашкинази

Москва

ВИЗИТ НА ПЛАНЕТУ

Текст — подарок другу, А.Д., с благодарностью за критику.



— Не понимаю.

— Чего именно?

— Почему до горизонта всё гладкое?

— То есть?

— Ну, посмотри сам.

Первый из собеседников, который стоял у иллюминатора, делает шаг вбок, пропуская второго. Как их зовут, не важно, потому что на борту посадочного модуля их ровно двое, и каждый из них точно знает, к кому обращается тот, кто открыл рот.

Второй смотрит, изумляется, смотрит на напарника, еще раз смотрит в иллюминатор (как будто ждет, что

картинка изменится, даже смешно) и опять на напарника.

— Мы же видели на подлете, что поверхность планеты в каких-то линиях... решили, что это трещины, правильно?

— Именно так.

— Так где они?

— Не знаю. Кстати, как и ты.

— Это не мог быть обман зрения... что-то вроде каналов на Марсе, каналов Скиапарелли?

— Которые он якобы видел триста лет назад?

— Двести пятьдесят. И видел, и зарисовал. Но у нас-то есть запись с приборов.

— И?

— И там всё есть.

Говорящий прикасается пальцем к очкам, давая понять напарнику, что он только что обратился к архиву корабля и да, всё на месте. Точнее, к архиву посадочного модуля — корабль сейчас летит дальше, чтобы обследовать остальные планеты системы Траппист — сорок лет от Солнца, семь планет, из них четыре в зоне обитаемости.

Пауза.

— Мы можем просканировать поверхность лазером?

— Делаю.

— Каким?

— Беру три луча, 300, 500, 700...

В поле зрения появляется зеленый кружок, он неторопливо скользит, удаляясь от корабля и время от времени перемещаясь налево и направо — сканирует местность. Двух других — ультрафиолетового и инфракрасного, естественно, не видно — в очках есть преобразователь, но лень включать... О! — мозг модуля, к которому подключены очки, заметил странное и сам включил. Теперь в поле зрения три пятнышка, около двух иногда помигивает «0,3» и «0,7».

— И как?

— Мозг говорит, что модуляция совпадает с нашей... а зависимость от расстояния... ага, всё нормально. Ну то есть это наш, диффузно отраженный сигнал.

— И никаких трещин?

— И никаких трещин.

Короткая пауза.

— Исходим из того, что они реально были, а теперь их реально нет?

— Это наиболее реальная гипотеза.

— Мы можем запросить мозг корабля?

— Можем, но смысл? Наш ненамного слабее.

— Кроме того, информация сбрасывается?

— Естественно. И не только эта, а со всех датчиков.

Он ее уже начал получать.

— И раз молчит, значит, опасности не усматривает.

— Да.

— Итак, исходим из того, что они реально были, а теперь их реально нет?

— Да.

Короткая пауза.

— Цивилизация, которая живет под землей... и избегает контактов? И увидев приближение, закрыла ставни?

— Не исключено. Но тогда зачем ей вообще...

— ...эти трещины? Старая традиция, иногда ностальгически посмотреть на звезды.

— А идея с полетами или приемом гостей оставлена тысячу лет назад?

— Или двести пятьдесят. Ну да... окно контакта кончилось. Было такое понятие...

— Это я читал. Слушай, а зачем им вообще такая система? Если идея с приемом гостей оставлена?

— Они вполне могли опасаться визитов с планет этой же системы.

— Ну да... могли надеяться, что увидят старт корабля с другой планеты и закроются.

Пауза.

— А можем мы по нашим съемкам уточнить, где ближайшая? Ближайшая к нам сейчас?

— Делаю... вот, 137 метров... это ближайшая точка. Могу лучом показать.

— Не надо. А послать туда самого легкого, с оптоволоконном, и попробовать воткнуть?

— С волокном — чтобы не излучал?

— Ну да. Вдруг они контролируют.

— В песок волокно войдет легко, но он же на чем-то лежит? А сверлить — это агрессия. Могут не понять...

— Не сверлить. Я его запрограммирую, чтобы он искал стык. И по щели...

— Хитрец.

— Инженер.

— Ну вот. Смотри.

— Да-а... и в глубину метров двадцать... Слушай, у них даже там транспорт есть!

— Даже. Насмешил. У них там, наверное, много чего есть. При таком уровне освоения планеты...

Пауза.

— Интересно, а как они живут?

— Без экспансии? При закрытом окне контакта? Без интереса к миру вовне? Очень просто. Ты знаешь, сколько книг на Земле было написано?

— Ну да, мы и сотой доли не прочли.

— Сотую, думаю, прочли. А картины, а музыка? А видео?

— Да... это бесконечность...

Пауза.

— И общение. И отношения между... между людьми. И дети? Их тоже воспитывать и учить нужно.

— Откуда у них дети?

— Оттуда. Численность социума поддерживать, наверное, надо?

— А если и не надо, то инстинкт.

— Ну да...

Пауза.

— Но окно...

— Похоже, что зарыто.

— Не окно.

— ?

— Дверь.

Андрей Загородний
Стокгольм



СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Стол поворачиваться не собирался, даже не шевелился. Мы сидели вокруг, взявшись за руки, если слово «сидели» можно применить к тринадцати adeptам спиритизма, притиснувшимся друг к другу вокруг скромных размеров столика. Точнее — двенадцати или даже одиннадцати, меня лично называть adeptом неправильно. В правой ладони я держал тонкие пальцы Манечки, и именно она была причиной моих посещений этой чужеродной, в общем-то, компании. Но когда влюблён, не обращаешь внимания на подобные вещи, тянет к девушке, обаятельно повернутой на мистике, на эзотерических действиях и смыслах — значит, сам поворачиваешься лицом к этим смыслам. Даже если смущают и приемы, и гороскопы.

Вторым человеком, в спиритических интересах которого я сомневался, был Волков, как раз в тот момент сжимавший правую руку моей возлюбленной. Судя по всему, его вообще ничего не интересовало, а приходил он потому, что батареи здесь жарили на всю мощность.

Почти сразу, в один из моих первых визитов, выяснилось, что Волков — не фамилия, а прозвище. Когда-то давно он оказался в зимнем лесу со сломанной ногой. Как оказался и почему со сломанной, я не знал, одно дело сплетни слушать, другое — ещё и расспрашивать. Тогда он зарылся в снег ждать удачи или, что вероятнее, холодной и голодной смерти. Однако смерть явилась быстрее ожидаемого — в образе волка, тоже голодного. В пользу зверя были все четыре здоровые ноги и привычка к заснеженному лесу, в пользу человека — только руки. Волков задушил хищника, потом расковырял шкуру ключом от квартиры и питался мясом, пока на него не наткнулись какие-то лыжники...

Пожалуй, проведя неделю в снегу, я бы тоже ценил тёплые помещения. Компания же испытывала к Волкову очевидный пиетет, что я объяснял тем же случаем — волкам во всех верованиях нашлось место, почему бы им не осенять своей аурой и спиритические сеансы?

Остальные участники? Даже по именам их почти не знал. Знакомились, представлялись, и тут же забывал — неинтересно. Только некоторых мог назвать, и то без уверенности.

Прямо напротив сидел Олег — юное существо с горящими глазами, мужской пол которого удавалось определить только по имени. Олег почти не говорил, но внимательно слушал каждое слово. Наверное, поэтому все к нему относились дружелюбно, во всяком случае все любители заумно философствовать, а таких в компании, понятное дело, хватало.

Часто появлялся некий Паша, задумчиво и униженно рассуждавший о японских практиках, как и все в

этом обществе, напивший на сакральное значение смерти. Тщедушный субъект, слишком много внимания уделявший жидкой причёске и, к сожалению, бросавший влюблённые взгляды на Манечку. Наверное, поэтому я его и запомнил.

Ещё, конечно, у квартиры имелась хозяйка Констанция Валериановна — высокая, крашенная под седину дама, неудержимо напоминавшая одну из телеведущих, она здесь всем и руководила. А больше имён я и не смог бы вспомнить.

Практическим оккультизмом мы до этого не занимались, во всяком случае, в те дни, когда я присутствовал. Участники вечерних собраний лишь вальяжно рассуждали о восточных практиках, достижениях душевных состояний и непостижимых — возможно, и для самих рассуждавших — философских концепциях.

Но в тот день сразу после чая Констанция Валериановна объявила, что звёзды располагают.

К чему конкретно они располагали, я оказался не в курсе, но объяснений никто не попросил, все дружно двинулись к круглому столику, и я лишь успел ухватить Манечкину руку.

Стол не вращался. После нескольких попыток хозяйка-ведущая принесла буквы от игры «Эрудит». Наши сцепленные руки протянулись вперёд и получили резную японскую палочку для еды. Палочка, точнее — указка, оказалась зажата в общем кулаке Волкова и моей девушки.

Некоторое время все сидели молча, почти не двигались, действие началось не сразу, медленно.

Свечи пахли чем-то южным, отключая голову, ведущая произносила экзотические, малозначащие фразы, указка неуверенно парила над столиком. Наконец она наклонилась и клюнула букву «у».

Ну и что? Не стесняясь, я повернулся к Манечке, в этот момент она открыла зажмуренные глаза и тут же испуганно заморгала. Почему — я не понял, две руки направили указку на случайную букву, никакой причины для беспокойства. Волков вон совсем не выражал интереса к происходящему в целом и к букве «у» в частности.

Манечка снова зажмурилась, после «у» указка ткнула в «м» и «е», а потом опять в «у», поставив меня в тупик. Слово росло и превратилось в загадочное «умеубит».

Абракадаброй для окружающих оно не выглядело, все восприняли получившееся сочетание букв серьёзнее, чем я ожидал. Замерли, казалось, задержали дыхание, потом послышался шёпот:

— Кто?

Ведущая продолжила произносить странные фразы, указка вновь воспарила над столом.

Второе слово вышло понятным: «Паша». В компании имелся один Паша, тот, который интересовался японскими практиками и Манечкой. Но он в этот день не пришёл и, по моим представлениям, к происходящему отношения не имел.

Почему Паша умеубит и что это за эпитет, я не знал, только заметил, насколько остальные выглядели

напряжённо, нервозно. Вдруг кто-то вскочил, щёлкнул выключателем. В глаза тут же бросилась Манечкина бледность.

Выдержав паузу, хозяйка произнесла:

— Надо позвонить Паше.

Никто не отреагировал, и она сама достала мобильник.

— Вне зоны доступа. — Вздохнула и заключила: — Поедем.

Если на меня и действовало очарование антуража, оно исчезло при первой же мысли тащиться куда-то среди ночи. Но Манечка, несмотря на бледность и, казалось, готовность упасть в обморок, настояла на поездке.

Вызывали семиместную машину, по числу не проявивших благоразумия участников, потом ждали её больше часа. Хозяйка пыталась дозвониться и поменять заказ — два обычных такси приехали бы быстрее, но по ночному времени живые операторы трубку не брали, а внести изменения через апп не получалось.

Напряжение только росло, и я даже обрадовался, когда настал момент выходить на улицу.

Машина выплонула нас перед обшарпанной пятиэтажкой.

Здесь, во дворе, маялась бессонницей завёрнутая в платок фигура. Такси уехало, мы двинулись к подъезду, но тут же услышали старушечий голос.

— Вы к кому? —

Получив ответ, фигура сообщила:

— Его в морг увезли.

В голосе промелькнула философская нотка: старуха, видимо, не ожидала, что на пути в морг Паша её опередит.

Поразмыслив, стоит ли посвящать нас в детали, добавила:

— На лестницу из-под двери кровь натекла. Милиция приезжала, скорая.

Больше от неё ничего добиться не удалось, да и не добивались. Не сговариваясь побежали наверх, на четвёртый этаж.

Дверь оказалась опечатана, перед ней были заметны размазанные тряпкой разводы. Волков наклонился, потрогал пальцем, понюхал, сказал задумчиво:

— Ещё липкая.

Я взял Манечкины пальцы, подумав — теперь точно упадёт в обморок. Но она выдернула ладонь, выкрикнула:

— Это я его убила!

Все оглянулись — кто недоуменно, кто испуганно, я — опасаясь начинающейся истерики.

Хозяйка первой вспомнила спиритический сеанс, попыталась успокоить:

— Иной мир назвал слово, медиум лишь держит обратный конец указки.

Получилось плохо, даже фраза у неё вышла корявой — может, потому, что здесь, на другом конце города, она уже не была хозяйкой, оставалась только ведущей?

Я вспомнил, что вместе с Манечкой указку держал Волков, но он-то, как всегда, эмоций не выразил. Даже неясно, почему он поехал с нами.

Впрочем, дела до этого мне не было. По совести, дела не было даже до убитого в собственной квартире Паши. Да и почему «убитого»? Возможно, неудачно упавшего в коридоре, разбившего голову об угол какой-нибудь полочки. Ах да, слово... я наконец понял, что значило «умеубит». Выбравший буквы начал писать «умер», но передумал и выдал «убит». Вот только кто этот выбравший? В мистику при всём желании поверить не удавалось, а Манечка на стол не смотрела и, главное, верила она в происходящее, не могла жульничать. Фокус? Например, встроенные магнитики, притягивающие конец указки? Хозяйка? Пожалуй, самое простое объяснение.

Через три дня мне домой позвонили, человек назвался следователем Петровым и попросил зайти в удобное время. Я пожал плечами (хотя видеть этого никто не мог) — подобные просьбы не обсуждаются.

Следователь Петров нашёлся на пятом этаже новенького здания прокуратуры. Он оказался немного раздавленным улыбающимся человеком, внешне ничем не напоминающим о правоохранительной профессии. Но, главное, он оказался Гришкой Петровым, с которым мы сидели за партой в пятом классе. Я бы не узнал, во всяком случае, с порога, но фразу «привет, Лягухин!» мог сказать только он. Это прозвище появилось именно тогда, но не прилипло — я слишком обижался. Теперь смешно, и только.

— Располагайся. — Гришка вытащил чайник, печенье и банку с мёдом.

Не помню, пили ли мы хоть раз вместе чай тогда, в школе, но после первых глотков показалось, что делали это постоянно, сидели, вели душевные беседы. Показалось... — но ощущение, пусть придуманное, приятно разливалось внутри вместе с чаем, и только ко второй чашке я вспомнил, где нахожусь, причём вызван не потому, что Гришка решил повидать школьного приятеля. Так и было: он расследовал дело о насильственной смерти Павла Машина. Фамилию эту я услышал впервые, но, конечно же, понял, о ком речь.

— Так его убили? — Вопрос звучал глупо, но мне простительно, я ведь впервые оказался в такой ситуации.

— Не уверен, есть признаки самоубийства, но есть и убийства. Разбираемся, точнее — я разбираюсь.

— Ищешь преступника? — Две глупости подряд — это перебор, но сорвалось с языка.

— Вряд ли. Ищу Кашина, может, ты знаешь, кто он? Найду, опрошу, возможно, тем дело и закрою. А пока работаю с твоей компанией.

— Компания совсем не моя, я там, знаешь, из-за девушки... — В пятом классе мы девушек ещё не обсуждали, но Гришка должен был понять.

Кашин, вроде бы мелькала эта фамилия, и даже в той квартире, но вот по какому поводу мелькала? Я решил помолчать, пока не вспомню конкретнее. Мо-

жет, просто похожая, вон Машин тоже только одной буквой отличается, прямо игра «Эрудит».

— То есть вся компания на подозрении? — сказал, чтобы не молчать.

— Зачем? Даже не свидетели. Вы ведь на место приехали, когда полиция уже работать закончила.

Не то чтобы я боялся, но статус «даже не свидетеля» обрадовал, и я спросил:

— Что произошло, расскажешь?

— Секрета в этом нет. Гражданина Машина нашли по месту прописки в коридоре квартиры. Дверь заперта, четвёртый этаж, дом без балконов, окна старые, деревянные, заклеены на зиму. Суицид, даже сообщение оставлено. Но в остальном — как раз в духе ваших собраний.

По ироническому тону я понял — Гришка уже разговаривал с кем-то из участников оккультных вечеров.

Паша лежал в узком коридоре, на животе неглубокая рана, не смертельная. Рядом валялся нож, лезвие десять сантиметров, костяная рукоятка со стёршимися иероглифами. Высокая табуретка, на сидении отпечатки выпачканных кровью пальцев, Пашины отпечатки. Порог тоже испачкан, но без различимых следов. Точно в том месте дерево сколото, будто специально, чтобы кровь на лестничную площадку вытекала. Но самое странное — след лица около замочной скважины: такой должен остаться, если его ударили лицом о дверь.

И ещё — лежал Паша не около лужи, а в полуметре сбоку на спине, как раз под надписью на торцевой стенке. Надпись тоже сделана кровью, его же пальцем, «Прошу винить Кашина».

— А умер он почему? — спросил я, когда Гришка закончил рассказывать. — Ты же сказал, рана лёгкая.

— Пока не знаю, рана так, порез, ещё нос повреждён сильно, наверное, о дверь, вот и всё. От разбитых носов люди обычно не умирают.

Гришка подмигнул, напомнив детскую ссору, после которой мы дружно одним платком унимали кровь из разбитых носов.

Смешная картинка — но улыбаться не хотелось. Это он привык на своей работе, а мне как раз представился во всех подробностях окровавленный Паша.

— Вскрытие покажет, — добавил Гришка. — Боюсь, не скоро, самоубийцы у патологоанатомов обслуживаются в последнюю очередь.

Идя домой, я думал о луже крови, такой большой, что вытекла за дверь. Нет, Гришка сказал, там порог такой, что наружу текло.

Всё равно, воображаемая картинка из головы уходит не желала, и почему-то казалось, что засела надолго.

В дверь постучали.

На пороге стоял Волков. Увидев мою растерянность, поднял руку со старой доброй авоськой. В сетке поблёскивали бутылка водки и банка огурцов, окружённые полудюжиной безликих магазинных свёртков.

Что ему надо? Причаститься не с кем?

Пить не хотелось совсем, я и вообще от выпивки удовольствие получать не умею. Я скривился, но проход загораживать не стал.

Волкова мой хмурый вид не смутил. Сняв куртку и разувшись, он беспардонно отправился на кухню, спросил кастрюлю побольше.

Почти мгновенно сцена дополнилась закипающей на плите картошкой.

Только помыв чистилку, он заговорил.

— Водка не заинтересовала, извини. Я тоже к ней не очень, но незваный гость да без бутылки, сам знаешь, хуже кого.

— Значит, не выпить не с кем, а по делу? — Особой приветливостью мой тон не отличался.

— Поговорить. — На негостеприимность Волков чихать хотел, что, впрочем, и ожидалось.

— Про Пашу? — Глупые вопросы уже можно было считать моей фишкой.

Волков не ответил, его фишкой определённо было игнорировать всё для игнорирования пригодное.

— Кровь тогда не вся застыла, максимум часа три. Мы вместе весь вечер, четырнадцать человек, друг друга видели. — Волков сказал главное и продолжать не стал, оборванные сентенции его устраивали. — Ты без тараканов, вместе разберёмся.

Показалось странным: постоянный посетитель спиритических сеансов — и неуважительно о тараканах.

Я посмотрел на кастрюлю, постаравшись скорчить задумчивое лицо. Тараканы заводятся там, где для них есть пища, а вот я не ел с самого обеденного перерыва.

Волков молчал. Потому вдруг резко поднялся и за пару минут сотворил картофельное пюре, извлёк из авоськи и нарезал красную рыбу.

Пища определяет сознание, именно в этот момент он перестал казаться бесцеремонным вторженцем.

— Разобраться надо. — Водка всё-таки оказалась в стопках, но совсем по чуть-чуть, символически.

— Зачем? — Я продолжал в своём духе.

— Рассуждают о далёкой смерти. Мысли об убийце кружок развалят. Ни мне, ни тебе невыгодно.

Почему это мне невыгодно? Наоборот, хорошо бы Манечка меньше внимания уделяла гаданиям, а больше элементам мира реального, больше внимания мне, например.

Дождаться глупого вопроса Волков не стал.

— Поменяется массовка, и принцесса забудет роль.

Он так переделал крылатую фразу, что я не сразу её узнал, а узнав, спросил:

— Значит, в театре работаешь?

— Нет, пословицы знаю.

Странно, я даже не сразу обратил внимание, что о Манечке... не то чтобы плохо, но немного пренебрежительно. Не сообразил, не возмущился, теперь поздно — проехали.

— Почему ты выбрал те слова? «Паша умеубит». Ведь ты указку держал.

— Ритуалами не интересуюсь. Указку Манечка держала. Представь, что удобнее: её кулачок в моей ладони или наоборот? — Он пошевелил пальцами, по слухам задушившими волка.

И не поспоришь, но я постарался вспомнить всю картину. На руки я внимания действительно не обратил, смотрел только на лицо.

— У неё глаза были закрыты.

— Это тоже надо понять.

Вдруг Волков засобирился, точнее — взял с подоконника свою авоську. Уже надевая в коридоре ботинки, добавил:

— Что узнаю — расскажу, ты узнаешь — расскажешь.

Через два дня меня опять вызвал следователь Петров. На этот раз он был не столь радостен и сразу объяснил почему.

— Значит так: нехорошая картина складывается. Если это убийство, то ты оказываешься подозреваемым. Машин тебя боялся, установлено. Так что извини, но или я должен передать дело, или наша школьная дружба продолжается после выяснения твоей невиновности. Думаю, понимаешь — передача дела не в твоих интересах?

— Подожди, — вырвалось у меня. — Там же такая компания, что каждый каждого бояться может.

— Не спеши, дело не в компании, всё смахивает на обычную бытовуху, на убийство из ревности. Машин испытывал влечение к твоей пассии, в определённом смысле взаимное. До твоего появления. Будешь утверждать, что не знал?

Про взаимное я не знал, про взаимное захотелось двинуть Гришке в ухо. Не двинул, опомнился. Чего я ожидал? Чтобы двадцатилетняя девушка мной первым заинтересовалась? Нет, я, конечно, влюблён, но очевидные вещи всё же понимаю. Задевает, что именно Паша, очень уж неприятный персонаж, но, если подумать, кто соперника приятным назовёт?

Оставалось только промолчать и слушать следователя Петрова.

— На твоей стороне запертая изнутри дверь, но если выяснится, что её сумели закрыть снаружи, дашь подписку о невыезде. Пока без неё обойдёмся.

Я поднялся, не спрашивая разрешения, и неожиданно для себя повторил тоном Волкова:

— Надо разобраться.

— Хочешь — разбирайся. Встреться, например, с вашим Олегом, он может много интересного рассказать.

— С ним? — В моём представлении бесполой Олег был существом ещё и бессловесным, только слушающим.

— С ним, — подтвердил Гришка. — Кстати, самый адекватный парень в вашем обществе.

Если говорить об адекватности, то на Олега я бы ни за что не подумал. Хотя ничего я против него не имею. Внешний вид? Так с ним рождаются, все претензии к родителям.

Я только пожал плечами. В последние дни мне столько раз пришлось ими пожимать, что можно галочку ставить в графе «заняться физкультурой».

Олег оказался хорошим собеседником, только называл меня на «вы». Двойственное чувство — с одной стороны, приятно, когда тебя уважают, с другой — уважают ведь из-за возраста, чему радоваться?

Встречались в кафе. Сначала просто пили кофе и разговаривали, причём с удовольствием, к моему удивлению. Ни слова о мистике, эзотерике и духовных практиках, только о вещах реальных и интересных.

Наконец я спросил в лоб:

— Извини, но мы говорим так, будто не в спиритическом обществе познакомились. Я — ладно, я с девушкой туда хожу, но ты почему за час беседы ни разу сверхъестественного не вспомнил?

— А, это... — Олег смутился. — Извините, не верю я в спиритизм. Раньше молчал, но теперь ведь всё равно никто там собираться не будет.

Он — и не верит? Да он каждому самодельному пророку в рот заглядывал!

— Понимаете, я в цирковом учусь, хочу с фокусами выступать, а учебный план — только скука. Вот и попросился, хотел понять, каким образом стол вертят, как предсказания совпадают, ну и всё остальное.

Вот сюрприз! Пожалуй, действительно адекватный парень.

— Подсмотрел?

— Не-а, не получилось. А может, и не вертят совсем, может, им только кажется? Самовнушение сильный эффект должно давать.

— Не вертится, сам видел, — подтвердил я. — А как быть с выбирающей буквы указкой? Все ведь смотрели. Может, там магниты?

— Да, это непонятно. Вряд ли они. Мне физики знакомые посчитали — магнетики там только маленькие можно спрятать, недостаточно для такого расстояния. Я их спрашивал не в этот раз, а в прошлый, когда вы не приходили ещё. — Потом огорчённо добавил: — Можно книжки по спиритизму почитать, но я хотел сам заметить.

— Давай так, — предложил я, — книжки по спиритизму беру на себя. Если фокус — рассказывать не буду, если другое, сообщу. Что сам надумаешь, мне сообщишь.

Окончание разговора получилось почти такое же, как с Волковым. Кстати, повидаться с ним во второй раз теперь входило в мои планы.

Встретились опять у меня, и опять Волков приготовил простую основательную еду. Ему, наверное, нравились обычные земные занятия. По контрасту с эзотерикой, что ли?

Я озвучил сказанное Петровым, Волков даже не хмыкнул. Впрочем, реакции и не ожидалось. Кстати, о вещах земных: в тот первый разговор я не спросил, какой у него интерес ко всей этой компании. Был ведь удобный момент, а мне, как всегда, вечность нужна, чтобы правильный вопрос придумать.

— Какой тебе интерес в эзотерике? В мистику не веришь. Но не помню, чтобы ты хоть одно собрание пропустил. — И на всякий случай добавил: — Извини,

что в лоб спрашиваю. К месту бы в прошлый раз спросить, но тогда мимо меня прошло.

— Вариантов нет. — Волков впервые улыбнулся настоящему. — Или участвовать, или прочь из дома по вечерам.

— Это твоя квартира? Не Констанции Валериановны? — Кажется, я захлопал глазами прямо как Манечка.

— Её тоже. — Он ещё раз улыбнулся. — Общая ответственность, ну и мелкий семейный бизнес.

Вопросами я мучился недолго, объяснения получил тут же.

Вечера спонсировал кто-то из людей богатых, а они с женой Людой, которая на самом деле не Констанция, деньги честно отработывали, организовывали собрания кружка.

Всё законно, деньгодатель в курсе, ему отношение хозяев до лампочки, посетители своё удовольствие получают. И никаких фокусов-жюльничества, фокусы показывать никто не умеет.

В последнем утверждении я имел основания сомневаться, но озвучивать профессию Олега не стал, как не относящуюся к делу. Кстати и понял, почему Волков тогда вместе с нами к Паше поехал, обыкновеннее не придумаешь: жену одну отпускать не хотел.

— Что ты о Паше знаешь? У меня, сам понимаешь, отношение предвзятое.

— Такой же как все. Символы, предзнаменования. Своя фамилия Машин, вот на Манечку и запал. Ерунду нёс, ради предназначенной женщины жизни не жалко. Не этими словами, но примерно так.

— Думаешь, самоубийство?

— Хорошо, если следствие согласно.

Под самый конец я не удержался.

— Слушай, а про волка — это правда?

— Не знаю, — отмахнулся он. — Ночью в лесу волк от собаки отличишь? Потом прививки от бешенства...

Олегу я позвонил сам. Не из-за срочности-необходимости, а поговорить захотелось, высказать соображения и по ходу рассказа самому свои мысли по полочкам разложить.

Встретились в том же кафе, опять начали ни о чём, но на этот раз болтали недолго. В конце концов, дела есть у обоих.

— Значит так, — сообщил я. — Ничего про фокусы с буквами найти не удалось, зато прочитал про лозоходцев.

Олег кивнул: кто такие, объяснять не пришлось. А вот найденный мною термин «идеомоторика» оказался для него столь же новым, как и для меня ещё день назад.

— Психологический феномен. Медиум подсознательно выбирает букву, и его пальцы непроизвольно шевелятся. Он сам этого не замечает — всё без участия воли. Кажется, что указка движется сама, а на самом деле принцип рычага — дальний конец даёт возможность увидеть микродвижение мышц.

— Да, — дополнил картину Олег. — Транс медиума даёт больше возможностей подсознанию.

Насчёт транса у Манечки я не был уверен, но дело, конечно, не в нём.

— Манечка?

Было видно, как неудобно Олегу это спрашивать. Зря, я ведь сам о ней думал.

— Не сходитя, точнее — не всё сходитя. Паша ей говорил об угрозах.

С чьей стороны угрозы, я предусмотрительно умолчал.

— Но она всё делала зажмурившись, я точно видел.

— Но могла ведь в щёлочку подсматривать... — Олег почти извинялся.

А правда! Как я сам не подумал? Очень подходит для Манечки: от страха зажмуриваться, но из любопытства всё-таки подглядывать. Да любые ритуалы так же устроены — снаружи показываем одно, а в голове немного, но другое.

Мы переглянулись — разгадка, ну, или очень хорошая версия теперь имела. А Олег ещё спросил:

— Почему Паша рассказывал об угрозах? Мне казалось, он бы не стал говорить, постеснялся бы.

«Потому, что никаких угроз не было!» — чуть не проболтался я. Вместо этого спросил, почему постеснялся бы.

— Так мне кажется. Понимаете, мне кажется, он своих слабостей стеснялся.

Олег замолчал. Наверное, думал, сказать ли, но продолжил:

— Мы случайно на улице встретились, оба к Констанции Валериановне шли. Завернули в арку — а там девчонка на асфальте в крови, со скейтборда навернулась.

Олег тогда наклонился... нога у девочки распухла прямо на глазах, скорее всего перелом, а кровь просто из ссадин. Начал успокаивать, сказал не глядя «надо скорую вызывать». Несколько минут прошло, распрявился, а Паша стоит бледный и на кровь смотрит, даже телефон не достал.

Я представил их, заходящих в арку: совсем юного Олега и тщедушного, но взрослого Пашу. Если выбирать, кто крови боится, не задумываясь на Олега показал бы.

— А откуда ты знаешь, как переломы выглядят и как — страх крови?

— Да знаю... — Он застеснялся. — У нас в цирковом случилось, когда практические начались. Потом комиссия технику безопасности проверяла, наказали кого-то. Не знаю подробности, я же студент. А страх крови — тогда три человека точно так же в ступоре стояли, и одна девушка потом в Институт культуры перевелась из-за этого.

Наконец мне удалось встретить Манечку.

Сначала, конечно, удалось дозвониться. Все эти нервные дни она отказывалась меня видеть, ссылаясь на неподходящий момент. А чаще просто не брала телефон. В голову пришло — вдруг все наши встречи подчинялись правильным-неправильным моментам,

помеченным на украшенном пентаграммами гороскопе?

Идею, пусть и занимательную, я отбросил — в обычное время подошла бы, но не сейчас. Сейчас девушка вправе испытывать шок.

И опять мы сидели в кафе, не в том же самом, в которое ходили с Олегом, но обстановка получилась похожей. А где ещё можно спокойно поговорить? Приглашение домой прозвучало бы двусмысленно.

Манечка ела мороженое. Она всегда заказывала мороженое, если мы оказывались в кафе, но только тут я заметил, что каждый раз выбирает самое сладкое. Сахарная девушка. Только разговор у нас шёл не сладкий.

Я вдруг сравнил её с той Манечкой, с которой познакомился два месяца назад. Попытался вспомнить, как она впервые привела меня к спиритам — теперь знаю, что к Волкову.

Вместо этого вспомнил, как встретился с Пашей... Вдруг вспомнил!

— Вот, знакомьтесь, — объявила тогда Манечка, и я тут же заметил брошенный на неё взгляд. — Это Паша.

Взгляд не понравился, я сразу определил Пашу как воздыхателя-неудачника. Тогда решил, что неудачника. Гришка вон говорит — ухажёр в отставке.

Имя своё называть не хотелось, не люблю сообщать неприятным людям то, что от меня ожидают. Взамен ляпнул первое в голову пришедшее:

— Кашин.

Это я тогда рифму к имени «Паша» ляпнул, теперь вот оказалось — и к его фамилии тоже рифму.

Никто не заметил, сам не запомнил. А Паша и заметил, и запомнил, и на стенке написал...

Манечка прервала мои размышления. И хорошо, и так бы лишнего навспоминал.

— Я не хотела с тобой больше встречаться. Совсем. А сегодня поняла всё, что случилось. Как хорошо, что я тогда... что мы тогда, во время сеанса, не спросили, кто убийца...

— Подожди. — Я попытался остановить поток непонятного. — Расскажи по порядку, при виде тебя у меня мысли путаются. От восторга, наверное.

— Ну хорошо, расскажу с начала, ты только не ревнуй. Тогда, до того, как всё случилось, Паша меня пригласил на свидание, сказал, это для него важно.

Странно, но эту новость я воспринял без крика «и ты согласилась?» Даже несмотря на склонность к глупым вопросам. Да, Манечка пошла на свидание, и Паша весь вечер уговаривал её со мной расстаться. Рассказывал, что я — страшный человек, способный на всё. Как-то это он понял методами омикудзи.

Быть страшным человеком показалось даже лестно, но Манечкин рассказ на этой браваурной ноте не закончился.

— А потом Паша признался, что ты обещал его извести.

— Именно извести? — хмыкнул я. — Хорошо не убить, очень бы, кстати, совпало.

— Ну ведь это одно и то же, ты ведь знаешь! Мощный духом убивает не прикасаясь.

— А я — мощный духом?

Пожалуй, Манечка меня переоценивала.

— Ну-у. Раз Паша так сказал... И знаешь, сказанное перед смертью имеет огромную силу.

Девушки, даже не имеющие мистических интересов, остро воспринимают тему смерти. Особенно если о ней говорит поклонник.

Но сообщать это я, конечно, не стал. Да и в голове у меня крутились реальные проблемы, в первую очередь перспективы, открывающиеся после подписки о невыезде. Так что я даже не спросил, почему Паша перед смертью наделил меня мощным духом вместо того, чтобы проклясть со всеми последствиями.

— Понятно. И чем свидание кончилось?

Вот опять. Хотел спросить про вещи, относящиеся к убийству, а спросил, не заглянула ли она поздним вечером в гости к кавалеру после прогулок-то по зыбким улицам.

— А потом эти буквы... — Манечка моих слов просто не услышала. — Если бы мы не ушли из-за стола, сложилось бы второе имя. Ну как ты не понимаешь? Сначала всегда имя жертвы, а вторым — убийцы.

Да, вторым определённо оказался бы я. Против идеомоторики не попрёшь.

Ощущение появилось очень неприятное, и я попытался прийти в себя, привычно пожав плечами.

— После всего я решила больше с тобой не встречаться. А сегодня подумала — ведь ты это из-за меня! Как же я могу с тобой больше не встречаться?

Только теперь я понял, что в ней было иначе, не так, как раньше. Взгляд. Обещающий? Скорее всего обещающий.

Дней десять назад я много отдал бы за такой взгляд, а тут удивился, вот и всё.

Гришка Петров позвонил днём, объявил:

— Эксперты результаты прислали, как с работы выйдешь, сразу ко мне чай пить. А то ты там замаялся в ожидании.

— К тебе за подпиской о невыезде?

Понятно, таким тоном плохие новости не сообщают, и про подписку я вспомнил просто так, в шутку. Хотя кто его знает, что подсознание внутри себя думало.

— Нет, лучше бланк сэкономим. Для преступника помахровее! — Гришка рассмеялся в голос и повесил трубку.

Настроение сразу улучшилось, я отпросился с работы и отправился в прокуратуру, не дожидаясь вечера.

Шёл и думал обо всём разном. Вряд ли захочется опять идти в салон Констанции Валериановны. Но вот к Волкову зайти будет здорово. И, наверное, к Люде, не всегда же она спиритку играет. Можно даже без приглашения — сам Волков и научил. Надо только имя его узнать, ему пофиг, но мне-то не всё равно.

И ещё Олег. Пожалуй, я обзавёлся двумя очень хорошими знакомыми. Может быть, даже друзьями. Не знаю, не рискую людей друзьями вот так сразу называть, присматриваюсь. Но здесь дело времени. Люди

они непохожие совсем, но оба умные и интересные. Непохожие — это хорошо, что за радость в одинаковости?

Настроение только улучшалось, даже луч солнечный мелькнул в конце улицы между домами. Но это уже когда я открывал дверь прокуратуры.

Чай опять был ароматным, и мёд, и печенье. Гришка рассказывал.

— Дело закрыто, несчастный случай. Не всё понятно, но всё сходится только в фальшивках.

Оказалось, экспертизу проводили не одни лишь патологоанатомы. В общем, Паша за каким-то лешим притащил в коридор высокую барную табуретку. Уселся на неё, но не удержался и упал, врезавшись лицом в дверь. Кинетическая экспертиза — есть, оказывается, и такая — сравнила высоту табуретки, вес тела и головы, расстояние до двери, степень деформирования тканей лица по отпечатку.

Никто его не бил и не толкал, просто упал с табуретки, сломав нос и, что оказалось фатальным, получив сотрясение. Сполз вниз лицом на порог, и кровь из носа потекла в щель на лестничную площадку.

Оклемався чуть, поднялся, опёршись на ту же табуретку. Сделал надпись — наверное, в помутнении рассудка. А может, юмор у него такой — среди знакомых ведь ни одного Кашина. От усилий голова закружилась, и он опустился на пол, но лёг лицом вверх — все так ложатся, чтобы кровь из носа унять, бессмысленный рефлекс. К несчастью, опять потерял сознание, текшую кровь не глотал и ею захлебнулся.

— Ты вряд ли знаешь, сколько детей так захлёбывается, — вдруг погрустнел Гришка. — А вот взрослые редко.

— А что в этой версии не сходится? — спросил я, причём вполне уместно.

— Непонятно, зачем он живот себе ножом расковырял. Наркоты в крови не обнаружено, даже алкоголя не нашли.

Тут меня прорвало... Уйти бы и всё, но... ну не чувствовал бы я себя нормально, не рассказав Гришке свои мысли. Только спросил сначала:

— Дело закрыто?

Он улыбнулся, замахал руками — закрыто.

— Тогда слушай мою версию. Только она умозрительная, экспертизой не подтверждена.

И рассказал всё, почти всё.

— Паша, Павел Машин, был здорово повернут на смерти, причём в японском стиле. Живот — это он характерно сделать хотел. Не учёл, что для этого с мечом упражняться надо, а не ментальные практики изучать. И крови он боялся. Ткнул ножом свой живот, кровь увидел и в обморок упал, нос разбил. И ещё, сам знаешь наверняка, самоубийцы обычно так самоубиваются, чтобы откатать успели. Типа акт засчитан, а что жив остался — так уж сложилось. Он мог специально носом к щели лечь, чтобы с лестницы заметили. А вот захлебнулся — к этому ничего добавить не могу, сам до такого додуматься не сумел.

Я перевёл дух и извинился:

— Знаю: о покойниках только хорошее. Плохо получилось.

— Нормально, — скривился Гришка. — С моей работой «только хорошее» несовместимо.

Потом спросил:

— А про Кашина в твоей версии есть?

Про Кашина в моей версии было, но говорить об этом я не собирался ни под каким видом. Про Манечку Гришка знает, про отношения её с Пашей — тоже. Усугублять эту линию не стоило даже после закрытия дела.

— Нет, про Кашина не знаю. Хотя... — Меня осенило, ложь, но ведь красивая: — А ты уверен, что это фамилия? Может, японское слово или божество? Кашин — вполне по-японски звучит.

— Скорее по-китайски или даже по-корейски.

Но меня несло.

— Никакого противоречия. Мифология Страны восходящего солнца берёт начало в мифологии страны Поднебесной. Ты только японцам про это не говори, обидятся.

— Нет у меня знакомых японцев. Я лучше забуду это до завтра. — Подмигнул и добавил: — Знаешь, насчёт знакомых, особенно старых, приходи к нам в выходные в гости. Бери свою Манечку и приходи.

— Конечно приду!

Я сам удивился, насколько обрадовался приглашению. Наверное, сидело в подсознании — дело закрыто, и не увижу школьного приятеля Гришку много лет.

И ещё что-то делалось в подсознании непонятное. Сам не знаю почему, вдруг добавил:

— Но лучше без Манечки.

СТИХИ

Елена Антипычева
Москва



Осеннее

Август осени дал закурить, а она
Закурила, должно быть, неловко;
Искру вдаль уронила — и листьям — хана!
Запылала. Но эта чертовка
Потушила дождями бесшумный пожар.
На промозглых углях голышами
Замерзают деревья: сиреневый пар
Так и валит из дупел клубами.
Утро нос вытирает сопливым платком,
В красном ухе стреляет по уткам.
Эх, пропарить бы реки горячим глотком!
Шлепнуть солнцем по пасмурным суткам!
Заблудившись, охотник не выйдет назад:
Компас бредит на адских куличках.
Темнота темнотой. Злые тучи висят,
Словно лозунг «Не думай о спичках!»

Осень краски сгущает, держа в голове
Куль несчастий, наделанных искрой.
Потому, кроме слез на пожухлой траве,
Ни огня в этой лености быстрой.

Вишня

В семи шагах от нашего двора
для дачного поселка работягам
велели проложить газопровод,
на дивном месте вырубив сперва
деревья и кустарники в цвету.
Мы плакали, слезами затопив
окрестности и вычурные дали,
кусали локти возведенной в культ
беспомощности, ростом с великана.
Но нам подали носовой платок
лихие коммунальщики, заверив,
что высадят там новые сады,
и мы, придя в себя, все засияли.
И вскоре нежных саженцев ряды
заполнили пустынное пространство
и побросали тени, не боясь,
что кто-то их сожжет под зорким небом.
Но вот однажды вечером, спустя
всего лишь год, мы увидели яму,
где вишня шоколадная росла,
готовясь плодоносить этим летом.

Демоны

Чьи-то глазища, косые от злости,
Ауру больно прожгли.
В дыры пролезли черные гости —
Демоны грешной земли.
И холодком, шепотком и щекоткой
Начали тело терзать,
Спаивать душу чистой водкой,
Лыко вязать — не вязать.
Нервными клетками хлопают твари,
Ржут исступленно они,
Как жеребцы в непрерывном угаре
В самые вольные дни.
Моют копыта кровью студеной,
Тащат еду из кишок,
Соки сосут днем и ночью бессонной,
Кости кроша в порошок.
Как выпроваживать этих проклятых,
Чтобы потом поскорей
Маг на прорехи поставил заплаты,
Крепче чугунных дверей?
Вера в прошедшее светится тускло,
Ярких следов не найти,
Чтобы в свое прежнее русло
Легкой походкой войти.

Синяя ткань на пальцах январского солнца.
Вышитый крестиком белым младенец Христос
Смотрит тепло в ледяные, как прорубь, оконца,
Божьим дыханьем парным прогоняя мороз.

Ветер на дальних окраинах топчется в гневе
И к наступленью готовится на Рождество.
Выдернув нитки, он бросит их под ноги Деве,
Дьявольским свистом озвучив свое торжество.
Крыши проломит,

чтоб влезть без утайки в квартиры,
Образ христовый наглец украдет из голов
И ослепит пострадавших полотнами мира
С полчищем кладбищ без фото и траурных слов:
Снежные хлопья смеются над мерзлой пустыней,
Свет, ослабев от ненастья, в хрустальный свой гроб
Слег, завернувшись в лоскутья материи синей.
Вьюга усопшему даром воздвигла сугроб.
Утром, как ночью: безумные ужасы живо
Плавают сверху, как Рыбы в космической мгле.
Бедные души, продрогнув, идут торопливо
По осажденной печальными снами земле.

Моему отцу

Никто не прав, никто не виноват
в родстве, отождествленном с тощей нитью,
готовой разорваться пополам,
задень ее крылом сквозняк весенний
в гостиной с вечно запертым окном.
Сквозняк пройдет, но нить не сшить, не склеить.

Быть может, это к лучшим временам.
Воображенье наше — просто линза,
дающая возможность нам смотреть
иллюзиям в лицо, не спотыкаться
о те противоречия извне,
что нам сигналият в радиусе метра.

Свободы вздох вне правил испустив,
поселимся на двух пустых планетах,
настолько удаленных друг от друга,
что не столкнуться им в кромешной мгле;
и ангелы, просыпавшие звезды,
сойдут с ума, и кинутся с вершин.

Что ни доброе утро — зима —
Шифровальщик житья отрицанья.
Из контекста чужого письма
Вырван собственный знак восклицанья.
Как дитя ты доверчив и смел,
Словно дряхлый старик суеверен.
Свет не чист, но пока еще бел,
Бог за стертой границей потерян.
От молчанья рождается крик
Неизвестной души в неизвестность.
Под ногами хрустит материк.
На тумане, сжимающем местность
До невидимой точки, повис
Обезумевший призрак спасенья.
Но сорвись он нечаянно вниз,
Не услышишь шлепка от паденья.

Не одним только вымыслом жив
Человек, получивший в наследство
От прошедшего дня негатив
Как весьма эффективное средство
Против фобий, софизмов и снов.
От пустого к порожнему — вечность.
Там, где пусто, сто тысяч следов
Неизменно ведут в бесконечность.

Когда мечтать неумоготу
И дуют траурные вести,
Ты пересек не ту черту
Не в том году не в нужном месте.
Настигнут шорохом лихим,
Ты из кармана вынул бритву,
Но перед идолом глухим
Творишь в отчаянье молитву.
Но вместо слов одно «аминь»
С дрожащих губ твоих слетает
И летаргическую синь
Дурным ознобом обжигает.
Пустые страхи — силачи,
Разбушевавшись до предела,
Как стаи демонов в ночи,
Сломили дух, скрутили тело,
Забили в угол разум твой.
Любая тень, возникнув рядом,
Толкает к бегству по кривой
В чащобе, кажущейся садом,
Хотя бежать неумоготу
И дуют траурные ветры,
Сметая начисто черту
И прошлой жизни километры.

И сквозь прутья дождя пролезает оранжевый свет,
И в зеленой траве замерзают упавшие звезды;
Вместо тихого «да» неожиданно — громкое «нет»,
Вместо ласковых фраз неуместные длинные тосты
Как намек на фальшивку природы
и всяких существ,
Перебравших намедни
во время застолья коварства.
Пьешь нектар, словно микс
отравляющих душу веществ
И спасаешься ядом, не зная другого лекарства.
Запрокинув башку, ослепленно глядишь в небеса.
Вот бы вытряхнуть разом из них
над поселками вишен
Порожденные Богом приметы Его — чудеса,
О которых ты слишком давно
в этом мире слышан.
Обновить бы сознание; земные законы хитро
Обойдя, притвориться счастливым до гибели, либо
Прекратить хаотично нести или сеять добро,
Ведь не все же равно,
КТО нам скажет за что-то «спасибо».
Душит свежее утро. Уставший лавировать, ум

Возвращается к мыслям и образам до вечеринки.
Но в ушах то ли звон, то ли скрип,
то ли писк, то ли шум
Вдрызг заезженной,
в старых царапинах лунной пластинки.

Дойдя до края безразличия
К одушевленному и мертвому,
Ты оглянешься для приличия
На дальнюю дорогу чертову
С травкою, выдранной вандалами,
С обледенелыми ухабами,
С друзьями бодрыми — усталыми,
С врагами сильными и слабыми,
И убедишься своевременно,
Что жизнь не прожита, а пройдена,
И ничего в ней не потеряно,
Пока жива — здорова Родина.
Пусть дни не светлые — чумазные,
Но вновь и вновь они рождаются,
Как малыши голубоглазые,
И между плачем улыбаются
Лесам, взьерошенным буранами,
Садам с ромашками — невестами,
Лугам, подернутым туманами,
И скалам с вечными норд — вестами.

Вагонов метро колыбели
Качают неспящих и спящих;
Виденья и сны мотыльками
Летят, грохоча, наяву
На шпалы в кромешном туннеле,
Где в лично сколоченный ящик
Их смерть загоняет пинками
Под горько — протяжное: «у».

За две с половиной минуты
От станции к станции спящий
Равно как неспящий надежды
Проносит сквозь мнимую суть.
Очнувшись от зова как будто,
Любой пассажир настоящий,
Не помня ни лиц, ни одежды
Попутчиков, скрасивших путь,

Всегда на своей выбегает,
И, слившись с толпой на платформе,
Раздумий огнем шестипалым
Хватает искусственный свет.
Крутой эскалатор не знает,
В какой удивительной форме
Ступени движеньем усталым
Считают мгновенья побед.

Траурное

Памяти актера Рутгера Хауэра

Вот и выпало время
Утрат на крови.
Непосильное бремя —
Не бремя любви,
Сокрушающей вздохом
Любую скалу
И всевидящим оком
Пронзающей мглу.

Снег на ветках, протянутых
Вдаль — невесом,
Но для согнутых в тяготах,
Доблестный ком,
Подавивший вещанье
Могучих лесов,
Как жар-птичье сиянье —
Вечерний покров.

Облака — занавески
Не сдвинет порыв
Бесшабашный и резкий,
Чтоб, солнце открыв,
Стать героем полудня,
Поскольку тепло
К замерзающим будням
Вернуться б смогло.

По пустыне широкой,
Минюя века,
Темно-серой дорогой
Уходит река.
Не по ней ли родимой
От плетки пурги
В праздный край нелюдимый
Сбегают враги?

А вот нет облегченья...
Чудовищный груз
На душе и сомненья:
Кто трус? Кто не трус?
Так, достигнувший цели,
Не верит в рассвет:
Все прекрасно на деле,
А радости нет.

Голова только кругом,
Озноб не берет.
Совещаться ли с другом,
Который не врет?
Повернуть ли обратно,
Пока не отвык
Изъясняться невнятно
В безумье живых?

Злых кустарников копыя
На небо глядят.
То волокна, то хлопья
Оттуда летят,

Не боясь приземлиться
На их острие
И слезами пролиться
На царство свое.

Неизвестности сказка
Милее в конце,
Ведь посмертная маска
Почти на лице.
Вот и те, кто исчез,
Эту вещь не забыли,
Кем бы ни были здесь.
И спасибо, что были.

Марина Саввиных
Красноярск



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР

К дорогим мертвецам под картонные своды...
До сих пор я не знаю просторней свободы,
И летит моя мысль, как живая ладья,
Над пучиной придуманного бытия.
Поднимайте меня, достославные крылья,
Из чумных катакомб, из беды и бессилья,
Из-под пыток кромешных, с подвального дна,
Где не видимы лица и речь не слышна...
Пусть откроет мне правду светлейшая выюга
О геройстве врага и предательстве друга,
О бессмертной мечте, о великой тоске,
О кровавых осколках на чёрном песке.
Что мне ржавые оклики поздних вигилий?
Я сама себе нынче и Дант, и Вергилий,
И в Летейское марево брошенный лот,
И сигнальное эхо Лернейских болот...

В противовес вселенскому распаду
И возбуждению виртуальных сфер —
Мне нужен — во спасение — Гомер...
Он для того и создал «Илиаду»,
Чтобы, цепляясь за его игру,
Я на весу уверенно держалась,
Чтоб не окаменела на ветру,
К своим богам испытывая жалость
И скромное достоинство своё
Им предъявляя в качестве ответа...
Какое одинокое питьё...
Как удовлетворение обета.
Высокое распутство — пить вино,
Единственное в мире, в одиночку
И всю кровью чувствовать — оно
Сию минуту воплотится в строчку

И вспыхнет где-то на краю времён
Бессмертному Гомеру в оправданье!
Хотя об этом вряд ли думал он,
Троаду отдавая на закланье.

Медведица сквозь небо проступает
своими нереальными чертами.
Любой лоскут небес вблизи таков же,
как тот, где проколот пространство Кто-то,
держа иглу уверенно перстами,
а мне сказали — это ковшик:
ковшик
старательно собрать спешу глазами.
Какая геометрия, Создатель!
А говорят,
природе не присущи
прямые линии:
но мне хотелось
узреть не «ковшик»,
а живого зверя
небесного, чьи лапы так бегущи,
а гласные мембраны так ревуши,
что можно дальше жить,
любовно веря
божественному подозренью предка,
который на заре туманной зры
решил однажды для себя про эти,
сквозь небо проступающие, точки,
что так положен образ мирозданья,
чертёж,
где все изменчивые меры
даны в какой-то изначальной строчке —
иглою исполинскою:
от веры
кружится голова, и взор мутнеет
от подступивших слёз:
какое зренье,
Создатель!
Я почуяла движенье
огромной серебристо-бурой туши,
метнувшейся наискосок:
движенье
увесистой, как жезл, когтистой лапы,
ударившей по небесам, обрушив
на человека страх и умиление:
Полярная звезда — благодаренье,
благоговенье, благорастворенье
души в зрачке:

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!..

Сбросят нас с вертолёт
на необитаемый остров,
мы построим хижину
из пальмовых листьев,
длинных
и очень прочных:

кровлей
будет служить
звероящера окаменелый остов,
мы видели что-то похожее
по телевизору
и в музейных витринах.
Нам не понадобится одежда.
Мы будем гулять нагими.
Счастье —
не знать чужеродных касаний
к собственной коже.
Нам не понадобятся слова.
Мы себе придумаем имя,
общее, на двоих:
мы будем одно и то же.
В мире, пустом, как Бог,
мы будем образ Бога,
ящерица на камне,
в гнущемся тростнике
предвосхищенье вепря:
чуткое, беспощадное,
живое, как птица, Око,
заново узнающее
о солнце, песке и ветре.

Не оставлять следов —
заповедь всякой твари.
Лишь бы не ведать времени,
не строить предположенья.
Только бы Всё спеклось
в одной человеческой паре
и не нашло себе
зацепки для продолженья!

ВЕТЕР

Над нами гудит юго-западный ветер,
Колблет под окнами мокрые ветви,
И, кажется, двери сорвал бы он с петель,
Когда б не упрямылись цепкие петли.
Наш дом — слава Богу! — надёжная крепость,
Но высунуть нос за ворота попробуй —
Идущей весны молодая свирепость
Такой вдохновенной пропитана злобой,
Что как ни спасайся велюром и фетром,
Ни прячься в изделия, подбитые мехом,
Гляди: твоя грива наполнена ветром! —
И Кто-то заходится облачным смехом
Над бесперспективностью жалкой попытки
Уйти от причины своей подноготной,
От этой разнузданной мартовской пытки,
От неистребимой тоски приворотной!..
«Мой друг! Я слаба... Мне не надо полёта.
Всю жизнь я хотела лишь прочного крова!»
Но нет милосердия к тебе у Кого-то,
И ты улетаешь... И снова... И снова...

В этих тихих тенётах запутано сердце моё,
 В этой легкой куртине моею окрашены розы
 Фосфорической кровью... Как долго болит остриё,
 Претерпевшее в сердце жестокие метаморфозы!
 Вся его острота — не длиннее последнего дня...
 Что-то кружится в воздухе — желчно, как пух
 из подушки.
 Ты хотел поиграть, а наткнулся во тьме — на меня.
 Мне ведь тоже слова заменяли когда-то игрушки.
 Что ж! Играй, дорогой! Здесь и флейта,
 и галльский рожок...
 И волшебный станок, превращающий мысль
 человечью
 В золотистые струйки, в звенящий горячий песок,
 Чтобы строить дома из песка, побывавшего речью...

На высоте, где воздух так разрежен,
 Что легкие бессильно липнут к рёбрам —
 Стою одна... И взор мой безмятежен,
 Уже не склонный к чаяньям недобрым,
 А склонный к летним пастбищам сознанья,
 Не ведающим горечи и дыма,
 К излучинам речного осязанья,
 К стволам, встающим неисповедимо
 На суетном пути... Там трепетали
 Мальки на гальке отмели, губами
 Ступни мои босые щекотали,
 А в небе тучи сталкивались лбами
 И камни шевелились под ногами...



Дмитрий Аникин
 Москва

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

1
 Малого мальчика
 оставили, огольца,
 на большой Москве,
 во главе.
 Шепот вокруг него,
 кто чего
 думает: «Вот поверь,
 что этот удержит Тверь,
 присмирит Рязань;
 дело-то наше дрянь —

расползется земля
 прочь, врозь от Кремля!»

2
 Этот город — всем городам
 город,
 вдыхает в своих князей
 власть, силу.

Новый Иерусалим
 встанет в стенах белых,
 Новый Иерихон
 стены свои рухнет!

Этот город сам по себе
 стольный,
 вырос среди лесов, топей —
 твердь, камень.

Новый Иерихон
 стены свои рухнет.
 Новый Иерусалим
 встанет в стенах красных.

3
 Это место строит, созидает,
 камни движет, людям путь-дороги
 к центру, к топи, к городу сдвигает,
 взоры тянет и торопит ноги.

Кто мы этой власти, этой силе?
 Чернь земли и, даже если князи,
 прах и пепел, имена забыли
 в вещей тьме, налипшей вящей грязи.

4
 А в церквах-то наших благолепие — дым да звон,
 а в церквах-то наших покаяние — плач да стон,
 а на площади, в городе, враг наш преткнулся чтоб,
 а богатый, повапленный, каменный ставлен гроб.

Хитер господин митрополит Алексей,
 самого Иуду заставляет служить нам,
 присяги разрешает: ко благу предать,
 если предаться Москве, всем ее властям!

А в мошнах-то наших копейке
 чего бы не стать рублем,
 а в домах-то наших тишь-гладь,
 даже смерть — потом,
 а тянем русскую землю, как скатерть-плат со стола,
 а станет пустой, неузорчатой ткань, как была.

Хитер господин митрополит Алексей,
 ведет наш корабль по тяжолым, большим водам,
 по Руси, подминая текучий, живучий народ,
 подчиняя Москве, всем ее властям!

5

И выходит из города тот, кому
нечем, незачем здесь дышать,
на просторе русском ему нищать,
а не строить вечную град-тюрьму,
а не слушать стон в свою честь от тех,
кого слышать, ушедшему, смех да грех.

— Камо грядеши?
— Прах отрясаю!
Босый да пеший —
к русскому раю.

6

Ходят вокруг нас, лепечут:
не та, не та Москва нынче —
не в возрасте, не в уму, не в силе,
гляди и жди — вот сейчас рухнет!
Зря волнуются, зря колдуют.

7

Всю силу мы
возьмем! Честной,
где денег тьмы,
тряхнем мошной.

Закон Орды
Москву вознес!
Рублей пуды —
в корм! Город рос.

За верность хан
дает кусок —
соседних стран,
морей глоток.

Наш герб — ярлык,
наш темен князь:
змеён язык,
во рту двоясь.

Там — червь и раб,
навек смирён.
Здесь — прав, не слаб
попирать закон!

8

Не ходи, Митя, на Куликово поле,
не бунтуй, русак, против законной власти,
не ищи себе свободы да вольной воли!
Бойся, что другие на тебя раззявят пасти!

Чем сильней орда, тем Руси покойней,
вся страна согнута, как раз под иго!
Изойдемся кровью в гражданских войнах
ради на вершок — а не больше! — сдвига.

Тягостна ли нам эта жуть единства?
Стыд глаза не выест. И только вера

еще помнит силу своих проклятий!
А не вся-то власть есть пошла от Бога,
а не всякой кровью грех лить на землю.
Выводи нас, князь, на своих поганных.

9

Схватились — славы, смерти нахватались.
Благословились. И Господь за нас:
засадный полк укрыл своею тьмой
до времени. И хлынули хоругви
по воздуху...

Какая-то убогая реальность,
насмешливая русская история,
где от побед нам пьяно, тошно, плохо,
а в битом поражении изыскиваем
какие-то несбыточные выгоды...

10

Посерьезнела, отяжелела, усилилась
русская беда.
Грозил мизерабль, самозванец, авантюрист —
теперь не то,
не равные о дележе тягаются супостаты,
но Орда сама,
зная главное свое, настоящее, поднялась
и на нас пошла.

11

Москву
жги, Тохтамыш!
То, что спалишь,
заново встанет,
всяких притянет!

Что нас жалеть,
тех, кому смерть,
прах, — москвичи
в Кремле, в печи!

Орда
в многих кровях
смоет стыд, страх —
пеплы остудит,
Родиной будет

одной на всех!
Что же мы грех —
на брата брат —
так и казнят!

12

Москва!..
Страна!..
Россия!..

А не людьми сильна! Какой-то низшей,
хтонической, болотной, некошной —
той силой,

которой смерть и горе только снедь,
чтоб чавкать, чтоб растеть да матереть.

13

В чем тут наша выгода в пожаре? —
В несвободе дальше, в большей дани,
в общей силе доля, в вечной сваре,
в черной степи наш удел наследный!

Перетянем власть их, правду, злобу —
все мы тут потомки, чингизиды,
жадные захватчики, утроба
новых просит, ждет себе пришельцев.

Белою стеною отделиться
от прибудной, кочевой стихии
было время, но Москва впустила
тех, кто станет ей большой Россией.
Настоящее, навечно иго.

14

Перетянем в мать-Москву
блядь-татарву!
Будет наша старая
сильней их Сарая!

Встанет твердь-орда,
кочевать прочь куда? —
Пуп твой, земля,
там, где спуд Кремля.

ПАМЯТЬ

Александр Герасимов

Калининград



Родился в 1955 году в таёжном Приамурье, закончил исторический факультет Благовещенского пединститута, на Дальнем Востоке работал учителем, редактором газет и телевидения, генеральным директором государственной телерадиовещательной компании «Амур», председателем Амурской областной орга-

низации Союза Журналистов России. С 2011 года живёт в Калининграде.

НЕ КАЖДЫЙ УМЕЕТ ПЕТЬ

Преподавательницы кафедры литературы моего историко-филологического факультета все, как на подбор, были красавицами. Вчерашний школяр, с длинными, выгоревшими в белый лён, не знавшими расчёски волосами, я был стеснительным. Молодые преподавательницы были взрослыми и, оттого, казались ещё красивее. Я видел, как они с сожалением смотрели на меня. Сожаление выражалось в разговорах, что «этот мальчик» не правильно выбрал специальность, что «этому Саше» надо было поступать не на историческое, а на филологическое отделение. Умные красавицы были правы, но учёба на историческом считалась престижнее, поступление туда потребовало самых высоких баллов.

Свою природную застенчивость я компенсировал тем, что со сцены институтского Актового зала декламировал стихи. Читал Пушкина, Маяковского, Есенина.

Вы пробовали читать стихи в чёрный зал, когда глаза забивают яркие софиты и прожекторы? Первые секунды на сцене очень тревожны, колотится сердце, сжимается диафрагма, голос чуть садится и кажется чужим. Публика не сразу настраивается на приём твоей волны: слышны шорохи, кашель, стук откидных стульев и даже смешки. Но это только в первую минуту. На следующей — зал, вдруг, затихает, слышишь, как твой голос уверенно заполняет замкнутое далёкими стенами пространство. Ощущение свободного полета, словно, выпав в бездну, расправляешь руки и паришь, подхваченный потоком ритмичных строк. И уже не боишься делать паузы, слышишь вакуум тишины, потрескивание раскалённых ламп, вновь продолжаешь говорить стихи, понимая музыку, символы и глубину произносимых слов. Заканчиваешь читать, неуклюже киваешь головой, в тишине идёшь к тяжёлым плюшевым шторам, к выходу со сцены в пустой институтский коридор. И только здесь тебя догоняют аплодисменты. Хлопают громко и долго, как будто приглашают снова выйти на сцену. Никогда не выходил. Ведь не я те стихи написал. Просто помог их услышать.

Однажды, почти через четверть века после окончания института, зашёл в гости к своему другу и учителю Юрию Петровичу Залысину.

— Лёгко на помине, — засмеялся учитель, — с Анатолием Васильевичем Лосевым тебя только что вспоминали.

— Юрий Петрович, я не учился у Лосева, не может он меня помнить.

— Ну да, ха-ха! Всё помнит. И тут, говорит Анатолий Васильевич, выходит на сцену патлатый Герасимов, и с демоническим видом начинает читать Пушкина! Сильно читал. А девчонки тебе глазки строили. А?

— Наверное.

— Анатолий Васильевич сожалел, что ты у него не учился, а то бы на кафедре оставил. Всё-таки девчонки тебе глазки строили, хо-хо!

Оказывается, бывший директор областного телевидения Юрий Петрович Залысин, поучавший меня журналистскому ремеслу, и заведующий кафедрой литературы нашего пединститута Анатолий Васильевич Лосев, у которого мне не довелось учиться, — давнишние приятели. Они были очень похожи, даже внешне: большие, грузные, всё понимающие и добрые люди, провинциалы, интеллекту которых позавидовали бы столичные академики.

Надо же, а я с Анатолием Васильевичем, встретившись на улице, только едва здоровался, никогда не заговаривал, полагая, что он меня вовсе не помнит.

...Нет уже ни Юрия Петровича, ни Анатолия Васильевича. Светлая память обоим...

А девчонки глазки строили. Тысяча девятьсот семьдесят пятый. Восемьдесят лет со дня рождения Есенина. По институту разнеслось, что есть второкурсник, знающий всего Есенина наизусть. Меня стали приглашать почитать стихи в разных группах, после занятий. И я читал. Выступал и на погранзаставах, и в каких-то строительных организациях, даже — перед заключёнными исправительной колонии. Как-то вечером затащили к себе девчата — литераторы с выпускного курса. Полная аудитория невест на выданье, улыбаются: кто соблазнительно-невинно, кто печально и томно, кто вызывающе-откровенно. От такого смущающего внимания, от стреляющих подкрашенных глаз я готов был провалиться сквозь пол. Для ребят старшие девчата интереснее ровесниц — загадочны, безумно привлекательны. Тушевался, но выстоял. Два часа без перерыва профессиональным литераторам-словесникам читал стихи девятнадцатилетний студент исторического отделения. И я им понравился, но...был робок.

Даже сейчас, уже не молодым человеком, в компании, под настроение, позволяю себе почитать стихи. Вижу удивленно открытые, или прикрытые веками глаза присутствующих. После моего десятиминутного монолога возникает неловкая пауза. И кто-то, из тех, кто услышал меня впервые, спрашивает: «Это Есенин написал? Никогда не думал, что у него есть такие стихи». Чаще всего я читаю есенинскую «Исповедь хулигана»:

Не каждый умеет петь.
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам...

Читаю и Пушкина. Слышу ещё более простодушное: «Так это Пушкин?! Александр Сергеевич?». Весьма неглупые, даже, как сейчас говорят, «продвинутые» люди смотрят на меня неожиданно наивными глазами. И кто-то просит: «Прочти ещё что-нибудь». Или: «А вот это помнишь? Вот это мое любимое...». Иногда расчувствовавшийся человек запоздало советует: «Тебе в артисты надо было идти».

В артисты? Упаси, Бог. У меня нет поставленного «актёрского» голоса, «правильного» дыхания. Дикция не чёткая, расслабленная, иногда проглатываю от-

дельные звуки и окончания слов. Мне не кажется это важным. Надо просто произносить чужие стихи, как свои собственные.

Окончил институт много лет назад. Преподавательницы кафедры литературы из моей юности так и остались красавицами. Появились новые, молодые и тоже очень красивые. Мог бы с ними работать, рассказывать студентам об удивительной музыке русской поэзии...

А петь я не умею, — хоть убейте.

ЯРЧЕ ВСЕХ ЦВЕТОВ ТАИТИ

Улыбке Сергея Сахарова могли позавидовать Джон и Роберт Кеннеди. У Сахарова были ровные белые зубы, светлые глаза, интеллигентное и мужественное лицо. За океаном он был бы находкой для вестернов Голливуда, политтехнологов демократов с республиканцами и всех без исключения рекламных кампаний — от хот-догов до Боингов. В 1977-м, не подозревая о гипотетически блестящих перспективах, Сахаров был редактором скромной районной газеты на узловой железнодорожной станции Сковородино. Этот промозглый северный посёлок Транссиба почему-то называют городом. Уникальнейший город. На всех советских глобусах и картах мира можно прочесть его название. Даже на тех, где не обозначены областные и краевые центры Советского Союза, не говоря об именах стран мелкого и среднего калибров. По этой причине для недружественных нам разведок Сковородино был самым загадочным городом СССР. Подозреваю, что в ЦРУ над его таинственным феноменом безуспешно ломали головы лучшие аналитики. Не могли ничего понять, терялись в догадках и сами жители таёжного захолустья. Может, дело в том, что здесь находится мерзлотная станция, единственная достопримечательность городка? Полагаю, иное. Когда-то к одному из вершителей судеб подданных великой империи (кому — исторически мною пока не установлено) пришли картографы показать на глобусе очертания безграничных владений. То ли то был царь с серебряного рубля, то ли генсек с бронзовой медали. Кто-то из этих двоих глянул на terra incognita — девственную таёжную пустошь от Байкала до Тихого океана и ткнул в самый центр этих просторов холёным в перстне пальцем или дымящей трубкой. И сказал: «Топографический знак поставьте. А то на вашем глобусе заблудиться можно». Пошутил или осерчал — переспросить побоялись. Сделали, как повелел. Потому и появился Сковородино на всех глобусах и картах. До сих пор там маячит. Сковородино подобен тригонометрическому знаку, деревянной либо ржавой железной конструкции, что устанавливают в безбрежной степи для ориентирования и привязки к местности. Что удивительно: на заграничных глобусах я его тоже видел.

В мятежные молодые годы каждый человек сам желает выбрать себе судьбу, наломать личную кучу дров и получить персональную порцию шишек. По институтскому распределению меня посылали директором в

лучшую сельскую школу на самый юг Амурской области. А я поехал на север, в неопределённость. Надеюсь попасть в корреспонденты районной газеты. Здесь и познакомился с обаятельным Сахаровым.

— Очень рад! — сказал редактор и улыбнулся красивыми зубами. — Сотрудник нужен, очень нужен!

Он ещё раз, уже не одной, а двумя руками крепко сжал и потряс мою ладонь.

— Старик! Пока вакансии нет, — редактор убрал улыбку, стал озабоченным, но уверенным. — Появится вот-вот. Завотделом писем уходит в декрет. Я заявку на литсотрудника в сектор печати обкома заранее подал. Ну, ты понимаешь, — редактор доверительно подмигнул. — Твоё будет место. Не переживай.

— И скоро это произойдёт? — кисло спросил я.

— На днях! — колебимо ответил редактор.

— А сейчас мне что делать?

Было обидно до слёз. Но их я, конечно, не пролил. Потому что недавно окончательно стал взрослым. Полтора месяца прошагал в косолапых кирзовых сапогах на институтских военных сборах. Там я каждый день набивал водяные мозоли. Догадался, что Кот в Сапогах — вымысел. Потому что коты, как и я, не умеют наматывать портянки. Расставшись с последними детскими иллюзиями, я получил погоны лейтенанта запаса и корочку диплома учителя истории.

Мою непоказанную обиду Сахаров всё-таки заметил и поспешил успокоить:

— Старина, иди в районо. Поезжай, куда пошлют. Не проблема! Недельку потерпи. Зато потом сразу на должность заведующего отделом. А? Хвост пистолетом! Заходи, когда соскучишься! Не стесняйся! Две недельки в школе поработай. Договорились?

Редактор даже похлопал по плечу, как лучшего друга. Не верить ему было невозможно.

Занёс меня чёрт! Ведь с детства слышал: «Бог создал Ялту и Сочи, а чёрт Сквородино и Могочи». Ну ладно. Недельку-другую потерпеть можно. Зато потом... Зато редактор на Кеннеди похож. Внушает доверие.

Разговаривая с собой, борясь с сомнениями, отправился в районный отдел образования. Там меня выслушивать не стали. Какая газета? Какой такой Сахаров? Ничего не знаем! Держите направление в Мадалан. Будете директором восьмилетней школы. Езжайте на место, знакомьтесь с коллективом. Приказ вышлем. Примете школу.

— Ничего я не буду принимать!

— Поезд завтра в пять утра. Там раз в сутки только один пригородный останавливается. Чёрте что, на Транссибе такой крупный лесопункт стоит, а поезда мимо идут. Пока переночуете в гостинице. Она рядом с «эрдэка».

— А что это?

— Районный дом культуры. Вы что, из тайги?

— Наверное. А думал, что из города в тайгу ехал.

— Привыкнете, — успокоили меня. — Поначалу все хотят бежать и повеситься. А потом привыкают. Палкой не прогонишь. Ещё спасибо скажете. Поженитесь. Будете бруснику и грибы собирать, охотиться...

— Я не охотник.

— Ну, тогда ловить рыбу! Аванс выдать?

— Да.

Я получил сорок рублей аванса и поселился в восьмиместном гостиничном номере. Сорокалетняя дежурная по этажу строила глазки и кокетничала. Вечером номер заполнился постояльцами. Соседи стали пить водку. Я отказался. «Не пьёт», — посочувствовали мужики. Отвернулся к стене и стал думать о превратностях судьбы. Потом о любимой девушке. О том, какими словами напишу ей письмо о красоте северной тайги. Пришла ночь, соседи громко храпели. В холодном воздухе над узловой железнодорожной станцией через алюминиевые колокола разносились переговоры диспетчеров. Короткие фразы громко множилось, улетали и возвращались удивлённым эхом: ...ой-ой-ой-ой!.. ай-ай-ай-ай!.. Тревожно вскрикивали невидимые локомотивы, нервно вздрагивали разбуженные составы. Незаметно заснул. Ковбой Сахаров был президентом Кеннеди, курил сигару и широко улыбался. Заведующая районо с ружьём в руках требовала вернуть незаконно полученный аванс. А дежурная по этажу подмигивала и говорила: «У нас все хотят повеситься. А потом рыбу ловят и женятся на местных девушках. Парень, женись на мне! Эй, парень!» Открыл глаза.

— Парень, эй! Просыпайся. На поезд опоздаешь, — надо мною стояла вчерашняя дежурная.

— Какой поезд? Куда поезд?

— Пригородный. В Мадалан. Сама бы уехала. От всей этой городской суеты.

Вспомнил про поезд. Удивился.

— Я же не просил меня будить.

— Так ведь из районо ночью позвонили. Разбуди, говорят, а то напьётся и проспит.

— Я не пил.

— Сначала все не пьют и не женятся. А потом начинают. Пить...

До лесопункта поезд шёл четыре часа. В середине этого пути за окнами проплыли высокие белые заборы с аккуратными струнами колючей проволоки. Пассажиры общего вагона притихли. Кто-то вздохнул: «Тахтамыгда. Строгий режим». В вагоне ещё долго молчали.

У моего лесопункта был вокзал. Вдоль стальных рельсов Транссиба желтели одноэтажные железнодорожные постройки. Впрочем, двухэтажных строений здесь сроду не было. Широкие улицы, разбитые лесовозами дороги. Отчего-то многие дома построены из шлакоблоков. Странные для тайги сооружения. Заготавливают строевой лес, а для себя жильё лепят из отходов посёлковой кочегарки.

Школа оказалась длинной деревянной развалюхой с просевшей крышей. Рядом на свежем фундаменте двое работяг из серых кирпичей шлакобетона городили стены нового школьного здания.

В учительской мне обрадовались. «Наконец-то! — всплеснула руками маленькая завуч. — И директор приехал и мужчина!» Оставив уроки, сбегался весь женский коллектив. Меня рассматривали и улыбались. Я попытался огорчить милых людей, сказав, что приехал ненадолго, временно. Завуч замахала руками: «Да куда вы от нас не уедете! Мы вам уже и невесту приготовили!» Из-за спин в мою сторону подтолкнули

высокую нескладную женщину. Стали наперебой представлять и хвалить:

— Ирина Брониславовна Яичникова. Учитель биологии!

— Летом из Ленинграда приехала!

— Красавица!

— Александр Владимирович!

— Наш новый директор!

— Молодой!

— Неженатый!

Утренник в сумасшедшем доме. В этот день уроки сократили. Мы пили чай. На столе появились сдобные домашние булочки, пирожки с брусникой и грибами. Неужели готовились к приезду? Откуда узнали? До вчерашнего вечера я и сам не ведал, что поеду сюда.

Уже на следующее утро я давал уроки. Учителей не хватало. По этой причине кроме истории взялся вести географию, литературу и рисование. Впрягся в работу, но время от времени напоминал коллегам о своём скором отъезде. Женщины не верили и ждали, когда я женюсь на Яичниковой. Не знаю отчего, но мне казалось, что этой барышне очень подходила её нелепая фамилия. Она выжидающе посматривала на меня. А я в её сторону старался не смотреть вовсе, чтобы не провоцировать и не подавать надежд. Кстати, она была моей соседкой. Я жил постояльцем в кособоком доме старенькой бабушки. Моя железная кровать стояла в узкой нише за печкой и отгораживалась ситцевой занавеской. Ленинградская «невеста» проживала в таком же соседнем доме. Может, маленькая завуч специально меня по соседству поселила?

Постепенно узнавал людей, уклад жизни в посёлке. В местной иерархии директор школы считался «вторым человеком». Первым — главный инженер лесопункта. Однажды мы познакомились. К школе подъехал чистенький «газик», вышел молодой человек, представился главным инженером. Пригласил посмотреть мой будущий дом. Мы поехали к окраине посёлка. Здесь вовсю кипела работа. Из шлакобетонных кирпичей бригада кавказских шабашников строила огромный, в четыре жилых комнаты, дом. У серых кирпичей — цвет грубого гранита. Оттого сооружение похоже на крепость. Даже чем-то на родовое гнездо горца. Неужели у меня будет свой дом? Его большой двор упирается в глухую чащу деревьев.

— Тайга... — с видом знатока я кивнул на тёмные заросли.

— Она, — подтвердил главный инженер, — ружьё обязательно купите.

— Я не охотник. Зачем ружьё?

— Чтобы от рябчиков отстреливаться. Когда нападут.

Мне очень захотелось жить в этом доме-крепости. Но ведь я не собираюсь оставаться здесь надолго. Меня ждёт газета, должность заведующего отделом и редактор Сахаров.

Я несколько раз приезжал в Сквородино, находил редактора. Тот каждый раз озабоченно и очень искренне удивлялся: «Знаешь, а она опять в декрет не ушла! Может, со следующей недели? Ты не теряйся, заезжай!»

Заведующая районо требовала принять школу. Именно сейчас, когда идёт строительство нового здания. Скоро справлять новоселье. А перед тем надо провести ревизию имущества, инвентаря и оборудования. Сначала я должен всё на себя принять, а потом самому себе и передать.

От Сахарова по-прежнему не было обнадеживающих вестей. У меня появились ружьё и удочки. Подстреленных рябчиков и пойманных хариусов приносил в школу и отдавал завучу. Мне рассказали, что её муж неизлечимо болен, на охоту и рыбалку не ходит.

Наступила неожиданно яркая осень. Сопки вокруг посёлка засветились праздничным осенним многоцветьем, а небо стало удивительно синим, чистым и высоким. Восхищаясь этой красотой, я с утра до вечера улыбался как дурак. Поехал в Сквородино, купил школьные альбомы для рисования и коробочки акварельных красок. Раздал это добро ученикам на уроке рисования. Пока не ударили морозы, выходил с детьми «на пленер». Они стеснялись цвета. Но уже на первых уроках я смог убедить не бояться ярких красок. Каждый ребёнок — гениальный художник. Акварелям моих учеников мог восхититься Гоген. Живые краски осени в северной тайге — ярче всех бутафорских цветов тропического острова Таити.

А в середине октября пришла зима.

Нет, всё было иначе. Сначала закройте глаза, потом откройте их и прочтите:

Ночью выпал снег. А утром люди проснулись, глянули удивлённо в окна, вышли из домов и поняли, что живут они для того, чтобы видеть эту красоту. До самых горизонтов мир волшебным образом изменился. По свету идёт зима, ступает сапожками по скрипучим, чистым, искрящимся солнцем снегам и привлекает озорным девичьим смехом. Красота её такой сверкающей невероятно чудесной силы, что смотреть на неё радостно до боли, до слёз. И так хороша, так прекрасна эта зима, что и другого времени года уже не хочется.

Такой я увидел зиму в таёжном посёлке.

Попав на пару дней в областной центр на курсы учителей географии, я с удивлением вернулся из сказочной зимы в неяркую городскую осень. Каждому встречному показывал рисунки моих учеников, рассказывал о тайге, призывал всех бросить всё и уехать жить «на севера».

Друзья и знакомые удивлялись моим метаморфозам. А друг Фёдоров на вопросы обо мне отвечал с восхищением:

— Мой друг уехал в Мадалан!

А ведь меня ещё недавно посылали директором в лучшую сельскую школу области. В большое и самое красивое на нашем Амуре село Касаткино. Если бы не этот звонок из обкома партии и приглашение зайти. Заведующий сектором печати Леонард Широков встретил почти с объятьями. Хотя в партии я не состоял, а из комсомола пугали исключить.

— Что же вы не побеспокоились о трудоустройстве, а? Могли бы пойти в редакцию областной молодёжной газеты. Редактор вас хвалит. Что же это вы?

Меня стыдили. Я был обескуражен. Неужели предложат работу в газете? Я обрадовался.

— Жаль, жаль, — вздохнул Широков, — но ничего для вас сделать не могу. Поздно. Впрочем... Вас куда распределили? В Касаткино? Вам повезло. Прекрасное село. Знаменитая школа. Отказывайтесь! Берите распределение в распоряжение Сковородинского района. Там в районной газете у Сахарова работать некому. Один остался. Как белка в колесе. С отделом образования мы договоримся. Езжайте. Если вы действительно хотите работать в газете. Или уже не хотите?

Вот так оно было. А вы на моём месте как бы поступили? И я о том же.

На ноябрьские праздники я поехал в Благовещенск. Любимая девушка стала догадываться, что в дальних краях меня попытаются женить без её участия. Мы без очереди расписались в пригородном сельсовете. Жене, учительнице физики, работы в Мадалане не нашлось. Трудоустроить в одной школе молодую семью из двух человек не смогли. Областное управление образования нашло нам работу в другом районе. Было грустно покидать «севера». Потом удивительные яркие рисунки мадаланских учеников несколько лет украшали мои стены, пока не сменили их живописные шедевры собственной доченьки.

Кстати, с редактором Сергеем Сахаровым мы стали друзьями. А заведующая отделом писем его газеты в декретный отпуск всё-таки ушла. В апреле.

НИ СЛОВА О ТЕЛЕВИДЕНИИ!

Оно высасывает глаза, завлекает, не отпускает и тупит умы. Оно — симуляция чувств, имитация мыслей и желаний. От нас требуется немного: пучиться в мельтешащие картинки, по команде невидимого режиссёра вовремя удивляться, умиляться, возмущаться, ненавидеть, плакать, смеяться, покупать, голосовать и подчиняться. Нам подскажут, где и какую эмоцию проявить, какой товар и какого политика захотеть, — вовремя щёлкнет и вспыхнет табло. Мы уже не можем представить свою жизнь без озабоченного президента, бесцеремонных ведущих ток-шоу, войны, терактов, рекламных роликов и этих (далее по списку): сытых депутатов, наглых силиконовых див, крашенных певцов сомнительной ориентации, обрюзгших юмористов, киношных бандитов, грязного белья только что умерших артистов. Список неполный, но по сути исчерпывающий. Жизнь мерцающего зазеркалья подавляет и подменяет иную, не виртуальную, распоряжается ею. Это бесконечный спектакль за гранью добра и зла. Это — телевидение.

Я отдал ему двадцать семь лет. Оно предало меня, а я проклял его. Дал зарок: ни слова о нём. Но оно мне снится.

Когда-то мне казалось, что мало кто так понимает его и чувствует, как я. До сих пор, даже отвернувшись от работающего телевизора, зримо воспринимаю, что там происходит. непрофессионализм и наглую фальшь чувствую кожей, физически, болезненно. Не читайте советских газет, — рекомендовал персонаж «Собачьего сердца» Филипп Филиппович Преображенский. Рефлексивному человеку перед приёмом пи-

щи было крайне вредно читать те газеты, портился аппетит. Нынешнее телевидение бесстыжестью превзошло советские газеты. Люди добрые, не смотрите телевизор! — говорю вам я, персонаж и персона (в недавнем прошлом) отечественного телевидения. Вам грозит уже не изжога и несварение желудка, а более страшная болезнь — неизлечимый идиотизм.

Не циник, даже не прагматик, а должно быть — последний романтик, — до сих пор наивно полагаю, что телевидение — собеседник. Это гость, который без стука и спросу входит в дом и становится в нём желанным. Конечно, такое возможно только в идеале. Но телевизионному человеку надо к нему стремиться. Расположи аудиторию к себе, потому будь сам предельно открытым. А где невозможно, прояви сдержанную иронию. Лучше промолчать, чем лукавить и лгать. Корректная недоговорённость часто сильнее многих слов и нервных эмоций.

Могу надавать немало советов. Но кому?

Моя первая телевизионная должность — редактор молодёжных программ. На самом деле редактировать я мог только себя, потому как являлся и автором сценария, и ведущим собственной телепередачи. Первое задание: сорок пять минут эфирного времени для рассказа о молодёжи целинного приамурского совхоза; на подготовку — целая неделя.

Рейсовым автобусом съездил на два дня в неблизкое село «за материалом». Официально столько же времени потратил на неторопливое написание сценария, на самом деле — час работы с перекурами. Всё шло по плану: в графике следующего дня был назначен выезд киногоруппы.

Наивный, не знал: на телевидении гладко ничего не происходит. В день выезда оказалось, что у редакции кончился лимит киносъёмки. Тогда не было переносных профессиональных телекамер, внестудийные съёмки делались на киноплёнке, которая делилась на не озвученную — «немую» и «синхрон». Последнее означало съёмки с одновременной записью звука на громоздкий магнитофон, — при монтаже киноплёнка и такая же перфорированная магнитная лента синхронизировались, подгонялись под артикуляцию говорящих в кадре. После эмоциональных трёхчасовых разборок у редакции художественных передач отобрали и мне, дебютанту, торжественно, с назиданиями и слезами на глазах, передали разрешение на две минуты «синхрона» и две — «немой».

Легче всего научиться плавать, когда в раннем детстве бросят в воду, скажут «плыви» и отвернутся. Обязательно научись. Ограничения в технических средствах воспринял как должные, с драгоценной плёнкой распорядился экономно. Снял в полторы минуты киносюжет о девушке — трактористке, двухминутное интервью с юношей — доярком (нетрадиционный контраст профессий), плюс две панорамы села: со стороны трассы и с ржавой водонапорной башни, куда залез вместе с кинооператором и, вцепившись в железную скобу, страховал того за брючный ремень. Для заполнения остального эфирного пространства передачи предполагались мои монологи и диалоги с

собеседниками. В студию я пригласил медсестру сельского медпункта — бывшую красавицу-трактористку и целинницу Валентину Ивановну, а от молодёжи, принимающей эстафету поколения первоцелинников, — совхозного диспетчера, по совместительству — секретаря комитета комсомола, хромого инвалида Валеру. Заранее договорился лично, а потом ещё и созвонился с парторгом совхоза, объяснил, что люди должны приехать в студию в пятницу к десяти часам утра на репетицию и запись передачи.

Утром в день эфира выяснилось, что записывать программу не будут, так как редакция съела все лимиты по использованию услуг цеха видеозаписи. Этот цех был призван ежеквартально бдительно беречь от излишней загрузки головки своих магнитофонов — официально считалось, что те очень сильно истираются. Короче, — записи не будет! Потому до обеда — только «тракт», так называют холостой прогон программы в студии, а вечером в половине восьмого — «живой» эфир. В моём новом коллективе такие стрессы были нормой. Перевыполнение и невыполнение квартальных лимитов «загрузки видеозаписи», как и киноплёнки, даже на одну единственную секунду — каралось лишением премиальных. В условиях плановой экономики развитого социализма вся отчётность шла в Москву, в Гостелерадио. Журналистам и режиссёрам премий не выдавали, им выплачивали скромные авторские гонорары и постановочные. Премии получали инженеры, технические работники и администрация. Смухлевать и договориться было невозможно. Рисковать зарплатой никто не хотел. Видеоинженерам вообще выпадала счастливая халява: не жалея, не щадя рабочее время и драгоценные видеоголовки, крутили на производственных магнитофонах фильмы и мультики, развлекались, посмеивались и плевать хотели на проблемы «творцов» — не они ж те правила придумали.

К десяти приглашённые мною собеседники на тракт программы не явились. Я отбарабанил в пустой студии свои монологи, мелькнули кадры киноплёнки. Прогон уложился в десять минут. А что дальше? С чем, точнее, с кем выходить в настоящий эфир? Звоню, слышимость плохая, волнуясь, выясняю. Оказалось, что Валера в Благовещенск ещё накануне поехал, потому что у него в городе брат живёт, а Валентина Ивановна никуда не поехала, оттого что утром молоковоз сломался и не забрал её до райцентра, чтобы оттуда до города автобусом, а больше выехать не на чем. Пытаюсь объяснить, доказать, потребовать, чтобы всех нашли, отправили, потому что вечером эфир, несущая ахиною про обком, который будет очень важную передачу смотреть. Пообещали Валентину Ивановну отправить до райцентра на машине «Скорой помощи», оттуда каким-нибудь проходящим автобусом, к вечеру авось до города доберётся. А Валера, должно, загулял, дело молодое, вообще-то он ответственный, появится. Успокоили.

Время медленно тянулось и бешено несло. Не мог сидеть в студии, взад-вперёд ходил за воротами телецентра. Был конец сентября, моросил дождик, в холодных лужах мокли и раскисали несчастные жёлтые

листья. За тридцать минут до эфира увидел ковыляющего к студии комсомольца. По лужам, зачерпнув воды в ботинок, бросился навстречу, обрадовался, обнял как родного. И только потом разглядел: у героя моей передачи нет лица. То есть оно имеется, но всё в синяках: чёрные круги под глазами, гематомы на лбу и щеках. «Городские в вашем Доме молодёжи наваляли, — пояснил Валера, — но мы вашим тоже дали». Герой совхозный и раньше оратором не был, а сейчас губы разбиты, запеклись, еле лопочет, хотя и кичится по-деревенски, и пиджак на нём парадный — чёрный двубортный. Хороший персонаж для телевизионного дебюта! За пятнадцать минут до эфира прибежала Валентина Ивановна: растрёпанная, испуганная, дрожит. Ассистенты режиссёра наспех причесали волосы, чуть припудрили лицо героини и наглухо запудрили лицевую сторону головы герою моей программы.

Нас провели в студию. Трёхминутная готовность. Припекают и жарят фонари, слепят глаза. В сумерках за громоздкими телевизионными камерами снуют силуэты телеоператоров, осветителей, ассистентов. Слышны переговоры проводной связи с режиссёрским пультом. За спиной с артиллерийским грохотом взрывается раскалённая лампа светильника. От неожиданности вздрагиваем, вжимаем головы. Как и мои герои, я сам впервые нахожусь в эфирной студии.

— Не переживайте, — говорю, — не волнуйтесь. Валентина Ивановна, не обращайтесь ни на кого внимания. А ты, Валера, что бы я ни спросил, старайся отвечать коротко, а лучше односложно: да и нет. Понятно?

— Угу, — мычит в ответ Валера, — да и нет, угу. — Тяжёлая капля пота, слетев с напудренного подбородка, падает на лацкан его чёрного пиджака, тут же высыхает и становится большим белым пятном.

Показываю оператору пальцем на пятно, тот кивает. Надеюсь, что понял: только общий план, без крупного.

— Минутная готовность! — это голос режиссёра — Проверяю микрофон. Посчитайте.

— Раз-два, два-раз, раз-два.

— Спасибо. Приготовились! Пять секунд, четыре, три, ни пуха...

— К чёрту!

— ...две, эфир!

Щёлкает табло «Микрофон включен!». Вспыхивает уголёк над трёхглазой турелью телекамеры. Я в эфире!

Это длилось долю секунды. Но промелькнувшие вдруг картинки я рассмотрел очень чётко. Ярко, как вспышку молнии. Увидел острый шпиль телевизионной мачты. От него во все стороны в вечернее небо, как в учебнике физики за восьмой класс, разлетались кругами магнитные волны. Это моё изображение летело в эфир. Одновременно я увидел своих зрителей. Во множестве разных квартир они сидели перед телевизорами. Все были в красных домашних тапочках. И все выжидающе смотрели на меня.

Что я, незнакомый им человек, хочу сказать? Зачем появился? И что за растерянные люди сидят со мною? На дневном тракте я изображал телевизионного пуб-

лициста: с пронизательным взглядом говорил правильные и многозначительные слова. За долю секунды понял, что там была игра и позирование. Что сейчас на мне иная огромная ответственность. Рядом со мной испуганные люди. Я должен сделать так, чтобы они открылись и стали интересны.

— Добрый вечер, дорогие телезрители! — сказал я и улыбнулся, было очень трудно первый раз улыбнуться, после длинной фразы из четырёх слов пересохли губы и язык, но, улыбнувшись, я неожиданно успокоился, появилась уверенность и убежденность хозяина студии. — У нас сегодня будет интересная передача, потому что я познакомлю вас с очень интересными людьми.

Представив гостей — собеседников, стал говорить об истории целинного совхоза, о некоей незримой связи поколений молодёжи пятьдесят седьмого и восьмидесятого. В уже далёком целинном году Валентине Ивановне было семнадцать, а Валера только родился. Как и все девчонки-трактористки нового совхоза, наша героиня жила в степи, в полевом вагончике.

— Вы помните, Валентина Ивановна, как однажды утром вы чуть не опоздали на смену? Как и сейчас была осень, и ваша коса примёрзла к железной спинке кровати...

Женщина не ожидала вопроса, не ведала, что от её подруги я знаю ту далёкую историю. Она заплакала, потом смутилась, потом улыбнулась мне и, уже не обращая внимания на телекамеры и жгущие софиты, начала рассказывать. Как примёрзли разметавшиеся волосы, а на работу нельзя было опоздать. Попросила у подруги ножницы и отрезала косу, росшую с самого детства. Они в пятьдесят седьмом были ещё сами как дети. Взрослая жизнь только-только начиналась. Господи, как они верили в светлое будущее!

Откуда что взялось? Внешне был раскован, улыбался, но внутри предельно собран, вёл нить разговора, не давая собеседникам отвлекаться и замкнуться. Валера тоже втянулся в беседу не столько монологами, сколько сопереживанием — оказался очень славным парнем. Мы говорили о целине, юности, мечтах, радостях, потерях, детях, тревогах и надеждах. Не забыл я и о крохотных кинорепортажах, снятых в селе. Успевал замечать, какая камера, из трёх студийных, включена, ведя диалоги, смотрел и в объективы, обращаясь к зрителям, как бы приглашая их к разговору.

Сорок пять минут эфира пролетели, и даже мало показалось отведённого времени.

— Всем спасибо! — сказал через «громкую связь» режиссёр. — Поздравляю с дебютом!

Подожёл телеоператор Володя Николаев:

— Ты где так научился камеры чувствовать? Ни разу не ошибся. И разговор интересный получился, я и сам слушал.

Где? В школе учителем работал. А там обязан был видеть и весь класс, и каждого. И удерживать внимание аудитории там же научился.

На еженедельной летучке передачу отметили как лучшую:

— Участники в студии были такие естественные. Как у себя дома. Редкий случай. Просто повезло таких людей найти.

Конечно же, повезло. И потом везло. Но не то было важно. Я интуитивно определил для себя три главных правила собственного поведения в кадре:

— Рассказывая о чём-либо, говори так, чтобы самому всё было любопытно, тогда и телезрители будут слушать.

— Проявляй искренний интерес к собеседнику, и он раскроется.

— Не позируй, не рисуйся, оставайся собой. Женщинам красоваться можно, мужчинам — нельзя.

Согласитесь, всё очень просто. При случае можете проверить на практике. У вас получится.

А потом началась работа. Командировки, сценарии, съёмки, эфиры. Ежемесячно минимум пятнадцать суток командировок, — каждый второй день в разъездах. Жизнь кочевника-бродяги: где спать лёг, там и дом. Через несколько лет в Амурской области не осталось ни одного населённого пункта, даже если считать таковым сообщество из десяти домов, где хотя бы однажды я не отметился. Было интересно ездить и узнавать людей, в общем телевизионном потоке мои передачи выделялись.

Кроме «молодёжных» программ стал готовить и вести цикл очерков «Люди и судьбы». Года через три впервые попал на месячную учёбу в Москву. Интересны были не столько лекции, как общение с коллегами из иных углов и весёлой огромной страны (сопоставляешь себя) и встречи с известными московскими коллегами (ничего особенного).

Но «профессиональное мастерство» у нас вёл классик, один из основоположников отечественного телевидения, Сергей Муратов. Его я слушал, боясь пропустить слова и даже запятые. Перед окончанием учёбы мэтр попросил всех написать курсовые работы для последующего обсуждения и закрепления усвоенных знаний и навыков. У наших сочинений были свободные в изложении темы, лишь бы о телевидении. Я писал несколько ночей, отдал текст машинистке, получилось восемь страниц плотного текста. Изучив наши описания, Муратов устроил корректный разбор и совместное обсуждение. По очереди обсудили всех. Кроме меня. Каждому нашлись слова поддержки и профессиональной критики. Сердце колотится и замирает в груди: неужели я чего-то не понял, не то и не теми словами написал, неужто всё напрасно? Должно быть оттого, что я не получил профессионального образования, сидящие вокруг закончили факультеты журналистики известных университетов, только я — провинциальный пединститут. Вот уже Муратов всех благодарит за старания, желает профессиональных успехов, прощается и смотрит на меня:

— Александр, оставайтесь, пожалуйста. С вами отдельный разговор.

Все слушатели, оглядываясь на меня, уходят. Муратов садится напротив, смотрит мне в глаза, снимает и вновь надевает очки:

— Я не хотел при всех. Внимательно прочитал вашу работу. Вы телевидение не понимаете, я хотел ска-

зять, что вы его не только умом понимаете, как все здесь молодые люди, вы им живёте. Это редкая способность, постарайтесь её в себе сохранить. Я позвонил в редакцию газеты «Советская культура», рассказал о вас. Вот телефон редактора отдела телевидения. Созвонитесь, отнесите свою рукопись. Мне пообещали опубликовать. Удачи вам.

Позвонил и отвёз. Женщины, редактора отдела, на месте не оказалось, болела. Потом перед самым отъездом из Москвы звонил ещё несколько раз. Наконец услышал усталый прокуренный голос:

— Да-да, мне о вас Серёжа Муратов рассказывал. У вас очень интересное эссе. Язык хороший. Персонажи чудесные. Но слишком много телевизионной кухни. Надо бы вам немного текст переписать. И объём сократить до одной второй газетной полосы. Ах, вы же телевизионщик, должно быть, не знаете, одна вторая полосы — это...

— Извините, я знаю, что такое одна вторая. Постараюсь переписать и принести текст. Но завтра я улетаю домой.

Обладательница усталого голоса определила жанр моего сочинения. Композиция текста эссе была довольно сложной: истории жизни героев трёх очерков из цикла «Люди и судьбы» переплетались с рабочими моментами съёмок, рассуждениями и переживаниями автора. Я не стал переделывать текст. Как не рассказывать о «телевизионной кухне», когда именно о ней писал? О том, как бережно снимал людей и отчего мои герои не замечали камеры, оставались «живыми», в кадре откровенничали, искренне смеялись и, не стесняясь, плакали.

Потом были ещё сотни передач, очерков, телевизионных рассказов, расследований и репортажей. Работа приносила не материальные блага, — моральные. Открывал себе и зрителям новые ещё не освоенные телевидением темы. Реально помогал конкретным людям. Мне верили, писали письма, просили приехать. Перед телекамерой с микрофоном в руке я не боялся ни разъярённой толпы, ни бандитов, ни природных стихий, — много было катаклизмов и житейских ситуаций в стране и у меня. Жил как рыба в аквариуме — всегда на виду у всех.

Горбачёв, перестройка... Как бы сегодня ни оценивали происходившее, всё-таки телевидение тогда имело совсем иное воздействие на умы и чувства людей, его делали искренние люди. Именно тогда произошло его пробуждение, становление и расцвет. То был и пик моей популярности. Еженедельная телепрограмма «Молодёжный четверг» начиналась в шесть вечера, заканчивалась за полночь. Содержание: перестроечные репортажи, дискуссии, интервью и музыка видеоклипов. Рейтингов никто не замерял, но по четвергам, когда выходили в эфир, улицы пустели. Был автором, телевизионным ведущим и руководителем большой редакции, в подчинении полтора десятка человек. На фестивалях молодёжных программ Дальнего Востока и Сибири наш «Четверг» занимал первые места по всем номинациям. Из участника и лауреата этих фестивалей перерос в «незаменимого» председателя жу-

ри. Случайно слышал, как некоторые люди называли меня «легендой», а кто-то даже «эпохой телевидения». Забавно быть при жизни легендой и эпохой.

...Другие времена, другие люди, другое телевидение. Конфликт мечты с действительностью когда-нибудь должен был разрешиться. Время телевизионных романтиков кануло в Лету. Как это ни банально: «свободным миром» правит корыстолюбие, продажность и пошлость. И ни слова больше о телевидении! При мне ни слова.

КУРЬЁЗ

Лет сорок тому, в первой половине 80-х. Зашёл утром к знакомым художникам. Пока бородатые творцы поправляли «пошатнувшееся после вчерашнего», попросил дать мне ненужную рамку с холстом. Холстик был бракованный горбатенький, о него художник кисточки вытирал. Взял я щетинную кисть, выдавленные на фанерку краски и в несколько штрихов нарисовал владельца мастерской. Бородатые удивлённо глянули на плод моих трудов, но с достоинством промолчали.

Продолжение я услышал потом. Когда ушёл, к хозяину мастерской заглянула Марго, главный режиссёр нашего областного театра. Увидела ещё не просохший портретик, схватила двумя руками и со мхатовским пафосом заявила: «Этот автопортрет — твоя лучшая работа! Подари!» Он и подарил от греха подальше, чтобы не слышать таких восторгов.

Я частенько бывал у того художника. Бражничали. Когда компания добрела, разрешали «испортить» холстик-другой. Рисовал застольных друзей. Портреты тут же дарил, какие-то задерживались на пыльных стенах мастерской. Несколько раз участвовал в городских вернисажах.

А спустя время к художнику зачастили иностранцы. Сначала американцы, потом, уже толпами, — китайцы. Приезжали и знаменитые в Поднебесной мастера. Ходили, приценивались. Что-то покупали, чаще — хотели получить понравившееся в подарок. Отдавать свои работы бесплатно художнику было жалко. Но мои раздаривал, даже карандашные эскизы. Пять портретов попали в постоянную экспозицию музея Русского Искусства на Солнечном острове Харбина, один вошёл в китайский фолиант «Современная русская живопись». В 2004 году приняли в Союз Художников Китая, выдали удостоверение с огромными красными печатями.

Осели мои холстики и картонки по частным и галерейным коллекциям. Могу представить, как седенькие жидкобородые китайские академики живописи рассматривают их на выставочных стендах, удивляются диковатому колору, задумываются над тайнами загадочной русской души: отчего эти русские изображают не горы и воды, а нетрезвые физиономии своих соплеменников...

ДОРОЖКИ БОСЫХ ЛАП
(Февраль 2011 года, ещё в Благовещенске.)

— Ну, живи долго и счастливо и умри в один день!
Такую здравицу выдаёт за столом старый друг в честь моего прихода в гости.

— Дурак! — отвечаю.

— Ну, извини.

Зачем я обиделся? По сути ничего плохого он мне не пожелал. Жить надо долго и по возможности счастливо. А если умирать, то, желательно, без нудных мучений. Всё равно дурак и шутки у него...

Сколько знаю человека, а к его юмору привыкнуть не могу. У него нет интернета, его голова не забита пулемётными лентами чужих шуток. Мобильного телефона тоже нет, и никогда не было. Но компьютер есть, — пылится на столе рядом с постоянно бубнящим телевизором. За этим столом, поставив на него принесённый мною «гостинец», мы и расположились.

Не виделась давно и торопиться некуда, потому прошу друга открыть комп, чтобы неспешно почитать его рассказы. Необременительное чтение застолью не помешает.

Он хорошо пишет. Какие щемящие сердце очерки писал о судьбах, покорёженных войной и репрессиями... Когда-то мне казалось, что у него даже сочинённая за десять минут заметка для серой малотиражной газеты — образец изящной словесности и тонкой стилистики. Ему бы книги писать.

Но мой друг ленив. Пишет короткие рассказы только в канун очередного Нового года, когда газеты объявляют конкурсы на лучшую рождественскую историю. И всякий раз получает главные призы. Именно так за последние три года в доме появились телевизор, два ковра и набор слесарных инструментов.

В его ироничных и смешных рассказах один герой — Петрович, добродушный увалень, попадающий в совершенно невероятные житейские ситуации. «Петрович и ЦК КПСС», «Петрович и очки», «Петрович — фанат науки», «Петрович — воздушный заяц»... Два-три десятка этих новелл он вполне мог бы объединить в одну хорошую повесть. А мог бы написать роман-автобиографию из собственных весёлых приключений и грустных злоключений. Даже сочинять художественные небылицы не пришлось бы.

И пока он сам не написал о себе, сидя в гостях у друга, читая рассказы о неунывающем Петровиче, расскажу о нём я. Сейчас даже разрешение у него попрошу:

— А вот, ежели я про тебя когда-нибудь что-либо напишу, как тебя в рассказе называть — под псевдонимом или настоящей фамилией?

— Называй меня — Колей. Просто: мой друг Коля. Персонаж. Типичный представитель обманутого поколения.

Пусть будет так.

Выпускник отделения русского языка и литературы пединститута, поработавший сельским учителем, корреспондентом газет, инженером по пропаганде городского общепита, главным редактором телевидения, пресс-секретарём главы областной администрации

(недолго, в те времена, когда не было мобильных телефонов) и ещё Бог весть кем, всё и не упомню, — вот уже третий день Коля трудится дворником. Несмотря на богатый послужной список своих «резюме», работу по мало-мальски творческой специальности найти не может. На службу принимают молодые работодатели, и берут они молодых.

На прежних работах он не раз имел проблемы из-за своей интеллигентской доверчивости и простодушного отношения к спиртному. Выпивал Коля, может, и не чаще и не больше многих, но нет у него инстинкта самосохранения. Подставляли и коллеги-собутельники, желавшие прогнуться перед начальством, чтобы ехидно самоутвердиться. Конечно, виноват сам.

Он всегда всё понимал и понимает. Но даже оценивая ещё не совершённые вопреки логике и здравому смыслу поступки и проступки, видя лежащие под ногами грабли, — наступал на них. Может, надеялся, что случится исключение, что пронесёт? И в очередной раз получал черенком по лбу, а вдогонку — оглоблей по спине. Странно всё это. Идеализм, чистой воды идеализм, не совместимый с нашим советским и постсоветским расчётливым и циничным материализмом.

При Горбачёве Коля стал первой на моей памяти жертвой перестройки. В самый бум антиалкогольной кампании, когда бдительные церберы вырезали из фильмов, объявленных в телеэфир, все «пьяные» сцены, он работал на телевидении. Почему-то именно Коле поручили подготовить репортаж с заседания аграрного партхозактива. В передовом районном центре области перед ударниками коммунистического труда, парторганами и руководителями сельхозпредприятий с призывами ускориться и перестроиться выступил второй секретарь обкома партии. После более чем эмоционального монолога с трибуны, сойдя в зал, он подошёл к присутствовавшим журналистам. Демократично дыша стойким перегаром, сокровенно признался: «Я, как только пить бросил, сразу перестроился. И вам, товарищи, советую». Для журналистов второй секретарь был почти своим, поскольку ещё недавно работал редактором районной газеты. В те времена на капустниках он потешно пародировал популярных тогда эстрадных персонажей — Авдотью Никитичну и Веронику Маврикиевну. Повязывал платочек, взбивал чёлку, высовывал язык, оттопыривал и поджимал губы.

Коля по-свойски, но очень вежливо, попросил бывшего коллегу помощи в приобретении бутылки водки, крайне необходимой для протирки оптики телевизионной кинокамеры. Главный идеолог обкома партии понимающе кивнул, подозвал пальцем председателя местного райисполкома и потребовал оказать содействие ребятам с телевидения. По выписанной тут же записке Коля приобрёл в местном виноводочном (на полках которого ничего алкосодержащего не было) бутылку с зелёной этикеткой «Ликёр Лимонный». Использовать липкий напиток для протирки видеоискателя и объектива по определению было невозможно.

В расчете на трёх человек съёмочной группы (корреспондент, кинооператор и шофёр) вечернее застолье получилось довольно скромным. Но настроение

было хорошее, прикрывшись тощенькой дверью гостиничного номера, телевизионные ребята весело выпили, громко поговорили, лениво поиграли в карты и тихо заснули. А уже утром следующего дня в обкоме партии лежал донос об аморальном поведении журналиста областного телевидения. И хотя, по мнению пострадавшего, выпивку санкционировало и благословило партийное руководство, — разбираться не стали. В «трудовую книжку» вписали: «уволен за поступок, не совместимый...»

После этой записи Коля не смог устроиться даже плотником в студенческое общежитие медучилища, о свободе нравов обитательниц которого ходили легенды. «Вы что?! — не очень трезвая дама с перепачканной помадой беломориной, комендант «весёлой» общаги, чуть не поперхнулась праведным гневом. — У вас аморалка?! А у нас советское социалистическое общежитие! Мы не допустим!»

Зато взяли искусствоведом в областные художественные мастерские. Ни рисовать, ни лепить из глины Коля не умел, но свой вклад в развитие местного искусства внёс.

В первый же рабочий день худсовет мастерских принимал работу старенького и уважаемого скульптора, изображавшую в гипсе партизана времён Гражданской войны. Монумент предназначался для небольшого села, потому не отличался циклопическими размерами. Комиссия одобрительно кивала, рассматривая выкрашенного серебрянкой партизана, и только Коля вдруг задумчиво произнёс: «Вам не кажется, коллеги, что правая рука воина, держащая саблю, вдвое длиннее левой руки? При росте героя в метр пятьдесят сантиметров это немного заметно...» Руку после консилиума вполовину отпилили, саблю вlepили в культию.

Мастера изобразительной культуры научили Колю на отжимных валиках стиральной машинки печатать талончики на водку. (На закате развитого социализма и мыло, сигареты, сахар, колбасу, крупу, макароны продавали по талонам.) При попытках купить пшеничный напиток на личноизданные купоны Коля имел неприятности.

В искусствоведах продержался недолго. Поведение его посчитали слишком раскрепощённым даже среди свободных (в основном в желании выпить с утра) художников. При встрече со мной, по привычке заняв на пиво, Коля заявил, что встал на путь окончательного исправления, не пьёт и хотел бы, как многие истинные интеллигенты, пойти в дворники. Мечтает подметать площадь у памятника Ленину напротив обкома, а туда берут только партийных и морально устойчивых.

Мечты сбываются — дворником всё-таки стал. Третий день как. Сейчас признался, что пока стесняется — люди узнают. Зато некоторым прохожим вежливые замечания делал. Не по поводу брошенных окурков, а чтобы матом не ругались, ведь женщины и дети могут услышать...

Что-то не о том я рассказываю, не о самом главном. Может, вспомнить, как в девяностые Коля вёл телевизионные передачи прямого эфира? Входил в студию, садился к роялю, начинал играть и пел песни собст-

венного сочинения, потом здоровался, рассказывал о каких-то новостях, разговаривал с приглашёнными собеседниками и вновь садился к роялю. Есть люди, которые до сих пор помнят интеллигентные и по-хорошему провинциальные Колины передачи. Это они через двадцать лет узнают его на улице с метлою в руках.

Свой рассказ и параллельное прочтение Колиных новелл вынужден временно прервать.

...В комнату входит вернувшаяся из похода по магазинам Колина мама:

— Здравствуйте, Александр. — Это ко мне. — Ох-ох, Николай, почему даже яичницу для гостя не поджарил? Видите?! — Это снова ко мне. — Никакой нет у человека самостоятельности. Ох-ох!

Колиной маме за восемьдесят, но года не берут, та же стать, голос и интонации строгой учительницы. Какое-то дежавю. Мой товарищ даже рванул было спрятать от материнских глаз стоящий на столе «гостинец», но понял, что поздно. Как будто мы не в две тысячи одиннадцатом, а в студенческом тысяча девятьсот семьдесят четвёртом. В том году мы познакомились и подружились.

...Мы попали в одну палатку. Тогда все студенты были обязаны месяц-полтора отработать на колхозных полях, копать грязную картошку с морковкой, рубить гнилую капусту либо неделями мокнуть под стылыми осенними дождями, надеясь, что корнеплоды и овощи без посторонней шефской помощи благополучно раскиснут и ничего убирать не придётся. В нашей палатке поселилась весёлая сборная из десяти студентов второго и третьего курсов истфила. Я придумал текст гимна неунывающей команды, а Коля, мой новый знакомый, подобрал под него гитарные аккорды. По утрам все обитатели палатки строились перед флаштокком на подъём собственного полотнища — на белой наволочке каждый либо расписался, либо оставил след вымазанной краской пятерни или ступни. По вечерам мы торжественно спускали флаг, жгли костры, пели гитарные песни, а иногда — пили вино. У нас была взрослая и почти самостоятельная жизнь.

Как тут не подружиться? Тем более что Коля был в ту пору знаменитым. Его и ещё двоих студентов-литераторов несколько месяцев полоскали на всех институтских собраниях. Ортодоксы от комсомола требовали исключить «отщепенцев и злопыхателей» из института, либералы от профсоюзов предлагали этих же, «заблудившихся, но социально не опасных» студентов — отличников учёбы, взять на поруки. Всё потому, что троица умников сочинила литературный журнал, издав его рукописно в одном экземпляре. Кроме безобидных студенческих «проб пера» в журнале был иронический «Манифест квакулистов», нового литературного течения, призванного своим «кваканьем» разбудить некое болото, и колонка юмора, в ней Коля смешно описал студенческую первомайскую демонстрацию в виде крестного хода семинаристов. Журнал не был подпольным, его даже отнесли для ознакомления в факультетский комитет комсомола. Тут-то всё и началось. Все истфиловские комсомольские активисты мужского пола мечтали после окончания

института попасть на службу в КГБ. Потому журнал они тут же передали в руки гэбэшного куратора — старшего лейтенанта. А тот, желая стать капитаном, страстно жаждал найти среди нас пособников иностранных шпионов и настоящих советских диссидентов. Представился карьерный шанс и комсомольцам, и чекисту. Советский Союз вполне прожил бы без многих диссидентов — узников совести, если бы не карьеристы из госбезопасности, — сколько безумной фантазии и злого коварства проявили они ради звёздочек на погонах. Но из Коли и его товарищей врагов народа почему-то не сделали, — как сейчас понимаю, вмешался кто-то из «взрослых», — угрожающе-назидательная и дидактично-душеспасительная буря неожиданно прекратилась, как-то по-тихому ребятам просто объявили выговоры. И хорошо: один из бывших «подельников» через несколько лет стал сначала директором школы, а потом — сыщиком, полковником, легендой уголовного розыска, второй — питерским журналистом.

Мы оба оказались книголюбями. Неплохо ориентируясь в известных поэтах, чуть менее в прозаиках, из разговоров с Колей я понял, что прочёл не так уж много, даже мало. Сделал наивное открытие: литература безмерна, как Мировой океан. Впоследствии многих авторов я осваивал по Колиной рекомендации. Не нужно было объяснять и разжёвывать достоинства произведений: если друг говорил, что книжка интересная, я знал — определённо понравится и мне. Авторы были самые разные, в том числе не признанный в ту пору классиком Андрей Платонов. «Его не печатали, дворником работал», — сообщил Коля. Потом и я подсказывал другу, что можно читать, получая удовольствие от хорошей книги. Литературных дискуссий не устраивали. Бывало, собравшись, могли просто задумчиво помолчать. У меня в жизни больше не было друзей, с кем можно было вот так без напряжений посидеть молча.

Конечно, как тогда было принято, мы бражничали — сначала скрытно от своих мам, поженившись, — с оглядкой на жён. Увлечение Бахусом не было безмерным. Одно лето пили вино «по-гречески»: разводили арабское красное, с пирамидами и сфинксом на этикетке, водой из-под крана. Выбор этого сухого вина объяснялся вовсе не гурманством, а отсутствием иного напитка. Как-то, идя навстречу пожеланиям любящих женщин («У вас одно на уме!»), мы стали покупать для посиделок только сладкие газировки — «Буратино» и «Тархун».

Женат он был трижды, его семейные истории как-то не сложились...

...Извините, вновь прерву рассказ, поскольку Коля делится со мной маленькими радостями и нешуточными перспективами своей новой профессии:

— Дворником работать хорошо. Доходная профессия. Я в первый же день пятьдесят рублей нашёл. А коллега с соседнего участка то мобильник найдёт, то золотое колечко, то очки. Опять-таки свежий воздух. Вот если бы и в феврале снега не было. Какой январь был хороший, ни разу снег не выпал! Жаль, я дворни-

ком в январе не был. А что? Подружусь с завхозом Клавой, она выделит три участка, где убирать поменьше. Клава с первого дня глазки строит.

— Симпатичная?

— Да ничего так. С лица воду не пить. Немножко очень толстая. И что? Выбора нет, не на ярмарке. Ты читай, читай.

Протираю очки. На чём я остановился?

...Не раз был свидетелем, как в Колю влюблялись женщины. Возможно, и не так много их было — он никогда не был завзятым ловеласом и хитрым сердцеедом. Но разновозрастные барышни и дамы доверчиво влюблялись. Может, женщины таяли, когда жёлтыми прокуренными пальцами Коля брэнчал по растрёпанным струнам фанерной гитары и чуть картавым голосом пел свои и чужие песни? Глупости. Может, проникались умными разговорами об интересных книгах? Это увлекательно, но не на каждый день. Но мне почему-то казалось, что не друзьям и приятелям, а именно женщинам становилась понятной и по-настоящему открывалась Колина душа. Или они из какого-то упрямства просто пытались эту душу понять? Смотрел и удивлялся. Даже сочувствовал умным-неразумным женщинам. Видел не раз: когда очередная «половинка» уже совсем по-матерински почти прирученного и домашнего Колю пыталась потуже спеленать, — случался разрыв. Бросив всё, Коля исчезал.

...Нет, он определённо слышит, о чём я вам, мой читатель, рассказываю. Потому что вдруг вспоминает одну из своих избранниц. Эту женщину мы с женой познакомили с Колей из искренних и благих намерений: организовали встречу двух хороших, но одиноких людей. Коля говорит задумчиво, как будто и не мне, а себе самому:

— Умная. Заботливая. Утром брюки поглажены, на стуле висят. Завтрак приготовлен. Четыре с половиной года прожили. Когда уходил — не отпускала меня. За пальцы держала. Видишь, два пальца криво срослись. Вместо обручального кольца такая память.

— А зачем уходил?

— Хотелось выпить сто граммов. Не отпускала. Такие вот нешекспировские страсти. В данном случае «нешекспировские» — пишется слитно.

— Хорошо, Коля, напишу слитно. А она о тебе до сих пор вспоминает.

— Жалко...

— Дурак ты!

Замечаю, как у Коли чуть вытянулась и даже вывернулась нижняя губа. Такое у него всегда бывает, когда выпьет. А может, от обиды?

Коля поднимается и выходит из прокуренной комнаты на кухню. В открытую дверь бесшумно является его отец. Ему девяносто девять, фигурой и обликом, как и сын, только ещё более сутулый и худой. Чистая, застёгнутая на все пуговицы рубашка с длинными рукавами, аккуратные брюки с кожаным ремнём — выправка военная, почти парадная, если бы не домашние тапочки.

Я встаю. Старик протягивает для рукопожатия плоскую прозрачную ладонь, внимательно, как показа-

лось — насмешливо, смотрит мне в глаза, говорит спокойно:

— Что есть жизнь? И что человек в ней? Кто кем управляет? Жизнь человеком или человек жизнью?

От неожиданности я согласно киваю головой. Но с чем я согласился? Разве я знаю ответы?

Старик неотрывно смотрит в мои глаза, и уже не усмешку я вижу, а понимающую улыбку:

— Старый друг — лучше новых двух...

В этих тихо сказанных словах мне послышалось не утверждение, а вопрос.

— Да, — так же тихо отвечаю я, — Коля друг. Лучший...

В комнату возвращается Коля, берёт отца за плечи: «Папа, пойдём, здесь накурено», — уводит.

Старый друг...

А ещё в нашей дружбе были:

Светлые баллады Булата Окуджавы и Александра Дольского, которые мы пели под гитару.

Рыбалка в холодную ночь на берегу реки, когда по «Маяку» мы слышали: «Сегодня в Москве умер Владимир Высоцкий».

Совместный поход на просмотр «Покаяния» какого-то Тенгиза Абуладзе, когда половина зрителей покинула кинозал не досмотрев. Мы тихо, пряча глаза, вышли после сеанса с оставшимися. Почему, разве то покаяние нашего поколения?

Было многое и ещё что-то самое главное, то, чего никак не могу вспомнить.

А если и не было самого главного? Если всё дело в простой наивной иронии, в схожем мировосприятии? А ирония — есть смесь природного чувства юмора и собственных умственных сомнений. Сам не понял, что сказал. Сейчас уточню для уверенности:

— Коля, словарь Ожегова у тебя найдётся?

— Зачем? — Нижняя губа моего друга ещё более вытягивается. — Я без Ожегова на всё отвечу.

— Не сомневаюсь. Но хочу словарь проверить.

Затрёпанная толстая книга под рукой. Не торопясь листаю: жэ, зэ, и... интеллигенция... инфантилизм... Нашёл! «Ирония — тонкая скрытая насмешка». Надеюсь, вы убедились, что я прав? (Пример самоиронии.)

Слышу, слышу, мой умный читатель, как вы вежливо покашливаете. Считаете, что персонажу, образу друга, недостаёт выразительности и цельности. Какой-то изюминки не хватает, чтобы всё заиграло и сцепилось. Согласен. Не получается у меня типичный представитель поколения. Хорошо, мой добрый читатель, не нервничайте, высказывайтесь.

— Спасибо. Я-то спокоен. Вижу, рассказа у вас осталось на полстранички. А в тексте нет, не проступает сильной мысли о смысле бытия, о месте и роли таких людей и этого конкретного. Или о том, что их породило. Отдельные сцены, детали, высказывания — любопытны. Но этого мало.

— Это оттого, что и себе такие вопросы боюсь задавать. Не знаю как на них ответить. Должно, пока и сам не понял я загадочного смысла бытия.

...Мы сидим в квартире Колиных родителей за столом в узкой «детской» комнате. Старое пианино,

древний платяной шкаф и потёртый диван — всё это ещё из юности.

Заканчиваю читать Колины рассказы, комментирую вслух их стилистику, на что мой друг отшучивается. Разговаривая со мной, он успевает слушать новости из бубнящего телевизора. Бу-бу. Опять упал наш ракетоноситель. Бу-бу-бу. Через полгода в очередной раз повысят... Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Сменяя друг-друга, мелькают представители тандема. Первый по-сыновьи пугает генералов, второй по-отечески радуется пенсионеров.

Коля вздыхает:

— Ну вот, опять мы впереди планеты, позади прогресса.

— Колька, — смеюсь я, — пиши рассказы, гад!

— И напишу. К Новому году.

За окном начало февраля. До Нового года всего-то одиннадцать месяцев...

И вдруг пыльный угрюмый город запорошило снегом, люди облегчённо вдохнули морозный воздух, им показалось, что жизнь стала налаживаться, можно с чистого листа начать её заново, всё плохое и некрасивое ушло навсегда, накрылось белой пеленою, сердца исполнились ожиданием праздника и счастья. Все стали детьми. Даже старики.

Было холодно, но бродячие собаки хвосты не поджимали, бегали по мягкому опрятному новоснежью и оставляли дорожки босых лап.

РАССКАЗ

Лирик

Ахен, Германия

А ЗАВТРА ВСЕ ЛЮДИ ПРОСНУТСЯ...

Прихожу домой уставшая и немного злая.

Вечер. Милый друг сидит на кухне в трениках — за день выспался. На столе — бутылка советского шампанского и кусок колбасы.

— Хочешь шампусика? — спрашивает.

Смотрю на бутылку, снять пальто-туфли еще не успела, говорю:

— Шампанское не может быть советским. Шампанское — это шипучка, изготовленная в Шампани, — местечко во Франции.

— А колбасы? — спрашивает дальше.

— По какому случаю? — говорю.

— Долгий разговор есть, — отвечает. Начинает тупым ножом колбасу нарезать.

— Для долгих разговоров я сегодня немножко подустала. Смогу перенести что-нибудь совсем короткое.

И сажусь напротив него.

— Я вроде как кого встретил, — говорит милый друг, домучивая колбасу. — Вроде как другую... Вроде как у нас чувства... Вроде как любовь... — она гово-

рит... Сегодня сказала... Я думаю... Вроде как... Я вроде как решил... Она говорит...

«Подлый гад!» — нет, это я не вслух, а про себя. Вслух я жую кусок колбасы: проголодалась за день. Три года назад он мне то же самое говорил: вроде как мы встретились... Вроде как у нас чувства... Вроде как можно я к тебе перееду... А свою квартиру тогда сдам.

Переехал. Что тебе еще надо? — Живи!

Рожу эту плоскую, замыленную больше видеть не могу! — и поднялась.

И с куском колбасы в руке направляюсь к двери, выхожу из квартиры.

На улице колбасу отдаю бомжихе — та копаётся в мусорном бачке. Выхожу со двора.

На улице темно, фонари кругом горят. Машины. То сигналият, то тормозами визжат, а мне — словно пилюю по мозгам... Столпотворение вечернее. Огни большого города, так сказать.

Звоню подруге — попроситься переночевать, она трубку не берет. Ах да, пятница! — у нее сегодня любовник.

Вернуться на работу? — так там уже заперто.

Поехать в деревню? — так автобусы уже не ходят.

Скоро ночь, куда же податься?

Прохожу мимо магазина:

— Можно у вас переночевать? Я буду вместо сторожа...

— Девушка, у нас нечего сторожить, мы денег на кассе не оставляем.

Прохожу мимо парикмахерской:

— Можно одну ночку в салоне переночевать? А завтра утром меня уже не будет...

— Девушка, вы с ума сошли?

Да, наверное... Три года назад.

Старое кладбище! — заросло кустами. Ночь теплая — вот где много места!

Захожу в ворота, там сторож стоит...

— Вы чего здесь по ночам шарахаетесь?! — кричит.

— Культы здесь устраивать?

— Можно переночевать под кустиком? — спрашиваю. — Я не помешаю.

— Придёте, когда будете мёртвая, — говорит.

Я уже... — немного! Смертельно уставшая.

Куда податься? — иду дальше...

В морге:

— Можно мне у вас переночевать?

— У нас мест нет, — отвечают.

— А на полу? — спрашиваю.

— Вставайте лучше на очередь.

Иду дальше, вот уже тюрьма:

— Можно мне у вас переночевать? — спрашиваю.

— Вы уже что-то совершили?

— Нет еще, — отвечаю и вспоминаю плоскую, замыленную.

— Вот как совершите, тогда приходите. Посмотрим.

Дежурная аптека светит огнями: открыто-открыто-открыто... Огни большого города...

Захожу, спрашиваю:

— Можно мне у вас на стульчике здесь ночь пересидеть?

— А вы таблетки глотать умеете? — спрашивают в ответ.

— Да, умею...

— А просроченные?

— Да, наверное, — отвечаю.

— Сможете всю ночь глотать?

— Постараюсь...

— Оставайтесь, — говорят, — но чтоб утром в пять часов вас здесь уже не было!

— Да, конечно. Не будет. Следующую ночь я сплю на кладбище.

Боже мой, как это всё похоже на сон! Жизнь во сне. С той самой минуты, когда он сказал: «Вроде как...»

Вот кажется, проснусь, проснусь и забуду про плоскую-замыленную, про эти самые огни, про вечную мерзлоту морга и про пилу в голове...

Встряхните меня! Разбудите меня! Кто-нибуууудь! Люди-люди! Но...

Осенняя листва так сладко пахнет на могильных плитах...

2.

Двенадцатый час ночи. Сижу, глотаю таблетки. Нет, не в аптеке, аптека закрыта. Я дома, в ванной. Пила пилит в моей голове.

Пустила воду, сижу на краешке ванны. Правую ладонь — ковшиком, воду в нее набираю, таблетки запиваю.

Воду в «ковшик» набираю и таблетки запиваю. Воду в «ковшик» набираю и таблетки запиваю. Воду в «ковшик» набираю и таблетки запиваю. Воду в «ковшик» на... Может быть, хватит уже?

Я ведь никуда не уходила. Я поссорилась, он — ушел.

Воду в «ковшик» набираю и таблетки запиваю... Может, хватит уже?.. Завтра все люди проснутся, а я нет.

А я не проснусь.

СВАДЬБА В НЕМЕЦКОМ ПАРКЕ

Словно пароход, себя несущий по волнам, она причалила к фонтану, смочила в сентябрьской воде носовой платок, приложила к декольте и удовлетворенно вздохнула. А уже через минуту мчалась дальше — в длинном платье, покрытом серебряными блестками, словно в чешуе. На зависть пышно и роскошно колыхались груди — груди под серебристой чешуей. Подозрительно славянского размера.

И точно!

— Рая! Рая! Рая! — разнеслось по парку, привыкшему к немецкой речи. Ну и к турецкой уже. Разнеслось и аукнулось.

За нею промчалась по зеленой мураве еще одна, вслед за кораблем-теплоходом. Эта — с голою спиной, полузапутавшись в подоле, шпильками пронзая дерн, колыхалась на ветру, как щепка. В длинном платье стилия евразийского модерна. Это она кричала:

— Рая! Рая! Рая!

«Аду мне, аду!» — мой внутренний голос откликнулся в ответ.

А за ними — молодой человек с коляской! По мокрому гравию толкал ее перед собой, стараясь набрать скорость, одетый под протестантского священника: в строгом черном, с белой лентой на шее вместо галстука.

А впереди процессии — невеста, словно полуголый король из сказки. Вместо короны — башня из волос, укрепленная со всех сторон долгоиграющим лаком, а шлейф за нею тащился безвольно женихом, ведомым словно на убой.

И вот уже фотوماэстро появился из кустов, как джин с бутылки... Наводит камеру то на подол процессиного платья, то на носок туфли.

Невеста закидывает ногу жениху на бедро — то ли показать фотомастеру растяжку, то ли туфли в чехлах евро для потомков увековечить, а может быть... Вот она, догадка! — выставить в сетях, своему бывшему ажурные чулки с резинкой показать: утрись, я вышла замуж, ты, утрилло!*

После происходит прогулка по лужайке, инсценированные поцелуи. Фотوماэстро нарезает круги перед брачующимися, словно голодная собака пред хозяином.

И позднее — к принцессе инсценируется дама с бюстом в чешуе, и к ней же та что с голою спиной в духе евразийского модерна.

В сентябрьском воздухе поддувает прохладными веттерками, но что там холода! Когда протестантский священник все время бежит за ними с открытой бутылкой!

Стеснительному жениху, который мысленно всех уже послал нах, дали передышку: фотаются все подружки, фотаются и посылают в инстаграммммм... Все уткнулись в телефоны...

(Временами по немецкому парку разносится визг восторга от полученных лайков).

Жених унылый с протестантом — у коляски: мелкий перекур.

Младенец — надо думать там младенец, а не с водкой склад возили по лужайкам — спит безмятежно: ни звука из коляски. Они дымят — прямо туда.

Клик-клик-клик... Фотوماэстро больше не останавливать. Шлейф принцессы намок в росе...

Она вдруг увидела... ей срочно захотелось! — сфотаться в фонтане.

Жених, чуя недоброе, поморщился, священник развел руками.

Подружки пытаются удержать, ан нет! — бежит уже к воде. Фотоман снимает забег.

Жених бежит вослед... Всё как в сказке, осталось только туфлю потерять и не найти: давно лужайки не косили, в городской коммуне не хватает денег на постриг лужаек.

Как романтично! Брызги фонтана, как шампанского, да еще погоня... Настиг! Принцесса кусает жениха за руку: отцепись!

Жених отвечает нечленораздельно, но одновременно так знакомо: одним коротким словом.

(Здесь вспоминается великий и могучий...)

Фотоман говорит, что сели батареи. Это означает, что в фонтан прыгать больше не надо. Жених стоит и почесывает укушенный кулак, кулак так чешется. Кое-кто мысленно перекрестился: слава батареям!

Обкуренный младенец сладко спит в коляске. Или не младенец.

Процессия через двадцать минут погружается в свои непременно красные авто и отъезжает дальше пить и пировать.

Краткость и крепость русских слов будоражат память и чувства. Размазанные на полстраницы безразмерные немецкие слова так не бодрят. Душе становится тепло, и на этом тепле я доживаю до глубокого вечера и мирно засыпаю в своей немецкой постельке...

**Просим прощения: Утрилло родился в 19-м веке, именно к этой свадьбе он отношения не имеет.*

Мира Ирис
г. Балтийск

РАЗВЕ МОЖНО
ЛЮБИТЬ ДИВАН?

«Отче наш, иже еси на небесах... да святится... да будет... да будет... и избави нас...» — я бормочу под нос слова молитвы, давно уже

не вслушиваясь в смысл слов. Уже давно это просто набор звуков, действующих на маму успокаивающе. И я не молюсь. Уже нет. Никогда. Время молитв ушло вместе с надеждами. Они умирали — одна за другой, и я давно уже их похоронила. Врачи сказали, чтобы снова готовилась. Утешают, отводя глаза в сторону. Говорят, что моей мамы давно уже нет. Осталось только ее тренированное годами тело, которое никак с ними не соглашается, и я, продолжающая ждать. Чего? Ее появления. Мне нужно с ней поговорить напоследок...

Дремлю. Не поворачиваю голову в ее сторону. Просто слушаю ее дыхание. Смотреть не могу. Почему? Боюсь. Смешно? Смешно бояться почти девяностолет-



нюю старуху, разучившуюся ходить в здоровом уме. Я не ее боюсь. Мне страшно смотреть, как лицо женщины, давшей мне жизнь, меняется в такт с тиканьем часов. Тик. Маленькая девочка улыбается во сне. Так. Ненависть искажает, сминает улыбку, и беззубый рот скалится от ярости. Тик. Лицо разглаживает тень флирта и, кажется, что сейчас она откроет глаза, и они озарятся любовью. Так... Не угадала. На лице страх. Лицо сморщивается в гримасе подступающего плача и тут же... Так. Радость... Маски прожитых эмоций меняются не поминутно — посекундно. Я не всегда успеваю понять эмоцию или придумать ее. Это происходит так быстро... «Жизнь пролетела за мгновение» — наверное, это сказано об этом. Мне стыдно подглядывать за чужой жизнью и страшно ее узнавать — и так за последние пару лет я узнала слишком много маминых секретов, которые она никогда бы не рассказала мне, но охотно делится с сестрами в моем лице. А я не хочу! Я маму хочу! Маму, которая меня любит!

Тик-так. Вроде бы уснула. Посижу еще пару минут, и можно пойти поработать. Пусть уснет крепче. Пару. Минут... А потом чертить. Пару часов у меня будет до полуночи, а там уже Вади́на смена, и меня загонят спать.

Я бегу по парку за бабочкой. Мама привезла свою команду на соревнования. И мне велено никуда не уходить из парка. Я и не ухожу. Просто очень соскучилась и хочу есть. Но пока большие мальчики и девочки бегают, а мама держит в руках такие железные часики и нажимает на кнопчку, мне нужно гулять. Писать хочу! Я бегу под кустик и вижу маму. Она идет по аллее с другими тетеньками. Я подтягиваю трусишки и бегу к ней на встречу.

— Мама! Я здесь! Я не прячусь, — кричу на бегу, размахивая руками. Подбегаю и обнимаю ее ноги. Красивые мамини руки разжимают мои объятия, и ее голос сверху строго говорит:

— Девочка, я не твоя мама, — и уже другим голосом, мягко и устало, — несносный ребенок.

Я реву. Горько и громко. Сажусь в пыль. Моему горю нет краев.

Одна из тетенок подхватывает меня на руки.

— Дина, так нельзя. Она же еще маленькая...

Просыпаюсь резко, как от удара. Часто снится, а привыкнуть никак не могу. Давно уже простила ее. Сколько ей было? Лет тридцать семь?.. восемь? Молодая, глупая. Хотя? Я в этом возрасте уже свела счеты с собой как с женщиной, которую могут полюбить. Простила. Всё равно простила. Давно уже. Почему тогда снится и снится? Наверное, я что-то не поняла тогда в детстве и нужно понять сейчас. Открываю глаза. Мама сидит на кровати и смотрит на меня не мигая.

— Женщина, не подскажите, а когда моя дочь меня заберет домой?

— Мама, это я — Марина, твоя дочь. Посмотри на меня, пожалуйста. Ты дома. Посмотри. Вон ваши с папой портреты. Помнишь папу?

Она кивает, вглядываясь в лица на портретах.

— А вон Саша с Алисой. Помнишь правнуков? Егор? Сенечка? А вот вся наша семья. Все мы, но уже без папы. Помнишь?

Кивает. Пристально смотрит на стену и показывает пальцем в пустоту.

— Смотри, Надя, мамин лик. Улыбается. Ты видишь?

Я не вижу. Я — не Надя. Я — не сестра, я — дочь! Но я киваю.

— Да, вижу. Улыбается. Ты ложись. Она волнуется, что ты не спишь.

— Не хочу спать. Надя, позови Марусю. Давай поем.

Смотрю на часы. Беда. Нужно, чтобы она уснула. Крепко. Иначе я совсем не успею доделать работу и совсем не отдохну. В полночь смена Вади́, но он не будет баюкать и уговаривать — разбудит меня. Всё правильно. Мама моя. Хотя и не помнит кто я такая.

— Конечно, дорогая. Сейчас позову. Лекарства только примем, и схожу.

Встаю и иду на кухню. По дороге спохватываюсь. Нельзя было. Нельзя. Нужно было помахать рукой перед камерой. Кто-нибудь из мальчиков смотрит в монитор, и спустился бы сразу же. А теперь к кому я приду? Хорошо бы если к маме. Но делать нечего — сделанного не воротишь, и я достаю из холодильника лекарства. Привычно смешиваю их, наливаю маме теплого молока, кладу на блюдце печенюшки и конфеты. Она любит ночные перекусы.

Возвращаюсь. Мама уже полностью одета. Постельное белье сложено аккуратной стопочкой, одеяло скатано и лежит в ногах кровати. Она сидит на голом матрасе, сжимая в руках узелок: одноразовую пленку, вынутую из-под простыни. В узелке скорей всего всё, что попало под руку. Лицо сердитое и сосредоточенное. Голос холоден и надменен. Спина, как мачта корабля — пряма и тверда. Этого не хватало! Не иначе проснулась голубая кровь канувших в Лету предков.

— Любезная, моя дочь изволила уже приехать? Скажите ей, что я готова.

Сил на попытку достучаться нет. Все только и твердят мне, чтобы я не пыталась будить ее сознание, и я обычно стучу в прикрытую дверь, но сейчас я сдаюсь и подыгрываю ей.

— Конечно, сударыня. Она ждет в приемном покое. Сейчас только последние предписания доктора выполним, и вы поедете. Пересядьте на минуточку — я застелю постель. И что же вы оделись? Вам же доктор уколы прописал. Давайте я вам помогу. Уколычик сделаем, полчаса полежите, и я позову вашу дочь.

Я приношу чистый комплект и перестилаю постель. Утренний нельзя. Графиня этого не приемлет. Ее сиятельное тело может лежать только на свежeweыглаженном белье. Помогаю маме раздеться и лечь. Делаю укол и выхожу за порог. Второй раз! Дура! Нельзя же. Она же еще не спит. Устала. Путаю ходы. Разворачиваюсь. Черт с ним с бельем, потом сложу в стиралку. Поздно. Графиня нас уже покинула. Долгожданная мама. И не в лучшем своем воплощении. Я делаю шаг.

— Дрянь! Какая же ты дрянь! Сколько можно издеваться надо мной! Убей меня! Возьми палку и убей меня! Сейчас!

Она кричит. Громко. Надрывно. На улице гавкает пес. Не наш. Кто-то из соседей выгуливает своего породистого любимца. Нужно закрыть форточку — иначе новая волна слухов и сплетен обеспечена. Но мама кричит, и я съезживаюсь под этим криком, жмурюсь, пытаюсь удержать свою боль в себе. Не дать ей выплеснуться. Выдержать. Не дать себе сорваться. Дышу, выпуская воздух через сцепленные зубы, и пячусь назад. Радуюсь, что наступила стадия агрессии. Завтра, скорее всего, она будет много спать, и может на немного заглянуть «моя мама», и если повезет, то даже улыбнется мне, и мы чуть-чуть поговорим. Нужно только перетерпеть. Двухнедельный цикл в финале.

Надеюсь, что сейчас придут ребята и примут огонь на себя. Не идут. Неужели никто не смотрит в камеру? Боже, когда же закончится этот день? Я так устала. Молчу. Пячусь назад к двери, а вслед летит:

— Сколько можно? Постыдилась бы памяти отца. Какой у тебя по счету муж? Так и будешь всех подбирать и тащить в дом? Сколько можно позорить семью? Сучка течная! Брак — это один раз и на всю жизнь. Первый муж от бога! А ты! Шлюха!

Я так сильно жмурюсь, что кожа на висках натягивается до боли. Я поднимаю руки и затыкаю уши. Не слушать! Не слышать! Это не мама. Не мама. Это — болезнь. Болезнь. Болезнь... Мама бы защитила. Приехала бы и забрала меня и детей, когда вдруг всплыло, что муж, тот первый, который от бога, бисексуал. И что секс с мужчиной он любит больше. А я? Я — возможность получить детей. Наверное, защитила бы. Не знаю. Ну не случилось узнать, как это, когда тебя защищает мама. Не оскорбляет. Не унижает. А защищает. Пощечина прилетает неожиданно и крепко. Мой затылок встречается с дверью. Хорошо приложила. Крепкие ручки у советского учителя физкультуры. Даже в 88 лет. Мне прилетает еще под аккомпанемент оскорблений, и я теряю контроль. Взрослая сильная женщина сдается и тихо плачет в углу, пока никогда не любимая малышка прыгает воробьем вокруг взбесившейся мамы, загоняя ее в постель, улыбаясь сквозь застилающие глаза слезы.

— Хватит, мамочка. Мне стыдно, что я тебя огорчила. Ложись, пожалуйста.

— Я не буду спать в этом вертепе! Отвези меня медленно к отцу. Домой хочу.

— Ты дома. Мама, ты — дома. Ты живешь здесь уже двенадцать лет.

— Не ври! Как тебя носит земля! Лгунья!

— Мама, вспомни, пожалуйста, ты продала свой дом, когда решила переехать ко мне. Мама, продала. Сама. Ни с кем не посоветовавшись. Ты меня перед фактом поставила, мама. Отправила мне вещи, а потом мы забрали вас с папой, потому что ты продала дом.

— Не нужно из меня делать дуру! Я только утром сюда приехала. Отец где? Зови! Пусть прогревает машину — мы уезжаем.

Мне удается ее оттеснить к креслу и почти усадить. Она меня толкает, и я плюхаюсь на кровать, очеред-

ной раз удивляясь силе ее рук. Вскиваю и спотыкаюсь о ее выражение лица. На нем цветет улыбка. Ошеломляющая улыбка светской львицы, вышедшей на охоту. Поворачиваю голову. Боже! Он таки вспомнил обо мне. На пороге стоит муж, прислонившись к косяку.

— И почему мы еще не отдыхаем? Диночка Семеновна, вам давно пора отдыхать. Молочка выпейте и ложитесь. Вы меня огорчаете. Пора, пора. Спокойной ночи, Диночка Семеновна.

— Спокойной ночи, Вадим. Сейчас-сейчас. Вот Надю провожу и ложусь.

Оба сияют неземной радостью, а я тру ногу в месте удара о кровать. Опять будет синяк. Ну да ничего. Главное Вадя сделал — переключил программу. Значит, я снова Надя. Это хорошо. Ее шлюхой не назовут.

— Надя, напомни мне, Вадим мой муж или твой? — шепчет мама, когда Вадим покидает нас. Я слышу, как он щелкает чайником, насыпает сахар в стакан, льет кипяток. В один стакан. Всегда в один. Никогда не спрашивает, хочу ли я тоже чаю. Или Ванька. Или мы оба. И никогда не приносит его просто так.

— Мой, — не без ехидства улыбаюсь я. — Мой, Дина, — вколачиваю я ее имя.

И мы начинаем ритуал укладывания снова. Я уже смирилась с мыслью о бессмысленности надежды на «почертить перед сном». Глупая надежда. Какая все-таки надежда глупая. Не эта конкретно, а вообще. Абстрактно. Какой же нужно быть идиоткой, чтобы самой питать иллюзии и еще другим их внушать. Самообманываться и обманывать сознательно. Патология какая-то. Наверное, надежда больна шизофренией. Надо на досуге разобраться с Верой и Любовью...

Расчесываю мамины волосы, а сама предаюсь размышлениям и ностальгии. Так хочется налить себе кофе, пробежаться по интернету, найти какой-нибудь конкурс и написать что-то волшебное. Сказочное. Про Золушку в космосе, например. И прекрасного принца с громадными стрекозиными глазами, в которых стоит вселенская печаль. И чтоб глаза были непременно лиловыми. Улыбаюсь, замечтавшись...

— Надя, ты решила меня последних волос лишить? Собирайся. Тебе пора.

— Ну куда я, на ночь глядя? — отнекиваюсь я.

— Нет уж. Езжай. Твои тоже волнуются.

— С чего бы? — ухмыляюсь я и натываюсь на разъяренный взгляд матери. Предчувствие, что мы входим в новую реальность маминого бреда, пугает. Я не успеваю за ней. Начинаю блудить в ее лабиринтах, теряя связь с действительностью. Куда? Как правильно? Тянуть на поверхность или нырять за ней? И лекарства совсем не действуют. Она всё больше возбуждается. И что мне сказать, чтобы ее утихомирить? Что делать? Пока я думаю, она отталкивает меня и, подбоченившись, встает передо мной.

— С чего бы Тольке волноваться, где ты ночуешь? Езжай. Тебя муж дома ждет. Думаешь, я забыла, что твоего мужа Толик зовут. Я с ним за одной партой сидела. Дуру из меня делаешь, Надя? Вадим — мой муж. Вот!

И она кричит: «Вади-им!»

Всё. Теперь это надолго. Я сажусь в кресло и вытягиваю ноги, забыв проконтролировать свой уставший разум, бормочу:

— Мам, дядя Толя умер почти десять лет назад.

Замолкаю, понимая, что мои слова могут вызвать сейчас новую бурю. А мама тоже садится на край кровати и совершенно здраво смотрит мне в лицо.

— Когда умер, Марин? Почему ты мне не сказала? Я Наде даже соболезнования не выразила.

— Мам, тетя Надя тоже умерла. В больнице. От инфаркта. Пять лет назад.

— И ты молчала? Столько лет? Ты меня просто жалела, как всегда, да?

Я киваю, боясь спугнуть нечаянно забредшую ко мне маму.

— Знаешь, когда ты родилась, мама мне прислала телеграмму. Поздравляла. И добавила, что это хорошо, что я родила девочку.

Я знаю ответ, но мама ждет вопроса, и я его задаю.

— Почему хорошо, мамочка?

— Твоя бабушка сказала, что теперь она спокойна, потому что теперь есть кому за мной ухаживать в старости. Но ты пока отдохни с дороги. Моя старость еще не скоро. Как дела в институте? Сессию всю сдала?

— Я знаю, мама. Дай бог тебе долгих лет жизни. Сдала, мама. Всю. За весь семестр. Расскажи мне что-нибудь о моем детстве. Какая я была маленькая?

— Маленькая? Такая же, как сейчас — несносная врушка, плакса и лентяйка. Но училась ты всегда хорошо.

«А ты? Ты любила меня когда-нибудь?» — вопрос готов сорваться с языка, но я заталкиваю его обратно. Нужно попробовать ее уложить спать, пока она спокойна.

— Мам, давай посмотрим какое-нибудь кино? Про любовь...

— Давай... — Она сама укладывается в койку.

Я щелкаю пультом и нахожу «кино про любовь». Сажусь в кресло. Подсовываю ей стакан с молоком и блюдце с вкусностями. Теперь главное — не вспугнуть и не уснуть самой. Методично убираю звук на единицу каждые пять минут. Мамины веки смыкаются, и даже маски деменции по Локи не начинают мелькать на ее лице. Я смотрю на нее, люблюсь ее красотой. Да, ей восемьдесят восемь, а фигура у нее, как и прежде, лучше моей. И лицо... Практически лишенное отметин времени. Говорят, что такое бывает у очень любимых женщин. Хочется сесть на пол и прижаться щекой к ее замершей руке. Но я даже не шевелюсь. Мало ли чего мне хочется? Я давно привыкла отказывать себе в исполнении желаний. Не маленькая уже. Главное что она спит. Часы тикают на стене, и в такт им она дышит. Размеренно и спокойно. Я щелкаю пультом, отключая телевизор окончательно. И замираю, прислушиваясь. Тик. Так. Вдох. Выдох. Никто не сбился с ритма. Жду. Посижу еще в тишине. Прикладываю палец к выключателю настольной лампы и убавляю интенсивность освещения. Минимум. Тик. Так. Вдох. Выдох. Тик. Хорошо. Сижусь, сложив руки на коленях. На коже появились белые пятна. Врач сказал, что я так седею. Смешно. У кого-то волосы, у меня кожа. Одер-

гиваю себя — опять в голову лезет всякая дребедень. А спать здесь нельзя. Нужно пойти и лечь, и поспать положенные мне четыре часа ночного сна. Тихонечко отжимаю свое тело от кресла, поднимаясь на руках. Делаю шаг. Другой. Оглядываюсь. Никаких изменений. Всё так же. Тик. Так. Поднимаю глаза на часы. Полночь. Моя смена закончилась. Сейчас Вадим включит звук на изображении с камеры и начнется его смена. Всё. Спать. Делаю последний шаг из комнаты и остаиваюсь. Не высказанный вопрос мучит. Гложет. Уже много месяцев. А я все не произношу его вслух. Откладываю. На потом. Но ведь «потом» может и не случиться? Некого будет спрашивать. Уже сейчас почти некого. Да и я сама уже на грани. Мамин психиатр качает головой, предлагая перевести ее в специальное учреждение, где за ней будут ухаживать специально обученные люди. А я? Не могу. Это моя мама, и значит всё моё: боль и радость, счастье и горе. Всё! Я оглядываюсь. Мама спит. И я говорю. Шепотом. Практически одними губами. Но вслух:

— Мам, а ты любила меня когда-нибудь? Любишь сейчас?

— Нет.

Ответ прозвучал громко и четко. Я вздрогнула, поправляя очки на носу и вглядываясь в её лицо. Неужели не спит? Спит. Дыхание ровное. Никаких движений. Выдыхаю с мыслью, что это «нет» мне попросту послышалось, и делаю шаг в коридор.

— Никогда не любила. Ты была мне нужна. Папа практически ушел от меня. Уехал учиться... — В ее голосе слышна горечь и обида. — Одного высшего образования ему оказалось мало. И он уехал от меня за вторым. Через два года я отвезла Сережку Марусе и поехала к нему. Без предупреждения. И появилась ты. Его любимая дочка.

Я стою, боясь шевельнуться. Ответы сыплются на меня из рога изобилия, и я уже не знаю, были ли они мне так уж нужны или я могла прожить и без них. А мама продолжает говорить:

— Некрасивая уродилась. Не в нашу породу. Но очень удобная. Любить? Разве можно любить диван, на котором удобно лежать? Или шаль, которую набрасываешь на плечи когда холодно и зябко? Хотя? Наверное, можно. Пока не выкинул и не купил себе новую.

Я отступаю в ночь, во тьму коридора. Щеки горят. Стыдно. Я украли ответы. На что надеялась? На то, что она возьмет меня за руку, заглянет в глаза и мягко и ласково скажет: «Конечно. Ты же моя единственная дочь. Ты всегда была со мной». Ложь. Зачем мне ложь?

Нестерпимо хочется курить, но я знаю, что не возьму больше сигарету в руки.

Хочется стукнуться головой о стену, но я не делаю и этого.

Хочется завывать. Молчу.

Хочется, чтобы сильные мужские руки прижали к себе и не отпускали. Мимо. Так умел только отец. Больше некому.

И поэтому я просто иду. Делаю все ритуальные приготовления ко сну. И снова иду. К себе. Прохожу

мимо Вадима, сидящего в библиотеке и явно слышавшего мамин монолог. Он хочет что-то сказать, но я поднимаю руку, останавливая. Достаточно его взгляда. Так смотрят на больную собаку, обреченную на смерть. Нет. Мне достаточно. Я больше не нуждаюсь в словах. Мне нужно только действие. Мама преподала мне свой последний урок, и я его усвоила.

...Мама больше не проснулась. Ее сон длился весь следующий день, и я вызвала врача.

— Инсульт, — пожал плечами участковый врач. — Готовьтесь. Хотя... я думаю — вы уже давно готовы.

Я кивнула. Но свой график не изменила. Умывание. Обтирание. Смена памперса. Причесывание. Переодевание. Смена постельного белья. Попытка покормить и напоить. Всё по расписанию. Десять дней.

Я отключила камеру в ее комнате и теперь могла с ней говорить без свидетелей. Я ей рассказывала о себе. О том, о чем всегда молчала. Объясняла, как сильно ее любила. Всегда. Не смотря ни на что.

Читала ей свои стихи. Рассказы. Она ими гордилась всегда. Говорила, что умение складывать простые слова в изящные фразы у меня от них... Они — это те, с голубой кровью, чьи имена надежно вычеркнули из памяти потомков, выжившие после репрессий прошлого века. На всякий случай. И, слава богу. Не думаю, что они были «удобные, как диван», и значит я не в них.

Странно, но когда я пригласила священника ее причастить, мама открыла глаза и даже произнесла ритуальные фразы покаяния. Она покаялась перед богом. Она покаялась передо мной, тогда в полночь. Я ее простила.

Я снова научилась молиться. Слышать смысл в заученных словах. Вкладывать в одни и те же слова разные желания. Хотя... Разных желаний у меня нет. Только одно: чтоб бог дал новую жизнь её душе и научил любить...

Сергей Игнатьев

Москва

ОКЕЙ, ДЕВЧОНКА

— Воронина, ты меня любишь?

— Отвянь, Тишкин, не мешай смотреть.

Мы смотрим супер-винтаж: «Чапаев» Васильевых. По работе надо было глянуть несколько раз, и вот как-то подсел незаметно, проникся как-то. Ворониной тоже предлагал, но она раньше не соглашалась — не любит всё это черно-белое. Ей подавай Виндинга Рефна с его розовым неонем. Но вот теперь уломал... Как раз ребенка сбагрили к теще, мы только вдвоем, «Чапаев», белое шардонэ по скидке, брянский камамбер, расслабляемся... Идеальный вечер.

— Воронина, ну ответь... Любишь, нет?



— Да-да. Очень-очень! Не мешай.

Чапаев, увеличенный до размеров стены в гостиной, двигает по столу картошки. Проектор очуменный у нас, оказывается. Раньше не было времени опробовать, по работе всё с планшета смотрел, глаза лопали...

Короткий укол мигрени.

— Мы же всё правильно сделали? — спрашиваю я. Дико чешется затылок под бинтами.

— Ты хочешь сказать: Ты сделал? — привычно провоцирует Воронина.

Но я не ведусь:

— Ну да. Всё правильно сделал? Я серьезно щаз.

— Кончай трепаться. Сам же хотел этого своего «Чапаева»... И не копайся в смарт, бесишь.

— Ага, всё-всё, — я откладываю смарт. — Офигенное кино. Смотрим... Воронина?

— Ну что, Тишкин?!

— Я люблю тебя.

— Я тебя-я-я.

Сперва была дичь, конечно. Я не очень окейный психолог. Я ведь кто? Супер-скриптовщик. Да вы, наверное, сами гамали... Сверхпопулярная такая была виар-стрелялка «Периферия. Девяностые» — все вот эти неписи, бритые крепыши в кожаных с укороченными «калашами», менты и кенты, кумы и паханы, трут и бакланят моими буквами. Горжусь, да. Потом был фитнес-симулятор «Парень Работящий» — токсичные цитаты старшего грузчика, этого хмурого усача, в рунете быстро разобрали на мемы. Но по-настоящему развернулся я в мета-вселенной «Золотое кольцо»: медведи-балалаечники, колодец-рифмоплет, частушки, припевки и куплеты, что ж ты мила-а-ая, смотришь ис-ко-са-а-а... Слушайте, а тамошняя деревня людей-арбузов... Нет, вы помните тот рекламный ролик «не морозь меня-я-я»? Это вот просто главный мой хит тогдашний, я считаю.

Карьера пошла на взлет. Как раз у нас родился Костик. Набрали кредитов, взяли очень умный коттеджик в Сколково, я взял себе суперкар «Малуша» очень глупой лимонно-салатной расцветки, Воронина взяла помещение на Винзаводе под свою студию артхаусных мультов, всё было супер-окей. Нас заметили, нас взял под совиное крыло Росинфопромтех. И вот я начал креативить на «Самара-ворлд». Поэтика фронта, квинтэссенция отечественного истерна, самый передовой мировой тренд в индустрии развлечений. Это уже не какой-то примитивный виар, это принципиально новый уровень. Это технологии завтрашнего дня, это подписка о неразглашении, это несомненный в будущем культовый статус. Да там и сам Кодзима офигет, как я офигел после подписки соответствующих бумаг.

Супер-амбициозный проект. На «бете», отстроенной в обстановке строжайшей секретности, в глухом углу Калужской области, мы обкатывали пока только Пугачёвский уезд периода плюс-минус Гражданской войны, как наиболее релевантный, годный для презентации, но на бумаге уже была намечена вся Самар-

ская губерния. Поистине целый «ворлд». С рейтингом 21+, конечно. В нем будут умирать, любить и ненавидеть, радоваться до слез и пугаться до истерического смеха. В нём будут жить. А уж как ЗАЖИВЕМ мы!

Это медиа-прорыв. И это чудовищная ответственность, стресс и давление...

Сперва было окейно, а дальше по ниспадающей: внезапно райтерс-блок, творческий кризис, втыки от начальства, постоянные задержки в офисе, профаченные дедлайны. А дома с Ворониной — случайные колкости и ехидства, брошенные мимоходом замечания, небольшие размолвки, утомительные ссоры, дичайшие скандалы... Всё разладилось. Всё посыпалось.

А потом случилась большая БЕДА.

Психолог из меня не очень. Первые дни было очень тяжело. Первые минуты Воронина просто кричала, а их толком не запомнил, я их заливал вермутом и заедал анальгином.

Потом она успокоилась. Говорит:

— Тишкин, я совсем ничего не помню. И ничего не понимаю.

А мне вот так сразу сложно всё сформулировать, весь драматизм ситуации, просто пытаюсь успокоить ее:

— Это нормально, Воронина. Это шок. Пост-травматика. Дичайший стресс. Память вернется обязательно.

— Какого хрена я вообще села в эту треклятую «Малушу»?

А у меня дико болит голова, говорю:

— Слушай, ну не нужно об этом шаз...

— Я просто пытаюсь понять, я не въезжаю... Я не въезжаю, как я въехала в мостовую опору, ха-ха.

— Давай я тебе еще налью?

— Не многовато мы пьем, Тишкин? Мне страшно...

А у меня невыносимо чешется кожа под бинтами:

— Не спеши, — успокаиваю я. — Всё окей, девчонка, всё будет окей. Всё у нас будет супер. Как раньше.

Я жмуриваюсь и вижу Воронину такой, как в день нашей первой встречи в универе: грива черных волос, косуха, розовая мини, какие-то немыслимые клепаные сапожищи выше колена. Ярко-оранжевая помада на искривленных вечной ехидной усмешечкой губах, озорные карие глазищи, ресницы эти её невероятной пушистости, родинка эта её крошечная на левой щеке... С моей стороны это была любовь с первого взгляда.

Сидим с Ахметовым, нашим главным айтишником, у нас на кухне. Это низенький темнобородый толстячок в свитере со снежинками и в квадратных очках. Он не особо амбициозен, прочно затерт бытом и абсолютно не умеет пить, но голова у него золотая.

На столе перед нами местный хит — роллы «Одинцовские» с лососем и унаги-соусом. Под столом — целая шеренга из пустых крафтовых вишневым элей, и мы уже перешли на вискар. Меня уже окейно накрыло: Ахметовы двоятся и даже троятся. Но у всех троих заплетаются языки, и все мучительно икают:

— Кухня у тебя шик... ик! Полный хай-тек... Мне б такую... Но куда мне-то железо ставить... нас пятеро в

двушке... мне смарт положить некуда, мелкие сопрут. Ноут не приткнешь. И эта... Ик... потека, мать...

Я трижды хлопаю в ладоши:

— Умничка! Сообрази-ка нам еще льда.

— Ш-ш... Ик!...арно. А у нас мультиварку некуда ставить. При... ик! ...инь?

— Все у тебя будет, чувак, май не за горами. В мае всё у нас будет. Запустим производственный процесс... И нам попрет. Бабок будет немерено просто! В мае наш «Самара-ворлд» обрстет плотью. Во всех смыслах.

— Ага, ага... Гнатюк недоволен, ты вот тут пока сидишь на удаленке, он на мне отрывается во все по... ик! ля...

— Гнатюк ваш придурок, — внезапно сообщает Воронина. — И на поросенка похож.

— ...грозится разогнать нас всех, если в сроки не уложимся. А у меня сам знаешь, ип... ик... Ип-потека. А он мне мозги парит. Недостача у него там по ИИ-чипам. Я-то при чем? Чё за гоневы. Это в бух... ик... галтерию...

— Он приставал ко мне тогда на корпоративе на Рублевке, — говорит Воронина. — Этот пансионат, как же его...

Я жмурюсь и мотаю головой:

— Стоп-стоп, какого хрена... Реально?

— Реально, а что ты хотел? — Ахметов опасно балансирует на ножках стула. — У него тоже жопа горит. Знаешь сколько желающих на наше... ик... место? За нами за каждым очередь пре... ик... тенденгов, — он указывает на пустые бутылки. — Во типа такой, млин... Он прав так-то...

— «Лесные дали», точно, — вспоминает Воронина. — Вы с Ахметовым там как скоты перепились.

— Мы и шаз все перепились, — говорю я. — На себя посмотри.

— Кто, я? — возмущается Ахметов. — Да нифига. Я норм! Давай еще по вискарику.

— Ты бухой и я бухая, — говорит Воронина. — но Ахметов наш просто в слюни.

— А тебе столько можно? — волнуется вдруг Ахметов. — Ну... с твоей гол-ловой?

— Не можно, а нужно

Мы чокаемся стаканами.

— Форменные скоты, — говорит Воронина.

— Короче ты это... Давай... Завязывай с удаленкой этой... И голову береги... Мы ими типа, это, креативим... Эх, блин... Да-а-а... Воронина... Че-то так грустно... так сложно всё...

Его совсем развезло. А мне почему-то очень смешно.

— Вы адские, — сообщает Воронина. — Вы мне надоели. И вообще хочу в туалет.

— Окей, девчонка, — смеюсь я.

— А ты слышал про скандал... ик... на полигоне? — Ахметов пытается поймать меня взглядом, глаза у него сходятся к переносице. — Значит какой-то рабочий там, пацан лет восемнадцать, с глухомани какой-то... Ик! Ну... понятно гормоны кипят. Прямо за руку поймали этого больного ублюдка. И даже совсем не за руку, ха-ха-ха. Уволили конечно нафиг. А я бы его вооб-

ще засудил за порчу корпоративного имущества... Он короче, ы-ы-ы... залез на склад и короче упаковку трахнуть решил, ты подумай?!

— Ахметов, ну что за жесьть?

— Не, Тишкин, а прикинь, вот она бы с чипом заряженным была — он бы вообще охерел. А знаешь кого он выбрал? Эту, как ее, дочку мельника, забыл номер айди...

— Зато я помню прекрасно. Это ж юбилейная была. Ашка-двухсотая. Аркадий дробь два нуль нуль. Полночи провозился с ней. А знаешь я дизайнерам с кого тэ-э-э на нее писал? Вот вообще не угадаешь референс. С Захаровой в «Формуле любви», приколись! Довольно точно давал вводные причем. И чего они наворотили...

— Ы-ы-ы... Чува-а-ак, там же Ева Эльфи вылитая. А-а-а, не могу. Я думал, это ты изначально сам так приколся... Ну, рукожопы, вот всё у нас так... Ик!

— Слышь, Ахметов... А разве не для этого мы их и делаем?

— Кого?!

— Ну, «упаковки», как ты говоришь... Да вообще весь это проект...

— Блин, в смысле?

— Да, забей. Давай еще по вискарику...

Мы вдвоем. Только ты и я. Нам никто не нужен. У нас всё время мира. Мы вместе, это самое главное. Я так счастлив с тобой.

— Вот так, вот так...

— Дава-ай... Ещё, ну...

— Воронина, я уже почти...

— Еще немножко, потерпи...

— Ты чувствуешь, да? Вот так... Чувствуешь?

— Еще бы, ох...

— Так хорошо да?

— Да... Не болтай...

Да. Вот оно. Мы вместе. Мы одно целое.

Ритм ускоряется, грубее, быстрее, сильнее, до боли, эта невыносимая щекотка, уже больше нет сил сдерживаться...

И вот оно, взрыв, ослепляющая вспышка...

С судорогами, с криком...

Пытаемся отдышаться.

Встаю, иду на кухню, тройной хлопок:

— Умничка, сообрази горячих тостов.

— Винище осталось у нас, Тишкин?

— Это у нас завсегда.

— Сообразим на двоих?

— Пять сек...

— Знаешь, Тишкин, а ведь я уже начинаю привыкать.

— М-м?

— Это ведь... как секс: сперва так страшно, потом волнующе, потом крыша улетает нафиг куда-то... в Новую Москву.

— Она вон рядом, Воронина, через железку, за трехгорским лесом. Сгоняем?

— Мы так много хотели сделать вместе: прыгнуть с парашютом, слетать на Галапагосы... Так мало успели.

— Люблю тебя! У нас всё получится. Дождемся мая, а там...

— ...производственный процесс, да-да. Конечно, любовь моя. Конечно, дождемся.

Выхожу на крыльцо, кутаясь в халат. Сколково засыпает снегом. Весна опять откладывается. На дорожке радостно бегают взад-вперед кибер-уборщики: наконец-то для них работа!

Теща, с сигаретой-соткой в зубах, в изящном пальто кирпичного цвета, посадском платке и песцовом малахае а-ля хан Тохтамыш, и Костик, в шапке с помпоном, в мокроступах-дутиках, укутанный тремя шарфами по самые глаза, уступают дорогу суетящимся киберам.

Костик тотчас вырывается из рук тещи, с радостными криками пускается в погоню за киберами, подражая их жужжанию.

— Здравствуй, Эдик, — затянутой в кожаную перчатку ладонью теща отбрасывает с лица вишневым локом.

Узнаю вот этот фамильный жест.

Теща выглядит как всегда окейно: их с Ворониной иногда принимали за сестер. А внутри она у нас крепень, железная леди.

— Отлично выглядишь, ма! — констатирует Воронина.

— Здравствуйте, Диана Павловна, и да, отлично выглядите.

Воронина-старшая окидывает меня сканирующим взглядом:

— Эдик, я тебя хотела спросить насчет документов... Всё-таки пора уже что-то решать. Вся эта бюрократия... И кредиты, ну ты помнишь...

Я протестующе поднимаю руки:

— Диана Павловна, ну давайте только не при Костике. Я помню, помню... в ближайшие дни буквально! Встретимся, обсудим, да...

— Ну, как знаешь, — Диана Павловна выпускает в мою сторону облако табачного дыма. — Как твое самочувствие вообще? Похудел... Держись?

— Держусь, спасибо. А вы-то как?

Она смотрит на меня со смутным недоумением, говорит:

— Ну, тогда... до понедельника.

— До свидания, Диана Павловна... Костик, хватит там беситься, давай в дом!! Папа замёрз.

Запустив его внутрь, закрываю дверь:

— Ф-ф-фух...

Теща, кажется, так и стоит на крыльце, курит, о чем-то раздумывая. Ну, неважно... Тут уже в дело вступает Костик-вихрь, Костик-стихия, наш знаменитый супергерой Костян-попрыгун:

— А мы станем иглать в молской бой?! А не в смалте, в аналоговый?! А ты купил мне класных кавалелистов?! А мы постлоим снеговика?! А где гиллянда?! А давай иглать в Пелефилию палой?! А показы опять дедуськины малки?! А пицца у тебя есть?!

По последнему сразу да. Трижды звонко хлопаю в ладоши:

— Умничка, разморозить пиццу.

Костик хлопает вместе со мной и хохочет.

Мы прекрасно проводим время: проходим парой несколько кварталов «Периферии» (разумеется, на фильтре «б+»), едим пиццу, пьем имбирный лимонад. Мы строим во дворе снеговика. Получается очень симпатичный. Умничка выдает нам для него из своих запасов крепкую ярко-желтую морковку и две таблетки активированного угля. У снеговика слепилось какое-то даже умное лицо. Мы вешаем поперек двора гирлянду с разноцветными лампочками. Мы даже успеваем провести два раунда в «морской бой» — и не в смарте, а по олдскулу — карандаши, клетчатые тетрадные листки... Счет 1:1. Когда Костик-ураган, Костик-торнадо, наконец, утихает и засыпает прямо на диване, поникнув стриженной головушкой на дедушкин альбом с марками, мы накрываем его одеялом и уходим с Ворониной на балкон.

Нарезка хамона, сухое красное, теплые колючие пледы... Идеальное завершение безупречного вечера.

Но мы начинаем ругаться.

— ...Это временно, — пытаюсь втолковать я Ворониной. — Сколько раз повторять. Это временная мера. Мне только надо уладить всё с дизайнерами, с технологическим отделом. Сейчас там все на ушах, сама понимаешь... Постоянные проверки, отчеты. Ну а вся наша ситуация, ну, это всё как бы... Не совсем официально... Это, блин, категорически незаконно на самом деле...

— Я устала, — признается Воронина. — И мне стрёмно, Тишкин.

— Я понимаю. Мне тоже.

— Когда мы скажем Костику? — спрашивает она. — Когда мы ВСЕМ скажем?

— Дорогая, еще чуть-чуть. Дождёмся мая. Все будет... Все будет окей, девчонка.

— Папа, с кем ты разговариваешь?

Я вздрагиваю, оборачиваюсь.

— Да это так... Звонок по работе. Костян, ты чего встал-то? Давай, ложись. Сейчас я тебе почитаю... Где мы там остановились — мистер Жаб взял себе жабмобиль? А завтра пойдем на горку, кататься на ватрушке... Или в аквапарк? Или за солдатами махнем, а? Я же обещал тебе: чапаевцы, красный пластик. Папа не забыл, папа всё помнит.

— А мама с нами пойдет? — спрашивает Костик.

Я не знаю, что ответить. Я выливаю в бокал остатки сухого красного и пью залпом.

За панорамным окном 24-го этажа закат красит багряным светом стекла небоскребов Москва-сити. Очень хочется опохмелиться, но приходится довольствоваться паршивым местным кофе.

Гнатюк как всегда свеж, с иголки: костюмчик от Бриони, часики Вашерон, сам только из фитнеса-солярия, весь прилизанный-нагеленный. Но как всегда: слишком много суеты, руками выделяет какие-то фигуры, бегаёт до кофемашины и обратно — сахар забыл, салфетки забыл, ох, сливки...

В противовес ему Ахметов, кажется, впал в спячку, сложив пальчики-сосиски на объемном животе, обтянутом свитером с оленями.

Гнатюк, наконец, уселся, от усердия у него аж галстук набок съехал — торопливо поправляет. Можно понять его волнение: по правую руку терпеливо дожидается начала брифинга важная фигура, куратор из Росинфопромтеха. Неприятный: вроде наш ровесник, а совсем седой. И морда в шрамах. Какая-то непростая судьба, видимо, у человека...

— Протокол все помним? — торопится Гнатюк, с какой-то мультяшной скоростью листая свою папку. — Смартфоны все выключаем... Игорь, простите, вас тоже касается.

Куратор вопросительно приподнимает брови, затем согласно кивает, достает смарт, выключает, кладет на стол. Обращается ко мне. Говорит вежливо, мягко:

— Эдуард Данилович, извините, что и вас пришлось выдернуть с удаленки, — он сочувственно смотрит на мою забинтованную голову. — Вам сейчас покой нужен, конечно. И ваша супруга... Очень жаль. Нам очень жаль, поверьте. Но, сами понимаете, сроки уже поджимают...

— Можно просто Эдик. Пожалуйста. Я всё понимаю, конечно.

— Эдик... Вот ей Богу, совершенно не хочется вас торопить. Но «Самара-ворлд» проект серьезный. Беспрецедентный по масштабу. Не хотелось бы чтобы потом получилось... как там у Крайтона, да?

— Я не смотрел, если честно, — признаюсь я.

— А я читал ту книжку, — вставляет Ахметов, будто проснувшись. — Там где динозавры взбунтовались. Крутая.

Я хочу его поправить, что речь о другом производстве, но тут, бурно жестикулируя, вступает Гнатюк:

— «Самара-ворлд» проект серьезный, это вы Игорь, абсолютно верно сказали! Я, знаете, даже больше скажу: проект у нас соц-и-аль-но значимый. Не больше и не меньше. Ведь это какая выбрана эпоха, как удачно... У нас же тот период это какая-то национальная психотравма незаживающая. То есть, по соцсетям посмотрите, стоит там упомянуть, затэгать — сразу холивар! И вот таким образом она, эта психотравма, и будет излечиваться. Можно самому прочувствовать всё. Стать непосредственным участником, да? Можно лично выбрать за кого ты там: за белочехов, за бандитов, за красных, за казаков... — он хмурится. — Тишкин, кстати... с раскольниками что в итоге?! Что там у вас глючило на Бете?

— Всё утрясли. Там в одной локе, у самой Волги, у неписей был баг. В скрипте что-то слетело. Они там типа решили отказаться от вооруженной борьбы. Ну как бы совсем. Пацифистами заделались, в натуре. Ну, мы посовещались и в итоге это решили типа как фичу оставить.

— Это неплохо, — кивает Гнатюк, что-то напряженно просчитывая в уме. — Это даже очень неплохо. Заодно Цензурному комитету кость кинем. А то они воют, что у нас одно насилие на уме... Пускай отсосут — мы вот какие толстовцы!

Мы с Ахметовым вежливо улыбаемся. Куратор скушает.

— А по осетровой рыбалке вы справили? — вспоминает Гнатюк. — Что-то с дамагом там было, лажа какая-то?

— Еще месяц назад, — вступает Ахметов. — Это я лично фиксил. Дамаг понизили и стойку, а то там реально какие-то вышли не рыбы, а ксеноморфы неубиваемые. У нас же все-таки не хоррор, а типа реализм какой-никакой. Пофиксили...

— Да. Да... вот, тут еще вопрос был, — куратор, не скрывая скуки, перебирает бумаги. — По Чапаеву...

Гнатюк скалитися:

— Это к Тишкину, это он у нас самолично всё писал. Его тема.

— Что в итоге там с лингво-экспертизой: ЧЕпаев или ЧАпаев?! — куратор даже не пытается показать нам, что вникает в суть. — Я честно, говоря, не очень в теме... Но тут отмечено. Видимо, это важно?

— Там тоже всё решили, — устало говорю я. — В отчете это есть...

Вновь накатывает мигрень, и я жмурюсь, прикладывая пальцы к замотанным марлей вискам.

Куратор Игорь смотрит на меня так, будто теперь, наконец, что-то понимает.

Мелькает параноидальная мысль: вся эта встреча — фикция, спектакль. Всё это устроено чтоб этот их Игорь посмотрел на меня воочию. Что он увидел? Что они вообще знают?

Я вспоминаю Троицк, полуподпольный рынок деталей, попытки договориться при помощи смарт-переводчика, а потом... замшелый ангар, спящий свет в глаза, хирурги-китайцы в марлевых масках... Первый сильнейший, невыносимый приступ головной боли, я закричал, а потом услышал эхо собственного крика...

Не думать об этом. Вдруг он и впрямь какой-то экстрасенс. Черт знает, кого они прислали, кто у них вообще есть в штате.

А они говорят и говорят. Брифингу нет конца. Может, моя паранойя излишня — и это и впрямь настоящая рабочая встреча?

Что-то творится с нашим Ахметовым: я знаком с ним со времён «Золотого кольца» и впервые вижу, чтоб он повысил голос на начальство. Но его накрыло:

— ...Мельницы, я говорю! — орет Ахметов на куратора. — Ни одной нормальной построить не можем! Чертежей нет нихрена! Не можем тупо скопировать. В архивах ограничивают по сканированию, тянут время, каждый раз бумажки какие-то подписывать, волокита... Ну чё за гоневы?! Мы чего, этими чертежами на запад барыжить будем? Собака, блин, на сене... Почему у мормонов получилось, пришли в девяностые, всё отфоткали там на микрофильмы, метрики-ревизии, а у нас не получается?! Мы же местные, блин... Это наше право, нет?

— Ну вы вспомнили... Девяностые... — замечает Игорь, думая о чем-то своем. — Но по сути верно, да. Я согласен абсолютно. Будем этот вопрос дожимать.

Он указывает взглядом куда-то вверх. А затем вдруг смотрит прямо на меня: глаза в глаза.

Что они знают? Где я прокололся?

Впрочем... Всё равно, просто выйти отсюда и добраться до ближайшего алко-маркета. Давайте же уже, закругляйтесь...

Когда вся эта фантазмагория, наконец, заканчивается, я, усталый до изнеможения, еду домой на третьем, пустом этаже пригородного поезда. За окном проносятся заснеженные новостройки, пустыри, ещё чудом уцелевшие сектора частной застройки.

Голова болит нудно и непобедимо.

Оглядываюсь. Вокруг пустые кресла. Воровато достаю из недр куртки фляжку коньяку, делаю хороший глоток. Ковыряюсь в смартфе, не выдерживаю, говорю вслух:

— Воронина, я скучаю.

— Я, кажется, уснула? Привет.

— И как спалось?

— Странные сны. Ой, где это мы вдруг?

— На работу срочно вытянули, не смог отмазаться.

— Это вообще законно? Ты же на больничном... Может, засудим сукиных детей?

Я смеюсь. Смеется и Воронина.

— Тишкин?

— Что?

— А тело ведь может быть какое угодно, да?

— Конечно. У нас опупительные дизайнеры и технологи. Лучшие в стране.

— И даже в Лучано Паваротти можно?

— Да, безусловно. Но, знаешь, тут у нас с тобой, как Василий Иванович говорил, может возникнуть нюанс...

— Пошляк и дурак.

— Я тоже тебя люблю.

— У тебя ведь не было другого выхода?

Я молчу. Не этого я ждал от нашего разговора.

— Ты ведь просто хотел меня спасти, Тишкин, да? Ну... Мое сознание. Зачем ты опять лезешь в смартфон? Я ведь знаю, что ты в нем делаешь. Что ты делаешь в нем с моим настроением...

Я прячу смартфон в карман куртки. И молча смотрю на свое отражение в окне вагона. Мы молчим.

— У нас прыщ на носу выскочил, — сообщает Воронина. — Переходный возраст... Кстати, я кое-что вспомнила.

— М-м?

— Я ведь никогда не водила машину.

— Ерунда, Воронина. Всё у тебя отлично получалось. Это был просто несчастный случай. Баг в системе. Тупо рандом.

— Ох, Тишкин. Не уверена.

— Не парься. Всё будет зашибись. Всё будет у нас окей, девчонка.

Я делаю еще один хороший глоток коньяку. Прячу фляжку, закрываю глаза и остаток дороги безуспешно пытаюсь задремать.

Я пью в одиночестве весь остаток вечера и половину ночи. Возлагал большие надежды на Умничку. Но,

как оказалось, побутильник из нее неважный. Вырубаясь прямо за кухонным столом.

Под утро мне снится, что я медленно бреду сквозь какой-то изумительный тропический сад, сказочные джунгли. Лианы, резные листья, пестрые цветы. Вокруг многоголосый хор птиц, вопят туканы, кричат какаду... Я просыпаюсь от их криков. Кто-то с завидным постоянством трезвонит во входную дверь.

С похмелья я даже не делегирую процесс встречи гостей Умничке, почему-то не пытаюсь даже заглянуть в монитор внешней камеры. Самолично направляюсь в прихожую. Бреду как зомби, мыча под нос, шлепаю босыми пятками по паркету. Борюсь с тошнотой и мигренью.

Открываю дверь.

Это кто-то очень знакомый: грива черных волос, капризно поджатые губы в неяркой персиковой помаде, сердитые карие глазищи, ресницы невероятной пушистости, родинка крошечная на левой щеке...

На ступеньках стоит Воронина:

— Как бы отчаялась уже дозвониться. В чээс кинул? Да не бойся, я ненадолго!

Нет-нет-нет... Стоп.

Так быть не должно. Это неправильно.

— Ну, чего встал-то столбом? Документы на развод подписал? Тащи сюда...

Я молчу.

— Блин, Тишкин, — хмурится Воронина. — Только не говори, что ты не подписал. Ну что ты за человек...

— Окей, девчонка... — шепчу я.

— Чего?!

Я сильно, до боли, хлопаю в ладоши. Раз. Два. Три.

— Да что с тобой происходит?! — в ее глазах нешуточный испуг.

— Окей, девчонка.

Я хлопаю. Раз. Два. Три. Пропади-исчезни-испарись. Выключайся ты уже!

— Тишкин, ты бухой? — Я отражаюсь в ее расширенных зрачках, она принохивается. — Ну естественно, несёт как из бочки...

— ОКЕЙ!!! Тебя же нет... Авария... Мостовая опора... Ты была за рулем «Малуши»... Ведь так?

— Эдичка-а-а, — Теперь она в ярости. — Ты пипец просто... На тебя мне уже как-то пофиг. Уже как бы утомилась спасать тебя. Но ты, блин, взрослый же человек, не? Ты про ребенка нашего подумай. Во что ты свою жизнь превратил??

— Окей, девчонка! — кричу я. — Окей-Окей-Окей!!!

— Ты на веществах?!

— Оке-е-ей! Девчонка-а-а-а!

— Совсем рехнулся, — шепчет Воронина, пятясь.

Я резко захлопываю дверь. Хватаю воздух ртом. Голова дико раскалывается, доползти бы до дивана...

— Какого. Хрена. Происходит. — говорит Воронина в моей голове.

Последние несколько часов Воронина кричит. Это невыносимо. Она кричит не переставая. Я запиваю это водкой и заедаю пенталгином. Я менял эмо-настройки, я сбрасывал до фабричных, до нуля — что-то

ничего не помогает. Пробовал перезапустить. Пробовал выключить и включить.

А-а-а-а! Не ори на меня, любимая, пожалуйста, перестань.

Тишкин, что ты натворил, что ты со мной сделал, ты хоть сам понимаешь, как же ты мог, дрянь...

О Боже мой, ну давай поговорим как взрослые...

А-а-а-а! Любимая, солнышко, цветочек, девочка моя, умоляю, ну потерпи, у тебя всё будет, у тебя будет свое тело — какое угодно... Хочешь стать Евой Эльфи или Захаровой из «Формулы любви», можно даже сделать тебя похожей на твою маму, которую я очень уважаю на самом деле, нам бы только до мая продержаться, а там подойдёт подмога: чапаевская кавалерия, а за ней жаб на жабмобиле, а за ним медведи-балалаечники...

Гнатюк кидает вежливые войсы. Ахметов кидает тревожные смс.

Что ж ты милая, кричи-и-ишь из-ну-три-и-и... А хочешь, посмотрим твоего лядского Виндинга Рефна, обожаю этот бомбер Гослинга, жёлтый скорпион на серебряном поле...

Ты сам скорпион, насекомое, онанист чертов...

Не ори на меня, не смей меня перебивать, ты кто такая вообще, ты просто задумайся, дура! Кто ты без меня ха-ха-ха, Умничка, еще льда пожалуйста, эх, сейчас бы еще огурчиков...

Заткнись-заткнись-заткнись... Алкаш поганый, не смей меня включать, не смей разговаривать со мной, сволочь.

Я люблю тебя, Воронина, я запутался, я просто очень испугался тебя потерять.

Кого меня? Кто я?! Если она — там, то кто тогда я?!

Ты мое сердце, ты моя жизнь, ты моё всё... Ведь страшно сказать, я люблю тебя даже больше Костика, это так ужасно, мне так стыдно, но это правда.

Какая же ты мразь, ты чудовище, какой ты мерзкий...

Гнатюк кидает матерные войсы. Ахметов кидает панические смс. С работой траблы: внезапно все меня хотят. Какие-то там сметы не сошлись, какие-то там пропавшие ИИ-чипы, коррупционные схемы в технологическом отделе... Постоянно вообще все звонят на смарт, очень отвлекает, поэтому я топлю его в клюквенном морсе, в своей запивке... Постоянно приходят, трезвонят, стучат. Сунули под дверь какую-то бумажку с печатью. Игорь-куратор звонил, просил никуда не выходить из дома: специалисты, мол, уже в пути. Всё будет хорошо, они помогут... Звонил мне на домашний номер. Не знал, что он у нас есть. Пошло оно всё.

Я запираюсь в гараже. Только я и она, мой суперспорткар, моя красавица «Малуша»... Моя лимонно-салатная красотка, такая блестящая, такая чистенькая, ну хоть ты-то меня понимаешь?

Ты сумасшедший, выродок, моральный урод!

Что, детка, ревнуешь, да?!

Да гребись ты в глушитель со своей стрёмной тачкой.

А что, это мысль...

Ты подонок, тварь.

Ну не ори на меня, ну пожалуйста, ну, сколько можно, хотя... ты никогда не устаешь, верно?

Ты просто психопат, ты больной, не можешь перестать врать, даже самому себе, в тебе вообще осталось хоть что-то человеческое?

А мне никогда не нравилась Диана Павловна, ха-ха-ха.

И что теперь, а я переспала с твоим Гнатьюком, тогда, в «Лесных даях», пока ты бухал с Ахметовым, и знаешь, мне очень понравилось, хер у него огромный, больше чем у тебя...

Заткнись, сука, ты даже не настоящая, ты мой супер-скрипт.

Как же я ненавижу тебя, Тишкин.

Я тебя-я-я... А ведь если захочу, я засажу тебя в любую упаковку. Засажу тебя в поросёнка. Нравятся поросятки, хрю-хрю-хрю? Молчишь теперь? Я же тебе бессмертие подарил, идиотка, ты никогда не станешь старой, дряхлой, тебе не придется делать сто-пятьсот подтяжек и красить волосы в немыслимые какие-то цвета, как твоя мамаша, дай Бог ей здоровья, не придется тебе никогда рубиться в бесполезной битве со временем... Ты бессмертная, млять! И всё благодаря мне, Воронина...

Ну ты и мудака, Тишкин. Ты что, забыл? Я же не настоящая, просто сборище твоих сраных комплексов и влажных фантазий. Ты ведь даже ничего толком не знаешь про свою жену. Ты кем себя возомнил — Толстым, Голсуорси? Габриэлем Гарсией, блин, Марксом? Ты просто скриптовщик, твой потолок — бычье с калашами и тугодумный грузчик-сексист, вот тут ты был хорош, я не спорю... Ты же просто покрутил фабричные настройки, взломал мои пароли, скачал логи, письма... Выкачал гигабайты инфы и что-то из этого слепил... Ты ведь даже ничего про меня не знаешь.

Я не просто скриптовщик, я ведущий скриптовщик! И я точно знаю, Воронина, что ты лучшее, что было в моей жизни. Ты мой смысл. И пусть всё умрет нафиг, всё пройдет и закончится. Ты будешь жить дальше...

Это не жизнь, глупый. А вас всех посадят. И Гнатьюка, и Ахметова. И никакие взятки, никакие связи в Цензурном комитете не помогут. Когда все поймут, что вы сотворили. Вы же нелюди какие-то, это нелюдское...

Много ты понимаешь в людском, лядский скрипт?!

Я знаю ровно то, что знаешь ты, только чуть-чуть больше, потому что остальное я могу досчитать.

А все-таки классно ты у меня получилась, горжусь собой. Но ты права... Умничка, где наш великолепный японский рыбный ножик, смотри, любимая, им я вырежу этот сраный ИИ-чип, и тогда ты заткнешься.

Решил избавиться от меня? Трус... А знаешь что я еще умею? Поставь свою гребаную бутылку, я сказала! Бросай, вот так. Теперь — шаг, еще шажочек.

Нет, погоди, но как... Ты не можешь мной управлять, дура, нунафиг, это же просто не прописано в твоём скрипте, я не...

Шаг. Еще шажочек. Небольшая прогулка от Сколково до Новой Москвы, новостройки наступают на трехгорский лес, но тут еще есть где потеряться. Местные даже собирают здесь грибы, помнишь? Так мы с тобой

до него и не дошли... Но хоть теперь. Мы выходим из гаража навстречу ледяному ветру. На нас тонкая футболка и драные джинсы. Мы бежим через двор, врезаемся в симпатичного снеговика, разрушаем его умное лицо, мы натываемся на гирлянду с цветными лампочками, она оплетается вокруг нашей шеи, душит-душит, и как же чертовски холодно... Мы бежим босиком по снегу. Не морозь меня-я-я... Мы одно целое. Мы бежим по асфальту и по льду, карабкаемся через ограждения из сетки-рабицы, мы распарываем в кровь руки о колючую проволоку. Мы, разрывая легкие морозным воздухом, устало бредем через железнодорожные пути... Лес неожиданно обступает нас со всех сторон, и мы бежим опять. Еловые лапы царапают лицо, но бежать быстро уже не получается, мы взвзем в снегу по колено. Ногам очень больно. Но мы, спотыкаясь, лезем дальше, в самую чащу...

Мы не боимся замерзнуть и заблудиться.

Мы уже заблудились.

Мы уже замерзаем.

Окей, Эдик.

Всё. Окей.



Женя Крич

Нью-Йорк

СВЯТОЕ БРАТСТВО

"И вот имена сынов Исраэля..."
Книга Шмот (имена), Глава 1.

Добро, которое делают мертвому — истинно и бескорыстно. Мертвый не может отблагодарить ни тех, кто омывал его тело, ни тех, кто организовывал похороны, ни тех, кто читал над могилой слова поминальной молитвы. А уж если у покойного не оказалось ни друзей, ни родственников, то вся ответственность за его проводы в мир иной ложится на "Хевра Кадиша", погребальное братство. Такие покойники вызывают у меня трепет, как будто за отсутствием скорбящих сам Всевышний лично следит за обрядом погребения. Чаще всего ими оказываются бедняки, странствующие из местечка в местечко в поисках заработка или подаяния. Но иногда... Да, иногда случается другое, из ряда вон выходящее, переворачивающее общину с ног на голову, когда смерть чужака становится делом чести даже для стороннего наблюдателя.

Осень в тот год выдалась сырая и хмурая. Облака, похожие на застиранные простыни, сбивались в стаи над сутулыми домами и брызгали в окна холодной водой. Праздничный месяц Тишрей подходил к концу, остались позади и пляски на Симхат-Тойре, и новогодний медовый леках, и трубный глас Судного Дня. Жизнь возвращалась в свою колею, и колея эта доверху была наполнена дождевой водой. На незнакомца сначала никто не обратил внимания — рынок ме-

сто людное, даже в таком городишке, как наш. Мало ли людей, шныряющих по улицам в солдатской форме и расплывающихся за махорку старыми николаевскими деньгами? Но этот спросил у бакалейщика, как пройти в синагогу.

— Зачем служивому человеку синагога, когда в трактире у Мойшеле подают отличный и совсем недорогой ужин? — дружелюбно улыбнулся бакалейщик, приходившийся трактирщику Мойшеле двоюродным дядей.

— Хочу помолиться 'коль нидрей', — объяснил незнакомец.

Бакалейщик переглянулся с женой. Та застыла над прилавком с тряпкой в руках, громко шыгнула носом и пожалала плечами.

— Видите ли, милый человек, — задумчиво протянул бакалейщик, почесывая бороду, — опоздали вы на 'коль нидрей', недели эдак на две... Да и зачем вам День Искупления? У вас что, своих постов не хватает? Давайте я вам лучше сахару отвешу? Настоящий первосортный рафинад...

Но незнакомец уже скрылся за дверью.

Потом бакалейщик скажет, что сразу признал в покупателе еврея, а вопросы задавал исключительно из торгового интереса, но это уже будет не важно.

Молитвенный дом он, видимо, нашёл сам — от рынка до него по прямой.

Время вечерней молитвы ещё не подошло, и синагога пустовала, если не считать нескольких стариков, обсуждающих за столом талмудический трактат, да служку Шлеймила. Шлеймил с усердием подметал пол, прислушиваясь к словам Учения, смысл которых ускользал от него словно вода сквозь решето. Шлеймил заслуживает отдельного внимания, ибо в нашей истории он представляется одной из главных фигур.

Наверно в каждом местечке есть свой 'Шлеймил', имя которого служит для обозначения разных степеней наивности — шуточных и не очень. Когда сомневаются в правдивости сказанного, говорят: 'расскажи это Шлеймилу' или 'это тебе Шлеймил рассказал?'

Когда Шлеймилу выпадала редкая честь быть вызванным к свитку Торы, то звали его Шлойме бен Борух, но все прихожане от мала до велика обращались к нему не иначе как 'Шлеймил'. Он не обижался. Много лет назад Шлеймил работал водовозом, но повредил ногу и с тех пор хромал. Трудиться как прежде он не мог, и тогдашний ребе нанял его служкой в синагогу — двор мести, светильники чистить, переплетать потрепанные молитвенники. Вместо тогдашнего ребе общиной теперь руководил его сын — Реб Довид перед которым Шлеймил благоговел также, как перед его отцом. Всей своей душой Шлеймил стремился постичь многовековую еврейскую мудрость, передаваемую из поколения в поколение. Из года в год пытался понять, о чём толкуют учёные прихожане, садился за стол, брал в руки книгу, но святые буквы сливались в причудливые формы, созерцание которых вгоняло Шлеймила в сон. Смирившись с отсутствием способно-

стей к Учению, Шлеймил решил найти для себя иной способ приобщения к святости.

Есть древняя легенда о тридцати шести скрытых праведниках, на которых держится мир. Праведники эти ничем не отличаются от обычных людей. Иногда в обличьи нищих они странствуют от штетла к штетлу, совершая таким образом 'галут' — изгнание, искупающее грехи поколения. Получить благословение такого светоча — большая удача.

Шлеймил в каждом пришлом человеке пытался разглядеть скрытого знатока Торы, ученого каббалиста или великого раввина, инкогнито путешествующего по окраинам Российской Империи. Он приводил домой забредших в штетл оборванцев, топил для них баню, делил с ними свой скудный ужин и прислушивался — не обронит ли где гость искру святой мудрости. Хайка, жена Шлеймила, усталая женщина с красными от мытья посуды руками, в скрытых праведников не верила, а благословением считала то, что 'святые' гости мужа из дому пока ничего не украли. Да и красть там было нечего.

Когда человек в поношенной солдатской шинели и стоптанных сапогах появился на пороге штетла, солнце блеснуло из-за туч, да так ярко, что Шлеймил зажмурился и уронил метлу. Потом он скажет, что ощутил озарение, знак свыше, но ему, конечно же, никто не поверит.

Шлеймил не слышал, о чем беседовал реб Довид с солдатом. Наверняка о мистических тайнах Учения, о концепции мироустройства или других вещах, недоступных пониманию простого смертного, о чем же ещё? Самое главное, Шлеймил видел, с какой теплотой смотрел реб Довид на своего собеседника и как крепко жал ему руку на прощанье. Поэтому вместо того, чтобы по просьбе ребе проводить незнакомца на постоянный двор, Шлеймил привёл его напрямик к себе домой.

Если б в ругательствах содержались хоть какие-то искры святости, то Хайкиными словами в адрес мужа и его гостей можно было бы освятить все Подолье.

— Остолоп! Опять бродягу привёл! По виду он с позапрошлого Пейсаха не мылся. Что мы теперь с ним делать будем?

— Побойся Бога, глупая женщина! — шикал Шлеймил, — сам реб Довид признал в нём святого праведника. А что из кантонистов — так Реб Довид говорит, кантонистам положена особая доля в грядущем мире за все страдания, которые они претерпели.

— Ты не просто остолоп, но ещё и дурачина! — отвечала жена, — чем я его кормить буду? У нас из еды одна картошка, да и та почти закончилась.

Шлеймил извиняясь развёл руками.

— Ну, придумай что-нибудь. Ты же такая умница, настоящая 'эшет хаиль'.

Хайка нажарила картошку с луком, извлекла из погреба квашеную капусту. Откуда-то взялся штоф водки — можно и 'лехаим' пропустить.

Как ни пытался Шлеймил разговорить гостя и вывести у него тайны мироздания, тот уходил от отве-

та. Даже имени своего настоящего не назвал. Разве еврея могут звать 'Григорием'?

Спать служивому постелили в сенях. От одеяла он отказался, сказав, что привычный спать на воздухе и укрываться шинелью.

Шлеймил не мог нахвалиться на гостя — и табуреты поломанные в доме починил, и детишкам фигурки из дерева понавыврезал. А то, что, на святом языке с трудом читает и речей умных не говорит — так то для маскировки.

Даже Хайка хвалила гостя. На днях в бакалейной лавке она уже успела разболтать, какие у постояльца на редкость золотые руки.

— Он с виду, конечно, грубоват. И словечки пропускает, что в приличном обществе не повторишь. Но человек добрый и работающий.

Бакалейщица Двойра, потомственная сваха, сразу сообразила:

— Жену бы ему подобрать, из вдовых. Есть у меня кое-кто на примете.

— С ума сошла, Двойра, — рассмеялась Сара, — он всю жизнь прожил как гой, двадцать пять лет трефное ел да святую субботу нарушал. Кто за него пойдёт?

Сара, резкая на язык, работала в доме богача Гершеля — владельца известной на всю округу винокурни. Спорить с его прислугой не хотелось — с клиентами ссориться себе дороже.

— Человеку просто не повезло, — вступилась за своего постояльца Хайка, — разве он виноват, что его ребёнком хапперы в армию загребли? Кто угодно мог к ним в лапы попасться, ещё повезло, что остался живым. А руки у него и впрямь золотые — обещался и крышу залатать и забор поправить.

— Сразу видно, солдатик тебе приглянулся, — усмехнулась Сара, складывая в корзину коробки с чаем, — Шлеймила-то поди за пояс заткнёт...

Потом Сара скажет, что ничего такого не имела в виду, но с тех пор Хайка перестанет с ней разговаривать.

То, что пришло в голову одному может прийти в голову другому, а слухи распространяются быстрее пожара. Чтобы не дать пожару разгореться, вечером того же дня Григорий к величайшему разочарованию Шлеймила переехал на постоянный двор. Видать, не судьба благословение праведника заполучить.

Не знаю, как здесь, у нас, могла бы сложиться жизнь Григория. Возможно, свахи подобрали бы ему молоджавую вдовушку в жены, а может, доживал бы своё бобылем ремонтируя крыши, да подрабатывая в плотницкой. А может открылся бы в нем талант к святому Учению, как у великого Раби Акивы, который еврейскую грамоту в сорок лет освоил. Никто не знает, как бы оно сложилось, да только нашли Григория мертвым в конюшне при постоялом дворе. Новость облетела штетл в считанные минуты, и толпа зевак двинулась к месту происшествия с устремленностью речного потока. Тело обнаружил местный балагула, сбивчивый рассказ которого сводился к тому, что утреннюю молитву шахарис он проспал, поскольку вчера немного выпил в трактире, точнее, собирался вы-

пить немного, но добрые люди налили бесплатно, а упускать такое благо — грех. А раз молитву все равно пропустил — куда теперь торопиться, можно и вздремнуть, стог сена в углу конюшни — чем не постель? Под слоем сена балагула и наткнулся на спящего солдата. То есть, сначала он думал, что спящего, но сообразил, что ежели у человека лицо кровью залито, то спать ему, пожалуй, не очень удобно.

— А зачем ты его вообще трогал? Небось, карманы проверял? — резонно предположил один из зевак, отчего и без того красная физиономия балагулы покраснела еще больше.

— Да что у солдата в карманах может водиться, — заметил другой, — остатки махорки? Так у нас этого добра и так хватает.

Между тем подоспел пристав и, расточая запах уренного перегара вперемешку с ругательствами, постановил следующее: смерть признать несчастным случаем ввиду получения потерпевшим головной травмы лошадиным копытом, о чем свидетельствует отчетливый след от подковы на лбу. Балагулу задержать для выяснения деталей. Если еврейская община считает покойного евреем, то пусть хоронит за свой счет. Всем остальным к делу не причастным немедленно разойтись. Назначив двух крестьян конвоировать балагулу в соседнее Городище, пристав посчитал свой служебный долг выполненным.

Безутешный Шлеймил все никак не хотел уходить, обвиняя себя в смерти солдата:

— Не уговорил я цадика остаться в своем доме! Из-за меня погиб святой человек!

Наконец, Шлеймила спровадили. Возле покойного остались реб Довид, перепуганная хозяйка постоялого двора — грузная тетка по прозвищу 'Бейла—вытирайте-ноги', и мы — трое товарищей похоронного братства.

Самый старший из нас — реб Нохум, будучи на седьмом десятке, практически потерял зрение. Он ходил, тяжело опираясь на палку, густая белая борода придавала его облику лик библейского старца. Когда-то он рыл могилы — и в зимние морозы, и в осеннюю слякоть, и в летнюю засуху. Теперь он сидел возле усопших, омытых и ожидающих погребения, отгоняя словами псалмов нечистые силы, жаждущие заполнить брненное тело, в котором ещё недавно обитала святая душа. Молитвенник реб Нохум листал по привычке — текст он знал наизусть, но книга в руках, как он говорил, придаёт силу и отгоняет тьму.

Вместе с реб Нохумом подоспел Аврум — наш казначей и председатель. Последний десяток лет он вёл учёт пожертвований в казну и занимался распределением мест на кладбище. Впрочем, когда требовалась помощь в подготовке тела в последний путь или пара крепких рук для установки надгробия — Аврум отзывался первым. Гигантского роста и недюжинной физической силы, Аврум от лица нашей "Хевры" общался с представителями власти, с коими иной раз мог выпить водки для укрепления культурных связей.

— Благославлен Всевышний, творящий справедливость, — нарушил молчание реб Нохум, — Из дернифер гевен иден?

— Покойный был евреем, — подтвердил раввин.

— И как звали несчастного еврея?

— У нас сутки, чтобы это выяснить, — ответил реб Довид, — хотелось бы похоронить его до наступления субботы.

— А что ж тут выяснять, у него ж наверняка вещи остались, документы какие-нибудь, — удивился Аврум, — вот мы сейчас у тети Бейлы спросим. Янкель, пойдй глянь, что там.

— Я ничего не трогала! — затараторила хозяйка, — комната у него этажом выше, идите сами посмотрите. Только ноги вытирайте! Я с утра пол вымыла, а то натоптали вчера. По мне так, что бедный, что богатый — всяк должен ноги вытирать. Ой, горе-то какое, тут человек умер, я про мытье полов...Только не спал он в своей комнате.

Хозяйка продолжала тараторить, пока мы поднимались вверх.

— Я только на секунду заглянула, смотрю, кровать не разобрана, а трогать — ничего не трогала. Вот тут коврик, вытирайте ноги, пожалуйста.

Комнатка была крошечной — помещались в ней только кровать и табурет. На двери висела потертая шинель, а под кроватью лежал заплочный мешок непонятного цвета.

Хозяйка оказалась права — кровать выглядела нетронутой.

— Видать, не привыкший он на постелях спать, — заключила тетя Бейла, — был не привыкший. Ой взй, горе-то...

В мешке мы нашли завернутую в тряпицу медаль 'За храбрость' с портретом императора Николая, пару застиранного белья, кисет с остатками махорки, потрепанный молитвенник и несколько старых ассигнаций — ничего, что могло бы рассказать о личности покойного.

—Ну что ж, — сказал Аврум, накрывая распростертое на земле тело талитом, — прости нас, неизвестного имени человек, за то, что не хороним тебя немедленно. Очень важно выяснить, кто все-таки тебя убил.

— Ты тоже считаешь, что его убили? — спросил реб Довид.

— А кто ещё считает?

— Янкель, — кивнул ребе в мою сторону и все, включая незрячего Нохума, уставились на меня.

Я, пожалуй, самый молодой в нашей 'Хевре' и далеко не самый опытный. Приняли меня два года назад вместо умершего от легочной болезни реб Хаима, мужа сумасшедшей Енты. Я подумал — дети мои повзростали, внуков пока ещё нет. За скобяной лавкой в мое отсутствие жена присмотрит. В общем, имею возможность поучаствовать в богоугодном деле. Многому меня научил реб Нохум — и как завязывать тахрихим — погребальные одежды без застежек и узлов, и как омыывать тело, погружая его в воду, словно в микву. Две взрослые дочери реб Нахума шили тахрихим из льняной ткани. Они же омывали женщин-покойниц.

Видимо, погребальное дело было у них семейной традицией. Опыта у меня, конечно, поменьше других, но кое-что и я смекнул.

—Помню, в соседней деревне на позапрошлые кущи лошадь одного лягнула. Уж какая вожжа ей под хвост? Встала на дыбы и человека копытом в голову! Ничего почти от той головы и не осталось... А тут отпечаток подковы аккуратный, будто специально по лбу приложили.

— То-то же, — вздохнул реб Довид, так что вы, друзья, дело своё делайте, да примечайте если что странным покажется. Только держите язык за зубами. А ты, хозяйка, если вспомнишь что-то подозрительное, сразу мне докладывай.

Перепуганная тетя Бейла согласно закивала.

Мы с Аврумом аккуратно погрузили тело на носилки и двинулись в сторону кладбища, где находился деревянный дом охраны и омовения, в котором умерших готовят в последний путь.

Не может еврей умереть, оставаясь вероотступником: даже такой еврей перед смертью испытывает раскаяние и полностью возвращается к вере, так что он покидает этот мир совершенным праведником. Так говорил раби Нахман из Брецлава, а уж он разбирался в вопросах жизни и смерти. К каждому умершему мы относимся как к цадику — с почтением. Все разговоры во время подготовки прекращаются, каждому из товарищей братства отведена роль. Мы снимаем с покойника бинты, если таковые имеются, вымываем грязь из-под ногтей — все это молча, стараясь не передавать никаких предметов через лежащее на столе тело. И богачи, привыкшие к роскоши, и бедняки, довольствовавшиеся куском грубого хлеба, завершают свой путь в простых льняных одеждах — одинаковых для всех.

'Чист, чист, чист', — объявляем мы, после чего просим у покойного прощения, если что сделали не так. Реб Нохум остаётся возле тела — читать псалмы. Он раскачивается в такт древней мелодии, и белые кисти его талита раскачиваются вместе с ним. Выходя из комнаты, я задерживаю взгляд на пламени свечи, и на душе у меня делается светло, ведь как говорится в притчах Соломоновых, 'душа человека — свеча Всевышнего'.

В тот раз вместо привычного ощущения завершенности я чувствовал беспокойство и страх. Заметил ли Аврум то, что заметил я?

— Судя по оконечению и трупным пятнам, смерть наступила вчера, — доложил Аврум реб Довиду, — под ногтями следы кожи, а во рту какие-то волокна. Убили его, в общем. Скорее всего, придушили.

— А след подковы? — спросил реб Довид.

— Подковой потом по голове заехали, да и то не сильно, видимо только для того, чтобы подкова отпечаталась. Иначе крови было бы больше.

— Ты, Янкель, что думаешь?

— Я думаю, кому понадобилось его убивать? Денег у него мало, да и те не взяли. Медаль серебряная то-

же в целости. Солдат никому в местечке дурного не сделал...

Или сделал?...И что же получается — убийца среди наших, местечковых?

Эта мысль взволновала меня пуще других. Кого подзреть, когда кругом все свои? Пусть не самые благочестивые, но и не душегубы. И кто вчера приходил к солдату? В коридоре явно ж натоптали, стала бы хозяйка возмущаться?

Реб Довид сказал, что после полуденной молитвы имеет ко всем важное обращение и запросил у Аврума пинкас — ведомость о захоронениях на еврейском кладбище. Я удивился — ведь места захоронения определяет 'Хевра Кадиша', а не раввин. Да и зачем ему списки двадцатилетней давности?

Минху молились тихо, без особого воодушевления, словно собрались чужие люди, чьи клятвы и мольбы — пустые слова, цена которым грош в базарный день.

К концу молитвы народу в штибле набралось — яблоку упасть негде. Раввин наш — человек неприметный и особыми заявлениями раньше не отличался. Народ, голодный до новостей и сплетен, собрался не из религиозного рвения, а, скорее, из любопытства. Последним протиснулся Мойшеле-трактирщик. Физиономию его украшал здоровенный фингал под глазом.

— Я расскажу вам историю, — начал реб Довид, оглядывая собравшихся и прокашливаясь.

Дело было почти тридцать лет назад. Указом императора Николая еврейские общины обязывались предоставить на каждую тысячу десять детей возраста двенадцати лет для службы в армии. Ни для кого не секрет, что 'служба' это заключалась в попытках превратить евреев в христиан путём жестоких издевательств, после которых большинство мальчиков просто не выживало. Не миновала эта беда и наше местечко. 'Хаперы' — ловцы детей, хватали всех, кто казался подходящего возраста, буквально выхватывая сыновей из материнских рук. За малолетних рекрутов 'хаперам' полагалась особая премия от властей. И вот в их лапы попадает молодой парнишка, едва ставший бар-мицве. Родители в ужасе. Сгинет пацанчик, забудут его до смерти, а если выживет, то родных отца с матерью забудет. Благо, Всевышний не обделил родителей доходом. Они собирают приличную сумму и дают взятку. Кому? Тому, кто знает, что в списки гораздо выгоднее включать детей богачей, ведь состоятельные родители обязательно найдут деньги, чтобы выкупить своё чадо. Примерно в то же время в местечке умирает ребёнок лет десяти.

Я смотрел, как реб Довид листает пожелтевшие страницы пинкаса. Вот для чего ему понадобилась ведомость!

— Да мало ли детей умирало в то время? — раздался чей-то недоверчивый голос, — то чахотка, то лихоманка, то другая хворь...

— Янкель, — я вздрогнул, услышав своё имя, — объясни нам, что написано в этих бумагах.

Я даже не сразу понял, что раввин обращается ко мне. Да и зачем? Ведь ему прекрасно известно, как ведётся учет в наших книгах.

Прихожане расступились, пропуская меня вперед. Я огляделся в поисках Аврума — ведь он как раз по части учета, но реб Довид уже протягивал мне сшитые сапожной иглой листы бумаги — "читай, читай".

— Ну вот тут имя человека и его родителей, дата смерти и участок на кладбище. Там земля на квадраты поделена, вот буква алфавита, она же цифра, для обозначения. Иногда мы пишем, кто покоится в соседних могилах для пущей ясности.

— А почему возле этого имени нет таких обозначений? — допытывался раввин.

— Потому, что человека не похоронили. Скорее всего, его признали мертвым или пропавшим, но тела так и не нашли.

Таких имен за последнюю пару десятков лет оказалось девять. Реб Довида интересовали мальчики, пропавшие двадцать — двадцать пять лет назад. Их было всего двое — но, имена на полях почти истерлись. Йосель и Лейбл? Или Лейзер?

На женской половине штибла раздался протяжный вой, переходящий в рыдания.

— Воды! Дайте Енте воды!

— Успокойся, Ента, это не твой Йосель, у твоего-то шрам был через все лицо.

Йосель, сын сумасшедшей Енты и покойного Хаима пропал давным-давно. Отправился на ярмарку в Городище, да так и не вернулся. Про второго мальчика я слыхом не слыхивал.

— Реб Довид, к чему ворошить старые записи? — снова выкрикнул кто-то, — в них небось ничего не разберешь.

Толпа вдруг расступилась словно воды Красного моря перед Моисеем, пропуская реб Нохума, опирающегося на палку.

— Пять тысяч восемьдесят восьмой год от сотворения мира. Месяц Тишрей — Мендель, сын Залмана и Соры, реш-далет. Шейна, дочь Велвела и Брахи, реш-гимел...Мар-Хешван...

Старик продолжал читать по памяти, а я лишь сверял его слова с написанным и вдруг меня осенило: это же он, Нохум, вёл записи, пока не лишился зрения!

— Лейбл, сын Боруха и Фрумы, десяти лет отроду, пропал в начале летнего месяца Сиван.

— Утонул малец, — вздохнул реб Нохум, — одежду на берегу нашли. Бабка его померла вскорости, а родители ещё до того, благослави, Всевышний, их память... Вот они как раз на кладбище нашем и похоронены.

— А что, если Лейбл не утонул, а отправился на военную службу вместо сына богатых родителей? В бумагах он значился под другим именем, а новые 'воспитатели' доходчиво объяснили, что старое имя нужно забыть, а потом и вовсе окрестили и нарекли Григорием, — раввин оглядел собравшихся, словно пытался увидеть на их лицах подтверждение своим словам.

— Двадцать с лишним лет спустя Григорий возвращается в родные края. Он не помнит своего настоящего имени, помнит лишь то, что у евреев осенью самый важный день в году — Судный День. В нынешнем году праздники пришлось рано и Григорий, не имея под рукой еврейского календаря, опоздал на две недели. Я дал ему старый молитвенник — хоть и забыл солдат отца и мать, а буквы святые помнил. Он поведал мне свою историю — трагическую историю детей-кантонистов, оторванных от дома и брошенных в лапы царских 'дядек'. Слыхали про тогдашний указ министра Аракчеева о евреях-кантонистах? "Девять забей, а десятого представь"? Вот Григорий и был тот самый, десятый. Выжил, получил медаль и вернулся домой. Только ни дома, ни родственников не осталось. Все, что связывает с нашим местечком — обрывки детских воспоминаний, да наградной документ — грамота на чужое имя. Грамоты при убитом не нашлось.

"Убийство? Кто сказал "убийство"? — сквозь толпу прихожан пополз приглушенный шепот.

— Цадика убили! — завыл Шлеймил. — Горе всем нам!

На Шлеймила зашикали.

Реб Довид невозмутимо продолжил:

— Похороны завтра утром. Хочу предупредить всех присутствующих о тяжести греха злословия. Нечего судачить о том, кому что показалась. Обвинить невинного — страшное дело. Но если кто действительно что-то знает, пусть скажет лично мне.

— Да что тут думать! Кто здесь примерно одного с покойником возраста, тому и выгодно было от него избавиться! — воскликнул бакалейщик. — Я вот поди староват. Мой племянник Мойшеле, наоборот, слишком молод. А Янкель, к примеру, сгодится. Только у его родителей лавка дохода почти не приносила, едва на жизнь хватало. Не то, что у некоторых. Бакалейщик привстал на цыпочки, словно выглядывая кого-то среди прихожан.

— Вижу тут кое у кого подозрения возникли.

Толпа охнула и расступилась. Гершель, владелец винокурни и местный богач вышел вперёд, поправляя меховой штраймл на лысеющей голове.

— Хочу сразу сказать, чтобы потом не возникло недомолвок. Человек я прямой и подозрения мне не нужны. Перед смертью мать призналась, что много лет назад дала взятку тогдашнему приставу, чтобы меня вычеркнули из списков кантонистов. Но она не знала, что вместо меня другого схватят, думала, просто деньги возьмут и отпустят. Сгубила, говорит, чужую жизнь, за то и умирала в мучениях. Когда солдат появился в штетле, то я поначалу не обратил внимания, но бабы болтали всякое и я смекнул. Документы у него на мое имя — Гершель, сын Исроэлев, нареченный Григорием. Грамота эта... Вот я и подумал, тесновато двоим Гершелю в одном местечке будет, особенно если возникнет вопрос о наследстве и тому подобных делах. Тут еще сделка важная с купцами из Волыни намечается, так что, сами понимаете. Встретился я с ним вчера, но не убивал! Денег дал в обмен

на грамоту. Уезжай, говорю, начни новую жизнь, но не здесь...

— Много денег? — деловито поинтересовался реб Довид.

— Десяток новых кредитных билетов. Мне их как раз задатком компаньоны дали. Он не соглашался, говорил, имя — не товар, захотел — купил, захотел продал. Но я настаивал, даже чуток пригрозил, чего уж там. Но не убивал!

— Хм. Янкель, при убитом или в его вещах деньги имелись?

— Только ассигнации, — смущенно ответил я. Что же, они меня в краже подозревают? Или может хозяйку гостиницы? Да нет же! Тетя Бейла — болтливая тетка, но не воровка. А может, не было никаких денег? Гершель с солдатом примерно одного роста, характер у него вспыльчивый, привык, что все с ним считаются.

— По правде сказать, — заметил Гершель, — не видел я, куда Григорий деньги положил. Мы встретились на конюшне, поговорили, потом пошли за грамотой, но с полдороги я вернулся — решил, что не стоит, чтоб нас вместе видели. Там на конюшне ему деньги и отдал. Хозяйка, кстати, меня заметила, еще возмущалась по поводу грязи в коридоре. Я ей целковый дал, чтоб помалкивала, но раз меня в убийстве подозревают, пусть подтвердит мои слова.

— Хм, — опять произнёс раввин. — За последние сутки никто не пытался сменить кредитные билеты на серебро? Или, может, расплатиться ими в лавке какой?

— Раз уж на то пошло... Эх... — к биме протиснулся Мойше-трактирщик. — Гершель, твои?

Трактирщик вынул из-за пазухи несколько кредиток и сунул Гершелю под нос.

— Я человек деловой и обстоятельный, у меня, на всякий случай номера записаны, — ответил Гершель, извлекая из кармана лапсердака записную книжицу, — и судя по номерам, деньги как раз из тех. Но откуда они у тебя?

— Пришли вчера ко мне двое конюхов с постоялого двора как раз перед закрытием. Водки требовали, ну я им налил — платят ведь. Они нажрались и давай мебель громить. Скамейку сломали. Ну я с них и взыскал за ущерб. Фингал, правда, вот заработал...

Оказывается, не только балагула имел привычку спать в стогу сена. Двое конюхов услышали обрывки разговора между двумя Гершелю и решили, что удача сама в руки им лезет. Солдат — никому не родственник и разбираться с его смертью не будут. А если будут, то подходящий подозреваемый уже имеется.

Потом конюхи скажут, что солдат на них первый напал, деньги у него сами из кармана выпали, а настоящий преступник — это трактирщик, который водку разбавляет и в долг не наливает, но протрезвевший балагула вспомнит, как конюхи просили солдата осмотреть лошадь, мол артачится, не приболела ли... А уж поверят ему или нет...

Домой я шел медленно, словно отмеряя каждый шаг, а в голове моей вертелись нерадостные мысли. Как так получилось, что я совсем не помнил пропавшего мальчика? Я был на несколько лет старше его, помогал отцу в лавке и собирался свататься к самой красивой девушке штетла. Мы любовались закатным солнцем, тонущем в темных водах реки, вдыхали аромат набирающих цвет васильков и планировали нашу будущую счастливую жизнь. А в это время в двух шагах от нас сироту продавали на верную смерть.

Похоронили солдата рядом с его родителями. На похороны, несмотря на морозящий дождь и пробирающий до костей ветер, собралось все местечко. Оставшись одна, сумасшедшая Ента долго стояла у могилы Григория-Лейбла, раскачиваясь и причитая, в надежде, что душа святого праведника донесет ее мольбы до Небесного Престола и вернет ей сына.



Татьяна Тихонова
Новокузнецк

МЕЧТАТЕЛЬ

"Удивительный мир", — думал кит.

Он шёл на глубину. Мелькал по туннелям сине-зелёных льдин. Стремительно нёсся по проходам. Ему нравилось вспоминать, что здесь он уже был. Эти огромные ледяные лабиринты, большие живые существа. Да, он уже был здесь...

И плыл дальше, набирая скорость. Стены то сужались, превращаясь в тупик, заставляя возвращаться, а то вдруг льды расступались.

Встретилась медуза. И кит стал медузой. Повис рядом. Щупальца его едва шевелились. Холодно, сонно, жизнь будто засыпала в нём вместе с тем, как забывались движение и скорость. Огромное существо висело в зеленоватой воде.

Время словно застыло. Медуза стала опять китом, кит развернулся к пятну света там, наверху. Рванул, набирая скорость, и вымахнул на поверхность, поднявшись высоко. Увидел землю, скалы и птиц. Вошёл в воду. Шумно выдохнул, выбрасывая фонтан. Поплыл один посреди пустынного моря, толща льда вокруг глушила звуки, низкое облачное небо казалось тоже ледяным. Шёл снег, белой шубой покрывал воду.

Впереди виднелся скалистый берег. Кит поплыл к берегу. Долго кружил между льдинами, по разводьям. Мелко. Песчаная отмель тянулась и тянулась. Вернулся на глубину, разогнался и вырвался в небо, подняв тучу брызг, и стал гагарой, увиденной там, вдалеке.

Гагара закувыркалась, стала падать, принялась бить крыльями в воздухе, но вскоре выровнялась и полетела к скалам... А потом он был носорогом. И тигром. И ещё совой. Белой. Ловил мышей и отпускал. Зачем ему мыши? — они живые, в отличие от него. Он хотел бы быть живым, и поэтому становился ими. Сам

он умел лишь лететь по мирам, узнавать новое, хранить в себе, передавать другим. Умная машина, исследовательский зонд. Но уже давно он никому не был нужен, его никто не звал. И что-то с ним стало не так — и он подумал, что умеет мечтать. Он мечтал быть живым.

Когда он увидел мамонта, то понял, что больше не хочет быть никем, только им. Или китом... И становился китом. А потом опять мамонтом. Так и жил. А потом загрустил, заскучал, ему вдруг захотелось вернуться домой. Потому что видел, что все живые спешили домой, у них у всех был дом, гнездо, нора, стая. А куда вернуться, он не помнил. Поднялся в небо и забыл, что ему надо стать звездолётом, слишком долго он им не был.

Слишком высоко поднялся. Стал падать, долго бороздил по степи, становясь самим собой, разваливаясь на части, угодил прямо в мамонта, сбил его. Расстроился ужасно, запищала аварийная система. Он решил, что, значит, умрёт тоже, вместе с этим большим спокойным зверем, сердце которого перестало стучать. Но не умер, машины не умирают. Лишь пищал всё тише, переходя в сон.

Мелкий снег сыпал и сыпал. Сквозь его канитель смутно виднелся лес. Порывы ветра сшибали снежные шапки, верхушки деревьев курились. Снегоход летел по равнине легко, сзади подпрыгивали сани-волокуши. От посёлка до мамонтовой станции далеко, надо спешить, если не хочешь останавливаться в зимовье. Его ещё протопить придётся, ведь не уснёшь, так и будешь сидеть дремать у печки. Другого жилья теперь не будет. "Может, и зря отказались от вездехода, но вездеход обещали только через неделю", — думал Морозов.

— Георгий Иванович, как вы там? Не примёрзли? — крикнул он.

— Норма-ально! — откликнулся егерь, занесенный снегом и похожий на сугроб. — Рюкзак отдай, говорю!

— Нет! Так теплее! — в который раз отшутился парень.

"Ишь, так теплее. Что у него там?" — усмехнулся егерь, его заросшее бородой лицо обметало куржаком по бровям и бороде.

От саней валил пар — на ногах у егеря лежал стреноженный и укрытый одеялом овцебычий ребёнок, как в шутку его назвал Георгий Иванович, а Александр его именовал Четырнадцатым.

Четырнадцатого передали метеорологи. Трёхмесячный телёнок отбил от стада и пришёл к ним. Ночь малыш переночевал у Морозовых.

— Жарко ему было, пришлось в подъезде прогуливать, там и ночевал. А то марширует и марширует по квартире. Младшая ходила проверять. Подойдёт к двери и шёпотом зовёт: "Четыле, четыле, четыле". Кое-как уложились спать с этими хождениями, — смеялся Александр, когда грузились.

Впереди в жидких дневных сумерках сквозь сетку снега биолог еле виднелся. Этот рюкзак его прыгал перед глазами.

"Кажется, биолог, — думал сонно егерь. — Или генетик? Работает-то в заповеднике. Молчун, но приветливый. Кричать через улицу, чтобы поздороваться, не будет, а поговоришь и видишь — хороший человек. Только молчун. Ну да как иначе, когда месяцами на километры вокруг тишина, только крупа снежная метёт позёмкой или гнус звенит".

Прилетели Морозовы в заповедник два года назад. Жена хорошенькая, хрупкая. Грустная только, или она от холода такая. Смешно одевалась поначалу. Словно капуста нарядится, из-под кофточки свитерок виднеется, поверх жилетик, да ещё шарфом обмотается. А зимой как-то встретил, уже не узнал, не отличишь от местной — малица, унты и песцовый капор.

Александр же постоянно в разъездах — носился со своим поголовьем овцебыков. В прошлом году часто дождь со снегом шёл, ледяной коркой пастбища покрывались, так он всё мотался — корма развозил, поголовье самок с детёнышами спасал. Но каждый раз, как только подворачивался случай, гнал в противоположный конец заповедника, на мамонтовую станцию. Конечно, все переживали, как там дела идут. А в этот раз Александр сказал, что может подхватить по пути, что едет к мамонтам, дело у него к заведующему станцией. Понятно, какое дело: что-то там обнаружено при раскопе, рядом с мамонтом, народ вывели с работ, говорят.

Георгий Иванович же прибыл в центр — в банк, долго чертыхался по поводу банковских автоматов, гаджетов, сотовых телефонов и планшетов. Но планшет купил новый, потом прихватил ещё — жене, и теперь с толком и расстановкой собирал намеченное по списку.

— Успеется, — ворчал он, — тебе, парень, овцебыка своего быстрее бы в стадо определить, а мне потом что делать? Опять сюда ехать? Вот то-то и оно. У тебя один рюкзак и Четырнадцатый, а у меня список в двадцать одну позицию, а по факту — в семьдесят два предмета, ещё не охвачен...

Ехали уже часа три с остановкой на песцовой ферме. Чаю напились, горячего супа наелись и дальше поехали. Быстро темнело. Сноп света от фар прыгал по дороге, по чернеющей глыбе леса-заповедника.

— Смотри! Вправо, вправо смотри! — долетел крик егеря.

Морозов притормозил, крутанулся. Растерянно улыбнулся.

Из чахлого подлеска выдвинулся мамонт. Махина метра четыре... Зверь вышел, как древний пароход какой-нибудь. Пар валил клубами, огромные бивни раскачивались в такт шагу... Надвинулся, загородил небо и лес... Потрясающий. Было в них это вот величественное, было. Медлительное и задумчивое, мир будто замирал вокруг, что-то будто происходило со временем. Оно становилось вязким, или это гигант так медленно шёл. Шёл в своём каком-то измерении. Шаггал, может быть, по лесу, а может, и по тундре... по тому снегу, лёгшему тысячелетия назад... Александр нащупал телефон, снять бы, не поверят ведь...

А мамонт исчез. Растаял. Ноги его ещё дрожали смутно и даже шли некоторое время.

Георгий Иванович прикурил, сложив ладони, опять забрался в рукавицы. Походил вокруг саней, похлопал себя руками, разминаясь.

— Заводи, Саня, свой драндулет, поехали. Ещё минут сорок пилить.

— Откуда он здесь? Ведь никто не поверит. — Морозов оглянулся, ноги мамонта исчезли окончательно.

— Могильник открытый рядом. Бывают у них привидения? Опять же, кто его знает. Это как льды. Думаешь, чистая вода вокруг, льдов поблизости нет, а посмотришь на небо — ан нет, они есть. Ледовое небо-то.

— Лихо вы всё перемешали, Георгий Иванович, реальное и нереальное, — рассмеялся Александр.

Он сел за руль, егерь плюхнулся в ворох шкур и покупок и закутался, чтобы в глаза не мело. Крикнул:

— А в жизни оно, глядишь, так и есть!

— Докажи, Георгий Иванович! Докажите!.. — выпалил и поправился машинально Морозов, смеясь.

— Докажи-ите!.. — егерь с улыбкой проворчал в застывшие сосульками усы. — Да что там доказывать! Мамонт есть, да и всё тут. Ты его видел?

— Ну!

— Ну и вот!

Они рассмеялись. Снегоход рванул с места. Снежная пыль взвилась облаком. Ёлки в свете фар будто надвигались, надвигались и вдруг разбежались в стороны. Ветер стих, мороз давил всё сильнее, с моря пошёл густой туман.

Сыпался искрящийся снег, и в тишине поплыл гул — работала подстанция.

— Скоро уже приедем... Смотри, опять он! — крикнул егерь, вскочив в санях и тут же повалившись, потому что Морозов резко тормознул.

Мамонт шёл в тумане. Будто не сворачивал никуда, не исчезал, шёл себе и шёл, шёл к берегу.

"Мороз по коже, — подумал Александр, — будто приходил по делам и теперь назад возвращается... Куда назад... В море. Там берег ведь... Подумается ведь такое..."

Блюдца, одно с сахаром, другое со сметаной, стояли между кружками с чаем, рядом — оладьи и ломти хлеба, обжаренные в "яичной болтушке", как сказала хозяйка. Александр макал оладью то в сахар, то в сметану, ел торопливо, слушал.

— Не знаю. Помрёт, наверное, Бегунок, — говорила Ирина Владимировна. Георгий Иванович хмуро на неё посматривал и молчал. — Вчера уходила с работы, так за весь день ни разу и не встал. Смотреть на него больно. А позавчера вдруг поднялся. Стоял, качался-качался, казалось, шагу не сделает, а он вдруг как побежит вдоль загона, ноги неловкие подламываются, а он бежит, уши в разные стороны, славный, как ребёнок радуется, что может побегать... А вчера пролежал весь день.

— Да, слабый он. Уже третий подряд на моей памяти, всё как под копирку — рождаются и годам к двум помирают от какой-нибудь ерунды. Почему? — сказал егерь, откинувшись на стуле, скрестив руки на груди. — Что у вас там, в университетах, говорят? Да

не торопись ты, Саня, говорю же, главный биолог сам зайдёт за нами. Сосед он мой.

Морозов растерянно слушал и думал: "А что тут скажешь, если бы знали ответы, то жили бы наши мамонты дольше".

— Насколько я знаю, — сказал он, — и этих троих с большим трудом удалось восстановить и до двух лет поддерживать. Первые умирали в течение месяца... Ирина Владимировна, пожалуйста, пристройте моего Четырнадцатого в питомник к Бегунку, пусть вместе побудут. Мы с Игорем Витальевичем вчера договорились. Так что заочное его разрешение, считайте, у меня есть...

Александр встал, выглядывая в окно, — на дворе залаяла собака. Из окутанного паром вездехода выглядывал водитель и махал рукой.

— Пошли-ка быстрее! — поднялся Георгий Иванович. — Заход в гости отменяется, вон — Заведеев сам в кабине сидит, стало быть, нас ждёт...

Морозов кинулся к своему рюкзаку, забросил его на плечо. Выскочили, на ходу одеваясь. Пассажир с переднего сидения высунулся и крикнул:

— День добрый! Александр, вещица с тобой?

— Здравствуйте, Игорь Витальевич. Со мной! — Александр вскинул руку с рюкзаком.

— Добро! Садись на заднее сидение. Георгий Иванович, полезай, по глазам вижу, следом на упряжке ведь помчишься!

Сели в вездеход на заднее сидение. Поехали по улице. Дома двухэтажные, курившиеся дымами, оставались позади. Бежали собаки, было видно, как они гавкали, наверное, до хрипоты. Но не слышно. Скоро и они скрылись в клубах пара.

— Хорошо, что быстро подъехал, Саша. Показывай, давно я её не видел, — крикнул сквозь шум Заведеев, повернувшись.

Лицо его, обветренное, неулыбчивое, было строгим, а взгляд насмешливый торопил, подгонял.

Морозов подпрыгнул на кочке и полез в рюкзак. Достал небольшой контейнер-холодильник, открыл. Они все уставились на содержимое, даже водитель притормозил, чтобы посмотреть.

Вещица походила на обломок черепашьего панциря. Бугристая, грязно-медного цвета, размером с блюдце. Когда же Саня её осторожно перевернул, чтобы показать заглядывавшему в коробку егерю, тот крякнул и вопросительно вскинул глаза на Морозова — у вещицы открылось будто бы механическое нутро. Ну и ладно бы, только эта механика была странной природы. Напоминала по виду ссохшегося, прилипшего к своим доспехам Железного Дровосека, как если бы он был не железный.

Георгий Иванович так ничего и не сказал. Что тут скажешь, когда не знаешь на что смотришь. Заведеев взял контейнер.

— Да, давно не видел, — погладил пальцем по панцирю. — Странное.

Он с интересом посмотрел на Морозова.

— Биомеханика, что ли, — покачал тот головой. — Ведь сразу мысли в голову какие приходят! А приложи

его сейчас на место, откуда отвалился, и наверное окажется ерунда...

Они помолчали.

— Он попал ко мне случайно, три года назад, — крикнул Заведеев со своего места, сидя вполборота. — Я его выпросил буквально. Один хороший человек отдал, сказал, это ему ещё от деда охотника досталось, тот, говорит, нашёл его в устье Тавайваам, по-нашему — Казачки, и называл живым. А я его в холодильник, в морозильную камеру, в лаборатории сунул и забыл, признаюсь. Ну что ему сделается — из мерзлоты ведь достали. Я тогда перемещался из одной командировки в другую, с самолёта на самолёт. И этот раскоп с мамонтом тогда же нашли...

— Мамонт ростом метра четыре, обломан левый бивень примерно на ладонь? — спросил Морозов машинально.

— Кто? Мамонт? Да! Почему спросил? Будто встретил, — рассмеялся Заведеев.

— Получается, так, — улыбнулся Морозов и посмотрел на Георгия Ивановича, тот ехал молча, прислушивался к разговору и теперь выпалил:

— А я что говорил. Привидение!

Пока Морозов рассказывал, как они видели мамонта на подъезде к посёлку, вездеход вырулил на пригорок и остановился. Стал виден раскоп.

— Вон там он, — Заведеев прыгнул в раскисшую землю.

— Ничего не понимаю, откуда у вас такая теплесть? — сказал Морозов, осторожно перемещаясь по гребню раскопа поближе к лежавшему в грязи предмету, чтобы рассмотреть.

Большой, метра три с половиной в самой широкой части и около пяти — в длину. Похож на рухнувшую в грязь птицу, уткнувшуюся носом и сложившую крылья. Обломок в контейнере — точно отсюда. Приложи к этой вот шкуре, сделай скидку на разницу в хранении и не отличишь.

— Он торчал правым крылом вверх. С полметра над поверхностью, по плоскости крыла поперечная трещина, неглубокая, на пару пальцев. Как только очистили верхнюю часть объекта, он принялся нагреваться. Оставили его в покое, думали, понаблюдаем, что происходит с ним. А на следующий день пришли — он вот в таком виде, трещины нет. И затикал...

— Затикал? Бомба? — деловито вклинился Георгий Иванович.

— Исключать нельзя, конечно. Но трещины-то теперь нет, — ответил Заведеев и поморщился — у него в кармане зазвонил телефон.

Он передал коробку Морозову и ответил.

Все молчали. Потому что теперь стал слышен звук. Звук был не тревожный, не частил, не нарастал, он был тихий, размеренный... мерещилось в нём что-то от реанимации.

Тикает, да. Тиканье теперь пробивалось через все другие звуки.

"Так бывает", — подумал Морозов. Вспомнилось, как ехал однажды в машине. Играла музыка. Хорошая музыка. Ехали, молчали, слушали, даже разговаривать не хотелось. Блюз такое дело — или не замечаешь

блюз, или не замечаешь что происходит вокруг. В тот раз играл именно такой блюз. И прозвучавший голос одного из пассажиров прямо разозлил. Он сказал: "Слышите, треугольник пошёл, а сейчас щётки, вот сейчас... слышите?" И всё. Музыка распалась на звуки. Звуки, треугольник и щётки. Так и сейчас. Пиканье назойливо добиралось через возмущённый ор Заведеева, что-то доказывающего своему зоотехнику, сквозь капающую где-то воду, сквозь гудение трансформатора в будке.

Морозову надоело ждать, он поднял ленту и нырнул под неё...

— Извините, — вернулся в разговор Игорь Витальевич, поворачиваясь, оскальзываясь и балансируя на краю ямы. — Да, так вот пришлось вывести всех с места раскопок и охрану выставить, чтобы никто не забрёл случайно за ограждение. Подожди, Александр! Подожди! Ограждение выставлено на расстоянии, с которого звук усиливается...

Звук усилился.

Морозов быстро спускался по лестнице вниз. Крикнул оттуда, уже стоя возле предмета:

— Точно, зачистил как будто...

И исчез. Вместе с предметом.

— Твою мать, — тихо сказал Георгий Иванович, — и этот исчез... корабль.

— Корабль, говоришь... Да бог с ним, с кораблём... — тоже очень тихо проговорил Заведеев, глядя на то место, где только что стоял Морозов, и тут же заорал во всё горло водителю: — Паша, гони за спасателями, сами они только завтра приедут! Пусть с собой всё, что есть, берут. Что произошло, непонятно!..

— Что делать? — сказал и положил обе ладони на стол Заведеев.

В кабинете начальника спасательной партии было полно народа, кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то вдруг принимался оглашать очередную идею. А Заведеев чувствовал себя виноватым и всё время задавал себе один и тот же вопрос. Куда мог перенестись Морозов? Во времени? Просто появится в другом месте? На другую планету?! Дикая мысль одна за другой мелькали в голове, не находя ответов. А вдруг всё-таки перемещение? Техники для определения объекта во времени, а тем более для переноса назад, просто не было. Экспериментальные установки не в счёт, они и крысу перенести живой обратно не могли. И что делать?..

По всей округе искали, авиацию подняли. Началась метель. Поиски почти прекратились. Заведеев ходил сам не свой, приехал на мамонтовую станцию через два дня и даже боялся спросить про Бегунка. Ещё зоотехник Данила Лисицын будто издевался, преспокойно и обстоятельно рассказывал о кормах, что надо отказаться от комбикорма из Мурманска...

— Да не тняи ты душу, что с Бегунком, говори, Данил?! — рывкнул, не выдержав, Заведеев.

— Так всё хорошо, Игорь Витальевич! — удивлённо выпалил тот. — Вот только хотел сказать, что хорошая идея была, поместить к нему Четырнадцатого. Бегунка мы позавчера на встречу вывели, тот никак не

отреагировал, улёгся и лежит. А Четырнадцатый ваш шустряк оказался, первым делом протопал к кормушке Бегунка и давай жевать. Ну жуёт и жуёт, нам-то что. Потом Четырнадцатый давай кружить по загону, кружил, кружил, пободал забор, да и к Бегунку пришёл. Лёг рядом, спина к спине. Так и оставили их на ночь. Благо теплее стало, минус двадцать семь, метель началась. А на следующий день Бегунок к кормушке вслед за Четырнадцатым подошёл...

Заведеев слушал. Вдруг покачал головой, потёр ладонями лицо и разулыбался, будто оттаивало что внутри. И тут же нахмурился. Что делать-то, где искать?! О том, что пора прекратить поиски, не хотелось даже думать...

"Фонари погасли..."

Морозов лежал, накрыв голову контейнером. Слабость была такая, что даже глаза открывать неохота. "Будто асфальтоукладочный каток проехал... будто он по тебе проезжал, а-а... всё равно..." Глаза привыкли. Чёрное небо в букашках звёзд, и светлым — заснеженные поля, лес, кажется... Земля качалась и качалась. Морозов поднялся, сел. Упал и где-то внизу сухо стукнул контейнер. "Растяпа, по какому поводу имущество портишь..."

Голова кружилась.

Он, кажется, ехал. Медленно, покачиваясь. Стало не по себе. Ткнулся руками вперёд. Тёплое. Шерсть какая-то...

Но он ехал! Лошадь? Да какая лошадь?! Тут зверюга, прости господи, неохватная, тепло как от печки...

Под ним была широкая спина, поросшая густой свалывшейся шерстью. Зверь шёл, опустив голову, иногда встряхивал ею.

Морозов вдруг как-то очень тихо себе сказал, что сидит на мамонте. И вцепился в шерсть.

Зверь пошёл быстрее, погнал будто в галоп, как-то неумело и боком, словно эта туша не знала как бегать.

"Да зачем ему бегать, от кого, — думал, трясясь на мамонте Морозов, — неужели я умер... Точно умер... А здесь мамонты, ребята..."

Мамонт всё бежал — боком, нелепо подпрыгивая. Казалось, что зверь радуется чему-то непонятному для Морозова.

А зверь сбавил ход, пошёл.

Мамонт подумал, что, кажется, он не один. Он и раньше бывал не один. Такого живого он видел. Тот стрелял в него тонкими острыми палками, пытался накинуть верёвку, потом всадил в него железяку. Он тогда ушёл в море и стал китом. Этот живой не стрелял. Стать человеком?

Тело мамонта пошло горбами и выступами, принялось перестраиваться и меняться. Морозов полетел сверху, цепляясь за ускользящую из-под пальцев шерсть, покатился по вставшей на дыбы туше зверя.

И теперь сидел, утонув в снегу, ничего не понимая и глядя на огромные ноги, вставшие перед ним. Снега им было по щиколотку.

"Ещё не сдох. Нет, не сдох. Или это всегда так здесь бывает?.. Где здесь-то?.."

Посмотрел наверх и тихо рассмеялся, засовывая руки в рукава. Холодно в снегу. Замёрз, как цуцик, аж зубы стучат... кто так умирает...

Он смеялся, но было не до смеха. Перед ним стоял он сам, огромного роста. Голый и в песцовом треухе. Наклонился и смотрит, будто изучает. Только глаза вот... мамонта глаза.

"Что ему в голову придёт? Кто его знает... Может, раздавит левой задней, как вшу". В голове почему-то звучало и звучало "Четыле, четыле, четыле", было чего-то жаль... Крутилась мысль, что "это ведь, наверное, контакт, ухочешься... инопланетянин ведь... Ну почему голый и в треухе?! Всё у меня не как у людей... Не живой, что ли? Ноги какие-то не живые точно".

— Кто ты? — спросил Морозов, глядя вверх.

Поднялся кое-как, утопая руками в снегу.

Стоявший перед ним ничего не сказал.

Морозов вдруг понял, что видит. Видит дно моря, медузу, висющую в толще воды, мамонта, идущего по траве, желтоватой и жёсткой... Трава клонится от ветра... Крылья огромной совы, как если бы он сам взмахнул ими и смотрел с высоты, за правым крылом — берег моря в ледовом припае, внизу бежало стадо лохматых больших зверей.

"Носороги", — подумал Саня.

"Форма жизни, — подумал стоявший напротив. — Домой".

Саня пытался думать в ответ, но слышал ли он его? Сказал вслух:

— Откуда ты?

Огромный человек по-прежнему молчал. Он не слышал Морозова. Он видел его, видел тех, кто стоял на краю могилы мамонта. Запоминал их всех, живых, размахивающих руками, смеющихся, серьёзных, разных. На его планете их не осталось, не было дома. Но хотелось домой. И он вспомнил, что был звездолётом.

Саня отшатнулся, когда грудина стоящего напротив человека распахнулась, стало видно, что человек и не человек вовсе, механическое нутро его жило своей жизнью, выстраивало панцирь. И человека уже не было, была машина. Звездолёт беззвучно завис высоко над землёй и исчез. "Ни огня тебе, ни рёва двигателей... меня уже должно бы превратить в мокрое место... наверное", — думал, задрал голову Морозов...

Уже почти перестали искать, два дня прошло, боялись даже думать о том, что могло произойти. А Морозов вдруг позвонил и торопливо сказал: "Игорь Витальевич, пока телефон окончательно не сел... не подхватите меня по дороге у подстанции? У Георгия Ивановича спросите, где мы с ним привидение видели... Моим позвоните, пожалуйста!.."

Морозов шёл по накатанной дороге к посёлку, стало шёл, но улыбался. Закуржавел весь. Иногда мотал головой, будто не верил сам себе, останавливался и смотрел назад. Услышав гул вездехода, он рассмеялся. Поднял руки и замахал. Вездеход остановился метрах в десяти.

— Морозов! Живой! — раздался вопль Заведеева, выбравшегося из кабины. — Ну ты напугал нас, Саша, два дня тебя не было... А твой Четырнадцатый мирно пасётся вместе с Бегунком, я тебе его не отдам. Бегунок топает к кормушке! Сам! Это мне Лисицын доложил... — говорил и говорил Игорь Витальевич, боясь остановиться, видя ошалелое лицо Морозова. Заведеев, смеясь, схватил Морозова и тряхнул его за плечи.

Георгий Иванович выбрался следом и закричал ещё от машины:

— Саня, ты как пароход шёл! Пар от тебя за три километра видать было, по нему и нашли!

— Не, Георгий Иваныч, ты меня, поди, за привидение принял... — рассмеялся Морозов. — А я и не знаю, кем был...

Он видел смеющиеся радостные лица, глаза. Смеялся сам и вспоминал другие глаза. Глаза мамонта, которые изучали его, будто высчитывали свою какую-то меру. Мамонт, кажется, что-то говорил про то, что он был китом, медузой, человеком, кем-то ещё... Морозов подумал вдруг, что хотел бы побыть мамонтом. Идти по заснеженной тундре... как пароход... а потом стать китом и плыть в море, петляя по мутно-зелёным лабиринтам, и стать медузой. Как ей, медузе, живёт-сть?.. Не узнать. Но на мамонте-то он ехал.

Анжелика Стынка

С.-Петербург

ПРОВИНЦИАЛКА

Не вернуться в ясный, жаркий день. Не войти в него. Никогда.

Воспоминания. Что они дают? Малую толику тепла. Беглые ощущения, не передающие всей глубины случившихся событий, в которых осталась живая я.

Яркое солнце. Высокое небо. Ленинград. А впереди — туманы и дожди. Знать бы...

Чудо-лестница, ведущая под землю. Красивая станция метро. Дорогой мрамор. Грязь и суета.

Уткнувшись в начало станции, старый поезд остановился. Машинист лениво зевнул. Я втиснулась в людское месиво. Час пик. Терпкий запах человеческих тел вскружил голову. Жаркое лето.

Вздвогнув, поезд покотился. Вперед. С шумом, песнопением под монотонный стук колес.

Фальшиво заиграла разбитая гармонь. Перекрикивая клокочущего железного удава, по нервам прошлись срывающиеся голоса. Ободранные дети. Идущие, поющие, просящие, поднесли к быстро реагирующему носу грязную шапку-ушанку. Звякнула монета, ударившись о медь. Начало девяностых.

Дорога наверх. Длинная, суетная. Грубые женские пятки перед глазами. Не выдержу. Упаду. Разобьюсь и потеряю ребенка.



Никто меня не звал и не просил приезжать. Я сама — подумав, что малышу без отца будет очень плохо. Четвертый месяц беременности.

В дом меня пропустили, напоили чаем и уложили на диван. Его жена была со мной любезна. Добрая женщина.

Наутро она написала адрес хозрасчетной поликлиники. Дала денег на такси и искусственные роды. Взяв деньги, я отправилась на поиски работы. Только кому я была нужна? Закрывались заводы и фабрики. Предприятия, задыхаясь под обломками социализма, отправляли рабочих к кострам, разведенным у станций метро.

Приткнулась. Не прогнали, пожалели. Протянули кусок жареной колбасы и чашку теплой водки. Отхлебнув, поела. Разговоры про новую жизнь до утра.

Рассвет. Легкая дымка над спящим городом. Воспаленные, красные глаза. И его руки. Посочувствовал? Сказал, что я похожа на его покойную сестру.

Так я оказалась в теплой квартире. Мы сразу стали жить как муж и жена. Наверное, ему нравились беременные женщины.

Медленно, но сытно потекли дни. А для не родившегося ребенка это главное. Покой, тушенка и сгущенка.

Кругом очереди, начинающиеся от дверей универсамов и заканчивающиеся к закрытию магазина. В запотевших руках крепко зажаты бумажные талоны (сахар, мясо, яйцо, макароны), и не дай бог их потерять. Это не война. Пришла в страну перестройка.

Я выжила. Благодаря Игорю. И никогда не спрашивала, чем он занимается, только радовалась пухлым пакетам с едой. Он оберегал меня от толчеи и голода.

Кто-то скажет, что в те годы люди не голодали. Не голодали те, кто так говорит. Другие захлебывались пустой слюной. Спросите у них сами.

Я ходила с трудом. Отекли ноги. Почти не выходила из квартиры. Он привозил милого суетливого доктора, который был рад заработать на свой кусок хлеба, осматривая мой круглый живот и деревянные ноги. В больницу ложиться нельзя было. Антисанитария и разруха. Куда-то исчезли медикаменты и младший медицинский персонал. Как рожать?

Родила дома под наблюдением того же доктора. Опасно, но всё обошлось. Розовая девочка громко заплакала. Здоровый ребенок. Слезы радости на лице Игоря.

К моей Аленке Игорь всегда относился хорошо. Любил ее и баловал. Красивые игрушки. Хорошая медицинская сестра. Лучшая гувернантка. Частная школа. Так мы и жили.

— Расскажите мне о себе. Откуда вы родом?

Я родилась в поселке городского типа. Что это значит? Большие заводы пытели ржавыми трубами, загаживая воздух. Большой стране было наплевать на маленький рай — Молдавию. Ей требовались подношения: сахар, консервы и компот.

Радужное и счастливое детство. Добрый детский сад, в группах по сорок орущих малышей. Не боясь грядущих дефолтов и инфляций, зная, что свою пайку

получат в срок, женщины рожали. Стабильность великого государства.

Маленький значок октябренка на груди. Алый пионерский галстук на шее. Борьба за честь быть принятой среди первых в ряды комсомола, меньшего брата коммунистической партии. Много солнца и здоровых отношений. Нараспашку двери домов. Отсутствие преступлений. Человек человеку — добрый гость.

Инфантильность размышлений делала нашу жизнь простой и счастливой. Если люди не стоят под зонтами, не значит, что на улице не идет дождь. ГУЛАГ. Соловки. Были далеки от наших мест.

— Вы жили в дорогом доме. К вашему мужу относились с почтением и уважением, почти поклонением.

— Да. Меня устраивало такое положение вещей. Я гордилась своим супругом.

— Не задаваясь вопросами?

— Именно.

— Вернемся к вашему отрочеству.

— С удовольствием.

Не зная, что такое карьера, я пыталась ее делать. Вела пионерские линейки и дудела в горн. Читала стихи, восхваляющие любимую коммунистическую партию. Пела песни, превозносящие правильность избранного пути. Переписывала в пухлый блокнот цитаты из съездов партии. Я была хорошей девочкой. А он приехал и разбил мою жизнь. Он был царем и богом. Он приехал из Ленинграда.

Весна. Цветущие яблони. Запах-дурман, распространившийся по всей Молдавии, вскружил мне голову. Его руки были мягкими, а глаза добрыми. Я полюбила его — командировочного.

Он не снимал апартаментов в гостинице (у нас не было гостиницы). Ему предоставили хороший дом и вышколенный обслуживающий персонал. Он носил меня на руках. Угощал конфетами и дарил пластинки. Рассказывал о Ленинграде. О музеях и фонтанах. А я слушала и любила его.

— Вы догадывались, что у него есть семья? Жена? Дети?

— Нет.

— Но вы приехали в Ленинград. Как вы узнали адрес?

— Легко. Приехала и обратилась в справочное бюро, находившееся у метро «Площадь восстания». Назвала фамилию, имя, отчество и год рождения.

— Его возраст не смущал вас?

Я любила его. Когда он уехал, я ему писала, но он не ответил ни на одно мое письмо. Я не могла просто принять это, ведь под сердцем жил его ребенок. И мне было всего шестнадцать лет.

Постучавшись в дверь его дома, я не думала, что встречу глазами не с ним, а с его женой. Двое детей, вприпрыжку выбежав за ней, уткнулись в мои колени. А он спрятался в дальней комнате. В тот вечер мы не увиделись. Его жена сказала, что он работает.

— И вы возненавидели людей?

— О чем вы? У меня были Игорь и Аленка. В моей жизни всё было хорошо, пока он вновь не ворвался в нее. Старый и ободранный — отец моей девочки.

— Как вы узнали его?

- По глазам.
- Но ведь прошло много лет.
- Пятнадцать. Так ли это много, чтобы не узнать любимого человека?
- Вы любите его?
- Теперь нет.

— Я навел справки о вас. Сложилось нечто интересное.

- Нет ничего интересней, чем сама жизнь.
- Вы действительно приехали в Ленинград, но не были в положении. Придя в дом к вашему любовнику, вы принялись шантажировать его семью.

— Вы ошибаетесь. Я не шантажировала! Я предложила им расстаться с деньгами, указав на свой растущий живот.

- Бандаж.
- Да, бандаж.

...Похоронная процессия продвигается по широкой улице, утопающей в яблоневом цвете. Весна. Религиозные знамена, православные иконы и небольшой гроб, обитый красной дешевой тканью. Гроб слишком мал для человека, для взрослого человека. Люди, которые несут его, улыбаются и смеются. Стоящие по обочинам неширокой дороги счастливо приветствуют процессию.

Давно не было дождя. Еще немного и наступит засуха. Для аграрной республики — смерть.

Уговорить природу одарить землю проливным дождем можно. Если прибегнуть к древним обычаям, сохранившимся глубоко в подсознании местных жителей. Языческий обряд — захоронение куклы. Кукла-невеста, принесенная в жертву, преданная земле, может избежать несчастья.

Теплый край хорошо знает, что такое засуха. Грубая земля. Унылые поля. Мертвая пшеница. Обугленные шапки подсолнухов.

Пошел дождь. Быстрый и обильный. Легко вздохнув, земля заколосилась богатым урожаем.

— Вы воспитывались в детском доме, затем учились в интернате.

— Жизнь за высоким забором. Хотите, я расскажу, что это?

Жизнь, распisanная по минутам. Жизнь толпой и в толпе. Ничего лишнего, ничего личного. Застиранное белье, меняемое раз в неделю. Гельминты, ворочающиеся в кишечниках. Банный комплекс холодный и грязный. Похотливые глаза учителей, следящих за развитием форм. Педофилия. Отторжение. Старые грязные лезвия. Вскрытие вен. Сепсис. Привыкание. Умение находить выгоду во всем и всегда, в любых сложившихся ситуациях. Раннее развитие. Школа жизни. Школа выживания.

- Как вы познакомились?
- Партийный работник, приехавший на завод с резолюцией. Я не могла упустить свой шанс.
- К тому времени вы закончили школу?
- Да. В пятнадцать лет я закончила восьмилетку. И получила место работы. Прачкой в государственный дом.

— Зачем прачке философия древних и оккультные науки?

Секс. Горячий, страстный. Его глаза и мое молодое тело. Мягкое и податливое. Дарящее уверенность и спокойствие. Наверное, ему не хватало этого с требовательной женой. Любящей дорогое кружевное белье, мягкий свет ночника и душистый аромат чистой кожи.

Яркие солнечные лучи, стучащиеся в предбанник прачечного комплекса. Запах потного тела и хозяйственного мыла на территории криков и брани. Тазы, лавки и мыльные пузыри. Биение сердец. Ритмичное, бешеное. Простые эмоции.

Похотливый и ненасытный. Мне было легко с ним. Он не копался в моей голове. Он пребывал в состоянии безнаказанности, уверовав в то, что всё сойдет с рук. Расслабился и рассказывал. Где живет, как живет.

Пришлось научить его смело думать, быстро реагировать и трезво анализировать. Он растерялся, испугался, ударился в бега (скрылся в дальней комнате). Я общалась с его женой.

Умная, грамотная, она сразу поняла, что к чему, взглянув на мой живот. Она с лихвой расплатилась за его смелые фантазии.

— Почему вы не могли иметь своих детей?

— Я же сказала: детство и юность за высоким забором. Что происходило за ним, никто из счастливых людей и не догадывался.

— Вы подверглись изнасилованию?

— Я не назвала бы это так. То, о чем вы говорите, было нормой жизни и поведения. И никто не задумывался о наших детородных возможностях в дальнейшем.

— Как в вашем доме появилась девочка?

Шел добрый снег. Мягкий, пушистый. Мы ловили его губами и смеялись. Послышался писк. Зовущий писк, доносящийся из темного сквера. Ночь в угрюмом городе, экономящем на электричестве.

Мы с Игорем увидели маленький сверток, лежавший под заснеженной елкой. Кто-то, за ненадобностью, выбросил на улицу ребенка. Мы не осуждали — мы радовались, что малыша не утопили и не удушили.

Голодное время. Живых детей прокормить бы. А только что родившийся ребенок еще и не человек вовсе. Так думали многие.

Нам очень повезло. Аленка оказалась здоровой девочкой. Она не стала инвалидом, несмотря на то, что жизнь свою начала запеленатой в рваную тряпку. Мы даже не знали, как долго она пролежала в снегу в том зимнем сквере.

— Ваш муж вас очень любил.

— Да.

— Почему же вы убили его?

— Вы так много знаете и ничего не поняли?

Разговоры по душам. Море водки. (У меня были деньги). Но не было жилья. Интересная информация, собранная тогда у костра, помогла мне выстроить правильную линию поведения. Нужный макияж, линзы, цвет бровей и волос, особая дикция (пришлось удалить два зуба) сразу расположили его ко мне. Я стала похожа на его покойную сестру. Он был виноват пе-

ред ней — она погибла в перестрелке. У него был комплекс вины. Я воспользовалась этим и вошла в его дом полноправной хозяйкой. Я думала, что начну жизнь заново. С чистого листа, зачеркнув прошлое. Но всё сложилось не так, как я предполагала.

Это такой труд — быть женой большого человека! Но я старалась. Изо всех сил пыталась не замечать, не знать, не слышать. Не видеть! Аленка скрашивала мое существование.

— Вам нравились новые лимузины и гектары плодородной земли.

— Да.

То было странное время. Всё кругом пилилось и делилось. Страна по уши утопала в братоубийственной войне и крови. Демократия-смерч неслась вперед.

Вчера — южные острова. Сегодня — кладбище на юге города. Многие смирились и полегли. Другие выстроили вокруг себя крепкую оборону.

Спины охранников перед глазами — и ночью, и днем. Страшно за себя и ребенка. Отвоевались. Отвоевали. Отхватили и расслабились. Бронежилеты и малиновые пиджаки сменились на дорогие костюмы и офисы в престижных кварталах города.

И вдруг пришел он. И принес фотоальбом. Перестройка, забрав у него власть, предоставила взамен свободу выбора. Он стал неплохим фотографом. Старым (прошло пятнадцать лет) и угрюмым фотографом.

Как он узнал меня? Говорил, что по голосу. Мое наружу выпрыгивающее тщеславие налево и направо раздавало автографы. И интервью.

Жарко растопили печь. Кухарка внесла самовар. Завыла во дворе собака.

Мы пили чай. Нежно вспоминали прошлое. Я медленно перелистывала альбом с фотографиями, а он, упившись клофелина, уснул крепким, беспробудным сном.

— Вы отравили любовника.

— Да.

— Вы убили мужа.

— Да.

— Вы оформили завещание.

— Да.

— Ваша приемная дочь, достигнув совершеннолетия, не так давно вступила в права наследства.

— Да.

— Вы не предполагали, что вас найдут?

— Конечно нет.

Я думала, что, инсценировав собственную смерть и исчезнув, покончу со всем этим раз и навсегда. Да не тут-то было...

Поняв, что захоронили жертвенную куклу, они получили разрешение на эксгумацию и идентификацию.

Безвизовый Кипр — приют для несчастных странников, потерявших собственное имя. Пальмы, солнце, песок. Маленький рай для воскрешения уставших душ.

Я уничтожила фотографии, на которых Игорь и Аленка ласкали друг друга. Глупая маленькая девочка. Милый ребенок. Я искренне любила ее. А он заслуживал смерти, как крепкой хозяйской палки заслужи-

вает блудливый пес. Я не раскаиваюсь. Не раскаиваюсь!

Уютное кафе на берегу. Легкий аперитив. Нежное перешептывание волн, мягко бьющихся о мелкий серый гравий. Тень невысокой пальмы на желтом песке. Игривый свет маленьких придорожных фонарей. Блики на воде. Неторопливые прохожие, наслаждающиеся наступившей тишиной. Простые декорации последнего вечера.

Мне принесли хорошо прожаренное мясо. Красивое оформление. Овощи цветочками. С резными лепесточками. И я не сразу заметила тонкую струйку алого кетчупа по краю белой тарелки. Только успела прочесть: «Семья тебя видит».

— Вы не помните момент смерти?

— Нет.

— Вы поперхнулись душистым перцем.

— Аллергия. Они знали.

...Прошло некоторое время. Они — ангелы — совещались недолго. Главный среди них, который вел со мной беседы, сочувственно произнес:

— Вы признаетесь виновной. Мера пресечения: рождение заново.

Небеса разверзлись. Душа сорвалась и полетела.

ИМЯ

Ты можешь здесь жить так, как считаешь жить уйдя отсюда. Если же тебя лишают этой возможности, то расстанься с жизнью.

Марк Аврелий

Мужчины любили меня странно. «Дорогая, тебе нельзя носить по сорок килограмм в одной руке, возьми в каждую руку по двадцать». Утрирую, конечно...

Она лежала бледная и мокрая.

— Кто ее водой-то окатил?

— Сама попросила. Она задыхалась.

— Да сдохните вы все... — Ночная нянечка нехотя взялась менять сырое постельное белье. Тощего ребенка, девочку в мокрой сорочке, она с небрежной легкостью, как тряпичную куклу, перебрала на соседнюю койку. Лежавший на койке завертелся и жалобно заскулил.

— Цыц, — прикрикнула на него нянечка. — Потерпеть не можешь. Сейчас сменю белье и заберу ее.

Скуление сделалось тише, но не затихло совсем. Девочка в мокрой сорочке шевельнулась, издав протяжный стон.

— Ну что, Таня, очнулась? — не оборачиваясь, спросила нянечка.

— Я... не Таня... Я Лена... — Детская головка приподнялась. Тельце качнулось и с трудом перевалилось на бок. Бутерброд из тел медленно распался на двух щуплых человечков.

— Один черт. Таня, Лена... Все вы недоделанные. Мамки-папки вас наспех слепили, а нам теперь мучиться. И государству. Такие деньги на дебилов тра-

тят! Кормит страна дармоедов. Лучше бы нам к зарплате рублик. Корячишься тут с вами за гроши...

Одной рукой нянечка перебрехала девочку обратно на ее койко-место, другой, дотянувшись до выключателя, погасила свет.

— И ни звука мне. — Нянечка вышла.

Тишина разлеглась.

— В одной мрачной-премрачной комнате стоял красный гроб. В том гробу лежала мертвая красавица... — слышался старательно-зловещий шепот.

— Мертвецы страшные и вонючие. Они не могут быть красивыми, — осторожный смех в кулачок.

— Я так не буду рассказывать!

— Рассказывай, Леля, рассказывай!.. — детские голоса наперебой, полупшепотом.

— Что вы знаете! Я видела мертвецов! А вы их не видели. Мертвецы все протухшие. Они нам погреб завоняли. В погребе холодно летом, их сгрузили с машины и скинули в погреб. А они стухли. — Черноволосая девочка без ноги нагло навязывала обществу, настроенному на страшную сказку, привозную истину. Мы ее не просили. Лежала бы себе тихо.

— Заткнись, чеченка! Не умничай! Твои страшилки мы уже сто раз слышали. Леля, рассказывай, — мой командный голос. В восемь-то лет. Куда он подевался потом, не знаю. На каком этапе жизни пропал, не помню.

А тем вечером я была королевой своего затхлого государства. Спальня в интернате для инвалидов впитала в стены терпкий запах лекарств и мочи. Многие ходили под себя. «Уток» не хватало. Весна за окном. Первая чеченская война.

— Красавица в красном гробу медленно приподнялась. Уселась. Гроб на колесиках поехал. Он проехал через комнату. Через большой дом. Выехал в поле. Красавица в гробу широко раскрыла алый рот. Из него шумной стаей вылетели черные-пречерные птицы...

Моя машина не гроб на колесиках. И я не мертвая красавица. И с моих обветренных губ сорвался только мат. Из-под капота повалил пар. Закипело. Накипело!

Стою. Час. Два. «Дачка» протухнет на жаре. Мясо, колбасы. Что я ему привезу? Голодному и худому... Завелась.

— Принимаем до четырех. Потом ни одной передачи. Дамы, отойдите от окна. Не мешайте работать. Встань в очередь. И перестаньте галдеть! — плохо стриженная голова с яркими румянами на щеках на секунду выглянула в махонькое оконце.

Пропитые «дамы» с пакетами, тюками и сумками на тележках ненадолго умолкли. Однако очередь оправились быстро, выпихнув из своих тесных рядов неопытную.

— Ты здесь не стояла! Вали отсюда!

— У меня там муж. Пропустите, пожалуйста. Она ведь в четыре закроет. Я издалека. Из Пскова. Куда я с едой? Куда я дену продукты? А он голодный. Пропустите меня, тетеньки!..

Ей было лет пятнадцать. Или меньше. Или больше? Очередь смотрела на нее десятками равнодушных глаз.

— Жалости в вас нет!..

Она вышла на улицу, села на раскаленный асфальт и расплакалась.

Жалости в нас не было. Ни капли. Дети жестоки. Мы ее били ногами. У нас были ноги. И мы ее били.

Температура за сорок. Умирая, она бредила: «Не бейте. Я не чеченка. Не бейте».

Меня не приговорили к смертной казни. Не посадили в колонию. Меня отправили в школу для детей-сирот. Кому смерть, а кому фарт: у главврача сын погиб на бесславной войне.

Нас пропустили через железные ворота. Территория. Серые здания. Мрачные корпуса. В три этажа. В пять этажей. Одно — двухэтажное.

— В двухэтажном здании школа. Учебная часть. — Мой сопровождающий, сердобольный пожилой человек. — Школа хорошая. Ты не переживай. Тебе здесь понравится. Здесь лучше, чем в доме инвалидов. Скоро ты поймешь как тебе повезло.

Кабинет директора. Девочка в розовом платьишке. Тоненькие косички с бантиками. Кожаные сандалики. Смеющиеся глаза.

— Привет, — обратилась я к крохе, мгновенно просчитав силу везения. — Как тебя зовут? — Я ей улыбнулась. Приветливо. Я ей кивнула. Радужно. И поправила свои скользкие резиновые шлепанцы, съехавшие с ног.

Девочка не успела ответить. Крупный лысый мужчина быстро встал между нами. Вот ты какой, мой новый директор. Не мигая, я смотрела в его серые суровые глаза. Мне скрывать нечего. Моя биография на широких листах бумаги, где про печальный инцидент не пропечатано ни слова.

— Ангелочек, пойдешь погулять на улице. Я скоро. — У него мягкий голос. Для нее.

Девочка в розовом платьице послушно выскочила за дверь.

— Пока! — крикнула я ей вслед. Она обернулась. Улыбнулась. Радостно махнула рукой. Дверь стремительно захлопнулась сквозняком.

В их доме была супница! Это пузатое, непонятное нечто я тупо созерцала несколько минут. Я не знала, что это.

— Суупница! Фарфоровая супница. Супница для супа!.. Пошли играть. — Анюта нетерпеливо тащила меня на улицу, где нас ждали такие же как она — чистые, сытые и не сироты.

Белый фарфор. Шелковые занавески. Мягкие ковры. Нежные запахи. Они говорили, что живут как все. Мне бы так жить! Но это не зависть, вы мне верите?

У окна, через которое принимали передачи, рассосалась очередь. Остались я, худосочная «дама» с сиянием под глазом и девушка из Пскова, она пристроилась последней — конечно, у нее тоже примут. Пер-

вой стоит цыганка. Переминается с ноги на ногу. Там, за забором — три сына. Здесь — три «дачки». Это на-долго.

По ту сторону приемщица передач стряхивает пот со лба на сырокопченую колбасу. Устала. Рубить, резать, кромсать. Устала от всего. Ото всех. От них — эков, голодных и ободранных. От нас — не осужденных, крикливых и изможденных.

По душной комнате разнесся зловонный запах. Забился сортир. Он через стенку. Курить нельзя. Задохнемся.

— Толик мне не муж, — вяло произнесла девушка из Пскова. — Мы живем по соседству. Вернее, жили.

— И за что сел сосед? — нехотя спросила я. Меня не интересовал ее Толик. И она сама.

— Украл мотоцикл.

Он, мой директор, воровал мешками и тушами. Я видела. Меня не стеснялись, не замечали. Кормили исправно, вовремя, никогда не приглашая за общий стол. (Кто я такая.) София, его жена, приносила еду в детскую. В красивой комнате у окна стоял расписанный гжелью круглый стол на трех изогнутых ножках. Маленький столик для Анюты. Такой маленький, что, когда я сидела на детском стульчике, колени подпирали столешницу.

Анюта была смышленной девочкой. Развита не по летам. Как-то она предложила мне пуфик своей рыжей таксы — мол, так удобней! За кого они меня держали? Но я не злилась.

В их доме я бывала часто. Он стоял напротив территории школы. По периметру этого красивого дома росли высокие сливы. Весной, когда деревья одевались в белое, воздух вокруг пропитывался сладким запахом. С тех пор я люблю сливы. Я привезла их ему. Может, примут. И болгарский перец. И грунтовые помидоры. Там у всех авитаминоз.

— Толик за мной ухаживал. — Девушка из Пскова вздохнула и прислонилась изможденным лицом к стене. — Если бы его не посадили, мы поженились бы. Следующей осенью.

— Сколько тебе лет? — Я мельком посмотрела на ее плоскую грудь.

— Двадцать.

В тринадцать лет мои бедра были крутыми, ягодичы упругими, а грудь такой пышной, что не умещалась в тесный лиф. Я страдала, стесняясь этих грушевидных форм.

Но одним жарким днем неожиданно поняла, что грудь четвертого размера — это скорее серьезное достоинство, чем недостаток.

Летний домик. Маленький, выкрашенный в белый цвет. Из основного дома к нему вела причудливая дорожка, выложенная стертým кирпичом.

В столовой летнего дома напротив широкого окна стоял большой обеденный стол. Летом, когда все окна настезь, сквозняк забавлялся нарядными занавеска-

ми: задира́л непристойно, раскачивал из стороны в сторону.

В тот жаркий день Анюта капризничала. Ныла и стонала — быть может, от нестерпимой духоты. А внутри меня все горело нетерпением. В положенное время я уложу спать Анюту. Надену белье Софии (с удовольствием примеряла ее вещи). Сяду у зеркала. Красиво причешу волосы. Ярко накрашу губы. И вспомню мальчика Сережу.

Сережа учился в параллельном классе. На лето он уехал к бабушке-опекунше. Сережа не был, как все мы, совершенным сиротой, но его бабушка была уже слишком стара чтобы самостоятельно воспитывать внука. Сережа учился с нами, а каникулы проводил дома. Таких детей в школе было мало. Почти все постоянно жили при интернате.

В летнем доме Анюта забыла своего плюшевого зайца. А без зайца ей не уснуть.

Марин Абрамович появился неожиданно. С усмешкой уставился на мои босые грязные пятки. Мы с Анютой играли в песочнице, я не успела помыть ноги. Меж пальцами ног скопилась пыль.

Он дышал прерывисто, кряхтел: «Знаю, у тебя уже был секс. Я всё о тебе знаю». Под ним заскрипел стол. За окном засуетились птицы. Я расплакалась, но он дал мне денег. Мысли перепутались в голове.

На его мятые бумажки я купила много-много превкусных конфет (нам разрешали посещать поселковые магазины). И принялась думать. До вечера.

Он испуганно умолял ничего не рассказывать Софии, но я его не шантажировала. Просто попросила еще денег. Еще. И еще.

Со временем у Марин Абрамовича выработалось устойчивое желание от меня избавиться. Но что он мог? Ненавидеть, обнимая сзади. Прижимая к себе, говорить: «Сейчас ты будешь наказана, похотливая ученица». Недетские игры.

Странное время. На него завели уголовное дело. Не моих рук это. Разве моя судьба чего-то стоила?

Его не посадили. Он откупился. Остался на должности. В этом мире правда со справедливостью играют в жмурки. Детей, которых директор отправил за границу, больше нет. Никого из малышей более нет в живых. Нет, у меня не шизофрения. А у него в семье прибавление. К тому времени София родила мальчика. Он меня сзади, а она ему родила.

Они ругались. Часто. Подолгу. София и Марин Абрамович. Слухи перебрались через высокий забор, проникли в красивый дом и опутали жизнь супругов грязью и фальшью.

— У тебя свои дети! Как ты смел?!

— Я всё сделал для тебя! Ради тебя! Чтобы тебе было хорошо!

— Не вмешивай меня в свои гадости!

— Не вмешивать тебя! Ты знаешь, сколько стоят шубы? А украшения? Ты же любишь изящные украшения, дорогая женщина!

— Негодяй! Преступник!

Они не развелись. Но я не ненавижу их.

В свои пятнадцать я слишком много знала. Марин Абрамович красиво от меня избавился, отправив в го-

род на Неве по направлению в торговый техникум. Сирот в государственные учреждения принимали вне конкурса.

И понеслась для меня новая жизнь. Где-то в мечтах затерялся мальчик Сережа. Милый. Ранимый. Чистый.

Преподаватель химии. Старенький, седенький. Влюбленный. В колбочки. В реактивы. В мою большую грудь.

Я хотела выжить. Чтобы жить. Другим девочкам и мальчикам помогали. Родители, родственники. Студенческой стипендии ни на что не хватало. Мне очень понравился его маленький уютный домик в Гатчине. Вокруг дома пышно распустились цветы.

— Невеста, вы согласны? — голос распорядительницы до сих пор звучит в голове. Жалостливый голос. Что она знала? Что она знала о жизни? В свои пятьдесят...

Брак. Ему шестьдесят. Мне восемнадцать. Собралась в новую жизнь. Другую. И не сразу поняла, в чем дело. Он умело скрывал. Скрываясь.

Химик. Химия. Шприцы. Дозы. Я не убивала его, вы мне верите? Мне никто не говорил о дарственной. Его сын приехал и всё объяснил.

Барак. Двести железных коек. Протухшие матрацы. Ветхое постельное белье. Мы — матерые (третий курс). Они — птенцы (первокурсники). Кругом клопы. Перескакивают с койки на койку. Пьют кровь.

Декорации. Кто сменит их? Пожалуйста! Я устала. Дайте другую картинку. Хорошую. Эй, вы там, наверху, измените же что-нибудь! Никому нет дела. Всё те же дешевые декорации, вписанные в красочные пейзажи. Дисгармония. Мне досталась странная жизнь.

Ее насиловали. Или это был секс? Не знаю. Не понимаю. Не хочу помнить. Но вспоминаю. Она тихо лежала. Не плакала. Не кричала. Не ругалась. Не отталкивала их.

В какой-то момент я решила, что она умерла. Тихо позвала. Глаза раскрылись. Живая. Первокурсница Ксюша.

Почему всё так далеко зашло? Всё начиналось как шутка. Злая, но шутка. Шутка! Вы мне верите?

Она была красивая. Слишком красивая. Умная. Что она делала в торговом техникуме, до сих пор не пойму. Меня в ней раздражало всё. Особенно ее непробиваемое непослушание.

Субординация. Кому она нужна в стройотряде, где койка к койке. В один ряд. Длиннющий ряд ветхого барака. Дуло изо всех щелей. Пошел октябрь. И дожди.

Мы работали. В любую погоду. Нас сгоняли как скотов. И мы работали. Не поднимая голов. Волы.

Ей, наверное, ничего не объяснили. Не сказали, куда она попала.

Мальчишки. Они должны были ее напугать. Всего лишь. Поставить на место. А ее место подо мной! Что произошло тогда вечером? Слишком много выпили? Мне уже не вспомнить.

Несколько человек. Моих приятелей. Они громко смеялись. Она не подала на них в суд.

Эй, вы там, наверху! Меня засасывает. Шаг за шагом. Помогите!

Промозглая осень. Опять. Койко-место. Снова. Нет в жизни справедливости, только комната в общежитии на четыре кровати. Стол. Чайник. Плита. И секс. Грубый. Простой. По расписанию. Вторник был моим днем.

В странном ритме живут люди. Годами. Десятилетиями. В женском общежитии много пожилых, которые втянулись. Привыкли. Дослужились до отдельной комнаты.

Я смотрела на них. Серых. И мечтала о другой жизни. Чистый белый снег. Высокое синее небо. Яркое рыжее солнце. Подъемники. Глянец. Журнал на коленях в метро.

Железные бидоны. Молоко. Сметана. Тара. Вес. Магазин в спальном районе города. Совсем крошечный, но в нем я числилась хозяйкой. Прибыль выходила маленькая, но она позволила мне снять отдельную комнату.

Свисток чайника. Чашка горячего чая. Лучшее время моей жизни!..

Черт меня попутал...

Нет, я его не искала. Я просто зарегистрировалась под девичьей фамилией на сайте знакомств.

— Милая моя! Девочка моя! Ты помнишь детство?.. Помнишь протухшие яйца на Пасху?

Бог мой. Мне ни за что не забыть те крашенные яйца! Мы бредили ими. Мы засыпали с мыслями о них: синих, желтых, красных. Нам их выдали поштучно. Протухшие яйца.

— Родная моя, а ночь под Новый год? Помнишь? Ты заболела ветрянкой, угодила в лазарет, а я пробрался к тебе через наш потайной лаз. Ты помнишь теплую ночь, малыш?

Лазарет находился в старом одноэтажном деревянном здании на отшибе комплекса. Стекла окон лазарета густо покрасили синей краской. Плотно забили широкими досками. Никто из взрослых не знал про лаз. И мы путешествовали по нему сколько хотели. И когда вздумается.

— Да, Сережа, я всё помню. Ты тогда заразился ветрянкой.

— Нам было хорошо. Я с трудом тебя нашел.

Он меня нашел. Мы стали переписываться. Потом он мне позвонил. Я была так счастлива!

— Я хочу тебя. Ты вся желанная! — его жаркий шепот в телефонную трубку. — Я скоро вернусь.

— Я совсем одна. Я давно одна.

— Подожди немножко.

Мне нужно было знать где он. Он объяснял, что недалеко от города, в командировке, которая затянулась.

Время — бесконечная нить. На эту нить мы нанизывали картинки.

— Я хочу видеть твою грудь. Сосочки. Сделай фотографию. Перешли мне. Я так по тебе скучаю... Я люблю тебя, моя девочка.

Откровенные просьбы. Сладкие желания. Его звонки грели. Его письма возбуждали. «Ты приснилась мне в красном платье. Ты стояла у белой стены и медленно поднимала подол, открывая колени».

Мне тоже снились сны. Навязчивые. Женщина в странной одежде. Черное пальто. Пестрый кушак. Ее окружали семеро детей. Мал мала меньше. Я вошла в чужой дом. Вглядывалась в незнакомые лица. Я не знала никого из них. Не узнавала.

Они сели за большой стол и принялись стучать ложками по пустым алюминиевым мискам. Они все зло смотрели в мою сторону. Чего они хотели от меня?

Потом мне приснилась она одна. И всё тот же кушак. То же пальто. Одежда на женщине оставалась прежней, менялся лишь интерьер, окружавший ее.

Станный дом. Простые лавки вдоль стены. Много кособоких деревянных лавок. Я насчитала семь. Все они были покрыты свежескошенной травой (запах зелени). Женщина в кушаке любовно взбивала траву руками, словно перину.

Ее морщинистые, землистого цвета руки. Они мне что-то напомнили... Когда плугом вспахивают землю, остаются глубокие борозды. Ладони ее рук были испещрены глубокими линиями.

Зачем мне эти сны? Станные. Я просыпалась, вздрагивая. Но начинался новый день. И они забывались. На улице мороз, стужа, вьюга. В моих крошечных тайничках души — тепло, ласка и уют.

— Кися моя, закрой глазки. Девочка моя, ты закрыла глазки?

— Да.

— А ты представила себе, что это я их завязал тебе шелковой лентой?

— Да. Да.

— Умница. Я люблю тебя, моя крошечка, запомни, я очень люблю тебя. Я знаю запах твоей кожи. Знаю всю тебя. Каждый волосок. Потрогай ручкой свои волосики. Милая, ты их потрогала?

— Да. Да.

Я любила его и не могла взять в толк, как раньше жила без него. Порой мы не спали ночами. Под его ласками в телефонной трубке я задыхалась от счастья, а где-то там, далеко-далеко, на другом конце провода он ловил мои оргазмы. Шумные. Яркие. Долгие.

— Я скоро вернусь. Обниму тебя. Покачаю на руках. Убаюкаю. Моя девочка, рядом со мной ты уснешь сладко-сладко. Я скоро приеду, потерпи.

Вдруг он исчез. Неожиданно. Перестал звонить. Перестал писать. Я не знала как быть. Не знала что делать. Плакала. Металась. Не могла работать. Ходила в церковь. Умирала. Воскресала. Кидалась к резко звонившему телефону. Похудела, почернела. Накопила на частного детектива. Бросилась на розыск.

— Воспаление легких. Ему нужны лекарства. Список в аптеке.

Лекарства! Список? Кто вы? Откуда вы? Что происходит?!

— Он не хотел вам говорить. Не хотел вас расстраивать.

Мне объяснили, как доехать до аптеки. Я помчалась сквозь шумную толпу в час пик. Вышла на Восстания. Пошла по Лиговскому. С трудом нашла аптеку в подвальном помещении. Уткнулась носом в бесконечную очередь. Прислушалась к разговорам.

— В «Кресты» градусники нельзя. Детский крем? Нет, тоже нельзя.

Пробилась к окошку. Оплатила список, думая, что помощь поступит скоро, но кто он такой? Зэк на шконке в зоне.

Как я сразу не поняла, где он. Его просьбы. Станные. Я должна была догадаться.

— Сколько тебе еще сидеть?

— Два года.

— Два года! Два года...

— Милая, у меня отшмонали телефон.

— Что?

— Пришли менты. Кто-то заложил «курок». Они нашли телефон. Прости. Я не смогу тебе больше звонить.

— Как?! Я так привыкла к его звонкам!

— У тебя есть лишние пять тысяч?

Лишние? У меня? Я копила на сапоги. На Большом проспекте Петроградской стороны в магазине «Саламандра» не так давно повстречала свою мечту, она стоила семь.

— Да. Есть.

— Тебя будут ждать в два часа дня. Завтра. В кафе. Ты им отдашь пять тысяч. И мне принесут телефон. На воле он стоит дороже! А здесь всё можно купить по дешевке.

— Да, милый.

— Я точно знаю, сколько стоит такой новый.

— Тот, который купим мы, он ворованный?

— Какая разница? Это не наше дело. Главное, что я смогу тебя опять слышать. Я люблю тебя, милая. Очень люблю. И не могу жить без твоего голоса. Без тебя. Если ты исчезнешь, я умру. Запомни это! Мне без тебя ничего не нужно. Ты поняла?

Я поняла. Закрыла магазин. Полетела. Кафе на краю города. Вы знаете, что такое край города? Это пивная палатка «Клинское» посреди пустыря. Вокруг палатки — «Галенвагены» и «БМВ». По обе стороны — длинные столы (хозяин заведения хорошо знал своего клиента). Стулья с пластиковыми сидениями.

В заведении аншлаг. Владельцы дорогих машин, «сливки» постсоветского общества, активно чирикают, словно воробьи на проводах. Мне не к ним. Мне к официантке.

— Вы не подскажите, как мне найти Надежду?

— Надя — это я. Подождите немного, обслужу клиента и вернусь к вам.

Молодая женщина. (Поговорив с ней по телефону, решила, что она старше). Отекшие икры ног. (Целый день на ногах). Заношенные туфли. Она предложила мне чашку чая. Я спросила, где туалет.

— У нас «Био», — улыбнувшись, махнула в сторону кустов. — Руки помоешь у раковины.

Конец города. Конец света?

Туалет. Открыла скрипучую дверь. Вошла в трудное детство.

На лето учеников нашей школы вывозили в пионерский лагерь. Никто из нас не был пионером. Все закончилось до нас. Но полуразвалившиеся бараки по-прежнему назывались пионерским лагерем.

Весной бараки подкрашивали. Заносили в них кровати. Матрацы. Пищеблок посреди лагеря тщательно проветривали. Начищали до блеска плиту в столовой. Тяжелыми мешками свозили в лагерь крупы и муку. Летом ворота лагеря распахивались.

Там было привольно. Кругом лес. Мы редко пользовались деревянными сооружениями с дыркой посередине.

Рукомойник. Вы когда последний раз видели раковину? А мне повезло. Широкое пятно вокруг было выложено дорогой напольной плиткой. Золотистый набалдашник подтекающего крана. Розовые ароматные салфетки. Разовое мыло. (Кусок меняли после каждого посетителя, я выяснила позже.) Ополоснув руки, прониклась уважением к «новым русским». Свежим взглядом прошлась по обстановке. Грязные чашки. Тарелки со сколами. По дну тарелок надпись затертыми буквами: «Общепит».

— Мы с трудом их нашли. Зато теперь наши посетители довольны! — наливая чай, хвасталась официантка. — Мясо у нас парное. Чай вкусный. Пробуйте чай! Травы собирает сын хозяина. Разбирается парнишка. А вы угощайтесь, угощайтесь. Наш чай хорошо утоляет жажду. Придает силы. Бодрости. Устали с дороги? Кем вы работаете? — женщина смотрела на меня с явным любопытством.

А я смотрела на сбитые края плохо помытой чашки. В моей подсобке тоже были такие. Достались мне по наследству. От бывшей хозяйки. Может, ей предложить? Протянула деньги. Она отрицательно повела головой и уверенно произнесла:

— Пять пятьсот.

— Мне сказали — пять.

— За пять было вчера. Теперь пять пятьсот. У вас там кто?

Кто?.. Я его жалела. Он снова ходит строем.

«Милая, день выдался тяжелый, мы долго стояли на плацу. Три часа! Приехал какой-то большой начальник из Москвы. А сегодня жаркий день. Такое пекло, ни облачка на небе. Солнце шмалит, а мы все в черном. Такая у нас униформа — черная. Два человека прямо на плацу упали в обморок. Их унесли, один дорогой помер — старенький был дедуля. Такой случился скандал!.. Милая, а ты в чем? В трусиках? Голенькая?»

«Милая, этой ночью опять был шмон. У парнишки с соседней шконки в матрасе нашли телефон. Его ночью забрали. И телефон, и Ванечку. Он маленький у нас совсем. Ну, не в том смысле, что подросток, а ведет себя как ребенок. Бог его умом обидел. Нет, его не били. Так, пугали до утра. Мы до подъема не сомкнули глаз. Мужики курили. Запах в секции ужасный. Я

лег головой к окну — не помогло. Только продуло бок. А ты сегодня чем станешь заниматься? Хочешь, мы пойдем с тобой по магазинам? Купим тебе что-нибудь».

Мы ходили по магазинам. Заходили в кафе. Гуляли по улицам. Он любил Ваську. Я — Петроградку. Иногда мы долго спорили куда идти. Чаще всего гуляли по Крестовскому острову.

— Милый! Ты не поверишь! Передо мной белочка, она висит на передних лапках и раскачивается, поднимая хвостик к мордочке. Раньше я думала, что так играют только кошки. А тут — белочка! Хвостик у нее рыжий-рыжий, но какой-то облезлый.

— Я люблю тебя, моя девочка. Давай пойдем покормим уток.

И мы шли кормить уток. Они хлопали крыльями, наперегонки неслись к крошкам и громко кричали. Я близко-близко подносила к ним телефон, Сережка слушал. Радовался!

Сережа радовался любым звукам с воли: лаю собаки, скрипу тормозов, пению птиц и журчанию рек. Если у меня выпадали два выходных подряд, мы садились на электричку (к чему тратиться на бензин?) и уезжали к заливу. Выходили на станции «Курорт». Шли берегом. Слушали воду. Я снимала на камеру волны и отправляла ему. Снимала небо. Солнце. Тучи.

Я знала весь распорядок его дня. Подъем. Плац. Проверка. Завтрак. Обед. Проверка. Ужин. Проверка. Он знал каждый час моих рабочих будней. И каждую секунду моей жизни. Мы приспособились. Привыкли. Научились получать удовольствие от этой странной жизни. И постоянно мечтали. Мы не могли не придумывать для себя будущего.

— Солнышко, ехала с работы в маршрутке и посмотрела короткий фильм о животных. Показали обезьян. Кто-то умный соорудил для них бассейн. Сереженька, обезьяны умеют плавать!

— Девочка моя, однажды я сделаю для нас огромный бассейн. Правда. Поверь мне! У нас будет небольшой уютный дом. Мы его купим. Пусть не сразу. Лет через пять. Накопим денег — и обязательно купим домик с участком! Нам хватит двадцать соток? Да, это много. Такая роскошь!.. Но нам нужна земля. Во дворе я сделаю бассейн. Но над ним придется потрудиться, тебе нужно будет подождать, моя девочка.

— А давай, пока ты будешь строить настоящий бассейн, мы купим детский, надувной! На распродажах такой можно купить тысячи за три, я видела. Надуем однажды теплым вечером. Нальем воды. Вокруг поставим зажженные свечи, а в небе к тому времени зажгутся звезды. Хочешь так?

Девушка из Пскова засуетилась. Вытряхнула на колени содержимое сумочки: старые помады, носовые платки, письма, конверты, шариковая ручка, деньги.

— Ой... ой, — запричитала она. — Что же мне теперь делать?..

Меньше всего мне хотелось знать, что там она потеряла.

— Опись. Забыла дома опись... Понимаете, не спала всю ночь. Складывала посылку. Писала эту сумасшедшую опись. И забыла дома...

— Сама собирала посылку?

— Конечно!

— Значит, хорошо помнишь, что в посылке. Пиши заново.

— А вес?

— Кто станет перевешивать?

— И то правда.

Составив перечень привезенных ею продуктов, она чиркнула внизу: «Посылку собирала собственноручно». Расписалась.

— А это обязательно?

— Конечно! — девушка указала на деревянный стенд с образцами, висевший над головой. — Читайте: «Вы несете ответственность за содержимое посылки».

Посылку собирала не я. Как-то было дело — отправила Сереже бандероль. Но тут...

— Дорогая, зачем тебе мучиться? Это трудно, детка. Вынимать фильтры из сигарет — муторная штука. Все сделает мой друг. А утром по дороге ко мне ты к нему заскочишь. Он в твою машину загрузит пакеты с едой и сигаретами. Ты помнишь, что здесь сигареты — валюта? Ну конечно, если ты хочешь, можешь купить мне свежих овощей. И фрукты купи. И колбаски. Мяса. Но не забывай, у тебя примут только двадцать килограмм. Так что ты сильно не траться. А ночью тебе надо спать. Со мной. Я тебя убаюкаю.

И он баюкал. Всю ночь.

— Любимый, мне хорошо с тобой.

— Знаю, детка. Чувствую. Ты уже надела чулочки?

— Да.

— Отправь мне фотографию, где ты в чулках. Я посмотрю на твои красивые ножки. Потом сразу же мне позвони, хорошо, родная?

— Да!

Я надевала и снимала чулки. Становилась на каблучки. Распускала волосы. Разводила ноги. И отправляла ему фотографии.

— Какая ты желанная! Красивая! Моя сумасшедшая женщина! Я люблю тебя, мой ангелочек. Ты чувствуешь мое дыхание?

— Да.

— Теперь ласкай себя. Я люблю тебя. Ты очень красивая.

Накануне я купила овощи, фрукты, колбасу и мясо. Сигареты действительно подготовил его друг. К «хрущовке» по нужному адресу я, как договаривались, подъехала в шесть утра. Набрала номер телефона, который дал мне Сергей. Вышел заспанный его приятель Максим. Загрузил в багажник целлофановые пакеты. Всучил опись, оформленную на мое имя (паспортные данные заранее продиктовала по телефону). Пожелал хорошего пути.

Как же! Хорошего пути... Думала, доберусь засветло, но — чертова машина!.. Заглохла на половине дороги, как только показалась бело-синяя церковь с золотыми куполами.

Старая цыганка, исполнив материнский долг, грузно уселась около нас. Пыхтя, раскурила трубку.

— Не надо. Не курите, пожалуйста. Мы здесь задохнемся. — Девушка из Пскова мученически поморщилась.

— Тебя ждет свадьба, — цыганка затаилась глубже. — Скорая свадьба.

— Меня! Свадьба! — радостно засуетилась девушка. Села рядом с цыганкой. — Скорая?

— Да. Пройдет немного времени, и ты соединишься со своей судьбой, — цыганка важно поднесла ее ладонь к глазам. — Сейчас твой суженый далеко от тебя, за каменной стеной.

Я расхохоталась. «Суженый за каменной стеной». Кем надо быть, чтобы не догадаться?

Не отпуская руки девушки из Пскова, цыганка обернулась в мою сторону:

— Зря ты смеешься, милая. Плакать надо. Совсем скоро ты повстречаешь ту, которую не ждешь совсем.

Сказала — и потеряла к нам интерес. Ушла, прихрамывая на распухших от жары ногах. Я ехидно смотрела ей вслед.

— А кого ты не ждешь? — любопытствовала девушка из Пскова.

— Маму, — ответила я первое, что пришло на ум.

Женщина с синяком под глазом вывалила на стол для передач коричневую кашу. Конфеты. Растаяли, потекли. С них сняли фантики, сбросили содержимое в кулек, где бывшие конфеты окончательно слиплись в одну сплошную коричневую жижу.

— Фу, — брезгливо поморщилась девушка из Пскова. — И они будут это есть? Как они будут это есть?

Они ели все подряд. Он рассказывал. Он говорил, что там голодно. Холодно. Сыро. Вокруг зоны болотистая местность.

— Слизывать будут, слизывать. Развернут целлофан и полижут. Не волнуйся, ничего не пропадет. Все в живот уйдет.

Она была совсем глупенькая, эта девушка из Пскова.

— Нет. Я выброшу конфеты. Я так не могу. — Она достала из большой хозяйственной сумки свой пакет с конфетами. — Вот, смотрите, я так и думала: растаяли. У меня тоже всё потекло.

«У нее тоже всё потекло». Провинция.

— Почему нельзя передавать конфеты, завернутые в фантики? Зачем вытаскивать фильтры из сигарет? Я до утра вытряхивала эти чертовы фильтры! А потом поезд. А потом электричка. Автобус... Я не спала ночь! Сорвалась.

Я тоже не спала ночь.

— Девочка моя. Любимая моя... У меня был такой оргазм! Меня даже потряхивает. Только не переставай себя ласкать. Потрогай сосочки. Они набухли?

— Да, милый. Да.

— Ты хочешь сейчас встать на колени, моя девочка? Или останешься лежать на спинке, моя развратница? Как тебе больше нравится?..

Мне больше нравится, когда приемщица передач работает быстро, но она устала. Женщина с потекши-

ми румянами на щеках вяло перебирала мою посылку по другую сторону крошечного окна.

— Красную футболку нельзя. — Через окошко вылетела футболка.

Зачем я купила ему красную футболку? Зачем красную? Меня красный цвет завораживал. Привораживал. Притягивал. Заставлял менять решения. Подчинял.

— Хочешь, я тебя свяжу. Привяжу твои руки к изголовью кровати. — Сережа тяжело, прерывисто дышал. — Ты с закрытыми глазами... На твоём лице маска кошки. Ты мягкая. Податливая. Вся... Моя... В моей власти. Твои ноги широко разведены. Милая, я с тобой задыхаюсь от счастья!..

— Слышу, мой Сережа. Слышу. Я люблю тебя, мой мальчик.

Приемщица передач с увядающей надеждой в голове спросила:

— Ты последняя?

Четыре часа дня. Духота. Настежь раскрыта маленькая форточка, но толку от нее никакого. На улице — жара. В здешнем климате жара — большая редкость. Лето здесь обычно холодное. Больше похоже на южную осень.

Осень. На юге. Мягкая. Нежная. Ласковая. Он не закрыл окна кабинета. Он наслаждался запахами увядающей листвы. Мой школьный директор.

— Не надо. Пожалуйста...

Коричневая юбка школьной формы накрыла меня с головой.

— Чего ты боишься? — Ему нравилось ставить меня в неудобное положение.

— Не надо. Не здесь.

— Ты горячая. Мокрая. Ты меня хочешь. Я чувствую, ты вся дрожишь, моя самая плохая ученица, — звонкий шлепок по ягодицам.

Сколько нас было таких... плохих учениц. Я не считала. Почти все школьные учителя спали со школьницами.

— Не надо. Прошу вас. Не надо. — Я пыталась высвободиться.

— Сопrotивляйся, распутная. Давай, сопротивляйся. Меня это заводит. — Марин Абрамович никак не мог войти в привычный ритм. (Начало учебного года. Пытка педсоветами. Несчастный.)

Кленовые листья. Желтые. Красные. Я смотрела на них равнодушно.

— Кто тот рыжий мальчишка? Тебе хорошо с ним? — Марин Абрамович ногой пропихнул мои трусы под стол. — Что он с тобой делает? Разве он что-то может?

Ночью, крадучись на цыпочках, Сережа из спальни мальчиков перебирался в нашу. Иногда мы просто спали до утра, обнявшись.

Марин Абрамович яростным движением застегнул ширинку своих брюк. Я медленно расправила школьную форму. Взглянула в распахнутое настеежь окно. Издалека разглядела свой класс. Урок физкультуры. На улице. Нормативы. ГТО.

Всё. Я сдала. Она приняла. Четыре часа дня пятнадцать минут. Пот подмышками. Испарина на лбу. Есть еще время до пяти. Ровно в пять смогу ему позвонить. Он вернется с проверки, достанет телефон из «курка» (пакета с сухим молоком), подключится, и мы поговорим. А пока я расстелю широкий плед на зеленой теплой траве...

— Кисюня моя! Где ты? Почему не позвонила? Ты заставляешь меня волноваться.

Мой Сережа. Он волнуется обо мне!

— Милый, я прилегла под деревом, напротив центрального корпуса. Думала, немного полежу, но уснула. Сережа, родной, я всё сделала. Не приняли только репчатый лук, перец и красную футболку.

— Девочка моя, ты сегодня устала. Маленькая, спасибо тебе за все. Век не забуду твою заботу обо мне. Твою доброту. Лапочка, скоро у нас будет свидание! Трое суток вместе! Я почти договорился. Нам его дадут, милая. Ты не боишься?

Чего мне бояться? Чесотки? Педикулеза? Туберкулеза? Охраны через стенку?

Город. Я вернулась в него поздно вечером. Измотанная. Голодная. Мне бы водочки выпить. Закусить.

Огромная автостоянка перед супермаркетом. Я вышла из машины. Слово из-под земли выросла немощная старуха. Встала перед капотом, вытянув вперед руку.

— Деточка, мне так плохо... — тихий дрожащий голос. — Помоги, милая. Дай денежку. Кушать сильно хочется.

Ее ноги подкашивались. Если бы не крепкая палка, на которую старуха оперлась рукой, рухнула бы на землю.

Я не знаю мамы. В дом малютки попала подкидышем. Кто-то когда-то где-то меня родил. И выкинул.

— У вас есть дети? — раскрыла кошелек. Достала сотню. Ей хватит.

— Есть, деточка. Наверное...

Она ушла, съездившись. Не сказав «спасибо». Я смотрела вслед на ее сгорбленную спину. И медленно соображала: это и есть пророчество цыганки. Но мне не захотелось пойти за ней. Обнять. Прижать к себе. Накормить супом.

В супермаркете, несмотря на позднее время — толпа. Народ мел с прилавков тележками. А мне расточительство не по карману. Нельзя тратить на соблазнительный бекон в нарезке и йогурты. Завтра выйду на работу, вернусь в свой магазин, поем теплого хлеба с порошковой сметаной. Пришло время беречь копейку (передача обошлась неслыханно дорого).

Куплю хлеба, пол-литра водки и молочных сосисок. Вернусь домой. Бутылочку с водочкой закину в морозильную камеру. Сосиски поджарю с лучком. Пока будут «томиться» под крышкой на сковороде, в холодильнике запотеет водочка. Я ее достану. Холодильнику. Свинчу ей головушку. Блестящую. Налью себе глоточек! И...

В нашей коммуналке стоял гам. К соседям приехала родственница с малолетним ребенком. Мальчишка носился по коридору взад-вперед, выкрикивая матерные слова. Никому до него не было дела. Соседи не запойные, нет. Но в тот вечер они увлеклись.

— Ты зачем говоришь плохие слова? — перехватила я мальчишку.

— Да пошла ты, — он юрко увернулся. Быстро нырнул в соседскую дверь.

Я и пошла. У себя пригубила. Со сковороды поела. Вдохнула. Надо бы сделать звонок Сереже. И лечь спать.

— Да, милая, конечно ложись. Моя девочка сегодня устала. Ножки гудят у кисы. Если бы я был рядом, сделал бы пяточкам массаж. Ложись, моя принцесса. Завтра будет новый день. Я разбуду тебя утром.

«Завтра будет новый день». Я ворочалась. Не уснуть. «Не отпускай меня. Может, не зря хорошие сказки по слогам в детстве читали нам». Куценко? Соседи. Черт бы их побрал!

Час ночи. Он еще не спит. Он привык ложиться поздно. Спать три-четыре часа в сутки. Я ему позволю. Послушаю голос.

Услышала. Не сразу поняла, но ее голос узнала тотчас.

— Ты отдаешь ей мое свидание! Мое свидание!

Я вклинилась в чужой разговор. И услышала Сережу.

— Замолкни, женщина! Знай свое место.

— Как ты так можешь?! Ты же говорил, что всё шутка! Твоя шутка затянулась!

— Идиотка! Ты, что ли, будешь доставлять дурь через забор? Ты? В тюрьму захотела! О детях думай, кошелка! Я тут стараюсь для вас, зарабатываю...

Она расплакалась. Он повесил трубку.

Вот и всё. Я смотрела в пустоту. Если я отравлюсь таблетками в коммунальной квартире — это будет глупо. Стухну. Провоняю весь дом. А у них гости. Ребенок. Ему и так досталось. Мамочка — шлюха. У него есть мамочка...

Я шла по рельсам. Страшно. Мне было так страшно! Вы мне верите? Я была совсем одна. Где-то вдали лаяли собаки. На небе появилась луна. Осветила путь.

Идти по шпалам неудобно. В последний путь я собралась на каблуках. То и дело спотыкалась. Пару раз чуть не упала. Несколько раз ушла в сторону. Нет, я не передумала. Просто по сторонам рельс была насыпь. Мягкая. Теплая. Я садилась на нее. Отдыхала. Потом опять шла. Мне надо было идти. Обязательно идти.

Он настиг меня на рассвете. Сердце мое бешено стучало, но я не испугалась, вы мне верите?

— И это всё, что ты можешь рассказать? — женщина в черном пальто и пестром кушаке зло смотрела на меня. Семеро детей за столом громко стучали ложками по пустым мискам. — Ты пришла в этот дом ни с

чем! Нам самим здесь есть нечего! Ты ничего не принесла с собой! Ничего!

Я вышла на улицу. На улицу? Семь небольших холмиков. В них воткнуты покосившиеся деревянные кресты. Прочитала. Имена. Даты. Рождения. Смерти. Удивилась. Все умерли в один день. Триста лет тому назад.

Свежая могила. Ровный крест. Ни даты рождения, ни имени. Вокруг могилы следы. Животных?

Вернулась в дом. Женщина укладывала детей. Семерых. Мал мала меньше. Разлеглись по лавкам.

— Как меня зовут? — спросила я, остановившись в дверях.

Она оглянулась. Расхохоталась. Поинтересовалась: «Что появилось раньше: горе или глупые женщины?»

Я заплакала.

Не думала, что там ничего не заканчивается, а всё только начинается.

А она... рассыпалась серой землей. У кого теперь узнаю, как меня зовут? Кто мне ответит?

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Я встретила с ней на берегу Черного моря. Вернее, море было синим, даже белым — от пышной пены у подножья скал. Море было беспокойным.

Такой же беспокойной была и душа — уже несколько дней. Внутреннее волнение. Ни с чем не связанное. Появившееся буквально на ровном месте. А я-то думала, что сбегу к морю, к солнцу, к соленому ветру от всей городской суеты. От трудного рабочего года, который наконец-то закончился... Нет.

Внутренняя лихорадка появилась с пением птиц. Они весело щебетали, летя навстречу солнцу. А ведь возможно, что им, птахам, не так-то и весело. У них свои проблемы. Это нам, людям, кажется, что птичья жизнь беззаботна. И полна одних радостей и удовольствий. Скорее всего, это ощущение возникает из-за легкости их полета. Захотели — крылышками взмахнули — и прямо в облака. И поют. Да как поют! Радостно-радостно. Как будто их всё в этой жизни устраивает.

Вот это самое пение, такое наивное, простое, живое, настоящее — и стало причиной предчувствия. Не могу сказать, что это было предчувствие надвигающейся беды. Только что-то очень неприятное поселилось в душе. И никуда от этого было не деться. Даже муж заметил — то и дело взглядывал вопросительно.

Тогда я и наловчилась убежать к морю. Появилась неумолимая потребность побыть одной. Хоть часок. И чтобы — только закат. И пена. И шум волн. И соленый ветер. Мелкие брызги, летящие навстречу, падающие мне на руки, на лицо. Приятный соленый ветер — он приносил покой. В тишине уходило волнение. Хотя разве это — тишина? Неумный крик чаек, людской гул, доносящийся оттуда, из людской суеты. Из гостиничного комплекса. Однако пока мой муж обливался потом там, на теннисном корте, я отдыхала в блаженном одиночестве.

Так продолжалось несколько дней. Каждый из них дарил мне час забвения.

А потом этот телефонный звонок. Местный. Из нашей же гостиницы. Женский голос. Приятный. Молодой. Чуть обеспокоенный. Голос был незнакомый, но я не могла назвать его чужим.

Она просила о встрече. Как-то так странно просила, отчего я поняла, что это больше нужно мне, чем ей. Она не представилась. Я так и не узнала (и никогда не узнаю) ее имени. Единственное, о чем спросила, — как мне различить ее среди отдыхающих. Она с улыбкой, как мне показалось, сказала: по белой шляпе. У моря почти все ходят либо в белых шляпах, либо в соломенных желтых. Я попыталась ей об этом деликатно намекнуть. В ответ же она сказала, что таких шляп не носит никто. Я пожалала плечами.

Мы договорились о времени. Семь часов вечера. Именно то время, когда я совершала свои одинокие пешие прогулки. Похоже, она знала об этом.

Больше мы ни о чем не говорили. Время, место и белая шляпа. А потом короткие гудки. Я не удивилась этому звонку, не испугалась его. Напротив, мое внутреннее напряжение несколько ослабло. Я как будто знала заранее об этом звонке, как будто ждала его.

Она шла мне навстречу. Красивая женщина. Это было видно издали. Босые ноги ее плавно рассекали набегавшие тихие волны. Она шла по кромке воды. Издали казалось, что не шла, а плыла. Подол ее белого платья купался в белой пене. «Странно, — подумала я, — платье намокнет. Зачем ей это надо? И действительно, в белой шляпе. А волосы какие длинные, красивые! Желтые, как искрящиеся солнечные лучи».

Женщина приближалась. То, что на расстоянии выглядело белой шляпой с огромными полями, вблизи оказалось белым пышным облаком. Чем ближе подходила ко мне женщина, тем радостней становилось на душе. Как хорошо. Как хорошо!..

Женщина подошла совсем близко. Можно было при желании дотянуться до нее рукой. До ее волос, до мокрого подола платья. Она улыбалась. Улыбалась вся — губами, глазами, нежной светящейся кожей, желтыми волосами. Она сказала:

— Здравствуй.

— Здравствуй, — почти пропела я.

По всему моему телу разлилась радость. Так радуются щенки встрече с хозяином — любимым хозяином, который кормит, поит, ласкает.

Осталось простое любопытство: кто она? Однако мне не пришлось задавать вопросов. Она читала все мои мысли. Она знала их. Она знала обо мне всё. И хорошее, и плохое. Всё, что я могу сделать в этой жизни. И чего не сделаю никогда.

Женщина взяла меня за руку и сказала:

— Я твой ангел-хранитель.

Какой теплой и мягкой оказалась ее рука! Захотелось сжаться до маленького комочка и спрятаться, укрыться в этой руке, в настоящем покое...

Колокольный перезвон. Тихий-тихий. Слышу. Больше ничего вокруг — ни криков чаек, ни шума моря, ни соленого ветра. Только перезвон. И я полетела на манящие, зовущие колокола. Может быть, не полетела,

но как-то я всё же оказалась там. Там, где трепещет каждая клеточка или ниточка — или как еще можно назвать мое сознание. Не было более ничего кроме сознания. Им я видела, им слышала, им разговаривала. Им я просила. Просила оставить меня в этой музыке колоколов, в этом пении. Для чего? Для того чтобы творить! Я почувствовала себя сильной! И знающей, знающей многое. Как рождаются звезды... Почему плачет дождь... О чем шепчутся облака...

Как же я хотела остаться там! Но мне сказали, что еще не время. И пришла я не за этим. За чем же?

И тут я увидела страх. Он поселился на земле, он поселился в облаках, он поселился в солнечных лучах. Я видела, как ходуном ходила земля, как растягивалась ее черная кожа. И гул. И рокот. И волны бились неистово и страшно о камни. Сначала они сожрали скалы. Потом пошли на дома — низенькие, высокие... Они хотели объять необъятное. Люди кругом кричали. Плакали дети. Рушились здания. Они раскачивались из стороны в сторону — и складывались, как карточные домики. И стоны доносились из руин. А земля тяжело дышала. Ее могучая черная грудь то вздымалась, то опускалась. И толчки. Постоянные толчки. Как будто бешено стучало чье-то сердце. Как будто заболел какой-то огромный организм...

Постепенно земля успокаивалась. Казалось, утихла ее внутренняя боль. Она задышала ровно. Беззвучно. Спокойно. Быть может, даже впала в дрему — от усталости, от пережитого приступа безумия. Ее согрело солнце. А над землей стоял плач. Живые рыдали над погибшими. Матери, как маятники, раскачивались над своими детьми, которым не суждено было стать взрослыми. Любящие стонали над телами любимых. Кто-то еще жил зыбкой надеждой, разбрасывая в стороны обломки и камни, пытаясь докопаться до тлеющей жизни — или хотя бы до холодных изуродованных тел...

Секунды, считанные секунды я всё это слышала, видела, чувствовала. Боль людей, раздавленных массой камней, невыносимую тяжесть в душах оставшихся в живых. Может, это были вовсе и не секунды. Там не было понятия времени. Там была вечность.

Страшные картины вновь сменило ощущение радости и покоя. В неумолкающем колокольном перезвоне прозвучали слова женщины:

— Передай людям, что их ждет беда. Пусть они покинут обжитые места. Они должны спасти своих стариков и детей. Передай им, что они могут успеть. У них есть три дня. Обязательно передай.

Защекотало ноздри. Ужасно неприятно. Я чихнула — и услышала короткий смех мужа. Открыла глаза. Увидела его, нагнувшегося надо мной с травинкой в руках.

— Вот ты где спряталась... — сказал он. — А я уже начал беспокоиться. Раньше ты так надолго не уходила.

— А который час? — я чувствовала себя бодрой, полной энергии. Отдохнувшей.

— Десятый час, голубушка, — Иван посмотрел на часы.

Брови его нахмурились. Голубушкой он меня называл в особых случаях. Когда сердился. Волновался, видать, пока меня не было.

— Ты давно здесь?

— Да нет, только что подошел. А до этого битый час искал тебя по пляжу. Кто бы мог подумать, что ты забредешь так далеко...

Если бы только Иван знал, как далеко я забрела! Но он не знал. Он видел меня, сидевшую на траве у дерева.

Иван подал мне руку, помог встать.

— Я что, спала?

— Странная ты какая-то в последнее время. Что с тобой происходит? Мы целый год мечтали об этом отдыхе. Ждали его, деньги откладывали. А ты ведешь себя так, будто всем недовольна. Сбегаешь от меня постоянно. Я что, надоел тебе?

Глупенький, если бы он знал, как я люблю его! Я редко говорю ему об этом. Только в самые сладкие минуты откровенности. Чтобы не зазнался.

— Ванечка, дело не в тебе. Всё так запутанно, сложно. Даже... необъяснимо.

Действительно, как я могла рассказать ему об этом неземном колокольном перезвоне? Об этом покое. Этой тихой радости. О женщине без имени, которая назвалась ангелом-хранителем. Ее шляпе-облаке. О том, что я видела и чувствовала там... Я задумалась.

— Кира, ты идешь и спишь на ходу! — крепкие руки мужа подхватили меня.

Я, оказывается, чуть не свалилась в открытый канализационный люк. И мы уже шли по улочкам города. Да, что-то я отключилась от реальности. А реальность — вот она. Рядом. Рядом дома. Старые и новые. Рядом люди. Маленькие и большие. Здоровые и больные. Зато живые. И голос мужа — совсем близко, который зловеще шепчет:

— Черт возьми, что происходит?

— Ваня, я видела удивительный сон. Мне приснилось, что всего этого нет. Это всё погибло, — я развела руки в стороны, указывая на мир, окружавший меня. — От этих домов остались руины, от этих людей — мертвые тела. Это предчувствие живет во мне несколько дней. И мне надо предупредить несчастных. Мне надо сказать им, чтобы они бежали из этих мест. Пока не поздно. И мы должны уехать. Завтра же. До землетрясения еще три дня.

Муж слушал и молчал. Когда я закончила, он ровным, спокойным голосом произнес:

— Кира, у тебя был тяжелый год. Я всё понимаю. Ты устала. Но неужели ты не можешь найти в себе силы расслабиться?

Он не понял. Он ничего не понял. Он решил, что это бред сумасшедшей. И смотрел на меня с тревогой.

— Ваня, Ваня, — пыталась я достучаться до него, — пойми, я видела собственными глазами весь этот ужас. Я должна предупредить людей. И мы уедем. Я не хочу быть погребенной под камнями. Посмотри, посмотри на этого ребенка, на эту молодую маму. Неужели ты хочешь, чтобы они погибли?

Навстречу нам бежал розовощекий малыш. В шортиках. Ему было годика три. Он бежал и залиvisto хо-

хотал. За ним бежала молодая женщина. Она тоже смеялась. И приговаривала: «Подожди, шалун. Всё равно я тебя догоню!» Они поравнялись с нами. Видимо, женщина расслышала мои последние слова. Глаза ее расширились, она остановилась. Остановился и мальчик. Недовольный, что веселая игра резко оборвалась, захныкал.

— Милая женщина, прошу вас, берите своего ребенка и уезжайте из этих мест, — заговорила я.

— А в чем дело?

— Понимаете... через три дня будет страшное землетрясение. Спасайте семью, — я пыталась говорить проникновенно и убедительно.

— Откуда вы это знаете? — голос женщины испуганно задрожал.

— Мне приснился сон, в котором я видела разрушенные дома и погибших людей.

— Сон?... Ах, сон... — голос стал насмешливым, потому безразличным.

И вновь возобновилась их веселая игра, звенящая смехом по людной улице.

— Вот! Ты всё видела! — зато у моего мужа голос был вполне довольный. — Тебе никто не поверит. И нечему тут верить. Перестань мучить себя и других.

В ту минуту я его ненавидела. От ощущения бессилия у меня потекли слезы.

Ванечка, видно, этого от меня совсем не ожидал. В его понимании, я устроила истерику на ровном месте. На нас стали с любопытством оглядываться прохожие. Муж шипел мне в ухо:

— Прекрати. Сейчас же прекрати! Не позорь меня!

Змей гремучий, мне захотелось ударить его больно-больно. За его тугодумие. За неверие. Он мне не верил! Своей жене. В сердцах я сказала:

— Оставь меня. Отстань!

— Ах так! — от возмущения лицо его покрылось красными пятнами. — Хорошо! Отстану! И возиться с тобой не буду. Глупая дура.

Мы разругались. Дурой он назвал меня впервые. От этого стало еще горше на душе. А Ванечка развернулся и ушел. Я сама его прогнала. И обидела. Ни за что. Может быть, стоило рассказать ему о телефонном звонке, об этой женщине. Может, тогда он поверил бы мне?

Мой муж ушел. Я осталась стоять у ворот чужого дома. Слезы высохли. В голове стучала мысль: «Надо предупредить. Они не должны погибнуть».

И я, открыв деревянную калитку, вошла во двор. Залаяла собака. Она рвалась на своей цепи мне навстречу. И злилась, что не могла достать. На лай вышли хозяева. Еще не старые мужчина и женщина. Наверное, муж и жена — поскольку в открывавшиеся двери я слышала: «Старый кобель! Сколько ты будешь кровь мою пить?» «Старый кобель» оказался достаточно щуплым человеком, а та, у которой пили кровь, — плотной внешности дамой. Дама не сумела сразу переключиться. Увидев молодую и привлекательную, бросила резкое:

— Чего хотите?

— Мне поговорить с вами надо, — я мялась на крыльце, не зная с чего начать.

В дом меня никто не позвал.

— Говорите, — голос у дамы был очень неприятный.

В одну секунду я поняла, чего не хватает старому кобелю. Однако я пришла не для этих разъяснений. Стоя на ступеньках добротного дома, я умоляла хозяев покинуть свой очаг. Меня выслушали. После чего дама строго произнесла:

— Вы свободны.

Номенклатурный работник?

Всё. На чужой территории мне больше делать нечего.

Потом я снова стучалась в двери и окна домов. Рвалась в чужие души. Чего я только ни услышала в ответ. От «ненормальная», «сумасшедшая» — до «бедненькая», «несчастливая». Только одно объединяло всех людей, к которым я пришла: мне никто не поверил. Никто. Ни одному моему слову. Я даже попыталась врать. Сказала, что это секретные сведения. Мне ответили, что если я не уберусь вон, меня сдадут в милицию вместе со всеми сведениями в придачу.

Я брела по городу, который не хотел слышать и слушать. Город в непонимании ждал своего часа. Часа разрухи и смерти. Я не могла ничего изменить. Не получилось достучаться, объяснить, предостеречь. Сердце мое ныло, душа страдала. А слезы всё текли и текли. Они затекали в рот. Они намочили блузку. Я не смахивала их. Не было сил.

Опустошенную и измученную нашел меня Ванечка в ночном скверике на деревянной скамейке. Даже в ущербном свете луны и тусклого городского фонаря мое лицо ужаснуло его. Голос у моего мужа был виноватый, молящий о прощении и мире. Он произнес:

— Мы уедем завтра, если ты так хочешь.

Потом была ночь без сна. Последняя ночь у моря. Мы гуляли под луной. И холодные брызги, разносимые ночным ветром, заставляли тело покрываться мурашками. Мы хотели этого холода — он отвлекал от мрачных размышлений. В ту ночь я рассказала мужу всё. И о странном звонке. И о еще более странной женщине. И о том, что я была там. О колоколах. В ту ночь мы стали ближе друг другу. У нас была вера. Одна на двоих.

Так мы и встретили рассвет. Проснувшееся солнце окрасило воды покоем. Мирные волны забегали одна за другую. Тихие-тихие волны. Тихое-тихое бескрайнее небо над волнами. Небо и волны — они соприкоснулись своей тишиной где-то там, на горизонте. Но я знала, сколько обмана несло в себе затишье. И мой муж — знал.

В гостинице наспех побросали вещи в чемодан. Сдали ключи от номера. Дежурная была удивлена нашим скоропалительным отъездом. Я попыталась что-то объяснить ей. Она в ответ улыбалась и вежливо кивала головой. Можно представить, что она подумала обо мне. Зато с ее лица слетело удивление по поводу нашего отъезда. В ее глазах мелькнуло сочувствие, когда она взглянула вслед Ване...

Мы покинули гостиницу, уютную и милую. Ее не стало через два дня. Ее до основания разрушило землетрясение.

Спокойно, без толчеи и давки возле железнодорожных касс, мы купили билеты на поезд «Ялта — Москва». Шел 1927-й год.

ПОВЕСТЬ

Илья Замешаев

Москва

ОБМОРОК

0.

Моя персональная вселенная с невероятной скоростью закручивается в обратную сторону — если б не зацепился за своих бабушек, прямиком бы влетел в чёрную дыру. Обоих, кстати, зовут Елизаветами, и вот они спорят, кто со мной пойдёт гулять. Обе пойти не могут, так как кто-то должен остаться дома. Спор решается допросом: ты кого больше любишь — меня или меня? Я уже выучил, что одна настоящая, а вторая только двоюродная, но старше и приезжает реже. По Маяку звучит «Как нас Юра в полет провожал» в исполнении Кобзона. Если мне пять, то это 1978 год. Через пару лет пойду в школу, а сейчас мне надо ответить на вопрос двух бабушек. И пока я думаю, двоюродная бабушка громко говорит: если Брежнев предотвратит ядерную войну, то ему памятник поставят. Обе бабушки закатывают глаза к потолку. Младшая говорит ещё громче: памятник из чистого золота! Обе почти кричат: да-да, ещё при жизни! И глаза к потолку. Какие полоумные бабушки, не правда ли? Этажом выше живёт девочка, которая обычно отбирает у моего папы яблоко (ну, когда совпадает, что он возвращается из овощного, а она гуляет в подъезде). Затем её папа заходит к нам и благодарит. И вот я сбегая от двух бабушек и рассказываю девочке (которая шароёбится у почтовых ящиков) анекдот про русского, немца и поляка. К нам приходит её строгий отец и вместо благодарности пересказывает анекдот про русского, немца и поляка. Никто не смеётся. Отец девочки объясняет, что хотел бы узнать источник, из которого я слышал про русского, немца и поляка. Все смотрят на меня. Я молчу, так как не очень понимаю, чего от меня ждут. Отвечаю, что сам придумал этот анекдот. Отец девочки уходит, а мне объясняют, что анекдот антисоветский, а первоисточник находится в ЦРУ, так как все анекдоты про русских придумывают там. Я вслух предполагаю, что раз я знаю про русского, немца и поляка, то вероятно у меня есть какая-то связь с ЦРУ. После этого заявления мне с верхней девочкой дружить запрещают. Тогда я выдвигаю первое условие: я не буду дружить, а папа тоже перестанет давать ей яблоко. Папа прямо говорит, что это уже не моего ума дело, а две почти полоумные бабушки с удвоенной силой возобновляют спор о Брежневе и холодной войне. После этого безумного чаепития бабушки больше не выясняют, кого я больше люблю — в



парк меня ведёт старшая. Во-первых, у неё пенсия больше, а во-вторых, она умрёт раньше. И старшая спешит передать мне своё тайное знание: в океане плавает черепаха, на черепахе стоит слон и держит трёх китов. На этих трёх китах наша земля и держится. Я задаю уточняющие вопросы: кто под водой, кто на воде и выше. В итоге приходим к согласию, что панцирь черепахи и является земной поверхностью. Порядок такой: три кита под водой, на них стоит слон и держит черепаху. А где заканчивается океан? Нигде, он безграничен. Такой большой ответ в моей маленькой голове не умещается. На обратном пути встречаем верхнюю девочку, и бабушка оставляет нас наедине. Ещё в прошлый раз я обещал ей показать свой писюн, но вместо этого выставляю кукиш. Она обзывает меня антисоветчиком. Так нашим секретным подъездным играм пришёл конец. Как её звали? Конечно же Наташа, не иначе.

1.

Февраль 2022 года. Дворники счищают с крыш снег, а значит речь пойдёт о привычной реальности. Через несколько секунд кольнёт большой палец правой ноги и я упаду в обморок, но пока стою буднично на остановке и неожиданно понимаю, что я не мальчик. Не в том смысле, что я типа теперь девочка, а вот буквально, резко и пронзительно меня нахлобучивает: мне сорок девять, и люди, что терпеливо переминаются с ноги на ногу, младше меня. Вот эти вот дядьки и тётки, на которых я всю жизнь смотрю снизу вверх, давным-давно оказались моложе, нежели мне по умолчанию мнилось. Как так произошло? Да, на каком-то форуме читал, что я отношусь к поколению, которому дали под дых. Специально для моего поколения политологи придумали термин — синдром выученной беспомощности. 1973 год, переломивший поколение Икс на последних советских граждан и «то самое», как утверждает Вики, пелевинское дженерейшен Пи. Не суть, на самом деле. На самом (на самом-самом) деле всё это фикция, но вот я, весь из себя беспомощный, вытягиваю шею против движения и жду автобус, который увезёт меня в дизайнерскую библиотеку, что на Полимерной улице. Там я сяду в читальном зале, открою ноут и, как мне кажется, займусь делом. А пока я, повторяюсь, в окружении стареющих миллениалов, которые почему-то среди бела дня не в офисах, жду. Можно было бы описать ход моих великих мыслей, но вот мне становится жарко (настолько, что всё тело покрывается испариной, а дублёнка становится мокрой), у девушки с сиреневыми губами расширяются от ужаса глаза, какая-то из тёток торопливо достаёт из пакета минералку, мир на секунду становится контрастным и — полностью выключается. Приблизительно так, хотя, возможно, всё происходило в обратной последовательности — сначала минералка, затем паника, а в финале обморок, после которого реальность существует только внутри черепной коробки.

2.

1999 год. Литературный институт имени Горького, зажатый Большой Бронной и Тверским бульваром. Мне двадцать шесть, а впереди долгая счастливая жизнь. Наш ректор Сергей Есин объявляет, что вот-вот подъедет питерский завклубом, поэтому все мы — нынешние бездельники, будущие литераторы, юный планктон и самый цвет нации — должны остаться в актовом зале. Парни с проводами из ушей перекрывают выходы. Это навевает очень мрачные и очень смутные предчувствия. Залипаю у чугунного Герцена: свалить или зависнуть? Свобода или шоу? Поэзия или политика? Лёгкое или крепкое? Мягкое или круглое? Прокрастинация или перфекционизм? В рюкзаке свежий Буковски, а у попутчика с поэзии Алина Витухновская под мышкой. Наверняка и на кармане что-то есть. «Представляешь, — говорит очкарик, — раньше за публикацию в толстом журнале сразу квартиру в Москве давали. А сейчас что? Вообще не печатают». (Бабло рубить надо, бабло. Походу вот тот самый момент смены культурной парадигмы, но тогда — у Герцена — я находился внутри истории и ни о чём таком не думал.) «Ты в актовый зал пойдёшь?», — спрашиваю. Нунах эту политику, пойдём лучше к Есенину, — и по пути продолжает томящую его мысль: — ...авторы после публикации сразу квартиру в центре получали. А сейчас что? Вот тухляк, походу я неправильный выбор сделал. А сейчас что? — переспрашиваю. А сейчас народ в лайфджурнал перебирается. Это где? Ты что, не в курсе, что такое ЖЖ? Нет. Очки как на Берии отражают солнце. Нельзя так. Там вход только по приглашению, но могу тебе инвайт прислать. Чего, куда? Ну, блин. Приглашение! На емэйл! Мне стыдно признаться, что я ни слова не понимаю. У меня ни компьютера, ни сотового телефона. Солнышко пригревает, а витрины ларьков бесстыдно соблазняют буржуйским бухлом. Рулят амаретто, сорокапятиградусный в немецких жестяных банках разбавленный спирт, дынная водка для эстетов, а для девочек с семинара Константина Александровича Кедрова — клубничное или с грейпфрутовой горчинкой (девочки знают, что такое метаметафора и метакод, поэтому и вкусовые ощущения должны быть не просто яркими, но и сложными). Солнышко пригревает. Очкарик сканирует моё убогое нутро и даёт дельный совет: зайти в любой компьютерный клуб и заведи себе электронную почту. Наступает эпоха кибернетизации. Мои социально адаптированные друзья скидывают мне быстро устаревающее железо — 386-й, 486-й, пентиум. Модемное соединение сжирает весь алкоголь. Просиживаю в живом журнале, где большинство извращается в пародиях на литературные журналы, затем приходит русифицированный и демократичный фейсбук. Здесь уже рулят частные сиюминутные эмоции и, главное, можно зачекиниться — я здесь! Если хочешь молча сойти за умного, то указываешь, что с утра в музее. Затем — в клубе. Позже — в приличном ресторане. А теперь — в аэропорту. Такая ненавязчивая кузница понтов и зависти. В профиле у каждого — МГУ. По фоткам сразу видно, что модель твоего телефона не справляется с ожиданиями, но на помощь приходит

твиттер. Лимит одного сообщения — 140 символов (позже он позволит добавлять картинки и видео). Кто чаще онлайн, тот и выше в рейтинге. Я на какой-то момент в топе, но толку-то — монетизация твитов обходит меня стороной. Время ускоряется, и на смену текстовых сообщений приходит инста. Сразу видно, кто интроверт, а кто нарцисс, покоряющий виртуальные вершины. Селфи, селфи, селфи, которыми медленно, но верно заражаются и те, кто с яйцами. Лицо — вот главный месседж, но и то ненадолго — в мир врывается разработанный китайскими братьями тикток. На гребне волны тело и танец. Танец и тело. Ну, если есть амбиции, то танец, тело и гэг, вызывающий позитивные эмоции. У каждого свой вайб. Каждый становится мастером свайпа. Олдскул с тихим скрипом меняет бриар на вайп. Вот-вот настанет день, когда лидирующей сетью станет порнохаб. Почти четверть века коту под хвост, но сейчас осень 1999 года, и в книжных всё реже и реже появляются авторы, которые никогда не попадут в интернет.

25 лет на попытку «жить как все», четвертной на попутку и кредит на иллюзию достатка. Подбиваем бабки. Итог — йобибайты копипасты, переписанной терабайтами копирайтеров. Отныне ты в обойме почти абсолютных троллей, но какой текст предъявишь, когда в твою дверь постучит чёрный коллектор? Чем настырней правишь прошлое, тем выше задолженность. Выдохни, отпусти ситуацию, начни всё сначала. Хакамада уверяет, что в любую секунду можно начать всё с нуля. Жизнь бессмысленна, поэтому виновных нет. Прикол в том, что коллекторы не придут. Сейчас научу, что делать. Сам себе обнуляешь все моральные долги. Забываешь обиды. Меняешь страну. Велик шанс, что техника не сработает. Есть запасной вариант, но он тебя точно раздавит (ехидный смайлик). Прими мысль, что нет ни справедливости, ни воздаяния. Тяжело? Удивительно, что абстракции могут причинять боль. Ты же четверть века, прикрыв глазки (ок: залив zenки), кайфовал, а теперь удивляешься, что тебя окружило стадо.

3.

Словно Рип ван Винкль, очнувшийся от безумного чаепития: где я, кто я, сколько времени прошло с момента, когда какая-то тётка протянула тебе минералку?

Сначала светло-серый потолок, в который всматриваюсь: то ли сер от пыли, то ли так падает тень, то ли от времени выцвел. Если быть точным, то побелка с примесью цемента (возможно известь осыпалась и проступила основа). Затем кремовая стена с таким же эффектом: то ли краска пожелтела, то ли монотонная и долгая работа плесени сделала своё дело. В стыке потолка и двух стен — легчайшая прозрачная, но тёмная паутина, будто реагирующая на расширение моих лёгких. Я так подробно останавливаюсь на этих необязательных деталях по той простой причине, что именно с этой картинке начинается моё возвращение в сознание. Просыпаюсь и не понимаю, кто я и где я. Упал на остановке в обморок, соответственно сейчас должен быть либо в больнице, либо в полиции (что

маловероятно). Перемещаю взгляд к источнику света: ватт на шестьдесят настольная лампа, перед которой сидит няшка в халате медсестры. Типа Оксана Акиншина времён своей угарной юности, только очевидно, что это не она сама, а её аватар, преображённый в анимационного персонажа и с помощью три-дэ-принтера воссозданный в этой стрёмной локации.

Сажусь. Головокружения нет. Подо мной скамейка из хорошо ошкуренного бруса, передо мной простой стол с простой лампой, за которой в оттенках серого скрывается сомнительная медсестра. Походу всё, станция конечная, а назад билета нет. Вглядываюсь в до боли знакомое лицо.

— Очнулись? — спрашивает. До мурашек знакомый голос. Зажмуриваюсь. Ну, точно: если с закрытыми глазами, то будто проваливаешься в мульт, который включили посреди сна. Псевдо-Совунья, вот кто она (в целях государственной безопасности здесь и далее все имена и образы безбожно искажены). Сам себе поднимаю веки. Для сцены в фильме требуется журнал передачи дежурств, в котором она перелистывает страницу и делает пометку, но ничего такого нет — полнейшая статика и анемия. Даже электричество не жужжит. После её вопроса понимаю, что небольшое это пространство скованно полнейшей тишиной. Утвердительно, но неуверенно киваю: вроде очнулся.

— Ну, рассказывайте.

— Чего рассказывать-то? — стены не отражают эха, голос звучит глухо. — Стоял на остановке и по всей видимости упал в обморок. У меня и до этого пару раз кружилась голова, но я как-то предугадывал последствия и успевал либо ворот распахнуть, либо на скамейку сесть, либо найти воды или конфетку. А сейчас как-то без предупреждения — в глазах потемнело и — хлоп, уже у вас.

Она бы хоть записывала что-то, какие-то пометки делала, но стол абсолютно, если не считать лампы, пуст. И с её стороны ноль жестов, ноль мимики, ноль движения. Будто статуя из воска. Молчим.

— А где я?

— В каком-то бункере. — Она оглядывает полумрак за абажуром, но видимого интереса не проявляет. — Это помещение никогда не использовалось. Предполагаю, что объект задумывался как бомбоубежище. Да, скорее всего это карантинная зона какого-то секретного укрытия. А вам не всё ли равно? Камера, карцер, бокс, кабинет, палата... Главное, что мы наконец-то встретились.

— Вы шутите? — изо всех сил торможу фантазию, которая в критических ситуациях начинает использовать самые мрачные тона. — Или издеваетесь?

В ограниченное жестяным абажуром световое кольцо входит некто в штатском — вылитый Карыч, но только копия, поэтому в протоколе будет отмечен как псевдо-Кар-Карыч.

— Чем тупее шутка, тем она универсальнее. А если вам не смешно и не обидно, то в чём шутка или издёвка?

Да, мне не смешно и не обидно. Мне страшно, но какие-то внутренние механизмы блокируют работу страха. Пока блокируют. Надо делать отсюда ноги.

Очевидно, что я не в больничке и что эти двое не враги. Надо делать ноги. Если я не в сновидении, то начинается игра, правил которой мне не объяснят. Ноги в руки — и валить. Псевдо-Кар-Карыча, допустим, успею пнуть в живот, но, судя по его монолитной беспечности, он в полной безопасности. Либо их не двое, либо он готов к удару, либо сбежать отсюда невозможно. Очень плохая игра. Мне этот фильм не нравится, вот бы переключить канал...

— Так и будем молчать? — будто безучастно, равнодушно, буднично и без нажима.

Молчу.

— Мы не спешим.

— Извините, а вода у вас есть? — язык пересыхает так, что вот-вот вновь провалюсь в темноту.

— Воды нет. Еды нет. Связи нет. Часов тоже нет, но времени навалом.

Молчу в попытке весь этот бред осмыслить. Почему-то мне кажется, что ответ надо найти быстро, — из-за этого торможу ещё больше. Давит, вытесняя остатки разума, единственный вопрос: что происходит? И этот тяжёлый вопрос парализует интеллект и волю. И эти твари, как в мрачном спектакле, застыли в своей неподвижности. Типа саспенс, но я даже не знаю, есть ли в этой ситуации угроза. Проходит минута, две. А может так только кажется — в полнейшей тишине секунды становятся вязкими и тягучими, как похмельный сон после сигнала будильника. Так в наполненных углекислым газом пещерах время теряет свою актуальность. Спелеологи меня поймут.

— А я могу уйти?

— Разумеется. Вас никто не держит — (реплика псевдо-Кар-Карыча).

— Тогда я пойду, — встаю в ожидании подвоха, озираюсь в поиске выхода. Там, где пространство скрыто абажуром, мрак.

— Проводи его. А то ещё навернётся — (псевдо-Совунья).

— Осторожно, здесь ступеньки. — псевдо-Кар-Карыч первым шагает в темноту, я, с оглядкой на безучастную псевдо-Совунью, следую за (ну как же мне его назвать?) проводником.

Нога действительно спотыкается о препятствие — ступенька. Прислушиваюсь. Псевдо-Кар-Карыч поднимается вверх. Три, пять, десять ступенек. Между носком и стелькой какой-то колкий предмет — то ли крошка, то ли камешек, назойливо отвлекающий от происходящего. Жирный кусок моих когнитивных способностей (включая кратковременную память) стекает к большому пальцу правой ноги: не думай о сложном, думай о простом. Нажать бы стоп-кадр и на паузе переобуться.

— У меня к вам просьба. — Бросает в спину псевдо-Кар-Карыч. Будто нож прилетел. Ну, думаю, сейчас начнётся. — Подготовьтесь, пожалуйста, к следующему разговору. А то как-то непродуктивно получилось.

Если бы на моем месте оказался сейчас русский писатель и драматург Владимир Георгиевич Сорокин, то он непременно подумал бы: зело жуткий ляг доносится свыше и достигает ушных раковин, а затем — сразу и без пощады — барабанных перепонок. Но на

моём месте, как обычно, я сам, поэтому уровень тревожности фиолетовый (это когда страх отпускает и накатывает безразличие ко всему, что произойдёт дальше). Предполагаю, что это Псевдо-Кар-Карыч возится с дверным засовом. Ага, так и есть, он пару раз бьёт плечом в дверь, которую, похоже, лет сто не открывали. На ступеньки падает лезвие дневного света, обжигающего зрачки. Псевдо-Кар-Карыч пытается распахнуть дверь. Свобода через десяток кирпичных ступеней, но я не спешу, я поднимаюсь медленно, я собран и готов к удару.

— Хорошо? — летит в спину очередной нож.

Не ведись, не ведись, не ведись. Спокойно выходи и делай ноги.

Псевдо-Кар-Карыч, частично перекрывая свет, разворачивается ко мне.

— Мы же вас... — кажется, что он протягивает мне ладонь, — с восемьдесят третьего года наблюдаем.

— В восемьдесят третьем, — держу удар, — я ходил в третий «и» класс. И не представлял никакого интереса. (Половина пути пройдена, говори любую чепуху, обходи псевдо-Кар-Карыча и выскакивай за дверь.)

— Всё так. Помните, когда вы с Барсуковым на Лебяжьих пруды ходили на лыжах кататься. Вы доходили до шоссе Энтузиастов, останавливались перед трассой и обсуждали, что делать в случае если одного из вас собьёт машина. Барсуков всегда предлагал оставшемуся целым возвращаться домой и делать вид, что никакого похода не было. Ему это казалось хорошим планом, но вы вот внутренне напрягались и думали о его врождённой подлости. Он, разумеется, и мысли не допускал, что может погибнуть.

Всё так. От этого монолога не только лоб, но всё тело покрывается испариной. Дыши ровно. Обхожу живот псевдо-Кар-Карыча и делаю шаг в снег. Вдыхаю холодный воздух и слышу, как за спиной закрывается дверь. Глухо скрипят засовы. Тишина. Полная тишина. Что это было? Про Барсукова, который в сорок под душем откинул копыта, зафиксировано лишь в моей памяти и больше нигде (в том смысле, что нам запрещалось без сопровождения взрослых ходить на Лебяжий пруд, а только что озвученный псевдо-Кар-Карычем диалог знали только двое). Лес, небо, тишина. Ни старой тропинки, ни свежих следов. Зернистый, острый и с серым налётом снег сопротивляется подошве, но форму ботинка запоминает. Если меня несли на носилках, то как минимум двое шагали по сугробам. И меня пронзает откровение: вот она — моя персональная вечность. Если я мёртв, то там — за спиной — остались вопросы, с которыми эту вечность можно было бы скоротать. И псевдо-Совунья ничего такая. Догадываюсь, почему она под халатом голая. И псевдо-Кар-Карыч, хоть внешне грозен, но наверняка безобиден. Воля оставляет меня — тело само разворачивается, дёргает дверную ручку и принимается стучать. Глухо. Жду, повторно разбиваю кулаки, успокаиваюсь. Ну и хрен бы с вами. По крайней мере понятно, почему упомянули именно Барсукова. Знак, что и меня через пару поминок забудут. Что ж, спасибо и на этом. Мне искренне пофиг, даже если я думаю об этом. Здесь и сейчас важнее моё настоящее, обещающее

стать однообразным и бесконечным. Так, стоп. Это похоже на самосбывающийся прогноз, которому подвержены люди, загнавшие себя в мёртвую петлю одиночества. На костяшках содрана кожа, пальцы начинают мёрзнуть, язык сух от жажды. И в этой иллюзии, в этой новой парадигме надо бы установить свои границы. Либо до упора ломиться назад, либо притулиться у маскировочного холма и уснуть, либо идти. Идти до тех пор, пока можно идти. Проще, разумеется, экономить силы, ждать, надеяться и всё такое. Ну, иду. Со спортивным ориентированием у меня всегда были проблемы. Каждый, кто застревал в лесу, знает, что мох, расположение солнца и далёкий лай не помогут. Эхо и лес умеют наводить морок. Вспоминаю, что даже ноги разной длины, поэтому заблудившийся путник слегка забирает влево и начинает кружить на одном пятачке. Но я иду! И то ли слух возвращается, то ли кто-то включил бикапонию небесного леса — тишина сменяется гулом трассы, а затем в этот гул врзается детский крик. Бегу. Бег рождает паническую атаку: мне уже кажется, что слышу не визг человеческих детёнышей, а радостное тьяканье своры борзых, что взяли мой след. Сквозь деревья проступают дома, похожие на правду. Нащупываю плотную тропу и прямоком выскакиваю на детскую площадку. До боли знакомый пейзаж. Мамы с ребятами, тренажёры, игрушечный городок, за которым мелькает автомобилями трасса и растут сталинки. Перевожу дыхание и подсаживаюсь на скамейку. Вид у меня, подозреваю, на грани безумия. Признаюсь, что малость заплутал. Мамаша отвечает, что вот Измайловский лесопарк, а вот шоссе Энтузиастов. А вам куда надо? Да, интересно, куда же мне надо? Вроде бы я ехал в библиотеку, но сбился с пути.

4.

1982 год. Умирает Брежнев, школьные занятия отменяют, а редкие московские автомобили замирают для траурного гудка. По телеку показывают медленные похороны, страна в рапиде, зато активируются чикатилы всех мастей — похоть, будто нарыв, прорывается наружу. Начинается война между ню и тяжёлыми патологическими перверсиями. Мне, второкласснику, парень из соседнего подъезда показывает любительскую чёрно-белую фотку, на которой перед лицом пьяной женщины висит член. Сорок копеек, и фотка твоя. Мне непонятна и неприятна эта картинка, она меня даже пугает. Хорошо, двадцать копеек. Училка физры жалуется моему папе (а он учитель физики в этой же школе), что я какой-то застенчивый. И папа передаёт мне её замечание. И вот стою в строю вторым, вот пыжусь изо всех сил и выполняю упражнения так, чтобы сразу было видно, что стараюсь, что могу, что за спинами не прячусь и не сачкую. Папа интересуется моими успехами и выясняет, что я прогуливаю занятия. Это бред или ложь, но папа на стороне училки — физкультура тебе в жизни ещё понадобится. А я и отжимаюсь, и подтягиваюсь, и подпрыгиваю. И с Мишей дерусь из-за того, что я, а не он, лучший. У меня пять в четверти!!! Странно, а физкультурница говорит, что ты вообще на занятиях не появля-

ешься. Нехорошо прогуливать, а врать — тем более. Ты кому больше веришь, ей или мне??? Пойдём. Папа берёт меня за руку и спешит в актовЫй зал, где каждый год малышей принимают в октябрюта. Этот? Этот хороший мальчик. А вы говорили... Не-не, я его с другим перепутала. Кто бы мог знать, что обычная безымянная советская учительница физкультуры окажет такое влияние на мировую литературу??? У меня на подкорке записалось, что можно не отсвечивать, прогуливать и быть перепутанным, но дело не в этом. Дело в том, что у папы на долгие годы отложилось, что я весь из себя застенчивый и нерешительный. И он решил исправить ситуацию — каждый год меня переводили в параллельный класс. А когда буквы кончились, меня отдали в соседнюю школу. То есть каждый год я становился новеньким, и современные психологи, читая эти строки, сразу догадались, что воспитание стрёмное и с далеко идущими последствиями. Понятия «буллинг» тогда не существовало, поэтому не будем предвосхищать события и запечатывать проблему ярлыками. К шестому классу я умел неделями неприметно прогуливать школу, скрываться в кинотеатре (мало кто знает, что на утренних сеансах проводились рейды, выявляющие тунейдцев), и хорошо изучил подлые приёмы стаи. На короткой дистанции я мог ударить локтем в челюсть или звездануть коленом в промежность. Хороший (и вместе с тем опасный) приём — подпрыгнуть и треснуть лбом в переносицу. В восьмом классе я, зачуханный интроверт, упробил родителей записать меня в секцию бокса. Теперь могу инструктировать юных спортсменов. Главное — вычислить в толпе жоака и самого здорового. Жоака лучше не трогать, ибо чревато. А вот здоровяку надо нанести внезапный — непредсказуемый и неожиданный — удар по шам. Лучше сразу в глаз. Далее либо делаешь ноги ты, либо стая (такое дважды случалось, поэтому я верю, что и в третий раз они сделают ноги). На словах легко, на деле же ближайший сценарий неведом даже для боксёра с тайным преимуществом. С толпой справиться проще, чем принято думать; проще, чем мне каждый раз кажется. Если бы я рисовал про себя мультик, то изобразил бы за своей спиной чудовище. Вот меня обступает толпа, вперёд выпускают задиру (какого-нибудь сопляка с амбициями и комплексом Наполеона), но ты через его голову считаешь главаря и телохранителя, прозрачное чудовище за спиной подхватывает твою руку, сжимает ладонь в кулак и наносит стремительный удар по амбалу. Вот так. Теперь ноги. Не имеет значения, кто бежит, важно, что адреналин, а вместе с ним страх, приходят позже, когда ты учишься прямо на улице раскуривать первые сигареты. Надо ли напоминать, что меня знали две школы и ещё те, у кого преподавал мой папа. Я до сих пор в любую переговорную вхожу чуть боком, за спиной нависает тучей невидимое чудовище, а партнёры пятой точкой понимают, что я играю на опережение. Так и вижу, как по рукам идёт служебная записка: это сын физика, левша. Весь скукоживаюсь и принимаю стойку. А секретарша такая, будто живёт в бесконечном эротическом сериале: кофе, пожалуйста. Увы, гештальт ни разу не закрыт. Спасибо училке, ко-

торая перепутала меня с Барсуковым. Очкарик пуляет окурки в урну, но промазывает. Подбиваем бабки, поглядываем на ларёк. Как думаешь, у этого шанс есть? У гэбника? — презрительно ухмыляется, — что за вопрос? Ну, вообще-то КГБ — реальная сила. КГБ — наследники НКВД, а это сейчас, сам понимаешь, совсем плохая история.

5.

Ну какая к чёрту библиотека? Что я там забыл? Мне срочно нужны самавритти (дыхательная практика, снижающая стресс), нейробика (пальчиковая гимнастика, синхронизирующая работу правого и левого полушарий мозга), бутылка вина (дабы скоординировать работу тела и ума, то есть привести в норму общую моторику) и блокнот (ну, это понятно). Заруливаю в кафе. Спрашиваю у официанта листок и ручку. Есть цветные карандаши и раскраски для деток. Ок, подойдёт. Заказываю кофе и воду (знаю-знаю, что на эти деньги можно купить банку красной икры, или две пачки хорошего риса, или, например, упаковку того же кофе, что можно растянуть на месяц — но сейчас мне требуется публичная медитация, поэтому я заказываю то, что заказываю, — как сказал Джон Дэвисон Рокфеллер, — не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов). Соседний столик занимают две пигалицы и начинают трещать. Одна отсосала у друга своего парня, и теперь ей стыдно. Обе делают круглые глаза, шепчут («Да ты что???» — «Да! я сама не понимаю, как такое могло случиться»), но шёпот почему-то перекрывает коллективное гур-гур, сливающееся в монотонный гул. Официант приносит обещанные листочки с банкой карандашей, кофе, воду и пятьдесят водки. Либо он что-то перепутал, либо мы в параллельной реальности, где моментально исполняются самые мимолётные помыслы. Прикидываю, что в сравнении с кредитными штрафами цена рюмки уже ничто, и попутно смотрю в глаза официанта. Типа просительно смотрю: это что?

— Комплимент всем мужчинам. С 23 февраля. Хорошего вечера.

В ответ на признание вторая пигалица по секрету сообщает, что ждёт на 8 марта вибратор, который управляется с айфона. Она своему парню подарила дорогой многоцветный вейп, а в ответ заказала полезную для здоровья игрушку («***** мой ***, ты ушла!» — «Нет, я просто прагматичная»). Переворачиваю лист формата А4 и вижу контур Копатыча. На другом листе Крош. На третьем — Кар-Карыч. Всё ясно. Реальность на месте, но она надо мной насмехается: из последних сил мечтаю о сотрудничестве с командой «Смешариков», а по факту который год сижу без работы и подбираю цвета к чужим раскраскам. Хоть бы карандаши поточили. Ага, к Карычу прилип ещё листочек. Интересно, кто там будет? Депрессивный Бараш? Или Совунья-Пердунья? Очень, очень, очень интересно, кто следующий. Страх и трепет, а за ними облом: буржуйская свинка Пеппа, жирно замазанная розовой губной помадой. Фу. Вот жеж невезуха. Вместо нормальных смешаров какая-то юзаная липкая свинья с британским флагом и под шестцвет-

ной — отпечатанной на принтере — радугой. Куда — спрашиваю я себя, — катится мир? И сам себе отвечаю: дыши диафрагмой, сосредоточься на главном, закажи пятьдесят, повтори. В идеале всякому здоровому мужчине в моей ситуации нужны грязевые ванны, огненный массаж, свастикасана и тишина. Проще говоря, полный релакс. Ладно, есть беленькая.

За соседним столиком назревает драма: первая получает месседж от друга парня, а вторая советует игнорить обоих и найти третьего. Всё это пц как интересно, но мне бы с самим собой разобраться. Фиксируюсь на Копатыче. И прямо сейчас я каждому читателю восемьдесят восьмого уровня телеграфным стилем поведаю то, что необходимо выучить к завтрашнему дню. Утром вышел из дома. В уверенности, что через полчаса окажусь в библиотеке. В надежде, что напишу синопсис, который окажется востребован платформой, чьи продюсеры попросили прислать «что-нибудь». Что-нибудь — это значит, что надо угадать их смутные представления о зрительских предпочтениях. Горько, опасно и бесперспективно быть сценаристом, который согласен абсолютно на всё, но оставим. Минут через десять после выхода из квартиры я отключился, а включился в каком-то техническом помещении Измайловского лесопарка. Сколько времени я туда добирался, что делал (предположим, что в бреду или под гипнозом вспоминал детские обиды) и как долго проторчал в бункере, можно прикинуть очень приблизительно. Пока не суть. Сколько-то боролся с сугробами, пересёк под землёй шоссе и сколько-то шёл до кафе. Вот я здесь — с контурами мультяшных героев, комплиментом и пигалицами, перетягивающими на себя всё внимание. Попробуем разложить по жанрам (каждый жанр имеет свои особенные правила, зная которые можно предположить, к какой развязке движется сюжет). Итак, понеслась. Округляю по основному признаку:

Триллер. Не было ни обморока, ни псевдо-Кар-Карыча с псевдо-Совуньей. Помутилось сознание, я совершил нечто ужасное, что боюсь вспомнить. Худший вариант, так как я в этой истории являюсь героем, совершившим преступление. Возможно меня разыскивают. И если я один раз вошёл в сумеречную зону, то велик шанс, что повторю подобное. Я ведь читал кое-что по криминалистике и знаю, что безнаказанность ведёт новым экспериментам. Надо бы аккуратно повторить путь от остановки до бункера (при условии, что этот вариант окажется самым убедительным).

Хоррор. Я — жертва каких-то маньяков. Ну, не знаю, пока всё начинается как малобюджетный слубёрнер. Если так, то впредь надо быть осторожней. Слишком просто для кино, но сложно для воплощения в жизни. Подобрали, увезли, напугали и — отпустили? Либо эту версию оставим, либо будем шараться от всех прохожих.

Мистика. Провалился в какой-то чёрный вигвам. Если я эту версию принимаю, то дорога одна — в церковь. Сойти с ума и делать вид что всё нормально.

Фантастика. Ну, если фантастикой считать какое-то художественное или философское допущение, позволяющее взглянуть на привычную проблему под дру-

гим углом, то... Что «то»? Как только станет понятным моё перемещение, то и всё остальное вернётся на свои привычные места. И что фантастического, в пределах разумного, я могу допустить? Что у меня с детства были какие-то суперспособности и по этой причине за мной наблюдали какие-то суперагенты? С таким же успехом можно предположить, что я избранный, но суперсилой меня наделили только сегодня. Могу мыслью водку вызывать. Вот после водки к фантастике и вернусь. А пока надо добить варианты.

Арт-хаус. Вообще ничего не было, вся история разыгралась в моей голове. Хорошо, если так, но с тёмными пятнами, как ни крути, надо разобраться.

Комедия. Типа дружеский розыгрыш или проект типа реалити-шоу. Похитили и привезли в павильон, нашпигованный камерами. В таком случае мне пришлют ссылку на видео, где исследуют реакции на непонятное. Либо что-то пошло не так и меня отпустили, либо в контексте эпизод окажется смешным. Костюм бэтмена сейчас вообще не проблема. Допустим. Принять эту версию и расслабиться? Ну, в таком случае неплохо бы получить хоть какую моральную компенсацию.

Драма. Ясное дело, что драма. У меня к этим типам из подземелья куча вопросов. И пока я не получу внятных ответов, внутренний конфликт приведёт к какому-нибудь срыву. Ещё не хватало чтобы проблема обернулась трагедией.

Мелодрама. Если сообщить жене, что я стал другим или типа меня подменили, перепрошили и всё такое, то возможно начнётся мелодрама. При условии, что подобный эпизод с помутнением никогда не повторится. Тогда ей придётся принять меня таким, каким я теперь стал, либо она озадачится откатом к предыдущей версии. Слишком сложно. Да и думать об этом рано, имхо.

Коротко фиксирую пути выхода из непонятного: обратиться к психологу и попросить направление на МРТ, поговорить с мамой (почему с мамой? почему не с женой?), забить. Да, пустить всё на самотёк — лучшее решение.

Выдыхаю. Накатываю пятьдесят. Прошу повторить. Смотрю на уткнувшихся в свои айфоны пигалиц — мир вроде бы на месте. Выхожу на улицу, вдыхаю остаток февраля, и встречаю Андрюшу. Сколько мы не виделись — три, пять, десять лет? Мы знакомы с детского садика, поэтому понимаем друг друга без слов. Даже его бейсболка с надписью «228» не раздражает. И косуха с двумя восьмёрками на спине. И латунная печатка с красным стеклом. Он хорошо накидался и теперь прикидывается, где бы догнаться.

— Всё жируешь? — спрашивает он вместо приветствия. — Пойдём отметим.

Мы оба в своё время удачно избежали армейской службы, но праздник есть праздник. Хороший повод, чтобы вернуться в детсадовское состояние и снова взглянуть на мир полными тоски и непонимания глазами. Берём пузырь и не сговариваясь спешим к лесопарковой зоне, из которой я сегодня вышел. Мамаши напрягают, первые глотки делаем на тропе. Хорошо бы найти бревно.

— Чего ты несёшься как лось?

— Хочу тебе одну штуку показать. Где-то здесь должен быть вход в бомбоубежище.

— Это не бомбоубежище. Это секретный выход из бункера Сталина, только там туннель завален. Ничего интересного, тормози.

А я и забыл, что Андрюша — жертва Рен-ТВ, паранормальными явлениями его удивить сложно.

— Ничего интересного? Мне сегодня там разные вопросы задавали...

— Не говори никому об этом.

— Это почему?

— Говорю, не говори никому, — говорит, — и всё. Пойдём обратно.

— А ты Барсукова помнишь?

— Не начинай, и без того тошно. Он же перед смертью совсем с катушек слетел. Типа заложил кого-то каким-то людям и не мог себе простить этого. Идиот.

— А ты думаешь, не заложил?

— Не заложил бы — не бухал.

Молча спускаемся в подземный переход и без слов понимаем, что винный отдел вот-вот закроют — надо ускориться. Молния на ширинке предательски заедает. Далее в программе: улыбающиеся за витриной гейши, манэки-нэко, удар в гонг, накрахмаленный тунгус и друг степей калмык, убирающий со стола лишние тэйблматы. Две бурятки приносят хашиоки, соусники и чаши Сеюзара. Виртуозно орудуя хаши, поглощаем роллы, сашими и суши (хрен знает, кто спонсирует ваби-саби, но мир вокруг становится добрым и уютным, точно в том ролике, где Саша Грей даёт Урганту интервью; в ушах ненавязчивый гипнотический эмбиент, а в графине трёхлетний «Арагат», — проще говоря, — дофамин, финансовое безумие и хаос), я увлечённо показываю и объясняю, что пальчиковая гимнастика замедляет старение мозга, что это как танцы Гурджиева, синхронизирующие правое и левое полушария планеты Земля, но Андрюша не слушает, не слушает, не слушает и, отложив палочки, сообщает:

— А у меня мамы не стало.

Некоторые рестораторы утверждают, что посетитель платит за шоу, другие — за атмосферу, третьи — за кухню, которую в домашних условиях не повторить. Мы же сюда заскочили, чтобы не стыть в подворотне. И вот нам на первое кухня, на второе атмосфера, а на третье шоу, в котором каждая стопка по цене бутылки. В тепле размазывает, на секунду забываешь о проблемах, зато вспоминаешь что «живём в последний раз».

— Вчера её серьги в ломбард отнёс.

Падает на пол катана. Бывшие союзные республики, бесшумно шурша кимоно, отходят в тень. Морской гребешок замирает между языком и гортанью — выдавливает соболезнование: как, когда, почему не позвонил-то?

— А чего звонить? Мотор отказал — записали на ковид. Вот только в себя прихожу. Помянем.

Долг на карте каждый день растёт, но сейчас такое дело. Очередной чёрный провал, и вот в данный момент стою у своего подъезда, докуриваю добивающую меня сигарету. На чей-то брелок послушно отзывается

сигнализация. Привычно скрипят качели. Над детской площадкой пролетает, мигая, одинокий патрульный (даже не думай в эту сторону) дрон. В небе звёзды, вечно усиливающие степень твоего и моего опьянения. Хороший, в общем-то, вечер. Свет у меня не горит, но из окна другой квартиры машет рукой соседка. Мне? Тебе, тебе. Зайти? Зайди, зайди. Походу у меня всё-таки открылись суперспособности — исполняются самые тайные фантазии. Эту соседку, с которой из года в год здороваюсь небрежным и едва заметным кивком, я знаю с детства — с её детства, в котором она из беспечной няшки превращалась в суровую тятю и — бац, четверть века коту под хвост — неожиданно созрела (с этого момента время остановилось и наступило бесконечное сейчас). Затем родители её съехали, она принялась раз в три года менять мужчин. И я всегда понимал, что этот очередной — не её, ну не её! Воображаемого секса у меня с ней никогда не было, зато часто возникали такие короткие прелюдии — то лампочка перегорела, то зарядка от телефона сломалась, то штопор затерялся. Моя минутная зона комфорта, в которой я восстанавливал баланс. И вот сейчас стою перед её дверью (её дверь напротив моей) и думаю, что если ошибки не было, что если мне не примерещилось, то она сейчас впустит без звонка. Вот-вот, ещё секунду, понятно что ей неловко, что она ждёт звонка, но вместо неё из другой квартиры выходит сосед, с которым мы перетираем новости. Возвращается привычный хаос. Отказываюсь от перекура и тихо-тихо вставляю ключ в родной замок. В ступню вливается инородное тело. Понимаю, что целый день в мыске правого ботинка ношу что-то, что мешает адекватно воспринимать происходящее. До кучи отрывается от манжета декоративная пуговица. Так неожиданно, что роняю ключи. Вот-вот начнётся. А где-то в другой вселенной в это же самое время совсем обратная ситуация: в мою спину нацелен глазок, за которым ждёт женщина, помимо коварных феромонов источающая непредсказуемый по воздействию, но экологически чистый каннабинол. И наш ребёнок, интуитивно применяющий невербальные техники (гипноз, телепатию), НЛП и без труда вскрывший шкатулку Лемаршана, в которой лежала записка с предсказанием. Выучим греческий (в той, другой вселенной) и вместе переведём. Какой я пьяный. Где ключи? Налево пойдёшь — направо пошлют, направо пойдёшь — праздник закончишь со слезами на глазах, прямо пойдёшь — упрёшься в распределительный щит. Когда все решения ведут к заведомо негативному результату, наступает ступор. В стране праздник, а у тебя тишина. Сажусь (ага, присаживаюсь) на лестницу, ведущую вниз. Через пару ступенек вижу пакетик насвая. А вот и ключи. Чё я прогнозирую? В любой непонятной ситуации возвращайся домой! Снимаю ботинок, вытряхиваю крохотный осколок Лего. Это многое объясняет. Фа-фа, фа-фа, как же сделать так, чтоб всем было хорошо? Пора воображаемым тротилом вынести дверь и красиво войти: не ссы, крошка, косяк поправлю, петли врежу, а сейчас давай кутить, куролесить и кувыркатся. Люби меня беспечно («В смысле?»), долго («До какой поры?»), преданно и покорно («С чего

бы?»). Мы же соседи, значит, должны взаимодействовать. Next level? Game over! Вроде на бровях, чуток притопленный, а тревога нарастает. Кабаре. Крашиха. Булава-голова. Крош. 88. Срач в комментариях. Випассана. Крах. Запомни, завтра запишешь: на искусственно созданную проблему... космос отвечает... ассиметрично. Мир прекрасен и на удивление хрупок — ещё пятьдесят и рухнет всё. Спать, срочно спать.

б.

Всем нам, летально зависшим в России, много лет не даёт покоя высказывание основоположника психоанализа: «Мы не случайно выбираем друг друга; мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании». На семинаре по эмоциональному интеллекту нужно привести пример отвращения. Я наспех вспоминаю и рассказываю аудитории какой-то, как мне кажется, незначительный эпизод из прошлого, а после разбора моих эмоций спикер впроброс замечает: либо персонаж, либо сама ситуация возникли в какой-то предыдущей жизни. Нет, это не семинар по эзотерике, поэтому сентенцию воспринимаю как метафору, но где-то на периферии сознания уже мелькает высказывание Фрейда. Про «всё не случайно» снято миллион фильмов, написана сотня стихотворений и даже есть десяток неплохих песен. Всё так, но для расшифровки сценария хотелось бы увидеть весь текст целиком. А для этого либо умереть, либо вспомнить одну из предыдущих жизней, что совсем не смешно. Смею предположить, что в нашем подсознании уже есть всё. Или — как минимум — все. Все эти пассажиры, что с покорным ожиданием наполнили вагон. Надо только вспомнить, их, но надо ли??? Вот на эскалаторе встречаю легендарного музыканта Петра Акимова, который скрывается за кофром своей виолончели. Мы почти незнакомы, или знакомы шапочно, или мне только кажется, что мы уже пересекались и общались, но я говорю:

— Как удивительно: в городе почти двадцать миллионов...

— Ничего удивительного, — философски мрачно отрезает Пётр, — одними тропами ходим.

Ну да, пример неудачный. Я как раз на концерт Петра и еду. Он в моём подсознании возник в тот момент, когда на моей стене возник анонс мероприятия. И вроде бы в этом потоке всё прозрачно: маэстро у меня в друзьях, и так совпало, что он повесил объявление, я заглянул в новости, вышел чуть раньше, он вышел с запасом на саунд-чек, и вот мы очутились на одной тропе (можно развить мысль о том, что даже в такой внешне простой ситуации мы идём совсем разными тропами, но речь сейчас о пересечениях в условно понятном физическом пространстве).

Абстрактный пример (каждый, думаю, на основе собственного опыта в состоянии подставить конкретные значения): ты движешься из точки А в точку Б к намеченной цели. Светит ли летнее солнце, капливает ли мелкий осенний дождь, покрывает ли почти горизонтальный снегопад, но ты решаешь пройти пешком. Для этого шага у тебя даже есть вполне убедительный довод. А затем ты резко меняешь маршрут.

И этому есть логичное объяснение, ибо так короче. В итоге ты забиваешь на рациональные обоснования своих поступков и будто одурманенный заруливаешь в незнакомое кафе. Тотально так заруливаешь: план сегодняшнего дня и цель прогулки летят в топку, но без сожаления — ты уверен, что поступаешь правильно. Даже не так. Уверенность, сожаление и прочие рефлексии — это всё из какой-то другой оперы. Ты просто типа захотел кофе. Почему бы и нет? И ты просто stalkиваешься у кассы с тем, кого ты тысячу лет не видел, но приколом в том, что:

— Вот это совпадение! Представляешь, перечитываю сейчас «Электрическую Лизу», и почему-то вспомнилось, как мы штурмом брали вильнюсский вокзал.

Совпадение, оказывается, вот где прячется. В чьей-то голове (или на страницах чужого рассказа?) пересекаются Эргали Гер и кем-то воображаемый Илья Замешаев (пустячок, а приятно, — но это первая мимо-лётная эмоция; если копнуть глубже, то сначала станет стрёмно, а позже наступит душевный паралич, граничащий с просветлением). Далее — лишь бы не потрошить бесцельно прожитые годы — сумбурное блабла обо всём на свете. Забавно думать, что все посетители этого кафе были в твоём подсознании задолго до этой приятной встречи.

Вильнюс. Весна 199_ не помню какого года. Хипня препирается с кондукторами, что резко забыли русский. Казюкас. Над площадью Дзержинского висит мартовское солнце. Можно бы сказать, что аромат кофе с нотками рижского бальзама задаёт ярмарочной кутерьме эротический дискурс, но кто-то пускает слух, что в город вот-вот войдут танки. Мелкие местные националисты слипаются в кучки, бьют очки беспечным бродягам и лениво сливаются в подворотни, где ещё не успела растаять привычная советская слякоть. Билетов на Москву нет. То ли их из-за праздника нет, то ли власть решила оставить гостей в заложниках. В воздухе сгущается запах агрессии. Серыми улочками бредём к православному монастырю, где в прошлом году я провёл ночь. Через узор чугунных ворот служка в сотый раз объясняет, что настоятель не даёт благословения, что пока не стемнело надо бы поискать приют в другом месте, что на предыдущем казюкасе панки устроили оргию. Злые панки испортили нам будущее, которого нет, но за спиной появляется группировка, ещё злее и страшнее панков — по жестикологии парней и девушек понятно, что сейчас нас будут бить. Я внутренне готов к побоищу, я даже готов пожертвовать бутылкой недопитого коньяка, но с моим телом, чьи мышцы секунду назад пришли в боевой тонус, происходит нечто странное — дети цветов умоляют служку открыть ворота, размазывают по ограде слёзы и сопли, и вот я уже обмякаю, я готов вместе со всеми обоссаться. Банда на наших глазах превращается в беззаботную компанию глухонемых, что жестами прокладывают путь своему мычанию. Страх вместе с его причиной удаляется, но урок я усваиваю чётко: если толпа готова к поражению, то и ты помимо воли моментально станешь размазнёй (с тех пор я искренне верю, что пять специально обученных монахов и один

козёл-provokator умеют рулить многотысячной толпой). Двигайся один, так спокойнее (и ночь на вокзале докажет, что одиночка для гопоты прозрачен).

Так вот. Через сколько-то лет я приезжаю в Кимры, в деревню Поповка, где мы вот-вот продадим догнивающий домик (причин для продажи много: и ездить далеко и неудобно, и каждую зиму из дома выносят абсолютно всё, что можно нести, и разваливается, и деньги нужны). И вот встречаю соседа — паренька с нелепым именем Альберт (папа чахоточный уголовник, мама безработная доярка, но сын — Альберт, ага). Так вот. Альберт уже несколько лет как дембель, понятное дело, что москвичей надо мочить, ясный перец, что тех, кто откосил, надо приземлять на месте, но есть сдерживающий фактор — соседство. Может ведь и обратка прилететь (мы ещё не знаем, что через пару недель по участку проедет трактор, и новый хозяин выстроит здесь замок с видом на Волгу и деревеньку). Так вот. Альберт, тонкой нитью сплёвывая долгую эластичную слюну, рассказывает, как гонял на бэтээре по Вильнюсу, как литовские комерсы блоками отдавали курево, как... Так вот. Лет двадцать я пытался интегрировать этот эпизод в сценарий. Альберт занозой сидел в голове и грозил перерасти в опухоль. И дело не в том, что возможно он служил в кровавом январе, а Казюкас — весной. И не в том, что он куролесил там в 91-м, а я — в каком-то другом. И даже не в том, что в итоге пазлы сложились в кошмарную, но правдоподобную картинку. Сюжет избит и банален. Двадцать лет в этой драматургии жизни меня интриговали мистика, совпадения, мораль и собственная невнятная роль наблюдателя. Меня волновало всё что угодно, но не характер самого Альберта. Извини, батя кровью харкает, гребаный Экибастуз, тёлка сдохла, а дома жрать нечего. После дембеля он начнёт «ставить на место хачей», взламывать их ларьки, но голову пробьют свои же менты, ибо мир стремится к гармонии. А пока мы сидим на крыльце образца 1911 года, жадно курим гуманитарную помощь, Альберт неспешно рассказывает о корешах, которые две угнанные тачки меняют на одну «чистую». Беспроигрышный бизнес, уже автосервис открыли, но блин для этого мало номера перебить и в иномарках шарить. Надо психологию клиента понимать, а этому в армии не учат. Альберт, подражая отцу, выдерживает долгие паузы — типа думает. Медленная беседа — залог успеха. За базар надо отвечать. Батя с малолетства на нарах, плохого не посоветует, но я по его стопам не хочу. Сейчас время быстрых. Достал ствол — стреляй. За спиной бесшумно и тяжело течёт Волга, в которую впадает местная Кимрка. Ну какая к чёрту психология? Знаю, кто спёр пододеяльники и столовые ножи, но симметричного ответа не будет — проще свалить. И — да — деньги нужны. Ветер с рек приносит простую и красивую, как литовский казюк, мысль: Альберт только со мной такой, а с другими людьми он и сам другой. Всему виной то ли мои прошлые жизни, то ли шахты, ведущие в подсознание. Проще говоря, досадная ошибка восприятия.

7.

— Так наотмечался, что на лестнице уснул? Или к этой (кивок в её сторону) зашёл?

— Да не. Андрюшу встретил.

— Скользкого как уж?

— Колючего как ёж. Я же с ним тыщу лет не общался. Сама понимаешь.

— Столько всего накопилось, да? Целая жизнь пролетела, а кроме пьянок и вспомнить нечего. Верно?

— Прошу, не начинай.

Некоторых вещей лучше не знать. Ещё до прихода головной боли накрывает стыд, будто совершил вчера какую-то мерзость. Ну, сейчас мне ответочка прилетит.

— Всё, с меня хватит. Я рисовать еду, Алёшу в сад не поведу, остаёшься с ним. Сольфеджио в его рюкзаке, задание в вацап скину. Обнимаю, побежала. И новости посмотри. Только сам, без ребёнка.

Вот это да! Мир стал волшебным, но боль такая, что возможно и бункер мне только снился. Бросаюсь к полузабытому стационарному городскому телефону, по памяти набираю Андрюшу.

— И не спрашивай, — убитым голосом вещает Андрюша, — встретили Лисичку, Лисичка позвонила Цыпе, поехали ко мне, по дороге обе отвалилась, зато Саня с Соней подтянулись. Сам знаешь, в этой мультивселенной подобные еноты начинают с гламурных татушек, а заканчивают жёстким ПТСР.

— Послушай, — перебиваю, — мультивселенная не может быть во множественном числе.

— Уверен?

— Вселенных возможно много, но нет той или этой мультивселенных. Она точно одна.

— Забавно... Ну, раз ты такой умный, сходи в КВД первым. Проверься, а то меня жаба душит за анализы башлять.

Так, стоп, не хочу никаких подробностей. Некоторые явления лучше не анализировать, особенно свое прошлое в чужом пересказе. Мы с ним десять лет в одном подъезде отсидели (после уроков типа гулять, а сами нырк на чёрную лестницу; сначала спички жгли, затем чужие окурки, а дальше лучше не уточнять), поэтому я его паранойю по каждому пустяку наизусть знаю. И, скорее всего, его похмельные домыслы много богаче вчерашней реальности. Включаю позитивное мышление: вчерашний день может стать интересным материалом для. Если я чего-то не помню, то будем считать, что этого не было. Вспоминать нечего. Идти некуда. Страна в минусе. Где брать ресурс?

— Пап, смотри, что у меня есть!

— ???

— Зубная фея ночью принесла. Поиграем?

— Так. Учебник по сольфеджио в твоём портфеле.

— Не. Давай будто мы рыцари и полетим в космос.

— Рыцари в космос не летают.

— Это ещё почему???

— Когда жили рыцари, космических кораблей не существовало. А когда изобрели корабли, то рыцари исчезли.

— Не говори ерунды!!! Космические пираты существуют??? Вот и всё! Космонавты переоделись в рыцарей и полетят сейчас в другое время, когда рыцари жили. Так нормально?

— На космическом корабле полетят в другое время?

— Ты же знаешь, что в корабле топливо кончилось. А значит это уже не корабль. Теперь это машина времени!

Всё правильно. Когда-то этот корабль мигал, шумел, изображал взлёт и посадку, а теперь даже батареек нет.

— Слушай, а поехали к бабушке?

— А что, идея! Поехали к бабуле — она мне кисель сварит!

Кисель — это очень кстати, кисель — это очень позитивно. С трудом одеваемся, выходим на лестничную площадку и пересекаемся с соседкой, которой я никогда не смотрю в глаза. Нам вниз, она поднимается вверх и останавливается на ступени вровень с Алёшей. Протягивает ему что-то и, глядя на перила, объясняет:

— Купила батарейки и поняла, что вместо пальчиковых мне мизинчиковые нужны. А вскрытую упаковку отказались менять. Может вам пригодятся?

— Батарейки? Да! Нужны! (Мне:) а ещё ты новый Лего обещал!

— Скажи тёте спасибо.

— Спасибо!

И боком, боком в разные стороны. Что-то всё-таки в моей вселенной произошло. Какой-то неприметный, едва ощутимый положительный сдвиг. Комплимент, утренний поцелуй, батарейки, приглашение на пельмени. Бывают такие хитрые режиссёры, что весь фильм интригуют зрителя кошмаром, а в финале высказывают и заявляют: а теперь флешбэк! И выясняется, что за пять секунд до начала истории произошла авария, все персонажи давно мертвы, а мы полтора часа наблюдали внутреннюю борьбу героя, за жизнь которого, лежащего под капельницей, ведёт борьбу безликая бригада Скорой помощи. Исследование работы подсознания превращено автором в аттракцион. Вот так и я схитрил, начав с обморока. Вернёмся и вспомним, что ему предшествовало. Так вот. Я стоял на остановке и думал, что мне полтинник. Что раз я до сих пор живой, то значит нахожусь в потоке, который даёт энергию барахтаться, который поддерживает меня в тонусе, который... Далее я подумал, что либо смириться и принять поток таким, каким он всегда был и будет, либо выйти из него. Не в смысле взять и самовыпилиться, а тормознуть и совершить что-то непривычное, что-то мне несвойственное. Типа как «пока вы слышите, что в крышку вашего гроба заколачивают гвозди, вы в состоянии свою судьбу изменить». Но как? Обычно в такой ситуации доставляют подобранные блогерами цитаты великих людей, или ролик с известным коучем, или неистовое желание исповеди (хорошо работает, когда на одной волне с собутыльником: «Объявление видел про паломническую поездку в Оптину пустынь», — «Да-да, давай прямо утром поедем», — «Нет, так резко нельзя, надо подготовиться, посмотри на сайте пустыни расписание автобу-

сов»). И вот это противоречие (принять поток или выпрыгнуть на берег) оказывается таким непосильным, что происходит со мной то, что происходит. Такое обычно случается с придурками, которые вбегают в тренажёрный зал и сразу ложатся вон под ту штангу. Или с торчками, которые уверены, что именно сегодня дозу надо увеличить вдвое. Если тренер говорит про обморок, то радуйтесь — вы нашли своего тренера. А пока вашим персональным гуру являюсь я (можете найти мой персональный блог и подкинуть мне мощный донат, который как раз и создаёт засор в ваших денежных потоках, ага). Едем из Перова в Новогиреево, где меня каждая собака знает. Рядом стоят две женщины (они в полной уверенности, что являются девочками, а выглядят как девочки, — я это знаю по той причине, что мы почти одногодки). Одна увлечённо рассказывает, что является продавцом в крупном парфюмерном магазине (называет бренд, который на днях с российского рынка уйдёт). У каждого консультанта есть карта, позволяющая сделать клиенту двадцатипроцентную скидку. И она делает эти скидки всем подряд. И у неё толпа лояльных покупателей. И в итоге её даже без знания языка отправляют на престижный международный форум. По продажам. И продавщицы с двадцатилетним стажем возмущаются: какого хрена во Францию едет эта выскочка? Так этим продавщицам насрать и на клиента, и на компанию. Эта скидка не из их кармана, но всё равно жаба душит. Или лень. Или ещё что. Ты меня вообще слушаешь? Вторая прикрывает ладонью лицо — так делают, когда увидели что-то неприличное или неприятное. И поясняет: я в этом районе всё детство провела, даже вспоминать не хочу...

— Ну что так долго???

— Пока собрались, пока автобуса дождались, пока доехали, пока на площадке залипли.

— Это час.

— Так мы час назад и договаривались.

— У вас своё представление о времени. Алёш, пельмени лепить будешь?

— Да!

— Mam, а ты в курсе, что в Измайлове под стадионом есть бункер Сталина?

— Слушай, не грузи. Я такую вырезку купила — закачаешься. Хотела пожарить, но раз вы настаиваете на пельменях, будем крутить пельмени. Соберёшь мясорубку?

И вот мама уже увлечённо объясняет, как лепка влияет на моторику и как ребёнок через подушечки пальцев получает новую информацию. Мы же сплошь состоим из рецептов. Или ты со мной не согласен?

— Согласен, но представь, что ты оказалась в бункере, где какие-то люди просят тебя рассказать о себе. Что ты им расскажешь?

— Что за люди?

— Пока не знаю. Просто какие-то люди.

— А из бункера уйти можно?

— Да.

— Ну и профессию ты себе выбрал. Какие-то люди, какой-то бункер, какие-то вопросы. Какой сериал ни включи — вот такая вот, прости Господи, мудянка.

— Mam, я вопрос задал!!!

— Какой? Давай отвечу.

— Что ты будешь делать, если какие-то люди начнут задавать какие-то вопросы?

— А из бункера уйти можно?

— Можно!!!

— А чего ты злишься? Я ничего такого ещё не сказала. Пойду в полицию и напишу заявление. Новости видели?

— Я не смотрю телевизор.

— Как вы живёте, не понимаю.

— Пап, а что такое мудянка?

— Пойди телек включи.

— А мультики можно???

— Нет.

— Пусть лучше мультики смотрит.

Приближается эпоха диалогов, поэтому для будущего сценария закрою реплику ремаркой: в большой французской кастрюле из китайской нержавеющей стали закипает вода (э, дружнице, Францию и Китай вычёркивай). В кастрюле закипает вода, мама из морозилки вынимает пельмешки, за стеной Маша дрессирует Медведя, а мне некому (как показать то, чего нет?) рассказать о том, что произошло вчера.

— Ба, задачку хочешь? На другой берег надо перевести волка, козу и капусту. Как это сделать?

— И кто из нас волк, а кто коза и капуста?

— Это абстрактная задачка!

— А смысл?

Да, мам, абстрактные задачи потеряли всякий смысл. Давай из чеснока и кефира приготовим соус.

8.

Все любили Наташу, а Наташа любила винт. В искусстве, как все мы хорошо знаем, есть два пути развития: от простого к сложному и от сложного к простому. Всё зависит от того, с чего начинаешь. Вот так и торчки в окружении Наташи либо двигались к творческому разнообразию, либо наоборот — сужали свои запросы до однокомпонентной, скажем так, бедности. Наташа, в отличие от большинства, с самого первого эксперимента полностью доверилась винту. Редко-редко она целиком окуналась в водку, которая и довела её до цирроза, гепатита и хламидиоза. Ломая интригу, скажу, что убила её не собственная распущенность, а банальная золотая доза. У неё, кстати, всегда под рукой лежала книга Александра Грина «Алые паруса».

И вот мы с одной на двоих Наташей сидим на чёрной лестнице и привычно занимаемся альтернативной историей — анализируем, прогнозируем, предполагаем. Проще говоря, ведём философские дискуссии, приходим к согласию и прикидываем, где бы что бы замутить. Андрюша выдувает из папиросы табак, делает на гильзе пятку и всасывает в пустую рубашку остатки шалы. Лучше бы с табаком смешал, но Наташа признаёт только чистоган. Планируем. За спиной на стене сигаретным угольком нарисована жирная мохнатка, из которой раскоряченной буквой «М» растут женские ноги. Рядом процарапан дымящийся паровозик: «Кто хочет трахаться — рисуй вагончик» (там

другие слова, но уже не суть). И вагончики тянутся до этажа Наташи. Я всех в подъезде знаю, поэтому мне интересно, кто автор этого, говоря современным языком, челленджа. Наташа улавливает мой молчаливый и ленивый вопрос и резюмирует: «Если в костёр любви не подкидывать палок, то он потухнет». Вглядывается в наши серьёзные и полные отчаяния лица и ржёт. Десять лет в подъезде. Есть в Индии какой-то малопопулярный религиозный культ, суть которого сводится к тому, что после смерти мы не получаем ни воздаяния, ни награды, а встречаем своё привычное окружение. Грубо говоря, куда важнее наработать социальные связи, нежели духовный опыт или хорошую карму. Десять лет в подъезде с одной на двоих Наташей. Где простому советскому школьнику — до первой встречи со своим дилером — достать чистый кайф? Правильный ответ: учить химию, фармакологию и латынь. Дружить с теми, у кого дома есть марганцовка. Это лучшее, что можно предпринять, когда ты влюблён в Наташу. Поясню. На днях повинтили Юрика, который расфасовал пищевую соду (ту самую — из Стерлитамака) и отправился с ней к Первой аптеке. И Юрик уссывался: а предъявить-то мне нечего! Обычная пищевая сода. Смее утверждать, что менты, сами того не ведая, спасли кому-то жизнь. А я понял, что у барыг, которые сами торчат, никогда и ничего брать нельзя. А вот Наташа этого не поняла. Она ушла, но связь осталась. И меня до сих пор парит вопрос, что такое любовь. Ребёнок задолго до созревания искренне и сильно влюбляется (сомневаюсь, что это механическое подражание взрослым; это действительно похоже на любовь, которая даруется небесами). Затем включаются хотелки, которые удобно прикрывать возвышенными чувствами. Каждый жаждет всех, но при этом не прощает измены. В одну сторону работают гормоны, но в ответку должна течь настоящая любовь — безотказная и до гроба тебе преданная. Почему-то все сразу всех любить не могут. Или могут, но как-то не так. Церковь с этим макгаффином собаку съела, а искусство успешно перешло на коммерческие рельсы. Взрослый человек то ли каким-то образом достигает баланса, то ли каналы между писькой и сердцем забиваются шлаком. С каждым днём очевидней, что у взрослых проблем по самые не балуй, но эти же взрослые, скрывая от самих себя разрыв всех связей, жить не могут без романтических комедий. Под винишко с луховицкими огурчиками и телек через не-хочу рождаются детки, и — умри всё живое — включается переоценка ценностей. Отец с матерью, расчищая путь своей капельке, крушат всё, что маячит на горизонте. Мамка с папкой жаждут навязать свою картину мира, а для этого надо расчистить поле. Умри всё живое, но я только начинаю понимать, что такое настоящая любовь. Вот кое-кто из первой десятки Форбс делится секретом воспитания: «Когда он перешёл в старшие классы и стал просить кэш, я вспомнил, что в моей юности вообще денег не было — от слова совсем». А в параллельном подкасте сынок вспоминает, как доставлял в свою школу дорогое бухло. При содействии, разумеется, отцовского водителя. Гопники рожают гопников. Навыки и хватка прокачи-

ваются мимо родительского блабла, но это родительские навыки и хватка. Вот она — волшебная сила любви. Так, стоп. О чём я? Ах да, вспомнил: умри всё живое. Пока взрослые смотрят «Свадьбу в Малиновке», у нас на лестнице шестнадцатизэтажного блочного дома серии II-68-01 своё кино, свой розовый балет. БГ, встретив нас, сказал: вечной бывает только любовь, прерванная смертью. Да, это так. Всем нравится, когда Наташа умирает. Немножко грустно, но гора с плеч — марганцовка и ложки будут в сохранности. Немножко грустно, но так приятно, утерев слезу, вздохнуть: а я ведь её знал, да; однажды она у моей бабушки зачем-то спёрла экстракт красавки. Всё это немножко грустно, но к счастью у нас никогда не было секса. Были правильные девушки, что давали осознанно и с дальним прицелом, были предательства, ревность, драки, первая кровь и эта чистая, чистая, чистая любовь.

9.

Автобусная остановка. Впервые замечаю, что навесу прикреплена камера наблюдения, так называемый рыбий глаз — с круговым обзором. В прошлый раз я стоял там, чисто теоретически должен был попасть в зрачок камеры. Чисто теоретически, где-то есть запись. И, возможно, её можно поднять. Как сказал Щедрин (не Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, а современный, который продюсер), в цифровом мире аналоговые преступления невозможны. Доберусь до читального зала и напишу заявление. Пусть копают. Или пусть доказывают, что я сумасшедший. Задача, разумеется, не из лёгких (я про то, что не так просто грамотно написать заявление, которое рассмотрят), но от этой мысли меня накрывает эйфория: хотел изменить жизнь? Начни с малого! И в этот момент возникает какая-то муха — ну, вылитая Бьорк. Приглядываюсь и понимаю, что передо мной не Бьорк, а замаскированная под тьян псевдо-Нюша. Вся, разумеется, в мейкапе и с цветной чёлкой. От неё на 360 градусов веет открытостью, искренностью и добром. Если она сейчас скажет пойдём со мной, я без раздумий последую за ней. Так, наверно, могут выглядеть идеальный аферист, бродяга, вернувшийся с Гоа, ну или подросток, случайно сорвавший джемпот (ни одно сравнение не содержит электрической наэлектризованности, поэтому важно уточнить, что она смотрит на меня влюблёнными глазами, будто я нечаянно упавшая перед ней бесхозная закладка). Трудно поверить, что она улыбается мне, но она улыбается именно мне:

— Илья?

Слов нет, киваю.

— Подготовились к разговору?

Слов нет.

— Пойдёмте.

И она разворачивается и уходит. Уходит в полной уверенности, что я последую за ней. Коучи учат, что каждую секунду мы совершаем лучший из известных нам на данный момент выборов. И, зная это, можно смело утверждать, что выбора у нас нет (так как лучшее решение не оставляет нам вариантов). И вот сейчас я прекрасно осознаю, что меня ждёт библиотека,

где я в тишине напишу заявление, но заявление подождёт. Ведь подождёт, да? Любопытство перевешивает разумные доводы. Нет, это даже не любопытство, это что-то другое. Можно бы соврать и списать моё решение на какой-то адский гипноз, но псевдо-Нюша даже не оглядывается. Она не пританцовывает, не опутывает меня дурманом своего дынно-грейпфрутового аромата, она просто идёт вдоль трассы, по которой приближается мой автобус. И я бросаю всё на свете, и догоняю её, и пытаюсь поймать её лучезарный взгляд. А она продолжает движение с такой уверенной наглостью, с такой наглой уверенностью, будто это единственный из возможных вариантов. Меня будто нет. Ну не говно ли? Точно так же себя ведут банковские консультанты, когда впарили дополнительную услугу. Меня будто нет. И автобус с усмешкой пролетает мимо.

— В бункер?

— Бункер далеко. Здесь есть кафе поблизости. Ну, вы знаете.

— Можно на «ты».

— Ок, спасибо. Ты наверняка в детстве смотрел фильм про Алису.

— Вчера смотрели «Тайну третьей планеты». Мульт.

— Не, не то. Там девочка прилетела из будущего.

— «Гостя из будущего»?

— Да, он. Там были космические пираты...

— Ты из будущего?

— Нет, я скорее из прошлого, — бегло улыбается; так улыбаются когда разыгрывают, не поймёшь, прикалываются или всерьёз, — но речь не об этом. — Там, в этом вашем фильме, пираты могут принимать любой облик. Это я говорю к тому, чтобы ты не удивлялся. Нам проще имитировать медийные лица, нежели случайных прохожих. Поэтому мы выглядим так, как выглядим. Хорошо?

— Что — хорошо?

— Всё хорошо. Хорошо, что ты меня понял. Хорошо, что мы выглядим именно так. Хорошо, что ты согласился на диалог. Вообще всё, всё очень хорошо. Люди подвержены веерной панике, но ты не такой. Это вселяет оптимизм. Согласен?

Бездумно киваю. Хочется спросить какой я, хочется услышать, что я не просто банально какой-то особенный, но обладаю уникальными и конкретными навыками, которые без оговорок можно назвать суперсилой. Хочется, но не спрашиваю. Очевидно, что сейчас она станет дуть в уши про то, что я охренеть какой не такой, как все. Её цель привести меня в кафе, а поэтому доверять ей бессмысленно. Ну, входим в кафе. Ну, попутно замечаю маленькие камеры под потолком. Ну, масочный режим отменён. Сразу узнаю псевдо-Кроша, которого здесь не может быть, и псевдо-Бараша. Третий какой-то невнятный. Предполагаю, что он из совсем далёкого советского кино. Из туалета выходит псевдо-Ксюша, то есть натуральная псевдо-Нюша. Как сказал бы Андрюша, вот это попал. Псевдо-Нюша заботливо выдвигает для меня стул, садится рядом. псевдо-Нюша делает официанту знак, и мне приносят кофе (стол, кстати сказать, абсолютно пуст). Псевдо-Крош сразу приступает к делу (будто мы не первый

раз и не первый час заседаем и всё уже давно решили):

— План такой. Сначала мы перебросим тебя в Христианию, там ты какое-то время отсидишься. Тебе же непринципиально, где ждать?

Псевдо-Бараш вместо меня кивает: пофиг. Псевдо-Крош продолжает:

— Выправим документы и затем через Кабо-Верде рванём в ЮАР — в провинцию Мпумаланга. А там уже наши друзья заберут нас в Асгардию.

— Как они нас туда заберут? Это ж в космосе, — гуглил, знаю.

— Как из Дании до самого края Африки допилить тебе типа понятно, а дальше возникают вопросы? — псевдо-Нюша озадаченно поправляет розовые очки. — Линейное время кончилось. Можешь двигаться в любом направлении, но всё равно окажешься в подвале, где вообще никакого времени нет. Следовательно, залипнешь там навсегда. Оно тебе надо?

Псевдо-Крош берёт псевдо-Нюшу за руку: не переигрывай, не надо, дыши ровно. И эта кавальная и достигшая просветления невменяшка смотрит на меня своими блестяшками с хитрецой и поволокой и шепчет:

— Да не ссы, мы вообще перемещаемся по другому принципу. Документы, ракеты и прочая мишура — это только для создания антуража. Как говорят ваши духовные учителя — иллюзия.

Турбулентность усиливается. Ощущение глобального розыгрыша, в котором любое моё слово сыграет функцию точки невозврата. Надо бежать, но коллективное безумие заразно. Уже спрашиваю:

— И что меня там ждёт?

— Всё что пожелаешь. Мы умеем управлять идеодинамикой и принимаем любые формы, востребованные твоим сознанием. Так что тебя ждёт вполне комфортное существование, если ты спрашиваешь об этом. Твоя жизнь и смерть не будут отличаться от текущей версии жизни и смерти.

— И в чём подвох?

— Подвоха нет, как нет гарантий что подвоха нет.

— Слишком сложно для него, — псевдо-Крош.

— Гарантий нет, потому что и подвоха нет, — с улыбкой.

— То есть жена и ребёнок останутся со мной?

— Если у тебя действительно есть в них потребность, то рядом с тобой будут подобия жены и ребёнка. Если захочешь, то будут улучшенные версии жены и ребёнка.

— Ааа, понял: рядом будут копии, которые я буду воспринимать как жену и ребёнка.

— Точно. А они будут тебя воспринимать как мужа и отца. Так что всё равно.

— Короче, дорогой. Мы здесь не для выяснения особенностей твоего восприятия, мы сейчас про дату нашего, так сказать, вылета.

— Я должен сказать, когда выдвигаемся?

— Ну, если настаиваешь, то скажем мы. Кому из нас назначить день?

— Погодите-погодите. А с чего вы взяли, что я собираюсь принимать в этом участие???

— Если хочешь, можешь вместо себя кого-то другого выбрать. По большому счёту нам без разницы. Просто дай знать, кто это будет.

Официант меняет остывший кофе на горячий. Замечаю, что моя ладонь давно (как давно?) в руке псевдо-Нюши. Оглядываюсь. Посетители как посетители, плазма как плазма, треки как треки. Обычное будничное кафе, как две капли воды похожее на кафе. Перово во всём своём безразличии к происходящему. За одним столиком вместе со мной псевдо-Крош, псевдо-Бараш, няшная псевдо-Нюша и невнятный, но никому до нас дела нет.

— Хорошо. Всё в порядке. Я могу вместе с собой ещё кого-то взять?

Эти твари переглядываются. Похоже, подобного вопроса они не ожидали (если они вообще чего-то ожидали).

— Bolivar can't carry double, — псевдо-Крош.

— Не-не, одного можно, — псевдо-Бараш.

— Да, ещё на одного место найдётся, — псевдо-Нюша.

— Но только одно, — псевдо-Крош.

— Да, пожалуй, потянем, — псевдо-Нюша.

Невнятный, подводя итог, кивает: можно.

— А можно мне просто уйти?

— А кто тебя держит? — псевдо-Крош. — Иди, если в этом есть необходимость.

Медленно отодвигаю чашку и неуверенно встаю. Смотрю на одну из камер и машу ей ладонью. Интересно, пишут они или только для декора? Едва заметно и небрежно киваю всем и ухожу. И выхожу. И вот я уже на улице. Что происходит? Мне хочется кричать на всю улицу: что происходит??? Смотрю сквозь витрину: банда за столиком. Псевдо-Нюша встаёт из-за столика, оборачивается ко мне, делает приветственный — будто увидела старого приятеля — жест и выходит ко мне.

— Давайте шестого марта, ближе к вечеру, в Братеево. Далековато? Тогда восемнадцатого, в полдень, в бункере. К обеду и тронемся под шумок. Устраивает?

Главное — не давать согласия. Главное — вообще ни в какой контакт не вступать. Понимаю, что ещё секунда, и она опутает меня своими симпатическими щупальцами, присосётся к моим ментальным эротическим зонам, наведёт морок, а я перенесу дату на сегодня. В топку приключения. Разворачиваюсь и несусь на улицу Алексея Дикого, где расположено районное отделение полиции. Понятно, что заявление можно и на email отправить, но велика вероятность (сейчас достаточно и бездоказательного предположения), что электронные коммуникации под контролем сами знаете кого. Напишу одно, адресат получит совсем другое. Лучше лично, хоть и малоприятно.

10.

История катится к своей развязке — самое время вспомнить династию Мясниковых. И чтобы окончательно не запутаться, пробежимся пунктирно и в хронологическом порядке. Первого Мясникова, Мясникова-старшего, я встретил в начале девяностых, когда

Терлецкий парк стал штаб-квартирой баркашовцев. Мясников позвонил в дверь, представился и сказал, что в связи с тяжёлой криминальной обстановкой он знакомится со всеми жителями своего участка. Я любезно предложил чаю, он не отказался. Прошёл на кухню, и началось столоверчение: «Почему посуда не мытая? Я дико извиняюсь, но на зоне быстро учат парашу мыть. А в подъезде чья чайная ложка валяется? А вот Гаечка из квартиры напротив утверждает, что ложка твоя». В то время со всех прилавков исчез чёрный индийский чай, в который грузины, если верить слухам, подмешивали настоящий Дарджилинг. Оставались зелёный Китай и турецкий в красивых жестяных банках. Мясников утолил жажду (возможно и голод), вторяк слил в раковину, нифиля вытряхнул в ведро, повертел клювом и на прощание подарил мне напечатанную на пишущей машинке визитку: участковый Фёдоров, адрес, рабочий телефон и время приёма. «Вопросы?» — «Фёдоров — это ваша настоящая фамилия?» Мясников посмотрел на меня так, будто из моего кармана вывалился заряженный баян. Не, не так. Будто бы из его кармана вывалился баян, а я успел подхватить его и вонзить в свою ляжку: никакого хранения, господин начальник, одно сплошное употребление. Ага, как-то так. «Фёдоров — это настоящая фамилия», — жёстко ответил Мясников, дождался момента, когда дверь за ним захлопнется, и позвонил в следующую квартиру. В то время в восточном округе столицы большинство ментов носило фамилию Фёдоров, но с тех пор и до настоящего почти времени я ни с кем из династии Мясниковых не пересекался. С тех самых пор, когда почтовый ящик забивали листовками типа «За Топоры Святая Русь», а молодые мамы благодарили Баркашова за то, что тёмные аллеи Терлецкой дубравы стали наконец безопасными. Ещё бы! Бесхозную гопоту переодели в чистую униформу, выдали понятную идею и сомнительные полномочия. Обласкали и показали цель. Пацаны даже не поняли, что охраняли Ивановское от самих себя. Формирование, вместе с армиями Березовского и Гусинского, кануло в лету, остался лишь Мясников, который напомнил о себе в конце июня двадцать первого года, но давайте всё-таки отмотаем назад и пойдём по порядку — линейно. Второе февраля двадцатого года, семь вечера (запомнить легко, так как я прусь через весь город на премьеру клипа, в создании которого принимал участие). Выход со станции метро Каширская (Варшавская закрыта, поэтому с Каширки надо пересесть на автобус). За сколько-то метров до законного наземного пешеходного перехода (ну, блин, перед зеброй, да) срезаю путь и ломлюсь по проезжей части (на которой такие же, как я, пешеходы). Да, это скучно, но мне надо выговориться, иначе с психикой начнутся траблы. Так вот. На другой стороне под тенью магазинчика стоят патрульные и нарушителей правил дорожного движения заворачивают в свои мобильные офисы (то есть в обычные гаишные тачки, но оснащённые планшетом и штуковиной, которая распечатывает штрафы). Оформляют и отпускают. Ничего особенного, только на каждого задержанного уходит энное количество времени — стой, мёрзни, жди очере-

ди. А в тачке, будто распиленный на двух гибэбэдэшников эрзац Мясникова, несут службу брата Богдановы. Первый забивает в поиск твои паспортные данные, второй цитирует методичку ПДД. Большинство нарушителей уверены, что этот садизм с человеческим лицом традиционно проявился перед грядущим корпоративом, но у меня есть своя мистико-конспирологическая версия. Я попал на генеральную репетицию перед (уханьская летучая мышь ещё не вырвалась на волю) грядущей пандемией. Тридцать лет не пересекались, но вот вновь смена Мясниковых. Понимаю, что текст становится душным, но скоро весь наш мир превратится в долгий кошмарный приговор. Так вот. Карантин, третий час ночи. Стук в дверь. Сильный стук в дверь, но в глазке чернота, что лишь усиливает панику. И вот наступает момент, когда лучшее решение — звонок в полицию. И вот полиция едет. В дверь стучат. Полиция едет. В дверь стучат. Через полчаса наступает привычная ночная тишина, а ещё через полчаса в подъезд входят оба Мясникова. Оба только что с успешно выполненного задания, поэтому слегка ироничны. Угроза жизни была? Нет? Может, вы кому-то задолжали? Нет? Может у вас есть враги, о которых вы забыли? Ну, а в чём тогда проблема? На эти вопросы выползают осмелевшие соседи: а может у парней, что жуют насвай, случился приступ клаустрофобии? У Мясниковых под фуражками один на двоих высокоточный флюгер, поэтому они рекомендуют написать заявление в прокуратуру. И через пару месяцев в почтовый ящик (тот, что в офлайне) падает конверт с двуглавым орлом и ответом: виновные не найдены. Вот так. Парни из съёмной квартиры не найдены. Парни, что заплевали лестницу насваем, не найдены. Парни, что на кортах сидят под окнами, не найдены. Их найти так же просто, как на десять метров передвинуть пешеходную зебру, но при таком раскладе кто оплатит корпоратив? Чего меня так триггерит? Ну, во-первых, всё кажется, что есть надежда вернуться в точку невозврата и сменить вектор, переиграть сценарий, соскочить в другой жанр. А во-вторых, мой психолог, работающий с отрицательными эмоциями, советует вести журнал и фиксировать любые не дающие покоя мелочи. Заведи, говорит, дневник обид, а через год обсудим.

Честно пишу: во всём виноваты гэбэшники и менты (власть тайная и власть проявленная). А ещё Андрюша, который устроился охранником, и умерший под душем Барсуков. Мы ведь с детсада дружили, по утрам встречались у подъезда и вместе шли в школу. Такой-то год и вечер такого-то сентября. Завтра в восемь снова здесь! Нет, Илюша, завтра ты один пойдёшь в школу, а мы поедem в Исторический музей. Этого не может быть, ведь завтра обычный будничньй день, а прогуливать нельзя. Нам можно! Спорим, что в школу не пойдём? А спорим. На что? Не знаю (я правда не знаю, так как спорю впервые в жизни). На сто щелбанов? На сто щелбанов! И вот Андрюша с Барсуковым завтра уезжают на экскурсию. А послезавтра сами заходят за мной — подставляй лоб! С каждого по сто. Почему это с каждого? С каждого по псыат. Ты с нами обоими спорил! Ладно, вот лоб. Андрюша тороп-

ливо фигачит, но оказывается, что пальцу больно — уступает очередь Барсукову. И терпеливый Барсуков, перевалив за полсотни, сдаётся, но спор есть спор, надо терпеть. Теперь они меняются чаще, уже опаздываем к третьему звонку, но дело доводим до конца. У Андрюши с Барсуковым распухают пальцы, на моём лбу растёт шишка, родители устраивают первый допрос, а у меня появляется свой первый личный секрет. Дружба есть дружба. На этом сеанс самоанализа окончен. В топку детские травмы, вернёмся скорее к ментам (мы жеж без них жить не можем).

28 июня, 2021 года (эту дату легко проверить, так как в этот день закрыли всё вот это вот, где можно культурно посидеть, подумать о главном, закусить и поставить ноут на зарядку). Разумеется, я знаю, что проезжую часть надо переходить в отведённом для этого месте. Знаю, что в общественных местах запрещено распитие спиртных напитков. Я много чего знаю, но ко мне приезжает Плотников (который актёр, но не тот, а другой), и мы отправляемся в Перовский парк, обходим пруд, обозначенный в картах как Советский, и садимся на скамейку, которая не простреливается камерами видеонаблюдения. Хороший день и хороший вечер, составленный из чисто дружеской беседы, бутылочки бархатного и почти японского пейзажа. Сидим культурно, обсуждаем спектакль «Апология абсурда», в котором Плотников играет главную и единственную роль. Перед глазами плакучие ивы, за спиной густой кустарник, скрывающий: 0) трансформаторную будку или, проще говоря, перераспределитель электрической энергии; 1) беседку и стенд с буккроссингом, где встречаются произведения, напоминающие тепловую смерть Вселенной; 2) бывший кинотеатр «Владивосток», реконструированный и переименованный в Московский театр иллюзии; 3) церковную лавку с душевспасительной литературой и краснодарским кагором; 4) Луна-парк «Лалай-Балалай», где визг и родители, обучающие детей бережливости (не путать с жадностью); 5) лужайку для выгула наших четвероногих друзей (речь про домашних питомцев типа собак). Даже в штатном режиме трудно сделать нон-фикшн художественным, но когда в нём появляются менты, то задача сразу становится нерешаемой («Человек из Подольска» исключение, подтверждающее правило). Так вот. Неспешно обсуждаем влияние гормонов на эффективность, а в это самое время по собачьей тропе, что за спиной, ползут Чип, замаскированный под мечехвоста, и Дейл, прикинувшаяся плащеносным броненосцем (да, Господь создал много удивительных тварей, о которых молчат в новостях). Как уверял старина Фрейд, мы встречаем только тех, кто уже есть в нашем подсознании (и так как в мою подкорку вшит целый мир, то на/у каждой скамейки меня ждёт маленький концептуальный розыгрыш, драматургию которого хорошо разбирать с сертифицированным аналитиком). И вот в момент, когда я подношу горлышко к губам, из кустов выскакивают Чип-Мясников в фуражке и Дейл-Мясникова в юбке (если закрыть глаза на гендерные различия, то оба как две половинки одного участкового Федорова). Нацелива-

ют на нас свои смартфоны: добро пожаловать в кортизоловую долину смерти!

Как художник понимаю, что с эстетической точки зрения сцена выглядит беспомощной, но как гражданин я в полном цугцванге: эта парочка в ожидании своего триумфального выхода реально сидела в засаде (как ловко получилось у мэра: и винный вынудил посетить, и штраф за распитие выписал). Чета Мясниковых сначала включает садизм с человеческим лицом, затем любезно разрешает запротоколированную бутылочку допить. Мне бы им поведать, что в своё время Мясников-старший чифирил у меня дома, забыл инсулинку в ванной, зато среди фамильных реликвий Мясниковых появилась мельхиоровая ложка моей бабушки. Оформляем штраф — за минуту светлое и дешёвое закарпатское пиво вырастает в цене ровно в десять раз. Звоню своему психологу, который мастер по распаковке травматических ситуаций. Жалуюсь на ненависть, причин которой не понимаю (ну, я вполне вменяем и отдаю отчёт в том, что совершил правонарушение). Мне надо срочно понять, почему из моей подкорки вырвались скрытые масками броненосцы. Ненависть? Нет, дорогой друг, это не ненависть, это отвращение к подлости. Если ты обратишься к своей теневой стороне, то в предательстве и подлости обнаружишь скрытый ресурс. Сейчас моему сыну почти шесть, и я ничем не хочу рисковать. Сорок первый день спецоперации в/на Украине, но всё, что я могу, это рефлексировать по поводу личных обид. Там стирают города, а я здесь боюсь баланды за государственный счёт. Забив на приличия, повторно звоню психологу: можем ли поработать с трусостью? Увы, нет. Трусость — это не эмоция, а хроническая болезнь, которая в крайней своей стадии чревата если не суицидом, то бессмысленным подвигом. Сам знаешь: крыса, загнанная в угол, начинает атаковать. Так и запиши в свой дневник. Так и запишу. Там бомбят, а я здесь ссу. У меня почти шестилетний сын. Нам надо учить сольфеджио.

11.

Мой народ свято верит, что насупит час, когда из всех кранов госучреждений хлынет халявная нефть (такое случится, когда весь мир переключит внимание на биотопливо, но сейчас даже вода здесь заряжена агрессией, и агрессия эта проливается на пол и клейкой одурью прилипает к подошвам каждого посетителя). Робко открываю дверь, и на меня смотрит кто-то до боли знакомый или похожий на знакомого. Такое бывает, когда в общественном месте сталкиваешься со звездой, но не можешь вдуплить, где ты с этой личностью пересекался. Не хватало ещё, чтобы и мент оказался моим персональным мороком. Вот те на, это ж потомственный участковый Мясников-младший. Тот ещё рептилоид. Ставит порнуху на паузу, предлагает разболтанное офисное кресло и внимательно сморит на меня. Наводящими вопросами не перебивает, не ёрничает, не торопит. Лишь взгляд иногда возвращается к потухшему монитору. Замолкаю. Молчит и он, будто ждёт продолжения шоу, но в его телефон прилетает увлекательное, и он моментально

забывает о моём существовании. Ловлю паузу и осторожно отвлекаю:

— У меня всё.

— Понял, что всё. От меня-то ты чего хочешь?

— Посмотреть записи с камер наблюдения.

— А если твоих друзей цифра не берёт? Приколно, конечно, но что в протокол заносить? За такое меня по головке не погладят. Ну, ты понимаешь. Начальство раком поставит и тринадцатой лишит. Времена сам знаешь какие. Фиктивные расследования не канают. Нам надо маленькое, но реальное дело. Закладки, извращенцы, иноагенты. Алкоголь у нас на районе после одиннадцати покупал?

— Нет.

— Жаль.

— Послушайте. Они мне назначили ещё одну встречу. И я считаю, что это может плохо кончиться. Мне страшно.

— Угроза жизни? Пиши заявление. Если минута будет, посмотрю, что там за шалман открыли. Наверняка их кто-то уже крышует, но и на старуху бывает проруха...

Привычные мне ручка и бумага, но если в полицейском участке я выгляжу относительно нормальным, то какие тайники психики вскроет письменный пересказ, боюсь предположить. По совету психологов буду двигаться в сторону страха. Герой должен действовать. И вот мой первый серьёзный поступок выглядит уныло: сижу в кабинете участкового и пытаюсь описать то, что меня сильно тревожит (эмодзи: рыдающий в два ручья смайлик). Хорошо, что даты и время мне известны — записи с камер, если они вообще существуют, можно найти.

Я это сделал!!! Я только что был в отделении и написал то, что написал!!! С этого момента моя жизнь точно не будет прежней! По инерции несусь в Новогиреево — к Андрюше. Он такие истории ценит, бережно собирает и хранит годами.

— Илюх, ну сколько тебе лет? Полтинник стукнул? Очнись.

— Я рассказ пишу. Фантастический. Мне нужна правдоподобная реакция, а обсудить не с кем.

Недоверчиво смотрит (типа если эпизод с участковым придуман, то это серьёзный облом и пустая трата времени), на секунду задумывается и мечтательно выдает:

— Билет в одну сторону? Типа как умереть? Ну, если с умом подойти, то можно кредитов набрать. Семью на пять жизней обеспечу. Хоть добрым словом помянут.

— Принято, тема. А если старт прямо сейчас?

— Нунах, проблем и без того хватает. У тебя-то у самого есть чего?

— Вчера кредитку жене вернул.

— Хрен с тобой, в холодильнике стынет. Хотел до вечера дотянуть, но раз такое дело...

— Слушай, Андрюш, я теперь другой — мне нельзя.

— Завязал?

— Не завязывал. Просто не моя теперь тема.

— Зашился?

— Нет. Просто я это не совсем я. Я, разумеется — но будто обновлённый.

— Силой закодировали?

— Типа того. Перепрошили. Помнишь в Измайловском лесу землянку?

— Понял, не продолжай.

Сам встаёт, сам тащится к холодильнику, сам ополаскивает вчерашние стаканы, сам разливает. Делает всё, чего не любит, когда водка собственная. Так норм? Добавляет ещё децл. Вот так норм. Протягивает стакан и, глядя в сторону, спрашивает:

— Что же там с тобой в парке произошло? Может, мочканул кого?

— Ощущение, знаешь, будто меня самого... наклонили.

— Это ещё хуже... Не чокаясь.

Здравствуйте, я Дэвид Блейн, у меня есть уличная магия. Оскорбительно ровно ставлю полный стакан на стол. Вот и конец многолетней дружбе, конец ненавязчивой телепатии и взаимопониманию. Меня ж в Новогирееве каждая собака знает. Теперь поползёт слух, что я совсем с катушек слетел. А мне ещё Алёшу из садика забирать и готовиться к межгалактическому перелёту.

— Слушай сюда. — Андрюша, занюхав рукавом, понижает голос, будто нас могут подслушать. — У вас в Перово часть бомбоубежищ только на бумаге существует. Кореш на одном из таких объектов охранником числится. Можно набрать и выяснить, чьи клоуны тебя пидорасили. Конфиденциально, разумеется, и не бесплатно.

— Спасибо, но бабок нет.

— А чего ломаешься как маленькая центровая девочка? Пей. Посидим культурно, расслабимся, может чего вспомнишь.

Любого коренного перовчанина бесит новогиреевское «культурно посидеть», но моя личная драма в том, что я не абориген, а хорошо ассимилировавшийся экспат. В новогиреевском варианте игры «культурно посидеть» градус бреда повышается до полного проигрыша всех участников, а самым крайним проигравшим считается тот, кто первым потерял человеческий облик. Новогиреево учит держать не только удар, но и марку. В Перове же можно потерять лицо, и тебе за это ничего не будет. Да, в перовском варианте позволительно всё. Наливай, Андрюх, может чё и вспомню.

12.

1979 год. Мне почти семь, и через год я пойду в первый класс. Через год начнётся новая интересная школьная жизнь, а сейчас я прихожу в гости к Барсукову — сначала мы для вида поиграем в солдатики, а позже, если повезёт, достанем из письменного стола альбом с голыми женщинами. В стаканы из Гусь-Хрустального папа Барсукова наливает нам по десять капель французского коньяка. Нет, это не шутка, не вымысел, не какая-то там альтернативная история. Это моя детская реальная реальность. Папа объясняет, что коньяк полезен для нервной системы и его даже космонавтам перед полётом наливают. Если употреб-

лять настоящий коньяк (а коньяк «Наполеон» в 1979 году вероятнее всего был настоящим), то выработается иммунитет против алкоголизма. Так что я один из немногих советских детей, кому с шести лет знаком вкус и запах благородного пойла. И да, у меня выработался иммунитет, а вот мой гостеприимный одноклассник сломался — в сорок отказал мотор. Папа Барсукова служит в Комитете Государственной Безопасности и выписывает журнал «Америка». Мама Барсукова работает в овощном магазине уборщицей, а сам Барсуков — через сколько-то лет — на таможне. Так что коньяка и водки хватает на всех, кто ищет с Барсуковым дружбы. Круто, да? Ещё круче было то, что Барсуков-старший учил нас всяким шпионским штучкам. Мы, например, могли положить в рот крыжовник и с дачи до дома доехать в полном молчании (позже я узнал, что Барсуков-младший держал в кармане целую горсть ягод, но и это являлось частью моего обучения). Опьянев, мы лезем в папин стол, затем под стол, где рассматриваем ламинированных в гармошку женщин. Они хоть и голые, что немного странно, но прекрасные. Прекрасные диваны, прекрасные портьеры, прекрасные цветы. Когда я пойду в школу, то познакомлюсь с Олей, у которой родители привозят из ОАЭ косметику. Познакомлюсь с другой Олей, чьи родители живут во Вьетнаме и поставляют в обе стороны «Мальборо» (это трудно понять, но во Вьетнам они везут блоки из московских табачных ларьков, а взамен привозят сигареты оттуда). У этой Оли я впервые посмотрю на французском языке фильм, где женщины делают странные вещи, но всё красиво, всё слишком красиво. Через десятилетие я посмотрю все похождения Эммануэль, но уже не встречу в них того, что видел в версии без перевода. Познакомлюсь и с третьей Олей, которая живёт и учится в Чехословакии, а в Москву приезжает на экзамены и каникулы. У неё несколько двухкассетников (магнитофон, который переписывает музыку с кассеты на кассету) и море западной музыки. Послушать можно бесплатно, но мне на тот момент повезло — я от западного мира ждал совсем иного (или, что скорее всего, у меня напрочь отсутствовал музыкальный вкус). Всех Оль объединяла совсем не спекуляция цацками, а то, что их родители работали в КГБ. Может я учился в элитной школе или жил в элитном районе? Нет. Школа до сих пор славится своим криминальным рейтингом, а район, чьи дома смотрят на Терлецкую дубраву, примыкает к Балашихе. Спутниковые снимки подтвердят мои слова: этот невзрачный спальный район населён сотрудниками госбезопасности (предполагаю, что одной спящей ячейки для управления Южным Ивановским недостаточно). Кроме Оль были, разумеется, и пацаны, но я с ними не дружил (или они со мной, но сейчас не до социальной психологии). Пацаны, как подросли, занялись очень странными вещами. Реальная реальность: бывший пивоваренный завод «Московская Бавария» (ага, тот самый винзавод), на котором можно арендовать помещение и в рамках современного искусства замутить какой-нибудь проект. Ну, типа пусть хипстеры играют в свои хипстерские игры — хороший фон для теленовостей. И вот к моему приятелю, превра-

тившему склад в танцпол, вместе с первым трафиком приходят люди в сером... Приятель теперь в Европе, а танцпол до прихода нового хипстера заморожен. Клуба нет, потому что нет трафика. А трафика нет, потому что приятель свалил. Всё просто. У пацанов в кармане горсть крыжовника — пацаны найдут другой источник дохода. А вот ещё история, про которую молчат уфологи. Простой московский барыга (да хоть индивидуальным предпринимателем называйте, суть не меняется) занялся школьной математикой: если каждый проданный баул шмоток приносит пять новых баулов, то можно стать миллионером. Грубо говоря, если продать свою квартиру, то в следующий четверг можно купить пять квартир. Арифметика вроде внятная (и подкреплённая челночными рейдами в Турцию и обратно), но законы больших чисел работают как-то иначе. Наивный коммерсант (да хоть барыгой называйте, суть не меняется) Серёжа продаёт собственную квартиру и закупает целый самолёт турецкого барахла. Самолёт взлетает, пересекает границу, но над российской территорией исчезает с радаров. Чистая мистика. В одну секунду идущий к успеху Серёжа превращается в бомжа. Пацаны сказали, что жалобу надо писать туда, где груз взлетал, а там ответили, где приземлялся. Очевидно, что в воздухе работали небесные криттеры. Это они похитили товар размером с квартиру. А Серёжа вскрылся. Бомж Серёжа превратился в текст. Его квартира превратилась в текст. Самолёт превратился в текст. Ну и шмотки рассыпались на множество чеков. У меня есть ещё одна не менее скучная и не более сказочная история. Мой папа всю жизнь проработал учителем. В той самой школе с высоким криминальным рейтингом. Старый директор умер от старости, а новый оказался молодым предприимчивым человеком. Брал взятки с эмигрантов, которые считали, что в нашей стране каждый ребёнок имеет право на бесплатное образование. Злые учителя написали жалобу (пасквиль, донос, называйте как угодно, суть не изменится). Пацаны организовали спецоперацию, в ходе которой директор был пойман на взятке. Через пару недель... он вывез из школы всю бытовую технику — его назначили директором престижного колледжа. Что ж, вполне себе нормальная история успеха. Теперь мой папа знает, для чего из каждого утюга рекламируют номера по борьбе с коррупцией. И папа на всякий случай верит всему, что показывают по телевизору. Такая вот будничная калиюга. А когда-то в далёком 1985 году мы вместе смотрели «Гостью из будущего», и папа первым предположил, что если миелофон может читать чужие мысли, то наверняка работает и в обратную сторону, то есть мысли внушает.

13.

Возвращаемся с Алёшей из садика. Перовский парк. Советский (в прошлом — Монастырский) пруд. Покрытый чем? Правильно, льдом. В воздухе весна, а под ногами соль, разъедающая обувь. Ковидные ограничения сняли, но пенсионеры бредут в медицинских масках. И это не инерция, это благоприобретённая осмотрительность. Подумать страшно, сколько всего мы вы-

дыхаем в пространство. Колонии, поселения, миры вирусов и бактерий. Что ни выдох, то посев. Кошечки-собачки. Скандинавскую ходьбу никто не отменял, поэтому все парковые дорожки захвачены зожниками. Чем ближе старость, тем отчаянней надежда на справедливого патриарха. Ну-ну. А теперь представим, что на пруд приводняется капсула, в глаза и уши бьёт цветомузыка, по сверкающему лепестку движется псевдо-Нюша, заgrimированная под Бьорк, обводит взглядом зевак и спрашивает, кто будет вторым. А с ней целая свита псевдомультяшных персонажей. И прощай привычки, накопления и планы. Да-да. Остановимся у этой красивой ограды и на секундочку представим, что мы написали сценарий. Средненький такой драфт, в котором смысла ноль, но персонажи совершают действия «как в жизни» и говорят «как в жизни». И вот на наш сценарий слетаются зубры, заинтересованные в этом проекте. И начинается движуха: редакторы вносят правки, креативный отдел команды разрабатывает образы, и вот уже актёры старательно изображают то, что им распечатали. Каждый в отдельности понимает всю абсурдность затеи, но коллективный разум противоположного мнения. Коллективный разум сам себе внушает, что работает над продуктом, который будет востребован. Было бы забавно, если бы не было так дорого. Жадность побеждает страх. Останавливаемся между столетней ивой и молодым кустарником. Девушка с идеальными формами упорно повышает уровень дофамина. Секунду-две слышно, что звучит в её наушниках. Скоро растает лёд. Всё чрезвычайно серьёзно, всё по-настоящему. И никто не скажет «было».

— Пап, хватит! Давай что ты говорил про космическую капсулу.

Алёше кажется, что я что-то говорю вслух, но на самом деле он напрямую воспринимает бета-ритмы моего мозга. До какого-то момента ребёнок копирует не только внешние поведенческие навыки, но и общее направление мысли. Затем эта способность, как хвостовой отсек ракеты, отваливается, а витающий в облаках ребёнок думает, что в силах выбрать или сменить цель. Увы, сначала он отработает то, что задали. Поэтому так важно и садик правильно выбрать, и посмотреть, что творится в голове у воспитателя, и самому записаться в школу карма-йоги. Ставь лайк, если желаешь своим детям добра.

— Приводняются инопланетяне! А дальше???

Увы, я знаю ответы на вопросы, которые хотел задать.

— А дальше, представь, на свой корабль они могут взять только одного. Кто полетит?

— Конечно я!

— Это исключено. С незнакомыми существами тебя никто не отпустит, сам понимаешь. Детям без сопровождения родителей летать запрещено. Это даже не обсуждается.

— Тогда мы их попросим, чтобы взяли двоих. С мамой меня ведь точно возьмут.

(Здесь оглушительная пауза со всеми сопутствующими: трещина с треском разделяет пруд на две льдины, из ушной раковины споткнувшейся спортсменки

выпадает беспроводной наушник, а голуби — наоборот — взмывают к проводам.)

— А ты уверен, что мама согласится?

— Набери ей.

— В смысле?

— Позвони маме и спроси, что делать в ситуации, если за нами прилетят инопланетяне.

— Я не буду звонить.

— Позвони и поставь на громкую связь!!!

— Да, солнышки, вы где? Алёша, как день прошёл?

— Мам, мы в садике рисовали карту сокровищ! Сначала надо пройти под Снегопадом Холода! Когда поднимешься в гору, то попадёшь в Щёлкательный Туман со Скелетиками — там скелеты щёлкают зубами, но ты не бойся, иди дальше. Проходишь Вулкан Злости и попадаешь в Вареньевое море. Это самое опасное место — можно увязнуть и забыть куда идёшь. Так что ты лучше варенье вообще не пробуй, просто обойди море и всё. После Леса Грусти начнётся Яблочный Дождь. А крестиком я отметил, где спрятан Волшебный Сундук с Золотом. Запомнила? Я карту разрезал на две части! Одна половина тебе, вторая — папе. Будете у меня клад искать!

14.

Стране, потерявшей будущее, остаются только запрещённые наркотики. Наташа, купив одноразовый проездной в страну вечной охоты, до тошноты крутит "с прозрачными воротами и яркою звездой". Уходит блевать, возвращается и вновь из последних сил подпевает: «А в городе том сад!!! Всё травы да цветы!!!» Сил у неё вагон, особенно когда телек крутит мёртвого Цоя. А я, — возбуждается, — что в этой жизни сделала??? И радостно отвечает: сварила винт! Уже без Наташи выясняю, что автор золотого города не БГ, а Хвостенко. Ой, не Хвост, но Анри Волохонский. А мелодия написана безмянным автором аж в семнадцатом веке. Второй системный упс: автор этой лютневой музыки — Владимир Фёдорович Вавилов, композитор-самоучка, родившийся и умерший в Ленинграде, который ныне (и до) Санкт-Петербург. Классическая русская вирусная матрёшка, структурно напоминающая историю моей семьи. Моя родная бабушка, я и дедушка Николай Петрович, гуляем между Советским и Плешивым прудами. Перовский парк ещё не обнесён забором, поэтому смешивается с зелёной зоной прилегающих хрущёвок. Догадываюсь, что назревает очередная ссора, поэтому тяну бабушку к пивному ларьку. Бабушка вспоминает о том, что Николай Петрович во время войны объедал больных, а Николай Петрович поправляет: «Не объедал, а доедал за туберкулёзниками!» — «Всё равно дезертир!» — «А кто у меня сталинские облигации отобрал?» — «Я всё давно вернула!» — «Нет, не всё!» У Николая Петровича пачка ценных бумаг государственного военного займа плюс церковное евангелие. Почти каждый вечер дед вызывает дух Сталина. Дед хочет знать, когда получит свой законный процент — бумаг много, а денег мало. И только после смерти Николая Петровича открывается, что Николай Петрович никакой мне не дед, а совершенно посторонний старик, который «просто

приударил за бабушкой». Жаль. Не у каждого дед дезертир и медиум, регулярно общавшийся с призраком отца народов. Когда я начал проявлять любопытство, бабушка достала фотографии своего погибшего на войне мужа и его родственников. Василий Замешаев — красавец, а прадед так вообще из уральских казаков, имел кожевенную мастерскую в Кимрах и собственный магазин в столице! Мощь. Я всегда подозревал, что советская власть меня обобрала. И вот после смерти бабушки отец рассказывает: «Василий в 1941 году ушёл на фронт, а бабушка родила сына — моего брата и твоего дядю. В том же году Василий погиб, а в 1943 бабушка родила меня». И чтобы не было проблем, моего отца записали под фамилией старшего брата». А настоящий дед был из Питера, то есть из блокадного Ленинграда. И про него никто ничего не знает. И я не знаю что думать. Собственные предположения бесят. Иногда мне кажется, что настоящий питерский дед мне помогает (первый диплом на сценарном конкурсе, литературный дебют и съёмки сериала по моему сценарию — всё в Питере), но чаще я ощущаю, что мне мстит погибший Василий, чью фамилию я ношу. Совершенно точно, что на том свете, если он существует, два никому не известных деда продолжают свою войну.

15.

Невозможно, будучи в сильном опьянении, описать своё состояние. Надо проспаться, пережить похмелье, поймать волну, а после уж дать волю фантазии. Вот именно что фантазии, так как любая реконструкция событий будет лишь частной интерпретацией. Тону в тишине читального зала. Тарковский предполагал, что если всю человеческую жизнь зафиксировать на плёнку (тогда о мобильных видеорегистраторах даже не помышляли), а затем вырезать и смонтировать наиболее значимые фрагменты, то получится идеальный фильм. Вот эпизоды, которые никак не превращаются в экшн: остановка с обмороком, бункер, остановка с псевдо-Нюшей, которая как Бьорк, кафе, полицейский участок. Как ни крути, сплошное блабла. И уже сам себя программирую на провал: можно написать сценарий, построенный только на диалогах. Такой сценарий, который примут к производству. И каждый захочет добавить к успеху частичку своего креатива. Каждый внесёт свою посильную правку. А на выходе мы получим унылое, по мнению зрителя, "г". Почему так? Группа начнёт искать крайнего и быстро его вычислит. Почему так? Мне кажется, что каждый уважающий себя автор ищет нерв, а группа играет в угадайку: чего ждёт зритель? И баланс между уникальным и универсальным приводит к посредственным результатам, которые выгодны вот этой вот группе, успешно кочующей с проекта на проект. Не буду ничего писать. Не буду предпринимать никаких действий. Буду смотреть в окно, пока на площадке для деток с ограниченными возможностями не приземлится летающая тарелка. Вроде расслаблен и неподвижен, но лимбическая система вскипает — дай мне танк, и буду гнать, не разбирая указателей. Подходит библиоте-

карь (чудо-девушка, которую я иногда мысленно и безо всяких прелюдий трахаю в книжном хранилище):

— Я могу быть чем-то полезна?

И дело не в том, что она эмпат и ей в этой пустоте нечем заняться, а просто она хочет быть полезной, хочет каждую секунду применять свои профессиональные навыки. Спрашиваю, что может значить образ инопланетянина в психологии. Не в том смысле, что я жду её мнения, а просто (мы на одной волне, и она уже мысленно просматривает библиотечный каталог, а затем обращается к дружественным архивам) размышляю: инопланетяне обычно претендуют на захват планеты; в некоторых случаях привлекают к сотрудничеству одиночек. С захватом цели интуитивно понятны (какая-то внеземная корысть — ресурсы и всё такое), а вот во втором случае возникает куча ненужных вопросов, основной из которых: чё надо? Кого замещает или какую тайную страсть выражает феномен межгалактического чужого? Бог, отец, слава, власть?

— Интересный вызов, — она думает ровно секунду, — но у нас основная масса литературы посвящена дизайну. Могу принести книги по ретрофутуризму и альтернативной истории. У нас наверняка есть разработки звездолётов, пришельцев и среды их родного обитания.

Вместо ответа жужжит поставленный на вибрацию мобильник. К сожалению, он работает только на громкой связи (что в библиотечной тиши раздражает даже тогда, когда ты в зале абсолютно один). Виногато улыбаюсь, крошка отходит к кулеру и в контровом свете окна дёргает из стопки стаканчик — тихо журчит вода. Принимаю звонок (слабые люди не способны нажать отбой, их пугают красные кнопки, им надо решать свои проблемы при посторонних — во-первых, сразу видна их востребованность, во-вторых, занятость, а в-третьих, зелёная кнопка внушает веру в то, что именно сейчас, ну вот прямо сейчас собеседник сообщит нечто такое, что кардинально изменит судьбу). И трубка звонко врезается в макеты московской школы дизайна:

— Уже восемнадцатое, а ты не телишься! Ценники уже вдвое взлетели! Ты мясо где брал? Какой идиот разрубил кусок вдоль волокон? На рынке? Они там что, не понимают, что мясник — это тоже квалификация??? Зайди на рынок и скажи, что телятину надо разделять поперёк!

Силуэт, опёршись ладонью о бедро, маленькими задумчивыми глотками пьёт ледяную воду. Сегодня уже восемнадцатое??? Да гори оно всё синим пламенем! Инерционные действия не ведут к лучшим условиям — это аксиома. Впервые в жизни жму на полуслове отбой. Времени впритык. Хочется тихо подойти со спины, отставить пластиковый стаканчик на подоконник, обнять и сказать этой крошке, что мы никогда, никогда-никогда больше не увидимся, но меня ждёт межпланетная стрелка, сейчас совсем не до обнимашек, не до этого вот возгласа: как улетаешь, далеко, надолго? Я и сам не знаю ответов на вопросы, которые возникли после обморока. Подозреваю, что все они (вопросы) останутся здесь, на планете Земля. Ри-

сю Копатыча, больше похожего на Винни-Пуха. Пририсовываю к лапе букет, а к животу — сердечко. В последнюю секунду одним махом вывожу контур космической ракеты и добавляю снизу чёрточки — типа пламя от сгорающего топлива. Выхожу с видом, будто выкурить сигарету, будто вот-вот вернусь. Если бы это был сценарий, то придумал бы, что комкаю сигарету, ловлю тачку, с ветерком несусь в Измайлово. На деле всё прозаичней: стою на остановке и с тоской оглядываюсь на. Даже загадываю, что если автобуса пять минут не будет, то вернусь в читальный зал, порву Копатыча и продолжу визуализировать НЛО. Времени в обрез или меньше. Беда, если в твоём заглавнике ничего кроме. В продюсерском воображении сразу вырастают невнятные декорации и компьютерная графика. Правильным решением было бы вернуться к столу и состряпать про любовь и ментов. Классика, к которой в зависимости от сезона только соус меняй. Любовь и менты, золотая жила, я готов развернуться и пересмотреть все свои убеждения, но вон какой-то автобус. Подъезжает, да не тот, а с пересадкой (будто на табло мигает надпись: вы сомневаетесь; можно успеть, можно опоздать, но решение за вами). Запрыгиваю. Пацаны смотрят видос с моделью, которая из двух сисек сделала себе три. Спорят — жиза или фейк. Любопытно. После поворота выхожу и почти без ожидания пересаживаюсь. Всё правильно: сначала закрою гештальт, а затем... Совсем не в кассу визуализируются контролёры. Мои нейронные контуры искрят: денег нет, проездного нет, документов нет. Обступают меня, будто прячу от них платиновую кредитку. Либо оплачиваем проезд, либо выписываем штраф. Предъявляю читательский билет. Ты серьёзно? Придётся сойти и вызвать наряд. Вы серьёзно? Останавливаемся на Электродной улице, за сто метров до шоссе, за которым начинается лесопарковая зона. Выходим, кучкуемся, тупим. Мужик, тётка, и девка-стажёр. Мужик выключает на своём плече регистратор, спрашивает:

— Ну, что, нищеврод, найдём компромисс?

Смотрю на фуд-корт, где можно бы поиграть с Алёшей в настольный футбол. А ещё можно вести киносреды и сценарную мастерскую, но я об этом ничего не знаю, так как существую в текущем моменте. С тоской смотрю на небо, откуда могла бы прийти помощь, но там лишь дневной полумесяц, приводящий в восторг детей, и больше никаких подсказок. Если честно, то сейчас и эта вставка радует — есть на что отвлечься. Ага (здесь смайлик с кривой улыбкой).

— Будь у меня портативная машинка времени, — размышляет мужик, — отправил бы тебя в начало девяностых, когда я ещё ментом работал. Вот там бы я тебе объяснил, что такое халява.

— Машинка это из «Мимимишек»?

Смотрит на меня тяжело и серьёзно, серьёзно отвечает:

— У меня третий ребёнок, и я вкалываю круглыми сутками. И налоги плачу.

— Чтобы такие, как ты, — нагнетает тётка, — книжки читали.

— Может он их пишет, — разряжает обстановку стажёр.

— В точку. — В надежде встретить хотя бы поддержку, улыбаюсь девке. Тётка с мужиком сканируют меня на предмет моей самозанятости. Подъезжает ментовской уазик. Небу (или моему подсознанию?) угодно, чтобы я завяз в штрафах. Несёмся на Алексея Дикого. Проходим калитку, проходим внутренний дворик, поднимается к знакомому кабинету.

— В рот мне берцы! На ловца и зверь бежит, — (в фильмах они обычно синьку, контрафакт и конфискат смахивают в свой бездонный ящик стола, но сейчас Федорову-Мясникову запахло даже принять утомлённый вид). — Оставьте нас.

Просит коллег уйти на випассану и закрыть дверь с другой стороны. В наступившей тишине прячет в кобуру контейнер от киндер-сюрприза, кладёт руку мне на плечо, подводит к рабочему столу и отечески усаживает перед монитором:

— Смотри, что нарыл.

На рабочем столе сплошной компромат, намекающий то ли на полное доверие, то ли на безразличие к постороннему взгляду. Скидывает наушники, в которых бьётся синее сердце Киркорова, елозит по засаленному коврику мышью, щёлкает колёсиком, ищет нужный файл. Уровень такой, что когнитивный диссонанс возникает без применения спецэффектов. Вау: на видео очаровашка псевдо-Нюша-Красотуша, нейтральный псевдо-Крош-Ну-Ты-Даёшь, псевдо-Ёжик-Без-Застёжек, псевдо-Медведь-Друг-Вам-Впредь, реальный я и невнятный.

— Видишь это существо, похожее на псевдо-Копатыча? — наводит курсор на невнятного. — Нашёл-таки его в старой базе, которую по мере сил оцифровываем. В начале семидесятых в Терлецкой дубраве летняя библиотека была. И при ней — библиотекарь — вот этот самый Копатыч. Год работал, другой, пока кто-то из завистников (вроде лесник — тогда и лесничество существовало) не поинтересовался его зарплатой. Ну и вскрылось, что в администрации парка ни сном, ни духом. Нет такой должности. Веранда пополнилась по принципу нынешнего буккроссинга — кто-то принёс книгу, кто-то забрал. А нет должности — значит и зарплаты нет. Привлекли. У Миши и документов нет — ни имени своего сказать не может, ни место жительства назвать. Направили его в дурку — на экспертизу. А психиатры, не выявив никаких отклонений, то ли по ошибке, то по халатности выпустили косолапого на волю. Представляешь?

И смотрит на меня полными любви глазами. Не представляю. То есть историю представляю, но к чему он клонит, ума не приложу.

— И что нам это даёт?

— Да ровным счётом ничего, но я ещё кое-что приметил.

Пауза. Жду, а самого какая-то мутный страх окутывает: эти существа с момента моего рождения поблизости околочивались. Помню и веранду, где пенсионеры шахматы расставляли, и лесничество с настоящими лошадками, и утиный пруд, вокруг которого всегда были топи.

— И что же? — спрашиваю, но уже по инерции — безучастно.

— Слушай, пока не забыл. Давай штраф оформим, чтобы не отвлекаться. Чего без билета-то?

— Да встречу мне на сегодня назначили, — киваю на монитор, — вот эти. Думал, что не вернусь уже. Ни денег, ни документов не взял.

— Встречу? Я бы с радостью, но вечером шоу голографическое в Лужниках, явка строго обязательна, не могу. Перенести никак?

— Никак, — чуть не плачу. — Разговор был о том, что сегодня сваливаем. Вот я и прыгнул в первый попавшийся автобус.

— По коням, — Мясников молниеносно принимает решение, — по дороге расскажу.

Начинается экшн: выскакиваем из кабинета, запираем дверь, докладываем дежурному, что на задание, прыгаем в тачку Мясникова. Из радиолы льётся псевдо-музыка, будто сейчас принесут меню. Не хватает только аромата паназиатской кухни (перед глазами болтается ароматизатор, перебивающий след вайпа). Меня накрывает озарение, что придётся мне просторы Вселенной бороздить в паре с потомственным участковым. Скрывая мандраж, выполняю упражнение для сольфеджио: на большой палец ставится указательный, затем средний, после него безымянный, мизинец и обратно — мизинец, безымянный, средний, указательный. Танец не ускользает от цепкого взгляда Мясникова. Иронизирует:

— О, пальчики разминаешь. Вот так карманники первую половину жизни держат мелкую моторику в тонусе, а вторую, если извилины не повредят, правят неписанный воровской закон. А ты ни на скрипача, ни на щипача не похож.

Как знать, как знать. Как мы выяснили, шарлатаны никогда сами на себя не похожи. Даже в последнюю секунду можно всё кардинально изменить. Читай, брат, Евангелие.

— Ты к чему, спрашиваю, стремишься???

Вопрос из серии «что ты из себя представляешь?» Начнёшь отвечать — и увязнешь, сам себя обесценишь, обнаружишь вытесненное чувство вины и сам себе вынесешь приговор. Я на подобные вопросы давно не ведусь. Делаю вид, что пропустил мимо ушей. Хотя... хотя пора ломать сценарий, пора озвучивать свои цели, верить в них и ждать от мира не подножки, но поддержки. Об этом сейчас каждый второй семинар по саморазвитию. Механизм простой: озвучиваешь желание, мозг анализирует его и подсказывает телу правильное направление (от стука по клавиатуре до стука в нужную дверь). Бодро начинаю:

— Знаешь, я мечтаю изменить вектор всего сериального контента. Представь невозможную ситуацию: акционистка самых свободных взглядов влюбляется в сотрудника правоохранительных органов...

— Говно вопрос, даже не начинай. У меня есть план лучше, поэтому мне сейчас нужна твоя помощь. На записи из кафе нет звука, но зато, приколись, на ускоренном просмотре кое-что заметно. Твои телепузики общаются жестами. Ну, что-то типа семафорной азбуки, которую наверняка можно расшифровать. Я видел

передачу про пчёл, даже они с помощью специальных знаков передают друг другу информацию.

— Как глухонемые?

— Во-во-во! Сечёшь фишку. Секта. Иноагенты. Преступная группировка. Всё как мы любим.

Прорезаем Главную аллею, перед поворотом на Московский проспект тормозим и сворачиваем на едва заметную колею, упирающуюся в шлагбаум. Выходим.

— Ну, где-то здесь. Веди.

И по чёрной корке сугробов ломимся как черти к маскировочному холмику. Мясников насвистывает «цыплёнок жареный», что свидетельствует о повышающемся в его крови тестостероне. Хрусткий снег набивается в ботинки, царапает лодыжки, колет холодком, но быстро тает. Походу остаток жизни действительно проведу с участковым. Оно мне надо? Боливар не выдержит двоих. Выходим на заветный холм. Жёлтое яйцо киндер-сюрприза летит в снег — Мясников вынимает из наплечной кобуры табельный ствол, поднимает его к виску, прячется за.

— Стучи.

Робко стучу.

— Кто, твою мать, так стучит? Долби нормально!

— Эй, зомби, открывайте! — Отталкивает меня и долбит рукоятью ствола. Долбит ногой. Отходит и напрыгивает плечом. Отходит и выдаёт артистичную вертушку, морщится от боли, приседает, распрямляется, хватает меня за воротник, отталкивает и сам отворачивается.

— У меня план был! — смеётся, но по лицу текут слёзы. — Мы могли свалить в Данию, а оттуда пересечь всю Африку! Ты мне такое расследование завалил! Мы бы бюджет не один год пилили! Ну, где эти черти??? Сегодня праздник, сосиски, каша, а я торчу в этом лесу! Думаешь, что одним штрафом отделаешься? Завтра утром напишешь, что тебя завербовали. Я тебя перевербую — будешь у меня двойным агентом. Может и выгорит командировочка. Пора валить. Хорошего дня.

Где-то твякает, в предчувствии сумерек, карманная шавка. Ветер приносит дух мангала — такой простой и одуряющий, что хочется упасть на четвереньки, найти луну и от безысходности завывать. Мясников, разочарованно отмахиваясь от веток, направляется к Главной аллее. Гейм овер. Я опоздал на старт и теперь не знаю что делать. То ли всё забыть, то ли ждать сигнала, то ли согласиться на новые условия. Сажусь на пень, курю бамбук. Не сразу замечаю, что Мясников развернулся и, размахивая стволом, прёт на меня:

— Я с тобой в «Шарарам» играю? Или ты реально решил, что это шоу можно поставить на паузу? Новости внимательно смотрел?

— Вообще не смотрел. А что там может быть нового?

— Скоро все попадём в рай, которого нет! Мне почти сорок, а я ещё ни одного реального дела не раскрыл! За сорванный праздник кому-то придётся отвечать!

Из-за его истеричного визга машинально принимаю стойку, но Мясников действует ассиметрично — смахивает меня (а я был на среднем плане в центре кад-

ра) на периферию пейзажа и ломится к чернеющему в сугробе квадрату. На ходу щёлкает предохранителем, зажмуривается и стреляет в петли. Дверь, как это бывает в кино, открывается. Скоба, державшая засов, дзинькает о ступеньку. Мясников кивает: ты первый. Вариантов нет — почти наощупь спускаюсь вниз. В затылок дышит пороховой дымок. Чмок, чмок, чмок. Под ногами кетчуп, похожий в сумраке на нефть. Мясников в дверном проёме шуршит рацией:

— Волкогонов? Фёдорова с Мясниковыми ко мне. И ещё подмогу, кто на ногах. Мы, кажется, вляпались в непонятное.

Всё будто в странной сказке, но это реальность: от удара ветра дверь за спиной захлопывается, наступают тьма. Спотыкаюсь и замираю. Ищу телефон и роняю его в жижу. Мясников прижимает меня к стене:

— Имеешь право хранить молчание.

Вадим Волобуев

Москва

ВОЙНА

Домашнее задание ученика 7-го класса «А» Авдеева Егора. Сочинение «Моя родина — СССР»



Мы живем в самой большой и великой стране в мире. До эвакуации я не мог представить, насколько она велика. Всю жизнь я жил в Смоленске. Там много интересного: река, кремль, но больше всего мне нравился бал-маскарад на Новый год. В школе было весело, играла радиолка, сыпалось конфетти, серпантин. Вечера всегда были с угощениями, вносили по три рубля и всегда хватало. К 12 часам я спешил домой, чтобы Новый год встретить дома. Елка к этому времени всегда убрана, игрушек было у нас всегда много, и поэтому елка у нас всегда хорошая. На столе стояла закуска, мама покупала красное вино, для себя, меня, папы и даже бабы Раи. И когда по радио говорили „Подыдем бокалы за Новый год!“, мы тоже подымали рюмки.

Когда 22 июня объявили войну с Германией, мне не верилось. Казалось, что не будет ничего страшного и все будет по-прежнему. Но по-прежнему уже ничего не было. Начались частые тревоги. Ночью вскакивали как сумасшедшие, надевали противогазы и бежали на улицу. Уже на второй день начали рыть щели. А на третий день уже в них прятались. Погода все эти дни была очень хорошая. И вот когда я вспоминаю теперь Смоленск, то он всегда в моей памяти солнечный. 24 июня ночью фашистские самолеты сбросили первые бомбы. Одна бомба пролетела низко над нашим домом. Это было очень страшно. Она так завывала, что мороз по коже. В эти дни массами ловили шпионов. Многих ловили дети. Одного шпиона нашли на польском кладбище, переодетого цыганкой. Много шпионов поймали в военной форме. К одним на дом пришли шесть человек и потребовали поесть. Жена стала

их кормить, а муж пошел и привел из унквде. Их забрали, и они оказались шпионами. Шпионы очень много навредили. Когда начиналась бомбежка, они с военных предприятий давали ракеты. Директор военного завода № 35 оказался вредителем. Профессор Некрасов тоже и много других, которые стояли на военных государственных постах. 25 июня часов в пять дня пришел папа и сказал, что надо на эту ночь куда-нибудь выехать из Смоленска. Что нужно собираться к тресту. Мама собрала наше белье, и часов в семь мы выехали из Смоленска. Это был мой последний день в Смоленске. Когда мы ехали, то по дороге тянулось очень много жителей Смоленска. Все они шли, чтобы спрятаться на одну ночь от бомбежки. Можно было увидеть небольших детей, которые несли узелки с вещами. Приехали мы в Сож в 15 км от Смоленска. Нас разместили в школе. Мы все приготовились хорошенько выспаться, но это нам не удалось. Во втором часу ночи мы все проснулись от сильной стрельбы. В Смоленске началась бомбежка. Тут уже было не до сна. Весь дом сотрясало, и дрожали стекла. Мы видели, как горели в воздухе фашистские самолеты. Наутро мы узнали, что, несмотря на то что над предприятиями зажигали ракеты, фашистские самолеты никуда не попали, а разрушили только несколько домов. Все щели в городе были отравлены. Утром мама поехала в город за вещами, потому что мы уже не надеялись вернуться. Часа в три мама вернулась в Сож с остальными вещами. В Смоленске мы оставили поросенка на 5 пудов и 28 штук цыплят и несколько кур. Так и неизвестна стала их судьба. Кто куда ушел из родных, мы не знаем. Часов в пять дня мы сели снова в машину и отправились дальше в Пустовский Мох. В Соже с нами была Лиза Гурьянова с матерью и Капитолина Сергеевна, одна. Они остались в Соже, и я не знаю, что с ними.

Из Сожи мы выехали на грузовике. Машина была набита битком. Часам к десяти мы приехали в Рославль. При въезде в Рославль нас задержала тревога. Переждав тревогу, мы поехали дальше. Около моста нас задержал милиционер и потребовал пропуск, у нас его не было, пришлось возвращаться назад и получать пропуск. Все мы очень боялись, что нас задержит тревога и придется ночевать на улице. Но мы все-таки выехали. Ехали мы всю ночь, по пути с двух сторон кабинки шофера стали два красноармейца, а может, и не красноармейцы, с винтовками стали и ничего не говорят. Мы тоже молчим, боимся. Может быть, они шпионы. Много их шляется. Но потом они слезли. С началом восхода солнца мы приехали на Пустовский Мох. Вставало солнце. Это было очень красиво.

На Пустовском Мхе мы прожили с 27 июня по 19 июля. Жизнь текла довольно скучно. Мы жили в одной комнате с Ланиной. Она приехала сюда с ребенком и прислужгой Феней, с которой я сдружился. Денег у нас было мало, и мне с мамой пришлось ходить на торф. Вставали в четыре часа утра, чтобы поскорей кончить до жары. Утром очень не хотелось вставать. К концу пребывания на Пустовском стали летать самолеты фашистские. Один раз скинули бомбы в двух километрах от Пустовского Мха на станции Чепляево.

Там стоит много эшелонов. Когда появились самолеты, несколько красноармейцев бросились недалеко от станции в кусты. Как раз туда попали бомбы, и их убило. Я видел воронки, в них поместится целый маленький одноэтажный домик. Потом еще летал один самолет, строчил из пулемета по нас. Потом объявили об эвакуации из Смоленска. Вначале мы не думали эвакуироваться, но потом видим, что все трестовские эвакуируются, мы тоже решили. У нас денег было около трехсот рублей, а деньги, что выслал отец, не получили. Но все-таки мы решили ехать и не отрываться от коллектива. У нас было много вещей, но всё взять не удалось, а взяли самое нужное и ценное. Среди этого ценного я впихнул свой игрушечный грузовик с пушкой. Ни у кого такого нет! К часам шести вечера подъехала грузовая машина, мы погрузились и поехали на станцию Чепляево.

На станции мы погрузились в товарный вагон. Были здесь: Ланина с дочерью и Феней (прислужгой). Глазковы: Леля, дядя Петя, тетя Слава и Борька. Бондарева, сестра тети Лели, с Иной. Она всё время с Глазковыми. Альшуллеры, муж и жена, и трое их детей. Майкова тетя Сима с сыном Додиком и тетя Шура с тетей Симой. С тетей Шурой ехали сестра тети Шурино мужа с Леной и Любой, в Мичуринске они нашли в другом эшелоне своего брата, вот где было радостей. Барковский с женой и сыном Шуркой и Гольдин с женой и сыном Вовкой. Кроме того, были Шивцовы трое и Семеновы. Таков наш состав. Когда садились в вагон, настроение было приподнятое, перебрасывались мрачными шутками. Чепляево было загружено эшелонами, были тут и военные, и эшелоны с беженцами. Мы все боялись налета фашистского самолета. Вдруг мы услышали шум мотора, и сейчас же красноармейцы и мы бросились от вагонов. Я бегу, а самолеты уже надо мной, а я все удираю, но от них не удерешь. Оказалось, что самолеты это наши и тревога оказалась напрасной. Тетя Сима надела новое пальто и, когда стала прятаться, упала на самое говно. Вот мы смеялись потом, а она после этого надела старое пальто. В этот день нам выехать не удалось, а выехали на следующий день. Когда мы поехали, жизнь пошла весело. Все познакомились, да и до этого почти все были знакомы. Только баба Рая всё время знакомилась заново, потому что у нее памяти никакой нет. Она и нас не помнила.

Вставали всегда часов в пять утра и сразу становились возле дверей и смотрели на наш путь. Подъезжая к станции, мы всегда уже знали, что будем стоять долго и всегда несколько часов, а то и несколько суток. Мужики бежали скорей за провизией. Иногда приносили белый хлеб, кисель в стаканчиках, а один раз даже принесли мороженое. Делили на едоков. Настроение было тревожное, если летел самолет, то не знали чей это, и сердце так и билось. По пути встречали воронки от снарядов и разрушенные дома. Видели два сбитых фашистских самолета. На станциях были пробки из-за военных эшелонов, и эшелонов с беженцами. Подъезжаешь к какой-нибудь станции. Навстречу идут военные эшелоны, много красноармейцев. Мы здороваемся с ними, желаем счастливого пу-

ти и улыбаемся друг другу. Когда проезжаем мимо эшелонов с беженцами и спрашиваем, из какого города, и слышим: минские, белостокские, гомельские и др. Нас тоже спрашивают, чьи мы, и мы с гордостью отвечаем: смоленские. Часто видели эшелоны с ранеными. Через несколько суток стали подъезжать к Мичуринску. Мичуринск как город я не смотрел. Только пришлось увидеть вокзал — он большой. Тут мы узнали, что эвакуированных кормят бесплатно. Дядя Петя и Гольдин получили талоны взрослые и детские на обеды. Под вечер мы пошли. Когда мы пришли на вокзал, там было все переполнено. В ресторане тоже было полно. Пришлось ждать очереди за столики. Тут я рассмотрел ресторан. Он очень красивый. Весь расписан масляными красками. На одной стене нарисован Мичурин среди пионеров. На другой стороне нарисованы плоды, фрукты и ягоды. Говорят, в Мичуринске было очень дорого всё. Наконец один столик освободился, и мы заняли. Только мы сели, как нас попросили. Нужно было покормить раненых красноармейцев. Мы беспрекословно освободили им место. После их мы опять сели. Я, Галя, Додик и другие — все записаны были как дети, поэтому мы получили детские обеды: по стаканчику в 50 гр. киселька и манной каши. Мы проглотили и вкуса не почувствовали.

Удалось наконец выхлопотать всем взрослые обеды, это было совсем другое. Нам дали перловый суп, очень соленый, и гречневую кашу с мясом. Мы уже так надеялись, что ели не с очень большим аппетитом. Здесь я впервые увидел негра, я его таким и представлял. Еще забыл сказать, что в центре ресторана стоит аквариум, без воды, и в середине статуэтка девушки с ракеткой. Когда мы вышли из ресторана, было совсем поздно и очень темно, мы еле нашли свой вагон. Здесь наши проводники получили направление в Горький, это удалось с трудом. Забыл написать, не знаю, Мичуринск стоит, не доезжая Сухиничей или после Сухиничей, только все мы хотели поскорей проехать Сухиничи. Так как до Сухиничей и Сухиничи часто бомбили. Приехали мы раз на одну станцию и стоим уже несколько часов, вдруг началась тревога, и мы не знаем, то ли оставаться в вагоне, то ли бежать от вокзала. До этого договаривались все, что будем оставаться в вагоне, несмотря на то что немец и бомбит эшелоны, но попадает в них нечасто, а всё за станцию. Но когда началась тревога, все кто куда. Кто остался в вагоне, кто под вагон, а кто на станцию. Еще раз была тревога посреди леса, все высыпали из эшелона и в лес, и тут мы услышали глухие взрывы, это бомбили Сухиничи. Мы насчитали 15 взрывов. После мы сели и отправились дальше. Нам хотелось приехать в Сухиничи днем, а приехали ночью. Увидеть ничего не удалось. Здесь мы простояли почти всю ночь и с началом рассвета отправились дальше. В Мичуринске мы получили направление на Горький. Нас прицепили к эшелону, и мы поехали. Через день или два мы приехали в Никифоровку, и тут нас высадили самым бесцеремонным образом, прямо под дождь. Весь эшелон разгрузили и сказали, что это под войска, но это просто для того, чтобы люди шли работать в колхозы, а не ехали дальше. Нам дали по-

мещение из-под клуба. Здесь мы сгрузили вещи и решили ждать. Тут на всех достали колбасы и булочки. Здесь мы пробыли, наверно, часов до четырех и решили все сесть нахалом в какой-нибудь поезд. Мы вышли на станцию и стали ждать. Пропустили два поезда, сесть не удалось. Наконец двум милиционерам втерли 50 рублей и только тогда сели с большим трудом. В вагоне было очень тесно, и я до Тамбова ехал, стоя на проходе. В Тамбов мы приехали часам к пяти. Мы выгрузились на вокзал, но нас попросили за вокзал и сейчас же за вокзалом раскинули свой табор. Здесь достали талоны на обеды для эвакуированных и пошли обедать. Ели суп гороховый и пшеничную кашу с котлетой, а для детей подавали булочку, кисель, кусок яичницы. Здесь очень много было эвакуированных. Здесь тоже направляли в колхозы, и от нас отделились тети Шурина родственница с Леной, Любой и Кимом, у них мало денег было и не на что было ехать дальше. Вокзал в Тамбове большой, а городок неважный, мы немного прошли по улице, идущей от вокзала. Наш Смоленск в сто раз лучше. Трамваи тут не ходят. Нам пришлось тут ночевать, это была моя первая ночевка под открытым небом. Ночью было довольно холодно, прилечь было негде, а за эти дни мы здорово измотались, очень хотелось спать, так что за эту ночь мы здорово промучились. На следующий день было солнечно, все ходили в летних рубашках и платьях, а мы были почти все одеты в зимние пальто, они все жили своей прежней жизнью, а мы скитались. Часов в 12 дня должна была быть наша посадка. И вот в половине первого началась посадка, народу была тьма, все лезли в вагоны. Я бегал за дядей Петей (он искал нужный вагон) с тяжелыми чемоданами. Я не понимаю, как это я смог бегом их тащить. Я видел мельком, как одна очень старая старуха громко, на весь вокзал, кого-то звала, она, несчастная, потерялась в этой сутолоке. Я еще подумал, как только мы не растерялись, а потом узнал, что потерялась баба Рая. И больше мы ее не видели. Наконец мы все сели, то есть не сели, а влезли, пришлось долго стоять, пока все разместились и мы наконец поехали дальше. Баба Рая была нам в тягость, потому что ничего не помнила и по триста раз спрашивала одно и то же. Я жалел маму, что она так с ней мучилась. Но когда баба Рая исчезла, мне стало ее тоже жаль, куда она пойдет? Мама сказала, что ее заберут в госпиталь, и чтоб я не переживал. А от папы мы не имели тогда вестей, так что я больше за него волновался, чем за бабу Раю.

Вечером часов в шесть мы приехали в Ртищево. Ртищево находится в 190 км от Саратова. Вокзал большой. За вокзалом имеется небольшой скверик, и мы перебрались туда, там уже было порядочно народу. В вокзале было полно. Здесь, говорят, что сидели уже по восемь суток. Итак, мы перебрались в скверик и расположились. Попили кипяточку и расположились спать на чемоданах, это довольно неудобно, но я слышал, что сон под открытым небом очень здоров. Мы спали что святые. Во Ртищеве мы прожили суток трое или четверо. За это время мы ходили стирать на речку в двух километрах, но это оказалась не речка, а ка-

кой-то мутный ручей. А я даже не знаю, не то это город, не то поселок. Домишки маленькие, одноэтажные, улицы немощные. За это время ходили в столовую бесплатно. В Ртищеве очень вкусный белый хлеб, он имеет круглую форму, высокий такой. Я несколько раз видел санитарные эшелоны с ранеными. Внутри они покрашены в белый цвет, полки убраны и так всё приспособлено для раненых. Всякие койки и всякое другое. За ними ухаживают женщины-санитарки, как я им завидовал. Во Ртищеве от нас отделились и уехали в Саратов Семенова и Шивцовых трое. Мужики всё время ходили и добивались нашего отправления. Не знаю, каким-то образом они узнали, что стоит пассажирский вагон — горьковский, и вот они добились, что его отдали нам, только не весь, а два купе. Почти всем досталось по полке. И с этих пор мы ехали всё время в пассажирском. Смотрели в окна, покупали по дороге огурцы и еще что-то, не помню. На какой-то станции мы все вышли покупать соленые грибы, и вот поезд вдруг дернулся без предупреждений и поехал. Все сели, и не оказалось тети Шуры и тети Симы, Додик спал. Вот у нас переполох поднялся. Но когда была станция, они вылезли из товарных вагонов далеко впереди. Мы все прямо ожили. Во время езды тетя Шура нам часто что-нибудь рассказывала. Следующей большой остановкой была Пенза. Подъезжая к Пензе, мы вспомнили Смоленск. Пенза также стоит на горе и среди зелени. В Пензе мы простояли двое суток. Тетя Леля ходила в город и говорила, что он хуже Смоленска. Дома небольшие, а вместо тротуара деревянные мостки, трамваи не ходят. Мы брали у проводниц ведра и ходили за обедами. Здесь отделилась от нас Лянина.

В Арзамасе мы стояли несколько дней. Здесь тоже брали обеды, покупали хлеб, масло и булочки. Наконец мы прибыли в Горький. Перетащили на своей спине хутули и остановились в клубе «Спартак». Здесь был пункт по эвакуации. Здесь уже было много беженцев. Среди них выделялись латвийские, литовские и эстонские, лицом, одеждой. Приехали мы часов в девять утра и всё время сидели там. Изредка я выходил и смотрел на улицу. Вокзал большой, забыл, как он называется. Здесь ходили по два, по три прицепа. Народу ходило много. Часов в десять вечера стали устраиваться спать. А в три часа утра должны были ехать в Ситники. Спать было очень душно, народу было много, спали вповалку на полу. Ровно в три часа мы сели в пригородный поезд и в семь часов утра были на станции Толоконцево. Машина приехала только к 11 часам дня. Когда мы приехали на Ситники и вошли в клуб, всё было чистенько, стояли зеркала кривые, два стола с белыми скатертями, диваны, и только тут я почувствовал, как я устал и какой я грязный. Мы сходили в баню, в столовую и завалились спать. Так закончилось наше трехнедельное путешествие. Сначала мы эвакуировались в Сож, потом в Пустовский Мох, потом в Ситники Горьковской области.

Народ мне там не понравился. Зовется кулугуры. Там можно встретить и мордовцев, и чувашей, и татар. Для каждой области или края характерен выговор и интонации речи. Например, в Смоленской об-

ласти на Пустовском предприятии употребляют часто слово «так-то вот». А в Горьковской области употребляют выражение вместо «откуда вы?» — «чи вы?». Вместо вопроса «почему?» — «чтой-то?». Причем встречаются нередко и которые цокают, например чай, чайник, часы, и вместо ч употребляют ц. Там совершенно какие-то измененные интонации. Я и сам так научился говорить, это прямо прилипает, хотя и нежелательно. Жаль, что интонацию голоса я не могу передать на бумаге. Там очень много живет чуждых элементов, может, это только на Ситниках. Там сплошь и рядом бывшие кулаки, купцы, генералы, офицеры. После революции их, вероятно, сослали всех туда в Горьковскую область. Инкин отец — бывший генерал. Я как-то у них был, и он открыто ругал советскую власть и коммунистов, когда я услышал, так у меня в сердце прямо так и заняло. Я промолчал. А между тем Ина комсомолка.

А дядя Матвей, брат отца, поселился в Сывтыкваре, Коми АССР. Он написал нам, что там везде насажена картошка, даже под окнами вместо цветов. Говорят все на языке коми, но понимают по-русски. Почти все дома там деревянные, они покрашены в белый цвет, под железной крышей, кажутся каменными. Есть и каменные, даже и неплохие. Есть театр, кино, парк, но небольшой. Дядя Матвей два дня ехал туда на поезде и три дня плыл на пароходе. Вот такая у нас огромная родина!

Жизнь у нас в Ситниках была очень плохая, мы на двоих получали один суп и одну кашу за весь день. Жили в одной маленькой комнате с Глазковыми, шесть человек. Жить с ними очень тяжело было. Зато я узнал вот что. Если взять сырую обыкновенную морковь, поставить в чугунке в русскую печь, как только она вытопится, налить немного воды. Потом эту морковь высушить, то получатся сушеные груши вкусные кисло-сладкие. Если сделать пельмени с редькой, то получатся как с мясом.

Однажды к нам пришел красноармеец, нерусский. Он попросил закурить, но курить нечего, и Леля предложила ему супу и каши, он поел. Мы спрашивали его, хорошо ли их кормят, а он говорит, что плохо и мало. Ехали они с Дальнего Востока и питались водой и сухарями. Когда он к нам пришел и стал с жадностью есть, я чуть не заплакал, обидно, что не могут накормить армию. Красноармейцы ходят и просят есть, а командиры едят колбасу, икру и разную ветчину.

От папы мы долго не получали писем, но потом он написал, что сражается с немцами под Москвой. И вот когда оттуда все уезжали, мама устроилась в Мытищинский леспромхоз. Потому что так было ближе к папе. Жизнь здесь легче, чем в Горьковской области. Там я ходил на корчевку пней. И еще у нас были курсы санитаров, мы готовились сдавать нормы ГСО, но это скучно и для девчонок. Здесь я учусь на связиста, это поинтересней, и еще у нас у всех курсы пвхо, и у девчонок и у мальчишек. Мы сейчас получаем два обеда. В обед дают суп овсяный, огурцы со сметаной, блины со сметаной, сыр голландский и сколько угодно сладкого чая. Сейчас главная перед нами стоит задача — это приобрести примус, утюг и кастрюлю, без

них никак не обойтись. Пока имеем одну комнату. Комната хорошая, со всеми удобствами, и есть радио. Я так хотел иметь радио, слушать, чем дышит страна, и теперь радио говорит целый день. Я люблю слушать песни, новости с фронта и когда выступают наши вожди. Однажды к нам приезжал Лазарь Моисеевич Каганович, но я был на дежурстве и не видел его. Мне очень хочется побыстрее вступить в комсомол и поехать бить фашистов. Надеюсь, война к тому времени не закончится и я успею повоювать, хотя мама говорит — дурак.

Перебраться в Мытищи Марина решила после разговора с шурином, который в конце ноября сорок первого заглянул к ним в Ситники по дороге в Сыктывкар. От него же Марина узнала, что Сергей разжалован в рядовые и переведен из НКВД в пехоту.

— Подробностей не знаю, сама понимаешь.

— Ну хоть жив, и то слава богу, — ответила Марина.

— Под Москвой сейчас много мест освобонилось, — продолжал Матвей. — Мне начальник леспромхоза в Мытищах жаловался, что многих эвакуировали, кое-кто драпанул, а задания по Трудфронту не снизили. Если тебе тут так несладко, попробуй там. И к Сереге ближе будешь.

— А немцы как же? Там ведь фронт. Мы и так еле ноги унесли. Да и как я туда переберусь? Пропуск нужен, вызов... Кто меня отсюда отпустит?

— Телеграмму отправь. Я у этого директора адресок взял. А еще на всякий случай телеграфируй в обплан и горфо.

— Ох, не знаю, — сомневалась Марина. — Тут какой-никакой, а паек. Мы ж в списке были. А если там не примут, куда я денусь с ребенком?

— Мое дело — предложить, — пожал плечами Матвей. — Из Москвы, по моим ощущениям, половина города выехала. При желании, наверно, и там можно устроиться. Хотя с ребенком на руках это, конечно, затруднительно.

— А Сталин тоже уехал? — ахнула Марина.

— Кто ж тебе это скажет! Официально не сообщалось. Седьмого ноября на Мавзолее парад принимал.

Прощались они так, словно не чаяли друг друга увидеть. Марина рыдала на плече шурина, Матвей даже растерялся.

— Может, тоже в Сыктывкар махнешь? — предложил он. — Туда немцы точно не дойдут, даже бомбардировщики их не долетят.

— Боюсь я. Сама не знаю чего, а боюсь.

Прекрасно она знала чего. Матвей — холостой, а она замужем, да с ребенком. Как они в Сыктывкаре жить будут? И как потом в глаза Сережке смотреть?

Разговор этот на короткое время ободрил Марину, вдохнув смутную надежду на лучшее. Но тем же вечером Петр Викентьевич вернул ее к прозе жизни:

— Марина Прохоровна, ваш Гога утащил кусок сахара. Так что с вас причитается.

Марина тяжело посмотрела на него и выдала тираду, после которой жизнь с Глазковыми стала реши-

тельно невозможна. Оставалось попытать счастья в Мытищах. Рвануть, не дожидаясь вызова. Адрес у нее есть. Лишь бы по дороге не остановили.

В Мытищи она прибыла за три недели до нового года. Стояла лютая стужа, денег оставалось в обрез, к тому же и Гошка загрипповал. Зато директор встретил ее с распростертыми объятиями.

— Оформлю вас заведующей смолокуренно-скипидарным производством. Вы кем в эвакуации трудились?

— Бонификатором, — устало произнесла Марина, немного осоловев от жары в его кабинете.

— А зарплата какая была, если не секрет?

— Семьсот. Плюс паек.

— Здесь будете получать тысячу. Но работать придется не покладая рук. Потому что рук-то нам и не хватает, — захихикал он, довольный каламбуром. — Сына доктору покажите. А то, знаете, у нас тут сыпной тиф гуляет и даже малярия. Вам прививки не делали? Надо сделать. Трудоустроим вас задним числом, чтобы поликлиника не артачилась. Будут требовать деньги за лекарства, хинин там, крихин, ничего не давайте, звоните мне. Жилье предоставим, а баня — три рубля. В дровах, к счастью, недостатка не имеем. А вот керосин — за свой счет. Всё понятно?

— Всё понятно.

В апреле сорок третьего она получила долгожданную весточку от мужа. Он писал, что лежит в ржевском госпитале после ранения в живот и, видимо, задержится там надолго.

У Марины словно перещелкнуло что-то в голове. Она вспомнила, как наемднн в очереди за пшенкой женщины делились сведениями об отцах, мужьях и сыновьях, а одна возьми и всхлипни: «У Катки Ялмышевой муж сидит. Счастливая же баба!» И все согласно закивали — да, счастливая, повезло ей! Еще там стояла женщина с двумя маленькими детьми. Продавец, увидев ее, воскликнул простодушно: «Всех мужей поубивали, а дети всё родятся и родятся!» И в этой его фразе не было никакой иронии или, упаси боже, злобы — просто изумился такому феномену.

Вспомнив всё это, а еще вспомнив, что Матвей два месяца назад странным образом задохнулся в машине в своем Сыктывкаре, а значит, запасного аэродрома у нее больше нет, Марина твердо решила: ехать! На следующий день прямо с утра она явилась к директору.

— Никифор Кузьмич, дайте неоплачиваемый отпуск на две недели.

Директор уставился на нее как на сумасшедшую.

— Марина, брось шутковать! В Пицунду, что ль, собралась? Или в Крым? Там стреляют, я чаю.

— Мужа хочу забрать. Он в Ржеве лежит. Тяжелый.

— Мало ли кто у кого где лежит, — постучал директор толстым пальцем по вороху бумаг на столе. — У нас план.

Он был еще не старый, но весь седой, с гнусавым голосом. Чернильная душонка.

— И еще мне надо, чтобы за сыном кто-то присмотрел, — продолжила Марина, точно не слышала его слов.

А чтобы он не подумал, будто она и впрямь шутит, Марина села сбоку от его стола на стул и выпрямилась, глядя директору в глаза.

— До Ржева двести километров, — отчеканила она. — А вам еще один работник будет. Мужик.

Это был хороший аргумент. Из мужиков в леспромхозе остались только директор и сторож. Весь тяжелый труд свалился на баб и школьников.

— Да он же раненый... — начал было директор, но тут же замотал головой, опомнившись: — Не уговаривай, Марина! Смешно это, ей-богу.

— Что мне сделать, чтобы получить пропуск?

Директор протер очки.

— Ты о чем?

— Мне нужен пропуск, — с расстановкой произнесла Марина. — Что мне сделать? Я всё выполню.

— К-как? — растерялся начальник.

— Сделаю, что скажете, — твердо заявила Марина.

Директор откинулся к спинке стула, с интересом разглядывая ее.

— Да ну?

— Ну да.

Короче, пропуск она получила, хотя на душе и было мерзко. Лишь бы Сергей не узнал.

До Волоколамска добралась на поезде (как раз плотно восстановили), дальше — на попутке по изрытой воронками и гусеницами танков дороге. Больше всего Марина опасалась, что на подъезде к городу ее остановит патруль. Но обошлось.

— А фронт сейчас далеко отъехал, — объяснил ей молодой улыбчивый шофер полуторки, который вез в Ржев почту для солдат и взялся подбросить Марину. — Два года фрицы тут держались, а сейчас взяли и ушли.

Три часа грузовик трясся по колдобинам, то обгоняя двигавшиеся войска, то пропуская их. Особенно долго приходилось ждать на переправах, где иной раз проезжала колонна из сотни машин, танков и самоходок с пушками на прицепе. Оглушительно ревели двигатели, гомонили солдаты, командиры ругались друг с другом и орали на подчиненных, кто-то играл на гармонии, а еще мимо неслышно шныряли легковушки с какими-то военными чинами внутри. Марина пока не научилась разбирать новые знаки отличия и вообще с удивлением взирала на людей в погонах — они ей казались вынырнувшими из прошлого белогвардейцами. Иногда с гулом пронеслись самолеты, и Марина рефлексивно вздрагивала, всматриваясь в небо. Шофер успокаивал ее: «Вы, гражданочка, не нервничайте. Это наши. Теперича всё небо наше!»

— А если боязно, шепчите молитву ангелу-хранителю, — продолжал он. — Мне завсегда помогает, иначе б не дожил.

— Да какие молитвы? — отмахнулась Марина. — Мы ж коммунисты.

— Будто коммунисты из другого теста слеплены! Вот, послушайте: «Ангел Божий, хранитель мой святой, на соблюдение мне от Бога с небес данный! При-

лежно молю тебя: ты меня сегодня от всякого зла сохрани, ко благому деянию наставь и на путь спасения направь, аминь». Хуже-то не будет!

— Хуже не будет, — согласилась Марина.

Шофер был рад соседству женщины. Он развлекал Марину армейскими байками, а однажды спел песню на мотив «Катюши».

Разлетались головы и туши,
Дрожь колотит немцев за рекой,
Это наша русская «Катюша»
Немчуре поет «За упокой».

В страхе немец в яму прыгать станет,
С головой зароется в сугроб.
Но его и здесь мотив достанет,
И станцует немец прямо в гроб.

Ты лети, лети, как говорится,
На кулички, к черту на обед.
И в аду таким же дохлым фрицам
От «Катюши» передай привет.

Расскажи, как песню заводила.
Расскажи про Катины дела.
Про того, которого лупила,
Про того, чьи кости разнесла.

Все мы любим душечку «Катюшу»,
Любо слушать, как она поет,
У врага вытряхивает душу,
А друзьям отваги придает!

Марину всё это напускное веселье быстро утомило. Она думала о муже, и этот жизнерадостный дурачок со своими глупыми шутками только раздражал ее. Окружающая обстановка тоже не радовала глаз: обугленные остатки изб, сожженная техника, груды обломков с торчащими из них руинами кирпичных стен, осыпавшиеся и заросшие травой окопы, а еще кладбища с висевшими на воткнутых в землю палках дырявыми касками и полуистлевшими ремнями.

— Неужели и в Смоленске так? — вырвалось у нее.

— Теперь везде так, — отозвался водитель. — А вы из Смоленска будете? Вот удача-то!

— А вы тоже из Смоленска?

— Из Рославля. Давненько там не был.

— Надо же! У вас там остался кто-нибудь?

— Я давно в родных местах не был. Никого не осталось. Раскулачили нас, — добавил водитель, помедлив. Потом закурил, открыв окно, и продолжил мечтательно: — Нас восьмеро было. Родители, дед с бабкой, братьев трое и невестка — жена старшего брата. Раскулачили в тридцатом. Мне как раз двенадцать стукнуло. Работали все на земле, десять соток. Взяли у государства в аренду двадцать. Всей семьей вкалывали. В сезон помогали нам еще дядька с женой. Он на железной дороге трудился. Пасека была. Пара лошадей, корова и телка. Куры были. Возле дома садик. Яблоки, вишни, сливы, смородина. Всё свое. Жили неплохо. Налоги государству платили, и себе остава-

лось. С огорода почти ничего не продавали, один мед. Всё на себя уходило. Считались середняками, зажиточными. В первую волну в колхоз не вступили. Дед был голова в семье и напрочь не захотел. «Как это, говорит, отдать всё нажитое в общий котел?» Многие ж вступали в колхоз без ничего, даже лошадей не имели, и без коров, а всё становилось общим. Поначалу нас и не трогали, а во второй заход арестовали отца, продержали два месяца и выпустили, потому как пообещал вступить. Иначе бы всё отняли. Перед тем отдал дяде лошадь, телку, пять ульев. А с остальным хозяйством пошел в колхоз. Дед и тогда еще упрямылся, но куда ж денешься? А как там узнали, что часть хозяйства отец дядьке отдал, арестовали второй раз. Пришили, что утаил часть имущества от колхоза, ну и раскулачили. Всё отобрали. — Шофер выкинул бычок в окно и вздохнул. — Зря, конечно, дед с отцом упирались. Ошибка это была, и били нас за нее жестоко. И не только нас. Тысячи, а может, и миллионы. Кто же сеять хлеб будет? Чем кормить будут страну без нас, без крестьян-то?

— И что с вами было дальше? — спросила Марина, для которой вся эта деревенская жизнь казалась почти такой же экзотикой, как романы Жюль Верна, которые читал Гошка. Она была городская, о жизни в деревне слышала только от Сергея да бабы Раи. Но Сергей почти ничего не говорил, а баба Рая ума лишилась, ничего не сообщала.

— Выслали за Урал, на лесозаготовки. С собой почти ничего не позволили взять. Ночью из дому выселили, мы только одежду кое-какую захватили и кой-что из посуды. Вначале тяжело было. Работа непривычная, зимой стужа, летом — гнус, а он, я вам скажу, страшней мороза. Жили в бараках. Без тулупов, без валенок. Ну, постепенно как-то обустроились, стали обывать. Самое ведь обидное что? всю нашу работающую семью засчитали врагом народа. А к этому обвыкнуться нельзя. Всё думаю, почему же нас раскулачили, когда мы честно работали? Мы ж никого не эксплуатировали, батраков не нанимали. И таких, как мы, раскулаченных, там полно было, многие и победнее нас. Ну, втянулись помаленьку, построили землянку, из барака ушли. Только все старшие очень по земле скучали. Особенно дед. Он еще крепкий был, а от тоски помер. А потом и бабка. Там их и схоронили. Потом отец покалечился, ногу сломал на лесоповале. Как залечил ее, решили мы все ж податься к земле. Долго мыкались, просили, наконец позволили нам выехать в Казахстан. Там пристроились в колхозе. За три года обжились и стали неплохо жить. Второй брат женился. В начале войны их всех взяли в армию, где-то воюют. И меня вот взяли. Отец — бригадир в колхозе, поднял производство, уважают его. Даже в армию не взяли. То ли по брони, то ли по калечеству — нога короче стала, хромает. С ним там невестки и дети их. Вот я всё думаю: перестанут нас после войны числить врагами народа или так и будем ходить, а? Как полагаете, гражданочка?

— Да какие ж вы враги народа? — вырвалось у Марины.

— А вот такие. Я, может, сам и не враг, но сын врага народа. Это сути не меняет. В лесотехнический меня не приняли. Зато на войну для защиты отечества, советской власти очень даже взяли. Разве ж я не хочу победы? Больше жизни хочу! Но обидно сложить голову, а остаться сыном врага народа. Уголовники кровью вину искупают, судимость у них отбирают, а для меня вот эта дверца закрыта. Враг навечно. Вот и живу с этим грузом. Очень это трудная ноша, гражданочка! Даже на поведении отражается. Каждый шаг выверяю, всё время как бы не в своей тарелке, только и жду, что скажут: «Ты сын врага народа, и не по пути тебе с нами... Нельзя тебе это поручить». Автомат мне дали, а вдруг и его отымут? Хотя не должны. Начальство там в бригаде знает, кто я. В анкетах об этом написано, и органы вслед всё передают, куда б меня ни перекинули. Вот и вы знаете обо мне. Только хотел бы, чтоб об этом осталось между нами. Добро?

Марина кивнула.

— Хочется очень ранение получить, — признался шофер, помолчав. — Может, тогда стану вровень с советскими людьми. Как пострадавший при защите родины.

— Дети за родителей не отвечают, — неуверенно произнесла Марина. — У вас же на лбу не написано, что вы из раскулаченных.

— Так-то оно так, а только я будто меченый. В техникум не приняли. В другие места тем более не возьмут. Останется ли пятно после войны? Вообще очень трудно так жить. Дружить с кем-то не могу. Не всякий захочет общаться с сыном кулака, а если утаить и это потом вскроется, тем паче мне не простят — может, карьеру кому испорчу. А если случайно что натворю? Другому всё сойдет, а мои шаги под увеличительным стеклом рассматривать будут. Вот и приходится на каждое действие оглядываться, за каждым словом следить. Будто ущербный какой.

Так и доехали. Подъезжая к городу, шофер опять повеселел и, высаживая Марину возле госпиталя, быстро начиркал что-то карандашом на листке, вырванном из блокнота.

— Вы это, дамочка... если муж ваш того, помрет, вы напишите мне, вот номер пэс и части.

Марина аж подавилась. А шофер, нисколько не смутившись, подмигнул ей и был таков.

Госпиталь — опаленная кирпичная коробка в два этажа с зияющими дырами окон, из которых торчали дымящие трубы печей-«голландок». На углу — цементный столб без проводов, испещренный выщербинами от пуль, а чуть дальше — покореженные выстрелами железные ворота, когда-то закрывавшие вход во двор.

Вдоль ворот тянулся полузасыпанный окоп. Улица была пустынная, только метрах в трехстах от госпиталя стояла окутанная паром полевая кухня, рядом с которой толкалось с десятков бойцов.

Начальник госпиталя — налысо выбритый кавказец в гимнастерке с тремя большими звездами на погонах — сидел в большой зеленой палатке, поставленной на

задах госпиталя, посреди руин небольшого, почти совсем разрушенного строения. На столе у него стояло два телефона, лежали какие-то папки, а в центре палатки торчала холодная «буржуйка».

— Это — полевой госпиталь, гражданка, — произнес он с акцентом, веско глянув на Марину. — Тяжелораненых давно отправили в тыл. Когда, говорите, ваш муж к нам поступил? Месяц назад? Так он умереть уже мог. А если жив, в Волоколамске отлеживается.

— Да я ж только оттуда! — с досадой сказала Марина.

— Вот и возвращайтесь. Документы покажите свои, — вдруг потребовал он.

Проверив паспорт Марины и пропуск, начальник вроде бы смягчился и спросил:

— А если он неходячий? Как собирались его транспортировать?

Марина пожалала плечами.

— Сообразила бы что-нибудь.

— Эх, женщины, женщины! — Начальник порывлся в папках, открыл одну. — Как, говорите, его имя? Авдеев Сергей Дмитриевич? — Он проехал пальцем по списку, перевернул страницу и проехал по следующей. — Здесь нет. — Он открыл еще одну папку и повторил свои действия. — И здесь нет. Значит, не умер. — Подняв глаза на Марину, сообщил: — Мы завтра возьмем партию раненых в Волоколамск, подбросим вас. Но не задаром. Согласны поработать на нужды фронта?

— А что надо делать?

— Перевязочные пакеты вязать. Но перед тем надо вас через вошебойку пропустить. Бог его знает, какая дрянь на вас налипла по дороге.

Они вышли из палатки, и начальник повел Марину вглубь бывшего двора, петляя меж руин и каких-то невысоких продолговатых холмиков, насыпанных параллельными рядами.

— Это что, могилы? — спросила его Марина.

— Бог с вами. Огород.

— Огород? И кто ж это собирать будет? — удивилась Марина. — Не навечно ж вы тут.

Доктор иронично покосился на нее.

— Посидели бы вы с моё под Ржевом, не задавали бы таких вопросов. Вот чего у нас совсем мало — это соли. Вечно ее не хватает. У вас нет случайно?

— Нет.

Врач увидел вдалеке идущую девушку и замахал ей.

— Юля! Подойди!

Девушка приблизилась. Она была невысокая, миловидная, с круглым лицом и большими глазами. Тоненькая фигурка терялась в накинутой на плечи шинели. В левой руке девушка держала ведро с потухшими углями.

— Вот, покажи Марине Прохоровне, где у нас вошебойка. Зачисляю ее до завтра в наш штат. Будете вместе лепить ипэпэ. Накорми, не забудь указать отхожее место. Переночевать у вас есть где? Завтра повезешь ее в Волоколамск.

— Да у нас же муравейник, Омар Искандерович, — тонким голосом возмутилась девушка. — Если только у соседней разместить.

— Значит, у соседней. Марина Прохоровна, оставляю вас на попечение Юлии Владимировны. И пожалуйста, — добавил он внушительно, — держитесь подальше от бойцов. Народ тут разный, к тому же с фронта, у многих мозги набекрень. А вы — женщина. Сами понимаете.

Вечером раненым показывали американский фильм про трех мушкетеров. На пустыре между госпиталем и огородом развернули экран и расставили койки. Тех, кто не мог ходить, прямо на кроватях вынесли на свежий воздух. Пришли и врачи.

Медсестрам зрелища не досталось, они крутили индивидуальные перевязочные пакеты. И это было ужасно обидно! В двухстах шагах от них гремели разудалые голоса и играла веселая музыка, а Марина и три медсестры при свете огня из артиллерийских гильз, заправленных соляркой, заворачивали ватно-марлевые подушечки с бинтом в газетную бумагу, перевязывали их ниткой и стерилизовали в немецкой бочке, приспособленной под автоклав. Вечера были еще холодные, и Марина мелко дрожала во влажной после вошебойки одежде. Девчонки поставили ей примус с кипятком, чтобы согрелась.

— К большим делам мы готовы, а вот к мелким, как выяснилось, — нет, — делилась с ней Юля. — Вот, к примеру, примус. Недостатка их в частях нет, зато горелки, капсулы и даже иголки днем с огнем не сыщешь. Или вот индивидуальные пакеты. Вата, марля, бинты — всё в наличии. А во что все это заворачивать? Бумаги-то нет. Приходится использовать газеты. Или вот конская упряжь...

На вид ей было лет двадцать, а по разговору — все тридцать пять. Воевала чуть не с первого дня войны («Накинула годик, чтобы взяли в санитарки»), пережила окружение, потерю отца и учебу в авиашколе, битком набитой бывшими беспризорниками и детьми заключенных.

Две другие девушки (их звали Рахиль и Фая) были постарше и оказались в армии не столь извилистым путем, но тоже насмотрелись всякого. Марина чувствовала себя рядом с ними неопытной девочкой. Что у нее было за плечами? Эвакуация, работа на торфяниках и в леспромхозе. А эти девчонки в свои двадцать с небольшим прошли через такое, что свист пуль их пугал не больше, чем шум ветра. От войны загубели — говорили развязно, как солдаты, да еще с матерком. Марину это коробило — стыдно должно быть молодым девчонкам так выражаться, — но она не чувствовала себя вправе делать им замечание. Они тут защищали родину, а кто она такая?

Они работали, сидя на кирпичях возле «кровавого домика» — чудом уцелевшего кирпичного сарайчика со свежепрорубленными окнами, в котором жили начальник госпиталя и одна из медсестер, молчаливая темно-рыжая еврейка Рахиль с точеным остроносым лицом. Марина из интереса заглянула туда и оторопе-

ла от невероятной чистоты. Будто попала в царство Спящей красавицы. На стенах и в окнах висели марлевые занавески, в углах большой светлой комнаты стояли градусники. Широкие полки также были закрыты марлевыми пологам, на полках под ватным одеялом лежали флаконы с кровью, плазмой и противошоковой жидкостью. На некоторых флаконах красовались послания от доноров: «Здравствуйте, дорогой защитник Родины! Я посылаю вам свою кровь, чтобы вернуть вам здоровье»; «Дорогой боец, если моя кровь поможет вам выздороветь, то прошу ответить мне скромной записочкой. С приветом, Катя»; «Дорогой боец-братик! Я вправе называть вас так, потому что моя кровь смешалась с вашей»; «Я как донор буду счастлива, если моя кровь поможет вам».

— Кровь — вещь капризная, живет не дольше двадцати одного дня, — пояснила ей Рахиль. — Не переносит холод и жару. Надо вставать ночью несколько раз, чтобы проверить температуру в комнате. Возни много, а работа не видна.

У нее был вечно недовольный вид, и в разговоре она почти не участвовала. «Ну да, она ж с начальником, — подумала Марина. — А тот ее вместо фильма засадил с остальными повязки делать. Вот и дуется». Лишь на следующий день, едуци в Волоколамск, Марина узнала от Юли, что вся большая семья Рахили осталась в Минске. Увидеть ее Рахиль не чаяла и по мере приближения к городу всё более ожесточалась.

Сначала, пока Марина и медсестры присматривались друг к другу, разговор шел о вещах отвлеченных — о втором фронте, например. Марина предположила, что англичане должны высадиться в Европе в ближайшее время, скорее всего — во Франции («Там же ближе всего к ним»). Фая заспорила: «Наивная! Высадка будет на Балканах... Иначе как они будут пробиваться к нашим частям?» Юля сказала, что доверять англичанам нельзя, тем более сейчас, когда подняли крик польские провокаторы. А Рахиль вдруг заметила с неприязнью, что поляки — те же фашисты.

После этого разговор съехал на темы более приземленные. Девчонок больше всего интересовало, как там жизнь в тылу. В письмах, которые им слали родственники, все подробности вымарывались цензурой. Об истинном положении дел оставалось догадываться по оговоркам и намекам.

— Тут одному из третьей палаты пришло письмо на березовой коре... — поделилась Юля. — Это что же, совсем в тылу дело швах? Мы-то привыкли, что у нас бумаги нет. А ее и у вас нет, выходит.

— Про бумагу не знаю, — сказала Марина. — В первой эвакуации тяжело было, сейчас получше. Питаюсь в столовой по второму разряду, плюс зарплата тысяча. На Восьмое марта дали доппаек: конфет двести грамм, сахару сто, помидоры, огурцы, капуста. На рынках много чего есть, но цены неподъемные. Картошка тридцать — тридцать пять рублей кило. Керосин — шестьдесят рублей литр. Хлеб — сто рублей кило. Огурцы — два пятьдесят — три за штуку. Капуста и морковь — по двадцать. Скоро, наверно, всё подешевеет с этими огородами. У нас даже директор на

грядках теперь копается. Недавно видела объявление о замене зубов. Знаете сколько? Две пятьсот!

— А у нас тоже свой огород теперь есть... — весело отозвалась Юля. — Видели?

— Конечно. Не пойму только зачем. Уж армию-то, наверно, кормят по высшей категории.

— Ну да, по высшей, держи карман шире, — хмуро сказала Фая. — Восемьсот грамм хлеба в день. Еще восемьдесят крупы и двадцать сахара. И то не всегда. Транспорт не хватает... из штаба бригады не всегда вовремя выделяют. Обычно на попутках всё привозят.

— На довольствие ставят в роте управления, — пояснила Марине Юля. — Должны готовить и на раненых, но никто ж не знает сколько их будет, заранее точную заявку дать нельзя. При большом потоке некогда писать заявки, да и отправить не с кем. Бывает, привозят много пищи, а раненые уже отправлены. Чаще наоборот. Вот вчера остались вообще без ужина — отдали раненым. А деньги нам тут ни к чему. Что на них купишь? Я вон триста шестьдесят рублей отдала в пользу армии, всё равно без надобности. Ни бумаги не достанешь, ни соли...

— Что вы всё о жратве да о жратве? — хмуро спросила Рахиль. — Давайте о чем-нибудь другом.

Раненые, смотревшие фильм, в очередной раз грянули смехом, и Марина спросила:

— Часто вам здесь кино показывают?

— Раз в месяц. Иногда в две недели, — ответила Юля. — Последний раз что у нас было, девочки?

— «Остров сокровищ», — ответила Рахиль. — А до того — «В старом Чикаго», американский.

— Мне больше наши нравятся, — сказала Фая. — «Свинарка и пастух» — такой веселый фильм! И песни какие красивые! От них жить хочется!.. Еще помню «Маскарад». С Мордвиновым и Макаровой. Прелестное кино! А про фашистов, сволочей, не люблю. Я их и так много вижу, чтоб еще в фильмах смотреть. Да и фильмы такие трагические, хоть на стенку лезь. «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок»... Не люблю.

— А помните «Ходжу Насреддина в Бухаре»? — спросила Юля. — Я же книгу читала — «Возмутитель спокойствия». И так она мне запала в сердце, даже стихи начала сочинять. А тут смотрю и глазам не верю — в точности как в книге!

— А я тоже про Среднюю Азию читала, — сказала Фая. — «Человек меняет кожу». Как строили канал в Таджикистане, и как враги пытались этому помешать. Очень интересно! Я ж до войны книг в руки не брала, разве что учебники. А здесь как-то подседа... Тоскливо же, хочется отвлечься. Когда Модзелевскому посылка с книжками пришла, он там половину на папирсы сдал, а я из этой половины «Виринею» выцепила. Чудная вещь!..

— Не ценит, значит, Модзелевский Лидию Сейфуллину, — усмехнулась Юля.

— Ему Дюма интересней. И Пушкин.

— А вы знаете, девочки, что Степаняну из дома армянские газеты шлют? — сказала Юля. — А он их другим раненым читает за еду. Вот же куркуль!

— Я до фронта с одним начала переписываться, — сказала Фая. — Отправила подарок к седьмому ноября

и вложила записку. Наугад. А посылку получил какой-то деревенский парень, который едва-едва писать умел... И вот он в первом письме пожимал мне руку, во втором — другую руку, в третьем попросил фотокарточку, а в четвертом написал, что крепко целует. Каков нахал, а? Ну, я решила, что больше писать не буду. Нужны мне его поцелуи, как собаке, здрастье! А сейчас живу от письма до письма и вспоминаю того мальчишку. Жалко его до слез. Может, он и погиб уже...

— А я вот забыть не могу, как лейтенанта чуть не угробила, — сказала Юля. — Только-только прибыла на фронт, пошла к военврачу. И тут — минометный обстрел. Я ж до того в бою никогда не была, перепугалась до смерти, но иду по траншее, не сгибаясь, как идиотка. А траншея-то до пояса. И вот вижу: ползет впереди какой-то боец, и вдруг у него кишки лезут на снег. Меня так и зашатало. Ну, думаю, сейчас упаду. А лейтенант, который меня вел, орет: «Баба, ляжешь ты когда-нибудь, дура?» И тут до меня доходит, что он бы сам давно лег, если б не я. И смех и грех... — Юля осклабилась, смущенно поглядев на всех, а Фая с Мариной рассмеялись.

— А ваш-то муж тоже в живот ранен? — спросила вдруг Фая Марину.

— Да, — ответила та, мгновенно посерьезнев. — Это очень опасно, да?

— Хорошего мало. Но если до сих пор выжил, наверно, будет жить. «Животы» вообще тяжелые. Да и оперируют часто без анестезии. Помню, в Воронеже к нам на медпункт заглянул вестовой из соседнего полка и грохнулся в обморок. Говорит: «Мне так ни в одном бою страшно не было, как у вас, девушки».

Фая и Юля опять рассмеялись, а суровая Рахиль лишь криво усмехнулась.

— Хуже всего зимой, — сказала Юля. — Помните, девочки, как к нам танкисты шли потоком? Каждый второй — с ожогами. У них и без того одежда въелась в кожу, так еще на улице минус тридцать. Надо бы раздеть, чтоб перевязать, а как? Накладывали повязки поверх комбинезонов. Уж как они индеели, несчастные! Больно смотреть было. Шинель и полушубок уже не натянешь, так их пришлось в одних комбинезонах грузить. А до полевого госпиталя — два часа. Танкистам тяжелее всего.

— Мы из-за этого даже с Мишкой поссорились, — сообщила Фая. — Захожу к связистам, а у них — благодать: печь-каменка и буржуйка. Мишка что-то орет по радио на немецком, потом меня увидел и говорит: «Люблю фрицев, даже не знаю за что». А я-то — прямо с погрузки. Ну и высказала ему, дубине. Чтобы думал, прежде чем ляпать незнамо что.

— А я тебе всегда говорила, что Мишка твой — дурак, — заявила Юля.

— Твой-то снайпер лучше, что ль? За год в армии не научился по-русски нормально говорить.

— А где бы он научился, если все время сидит в лесу и отслеживает немцев? Зато человек хороший. А улыбка какая у него открытая! Ничего ты не понимаешь в настоящем счастье, Фая!

— Ну да, куда уж мне! Вот родится у вас ребенок, на каком языке будете с ним разговаривать?

— До этого еще дожить надо. Я так далеко не загадываю.

Повисла пауза, и вдруг Рахиль тихо запела:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...

И Юля с Файей подхватили:

И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Скоро закончился фильм, и раненые, весело гомоня, повалили в госпиталь. Некоторые, заметив в колыхающемся свете медсестер, повернули к ним и принялись обстреливать их двусмысленными шутками. Кто-то предложил медсестрам помощь, Юля замотала головой.

— Идите, товарищи бойцы. Без вас управимся.

Естественно, наибольшее внимание было приковано к Марине.

— А это что ж, новая? А не зайдете к нам, барышня, на огонек? Мы вас повидлом угостим.

— Шагайте, шагайте, — ответила вместо нее Фая. — А то швы разойдутся, будем вас тут по кускам зашивать.

Марина поморщилась, едва сдержавшись, чтобы не послать этих ходоков куда подальше. Остановило уважение к их подвигу.

— А ну отставить приставания к женскому полу, товарищи бойцы! — раздался чей-то властный голос. — Шагом марш по палатам!

Раненые нехотя разошлись. Из темноты выплыл офицер в распахнутой шинели и фуражке.

— Марина Прохоровна? — спросил он. — Я — здешний военфельдшер. Модзелевский моя фамилия. Вас уже разместили?

— Да.

— У меня есть место, если желаете. Могу и накормить. Есть кофе, ржаные лепешки, селедка.

Сказано это было до того вежливо, что Марина едва не купилась. Хорошо, что встряла Юля:

— Омар Ибрагимович уже распорядился насчет размещения, Аркадий Вацлавич. Вы опоздали.

— Не беда. Полагаю, он не рассердится, если Марина Прохоровна поменяет дислокацию.

— Право слово, это ни к чему, — глухо сказала Марина.

— Ну, надумаете — приходите. Моя палатка рядом с палаткой начальника госпиталя.

— Спасибо!

Марина посидела немного в молчании. Отчего-то вспомнилось потное и мерзкое лицо директора леспромхоза, его липкие руки, мокрое дыхание над ухом. А еще подумалось: неужто и Сергей — такой же? Вот же свинство!

— У вас всегда так или это в честь моего приезда? — спросила она у Юли.

— Всегда, — усмехнулась та. — Да мы уже привыкли, не обращаем внимания. Если только руки не начинают распускать. Тогда, конечно, приходится давать от ворот поворот.

А Рахиль вдруг шумно вздохнула и порвала нитку.

На ночь Марину разместили в подвале близлежащего дома, где уютилась семья местных жителей: дед семидесяти семи лет, его жена и два внука — двенадцати и шести лет. Тот, что постарше, был инвалид, подволакивал ногу и не мог разогнуть кисть правой руки, которая у него скрючилась как птичий клюв. А младший был очень слаб, почти не слезал с лежанки и каждые тридцать минут поднимал вой.

Марину встретили неприветливо. Но она вручила деду сто пятьдесят рублей и два куска сахара, которые среди прочих гостинцев везла мужу (по десять рублей на базаре шли), и тот мгновенно оттаял, даже притащил откуда-то сломанные носилки. Положив их вдоль прохода, накрыл издырявленной немецкой шинелью и сказал:

— Сегодня так подремлю. А ты, трясогузка, вон на топчан ложись.

Освещался подвал «летучей мышью», окна были закрыты ломаным кирпичом, недалеко от входа стояла железная печурка, топившаяся по-черному.

— Как же вы выжили? — поразилась Марина, увидев столь неприятный быт.

Дед охотно рассказал. Сын его, измотанный голодовками, умер от ерундовой простуды, невестку в прошлом году угнали в Германию, а через два месяца от бомбежек и обстрелов рухнул дом. Младшего внука кормили размягченным в воде хлебом из желудевой муки и свекольным мармеладом, потому он такой слабый. Старшего внука исколотили немцы, потому он такой колченогий.

— А раньше ловкач был! Спил у немцев под носом елочку на Новый год!

Как ни странно, невзирая на все эти мытарства, на русских дед сердился куда больше, чем на захватчиков.

— Немцы на нас и внимания не обращали, мы для них как уличные собаки были. А вот полицаи — это отребье, сволота, нечисть. Все отбирали подчистую, а попробуешь что утаить — волокут в гестапо.

Местных жителей регулярно гоняли на всякие работы, не разбирая пола и возраста. Деду и окопы приходилось рыть, и могилы, и дрова для немцев колоть. В квартире у них проживал немецкий майор, бабы его обстирывали, а он иногда угощал их хлебом и даже консервами.

— Хороший человек был. Меня еще в сорок первом ранило в голень, болело — страсть. Так он германского врача привел, тот мне ногу надрезал и омертвление прекратил. Кабы не это, не разговаривал бы я с тобой нынче. Зато комендант ну просто образцовой скотиной был. Величал нас всех меншами. Любил рукояткой пистолета по затылкам лупить. Когда наши в город первый раз вошли, выгнал всех, кто здесь оставался, на постройку баррикад. Даже мордovorотов из управы, хе-хе, хотя у них освобождение было. А у ме-

ня с бескормицы колотун в сердце, я два кирпича поднял и уже сдох. Так эта паскуда возле меня двух полицаев поставила. Только остановлюсь дух перевести, те сразу кулаками по мордасам, да с прибауткой. Нравилось им, вишь, надо мной куражиться, ублюдкам. Как тогда выжил, сам не пойму. Вечером еле дополз, потом два дня отлеживался. А соседки наши, Агаповы, мать с двумя дочерьми, кинулись из города куда глаза глядят, ну и нарвались на немецкий пост. Те им орут издали: «Хальт! Ложись!» Они залегли посреди улицы, два часа лежали, головы боялись поднять, а на дворе-то — не май месяц! Ну и вышло — сначала одна дочь поднялась, ей сразу пулю промеж глаз. Потом другая не выдержала — ей тоже. А мать до темноты лежала между них, глотала землю. Потом к нам пришла, рожа вся в грязи и глаза бешеные. Мы ей: «Ты откуда такая? Где дочерей потеряла?» Она начала рассказывать. Спокойно так, только щека дергается. Я ей говорю: «Девчонок жаль, но ты баба молодая, после войны еще замуж выйдешь. У меня тоже сын помер. Живу же». Ну, она покивала, а потом шмыг к окошку и вниз. Я-то бревном тогда лежал, только охал. Думал, хуже уж ничего не увижу. Да вот надумил черт этого шалопаю, — кивнул дед в сторону старшего внука, — гранату в немцев кинуть. Подобрал где-то на улице и швырнул. Те его поймали и отдубасили как следует. Весь день по нему топтались, будто масло взбивали.

— А ко мне соседка прибегает, — вступила в разговор его жена, сухая остроносая старуха с горящим взглядом. — Кричит: «Анна Петровна, там вашего Леньку убивают». Я было кинулась, да вернулась. Потому как если б увидела, что с ним эти сволочи творят, разве сердце бы выдержало? Бухнулась на колени перед образом Николы Угодника и давай молиться. Тут старый помирает, там Леньку лупцуют. Ну, вечером Ленька до нас по стеночке дошел. Весь перекоренный, точно по нему грузовик ездил. С тех пор такой и остался.

Они рассказывали об этих ужасах на удивление спокойно, будто передавали сюжет прочитанной книги. Чувствовалось, что всё в них выгорело, не осталось сил ни на рыдания, ни на ярость.

А старуха продолжала:

— А я ж еще подштанники господину майору тогда стирала. С ними своя незадача вышла. Борька, младший внучок, насовал в мыло стекла, а я и не заметила. Только когда полоскать начала, гляжу — а подштанники-то полосками распороты. Ну у меня сердце и упало. Вот и всё, думаю, вконец нас ухайдокают. Но спас господь. Приходит наш майор, я ему в ноги — не губи, мол, господин хороший, дите же малое. А майор так только взглянул на Борьку и ничего не сказал.

— Хоть и немец, а душа христианская, — вставил дед. — Полицай бы на месте расстрелял. Они потом, полицаи, наши раненых по городу добивали. А тех, кто в госпитале оставался, немцы, говорят, и вовсе живьем сожгли. Пятьсот человек. Так-то! Когда сын помирал, всё лежал на кровати с открытыми глазами и молчал. Я ему говорю: «Тебе бы покреститься, Федя, авось полегчает». А он только глаза скосил и ни-

чего не сказал. За сынков очень переживал, сам не ел, отдавал им всё, что по карточкам получал. Младший блевал и животом мучился, потому что не детская же это пища. Хорошо, соседи у нас евреи были. Немцы когда их вывезли, у них там барахлишко кой-какое оставалось. Ну, мы эти вещички-то быстро на базар, чтоб на еду поменять. Здесь базары знаешь какие бойкие были? А как деньги вышли, пришлось зубы на полку класть.

— У Любимовичей, которые от нас слева жили, тоже в семье были жидки, — вступила старуха, зло поглядывая на деда. — Одно только слово, что белорусы. Самые натуральные евреи! Если б их тоже вывезли, Федька сейчас живой был бы.

— Ну, опять завелась, карга старая! — проворчал дед. — Любимович мне снасти давал. Как я его заложить мог?

— А всё равно все под бомбой сгнули.

— Ну кто ж знал!..

Главврач волоколамского эвакогоспиталя, услышав фамилию Авдеева, расплылся в улыбке.

— А, наш Пинкертон! Как же, как же! Так что вы хотите, Марина Прохоровна?

— Так он здесь? — спросила Марина, и сердце ее заколотилось. — Я... я могу с ним встретиться?.. И почему Пинкертон? — насторожилась она.

— Ребята такое прозвище дали... Да вы у него спросите. В третьей палате обитает.

— Боже мой, — выдохнула Марина, не веря своему счастью. — Живой! А как он, товарищ доктор? Скоро оклемается? Хотя не говорите, сама увижу. Можно я к нему побегу?

— Это пожалуйста. — И врач закрылся от Марины разворотом «Правды».

Марина вылетела из кабинета и понеслась по коридору, бросая взгляды на двери палат. Номер десять, девять, восемь... Где же третья? На втором этаже, что ли? Поднялась туда и почти в конце коридора отыскала нужную дверь.

— Сережа! — крикнула она, врываясь внутрь.

В палате было десять коек. Сергей сидел на второй слева и резался в карты с двумя товарищами. Услыхав Маринкин голос, поднял глаза и замер с открытым ртом.

— Маринка! Ты, что ли?

Он был исхудавший, небритый, стриженный почти под ноль, вдобавок в какой-то штопаной-перештопаной пижаме серого цвета. Да и голос изменился — осип, загрубел.

— Сережа, Сереженька мой! — закричала Марина, кидаясь к нему.

Остальные выздоравливающие как по команде торжественно взревели и захопали.

— Задушишь, Маринка, отпусти, — захрипел Сергей, улыбаясь. — Я теперь слабый, соплей перешибить можно.

Она зарыдала, уткнувшись ему в плечо.

— Ну-ну, не плачь, — засмутился он. — Перед ребятами неудобно. Пойдем, что ли, в коридор. Кривчук, будь другом, подай костыли.

— У тебя что же, ноги не ходят? — перепугалась Марина.

— Говорю же, слаб я. Приходится вот так.

Она бросилась помочь ему, но он отстранил ее и довольно ловко встал на костыли. Так они и вышли: он — переставляя костыли, она — ласково положив ему руку на плечо, будто опасаясь, что муж развалится.

В коридоре прогуливалось несколько раненых в таких же застиранных пижамах и носились туда-сюда медсестры, зыряка в сторону Маринки. Та не замечала их, возбужденно рассказывая мужу о своей эпопее, и перебивала сама себя вопросами: хорошо ли его тут кормят? Как соседи? Не бомбят ли город? Что говорят доктора?

Сергей, присев на подоконник, усмехнулся.

— Ты, Маринка, сама бомбишь вопросами не хуже немцев. Боевая ж ты женщина! Не ожидал. Вот совсем! А Гога как же? Один, что ль?

— Да я ему карточки все оставила, не пропадет. Ты-то как? Почему тебя тут Пинкертоном прозвали?

Сергей с досадой покачал головой.

— Уже донесли? Языком метут что помелом. — Он усмехнулся. — Меня пленный фриц подстрелил. Баба местная укрывала его в погребке, шинель мою для него умыкнула. Новую! Хорошо, пацан ейный заложил. Я пошел к этому погребу, а фриц возьми и пальни. Прямо мне в пузо. Вот и мыкаюсь теперь по госпиталям. Зато из штрафников изъяли! Искупил вину перед родной! Так что теперь я чист.

— Она что ж, дура — немца прятать? — не поверила Марина.

— А спроси у нее! Теперь с особистами где-то объясняется.

Марина опять обняла его, погладила по колючему затылку.

— Что ж ты такой непутевый, Сережа? Рана-то не глубокая?

— Куда там — неглубокая! Полбрюха разворотило. Чуть кровью не истек.

— Ну слава богу, что не истек, — выдохнула Марина. — Я чего приехала-то? Забрать тебя хочу. Чтоб дома выздоравливал. А вернее, в Мытищах. Мы же сейчас там обретаемся. Поехали, а?

— Дельная мысль, только кто ж меня отпустит? Я боец Красной армии, как-никак. Это дезертирство будет. И трибунал. А с меня уже погоны сняли. За редицив, значит, шлепнут без долгих слов.

— Неужто ничего нельзя сделать?

— Не знаю... Потолкуй с главврачом. Может, отпустит. Им тоже нет резона меня здесь держать, бинты с лекарствами тратить.

— Ну, я схожу тогда, а ты угощайся гостиницами, — заторопилась Марина. — Я у тебя там на кровати узелок оставила.

— Это ты зря. Парни небось уже всё распределили. У нас такое не залеживается.

Марина всплеснула руками, но муж лишь беззаботно отмахнулся.

— У нас тут всё общее. Ты курица случаем не привезла? Курить охота — сил нет.

— Как-то не подумала. Ну, я побегу. А ты меня в палате обожди.

Сергей кивнул и заковылял обратно в палату.

Главврач ожидаемо изумился просьбе, но упираться не стал.

— Забирайте, если так невтерпеж. Освободите нам койкоместо. Только имейте в виду: больше девяноста дней он лечиться не должен. Потом — либо обратно в войска, либо комиссовать. Первый месяц он уже отмотал. Значит... — главврач обернулся к отрывному календарю на стене, — не позже девятнадцатого июня ему следует явиться сюда за справкой о выписке. А там уже по состоянию здоровья будем смотреть.

— Да ему же всё брюхо разнесло, — сказала Марина. — Какие войска? Может, вы его прямо сейчас комиссуете, товарищ врач?

— Не имею права, гражданка. И имейте в виду: если до девятнадцатого июня включительно ваш супруг не появится в этом кабинете, сообщим куда следует.

Марина чуть не расцеловала его. Полная счастья, опять взлетела на второй этаж.

Рядом с третьей палатой ее подкарауливал какой-то пациент. Стоя возле окна, он тискал свернутый в трубочку тетрадный лист и елозил спиной по оштукатуренной стене. Услыдав шаги Марины, слепо повернулся в ее сторону и робко спросил:

— Барышня?

Марина остановилась. Раненый отлепился от стены и с застенчивой улыбкой двинулся на нее, глядя куда-то поверх головы Марины.

— Барышня, вы же грамотная, да? В школе чтению учились?

— Допустим.

— Прочтите мне письмецо, а? Сам не могу — осколком в голову получил, теперь в глазах все расплывается.

— А других грамотных здесь нет, что ли? — спросила Марина не очень вежливо. — Я к мужу спешу.

Боец криво усмехнулся.

— Тут такое дело. Боюсь я. Если кто из здешних узнает про мое житье, на смех могут поднять. Или еще хуже — жалеть будут. Меня жалеть не надо. Я сам кого хошь пожалею. Так прочтете, барышня? Сделайте одолжение.

— Н-ну давайте, — неуверенно ответил Марина. — Прямо здесь вам зачитывать?

— Тупичок видите? Где дверь на пожарную лестницу. Давайте туда отойдем.

Они отошли, и Марина, взяв мятый-перемятый тетрадный лист, начала медленно продираться сквозь закорючки неумелого крестьянского почерка.

«Здравствуйте дорогой и любимый муж Михаил Григорьевич! Шлю привет и масса наилучших пожеланий! Письмо твое получила посланное тобой 22.1.43 года, за которое сердечно благодарю. Из твоего письма я поняла, что ты на меня очень обижаешься что я

совершила такое преступление что вышла замуж за лейтенанта. Конечно, я не совсем хорошо сделала, что я вышла, но принимая во внимание все сложившиеся обстоятельства я думаю, что ты со временем всё забудешь и простишь во-первых, что меня заставило так сделать это то что одной трудно жить тем более в мои годы второе то, что он человек очень самостоятельный и хороший он очень деловой не смотря на то что ему всего только 24 года и он имеет звание старшего лейтенанта. Где я не была и ни ездила такого человека не встречала! Миша! хотя он человек и хороший и любит меня но вечно тебя я не забываю твои письма на меня очень действуют и когда его нет дома я несколько раз перечитываю твои письма и плачу пишу сейчас тебе письмо и плачу это письмо было мокро от моих слез. Миша ты мне сможешь всё простить что я сделала то когда вернешься, то приезжай прямо ко мне а этому я скажу что ты был мне от скуки а не муж, муж мне тот с кем я жила 12 лет и имею от него дочь. Любимый Миша этот самый лейтенант который мне от скуки купил мне корову еще заставлю купит велосипед и патефон а тогда можно послать на хрен. Дорогой Миша ты пишешь мне о том что я обижала свою дочь но это не верно. Миша не смотри на своих родителей что они тебе пишут им что бы дочку они отдали мне она очень дорога и очень часто по ней плачу но они мне ее не отдают. На этом письмо свое писать кончаю. Желаю тебе дорогой Миша успеха в победе над врагом проклятыми фашистами бей немцев крепче а вернешься заживем лучше прежнего. За тем дорогой муж досвидание остаюсь любящая тебя жена твоя дуся. Как получишь мое письмо ответ жду с нетерпением дорогой Миша!»

Марина подняла на бойца взор. Тот стоял, тарась куда-то мимо нее и жуя губами.

— Что ж, выходит, ждет она меня, а? — спросил он. — Любит, зараза! А с лейтенантиком у нее так, от житейских неурядиц. Верно?

— Ну, получается так, — согласилась Марина.

— Значит, всё хорошо у нас с нею! — воодушевился боец. — Всё ладненько! Вот счастье-то! Вот же счастье! — воскликнул он и вдруг заплакал. — Думал, уж всё — кончено, капут. А она, значит, всё так же слабость в сердце ко мне имеет. Ждет, дуреха. Вот же спасибо вам, гражданка! Самое большое душевное спасибо!

— Да не за что, — пролепетала Марина, потрясенная неожиданной реакцией бойца. — Так я пойду?

— Не имею возражений, барышня. Сергею лучшие пожелания!

До вокзала их подбросили на больничной полуторке. «Заодно керосину возьмешь», — напутствовал главврач водителя. Тот уже в кабине объяснил Марине: «Там базар недалеко. Меняют керосин и соль на хлеб и картошку. Мы иногда затовариваемся, если снабженцы подводят».

На площади из мегафонов гремела песня:

Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь! Огонь!

Марина, счастливая своей удачей, смотрела на мужа и целовала его в заросшую жестким волосом щеку.

— Сережа, как же хорошо!

— Маринка, — сказал он ей, и в глазах его стояли слезы, — такую, как ты, бабу да во всем мире не сыщешь!

Они прошли в полуразрушенное здание вокзала: зал ожидания лежал в руинах, в помещении для касс отсутствовала половина стены. Сергей, которому тяжело было стоять, присел на бордюр у края дороги, Марина встала в очередь за билетами.

Пока ждала, наслушалась всякого. Прямо перед ней два мужика рабочего вида обсуждали цены и пайки.

— Давали обувь по спискам. Нас там нет, конечно. Ну что за хрень? Да еще матери пришлось отправить два бревна для топки. Дочка больше всего по сахару скушает. Извелась уже. Я ей говорю: «Зубы здоровее будут».

— У кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий. Шурин прикреплен к магазину Совнаркома. Ежемесячно получает пять кило муки белой, три кило мяса, три кило масла коровьего, три кило селедок, кило сахара и конфет, кило сыру, колбасы, чай, капусту, пряников кило, — перечислял мужик, жадно блестя глазами. — И всё задешево, по твердым ценам. Сеструха говорит, они на базаре ничего не берут, только с закрытого питания. Хлеба хватает. Она сама получает полкило масла и два кило мяса. Ну и муж со своего предприятия тоже приносит кости, ноги и головы. Я к ним забрел как-то на ужин. Селедка, фасоль, борщ, мясо, пюре и кутья. Так-то вот. Путевку еще достал бесплатную. Тока на расходы и еду пришлось собрать тыщу. Загнали свое шмотье за восемьсот — очень даже зажиточно живут. И еще жалуются — мол, заняли триста, чтобы дочери купить балетки.

— Нам дня четыре тому пришло письмо от тетки. Просит выслать посылку вещевую и продовольственную. Говорит, уже доходит, весит три с половиной пуда. Так у меня и Людка не больше пяти пудов весит. Для заключенных вроде как посылки должны приниматься, у них там некоторые получают, даже из Москвы. Я сунулся на почту, там говорят, посылки сейчас никому не принимаются. — Мужик достал из нагрудного кармана самокрутку и уныло зажал ее уголком рта. — Людка тут дошивала шубу за девятьсот рублей, но не докончила — сил нет и времени. А самое-то паршивое — здешние готовы тебя в ложке утопить. Только и слышишь: вот понаехали, опивают, объедают. Вчера ходил в кубовую за кипятком — не дала старуха!

— Я с фронтовым комбатом на той неделе пообщался. Сопровождал эшелон на доформирование. Дак он причитал, мол, пережил поволжский голод, отца с братом схоронил, в окружении был и не боялся умереть, а сейчас будто душу переломили. Семья в окку-

пированной зоне. На годовщину свадьбы, говорит, справили шкаф, хоть не совсем хороший, но всё ж таки шкаф, а тут война. Теперь вот не знает, где жена, дети. Потом выпил, и пошли шутки: «Буду искать новую жену. Одна пишет: „Ни шагу назад“, — значит, не хочет, дрянь, чтобы я приехал в Москву». Говорит, в поездах третий и четвертый вагоны, где должны военные ехать, битком набиты инвалидами-спекулянтами. Он и сам купил у них сушеного гороха, свез его куда-то не очень далеко и продал почти за двойную цену. А других за сто рублей на десять лет пакуют.

— А у нас соседи — мать с маленьким сыном. Бежали из гетто, были в партизанском отряде. Потом выбрались, а отец уже по новой женился. Так вот бывает.

За спиной Марины пристроились две девушки. Одна развернула «Правду» и начала с чувством зачитывать другой передовицу, из которой ухо Марины выловило только громоздкую фразу о «гнусных измышлениях Геббельса по поводу якобы имевших место в тысяча девятьсот сороковом году массовых расстрелах советскими органами польских офицеров». Потом там пошло что-то о преступной деятельности польского посольства и высылке дипломатов, но Марине это было неинтересно, и она вновь обратила слух к беседе впереди стоящих.

Вскоре, однако, ее внимание отвлекла сценка на площади. Со стороны крытого ряда, торопливо объедая куриную лапу, медленно шел нестарый еще мужчина в странном одеянии: на голове его торчала хорошая когда-то шляпа, но остальная одежда представляла собой невообразимое рваньё. Его догнала субтильная, гладко зачесанная женщина и с криком «Отдай!» ухватила за плечо. Тот остановился как во сне, даже не подумав убежать или сопротивляться. Женщина вырвала у него лапу и несильно толкнула, сопроводив это крепким словечком. Мужик упал на колени и, прижав руки к груди, задрожал, а женщина осыпала его такими ругательствами, что позавидовала бы и шпана подзаборная. Самое удивительно, что мужик так и стоял на коленях, не поднимая глаз, — видно, настолько оголодал, что просто не осталось сил. Порыв немного, женщина плюнула ему в макушку и ушла, мужик же тяжело поднялся и побрел куда-то, приволакивая ноги. И никому не было до него никакого дела, словно такие вещи давно стали тут обыденностью.

Наконец подошла очередь Марины брать билет.

Ей несказанно повезло: пригородный отходил уже через час. Следующий пришлось бы ждать до утра — пути были забиты военными эшелонами.

Радостная, Марина поспешила к сидевшему на бордюре мужу.

— Скоро будем дома, Сережа! Даже не верится. Видишь, как быстро обернулись. Я-то отпуск на две недели взяла. Думала, мыкаться придется долго. А вот поди ж ты!

— Намыкались, значит. Исчерпали лимит, — усмехнулся Сергей. — Слушай, тут нигде папиросы не продают?

— Не видела.

К ним подошла полная женщина в обтерханном плаще, разбитых туфлях и застрявшем в волосах черном берете. Поставив на асфальт пузатый чемодан, спросила:

— Мужчина, а вы не военный? Не с фронта?

— Из госпиталя, — торопливо ответила Марина, опередив мужа. — А вам чего?

— Мужа небось домой везете? — искательно улыбувшись, сказала женщина. — Счастливая вы, дама! Я вот тоже из госпиталя еду. Сына не могу отыскать. Всех спрашиваю, может, видел кто? Амоев Даниил Бексолтанович. Вы не встречали?

Марина вопросительно посмотрела на Сергея. Тот покачал головой.

— Никто о таком не слыхал! — чуть не плача, воскликнула женщина. — Будто и не было человека. Как послал весточку из Волоколамска, так словно сквозь землю провалился.

Марина с сочувствием посмотрела на нее. Из какой дали она приехала?

— Ну, может, в других госпиталях есть, — сказала Марина. — Вы не падайте духом.

— Да уж все обошла... — вздохнула женщина и села на чемодан, вытерев пот со лба. — Двоих уж схоронила. Теперь только об одном думаю: пускай хоть немец придет, лишь бы всё закончилось. Может, хоть младший с войны вернется. А вот нет его. Нигде нет.

У женщины потекли слезы. Она быстро смахивала их, стараясь не разрыдаться, и озиралась вокруг, высматривая каждого прохожего.

У Марины комок подкатил к горлу. Что нужно пережить, чтобы дойти до таких мыслей! Ей хотелось возмутиться, но куда там!

— Человек — не иголка, найдется! — горячо заговорила она. — Может, он в плену или контужен. Даже после похоронок, бывает, живыми возвращаются! У нас вот случай был...

И она рассказала женщине подслушанную в поезде историю про то, как один боец год провоевал под другим именем, потому что частично лишился памяти. Женщина благодарно кивала и продолжала смахивать набегавшие слезы.

— Спасибо тебе, родная! — выдохнула она, поднимаясь с чемодана. — Ох, спасибо! Отдохнула, пойду. Не теряйте друг друга, милье!

— Табак тут продается, гражданка? — спросил ее Сергей. — Вы тут, поди, всё исходили, знаете.

— Вон там базар есть, спросите, — показала женщина и ушла, шаркая расхлябанными туфлями.

— Сходим, Маринка? — спросил Сергей. — Или тут посидишь?

— Нет, я теперь без тебя никуда, — ответила Маринка, и они пошли на базар.

Сергей весьма лихо передвигался на своих костылях, вот только быстро уставал.

— Слушай, а как же Матюха-то так? — пропыхтел он. — Ты писала, до смерти задохся.

— В машине заснул, а машина в гараже стояла. А как там на самом деле было, кто ж его знает!

— Эх, дурилка! Что за судьба у человека — от немца ушел, а в тылу помер.

Базар был на удивление пустынен. Вернее, продавцов хватало, а вот покупателей — раз-два и обчелся. Возле входа стоял балаган. Его стены украшали изображения розовощекой и полной женщины, от головы которой в разные стороны расходились паучьи лапки. «Новое оптическое обозрение, — гласила надпись над головой женщины. — Живая женщина-паук! Спешите видеть!» Сбоку от головы бились приписки со множеством восклицательных знаков: «Живая!!!! Живая!!!!» Изнутри слышались звуки баяна. В дверях стоял, громко звеня колокольчиком, длиннородый еврей в сапогах времен батьки Махно. Позвонив с полминуты, он обращался к пустой улице с быстрыми картавыми словами:

— Граждане, спешите видеть! Новое оптическое обозрение — женщина-паук. Очень интересно. Вход свободен. Женщина-паук. Живая женщина-паук!

Марина и Сергей не стали задерживаться возле балагана и поспешили дальше.

Цены их не порадовали. Пока ходили вдоль прилавков в поисках табака или махорки, прошло добрых полчаса. Наконец Сергей углядел недорогие папиросы и встал в очередь. Марина отошла, чтобы купить в дорогу консервов.

Вернувшись с двумя банками тушенки, она с ужасом увидела, что ее ненаглядного как мяч швыряют меж собой какой-то офицер и штатский в темно-синей рубашке и черных брюках. Офицер, узколобый и толстощекий, схватил Сергея за ворот шинели и заорал:

— Сейчас же отдай мне честь! Ну! Руки по швам!

Сергей, болтаясь на костылях, угрюмо держал руки в карманах. Офицер стал силой вытаскивать его ладони, лицо Сергея налилось кровью, и он покачнулся.

— Ты бандит, — прохрипел он. — С тебя надо и эту звездочку снять, а болтаешь о какой-то чести.

— Ах ты гнида тыловая, — процедил офицер и врезал Сергею по уху.

— Что вы делаете! — завизжала Марина, кидаясь к упавшему мужу.

— А вы, значит, жена будете этому дезертиру? — спросил ее штатский.

— Он не дезертир! Я его везу из госпиталя.

— Значит, дезертир, — с наслаждением произнес офицер и снова врезал Сергею, едва тот начал подниматься.

— Караул! — завопила Марина. — Помогите! Люди, что же вы смотрите?

Но никто не отозвался. Все, кто видел это, взирали на происходящее с интересом и опаской, точно на рискованную аттракцион.

— Вот мы сейчас в НКВД посмотрим, что вы за тип, — сказал офицер. — Пойдем-ка! — И, взяв Сергея за шиворот, он поволок его прочь с базара — тот едва успел схватить костыли.

— Да что ж это творится! — запричитала Марина, бросаясь следом. — Я жаловаться буду.

— С вами, гражданка, мы тоже побеседуем, — сказал ей второй. — Выясним, кто вы есть на самом деле.

НКВД находился неподалеку, за углом ближайшего дома.

— Вот, — объявил офицер дежурному. — Дезертира вам доставили, подделку под марку инвалида. Ты же не прочь попасть в выздоравливающие, да? — осведомился он у Сергея, который, тяжело дыша, навалился на стойку.

— Документы, — устало произнес дежурный.

Офицер и штатский предъявили свои удостоверения и ушли, причем штатский, явно красуясь, удалился строевым шагом.

Марина в бессильной ярости топнула ногой.

— Что за произвол! Мы ничего не сделали!

— Знаю я этих субъектов, — произнес вдруг какой-то милиционерский чин, сидевший возле дежурного. — Почти каждый день к нам попадают. То за дебош, то за спекуляцию. Надоели всем уже.

— Вы про нас? — сверкнула глазами Марина.

— Про тех, что вас привели. Известное хулиганье.

— Почему же сидите сложа руки?

— Это не наше дело. Пусть комендант разбирается, — равнодушно ответил милиционер.

В НКВД их мурыжили недолго. Проверив документы, тут же отпустили, но на электричку они опоздали. Марина заплакала от обиды и унижения.

— Зачем ты с ними сцепилась?! — набросилась она на мужа. — Как мы теперь доедем? Мне же билеты купить теперь не на что. Да и электричка только завтра.

— Они без очереди лезли, — хмуро ответил Сергей.

— Видал я такие хари, разъелись на ташкентском фронте...

Они долго сидели рядом с вокзалом, приходя в себя. Марина понемногу успокоилась и стала думать, что им делать дальше.

— Может, в госпитале денег занять? Соседи по палате могут помочь? Или на перекладных доберемся. Мир не без добрых людей. Тут ехать-то...

Сергей молчал, кивая. Затем криво усмехнулся:

— Вот всё сторицей-то и вернулось.

— Ты о чем?

Он сокрушенно покачал головой.

— Я почему в штрафники-то попал? Сметаной врача в клинском госпитале вымазал. Он, зараза, меня симулянтом обозвал, ну и в общем за дело. Я туда с легкой контузией попал, а изображал будто тяжелая. Хотел себе на пару недель отпуск устроить. Не мог больше. Ты бы видела, Маринка, что на фронте творилось... Умом можно было тронуться. Кругом червивые трупы, и мы среди них. А эта сволочь белохалатная — сам никогда под огнем не был, а гонору что твой пан. Ну и пришлось ему втолковать, кто он есть. — Он посмотрел на жену и усмехнулся. — Негодяй я?

Маринка погладила его по худой щеке.

— Дурак ты. — Она вздохнула. — Я тут вот что подумала. Может, тебе пока в госпиталь вернуться, а я за деньгами домой съезжу. А?

Сергей опять покачал головой.

— Там мое место уже занято.

Они опять замолчали, приуныв. Марина вспомнила водителя, который рассказывал ей про ангела-хранителя. Как там было? «Святой ангел мой, данный мне от бога! Направь меня, и сохрани, и помоги! Амины!» Нет, не так, совсем не так. По-другому было.

Она стала напряженно вспоминать, прикрыв глаза, и вдруг рядом раздался знакомый голос:

— Здравствуйте, Марина Прохоровна! Помните меня?

Марина распахнула глаза. Перед ней, весело улыбаясь, стоял давешний шофер почтовой машины.

— Вот и опять свиделись. Мир-то узкий! А это муж ваш? Очень приятно. Подвозил вашу супругу с Волоколамска до Ржева. — Он обменялся рукопожатием с Сергеем. — А здесь какими судьбами? Электричку ждете?

— Опоздали мы на электричку, — ответила Марина. — Да и денег нет. А вы куда? — спросила она со слабой надеждой.

— Не могу сказать. Военная тайна, — осклабился шофер.

Ну, всё понятно, подумала Марина. Увидел мужа и в сторону.

— Вам куда ехать-то? — спросил шофер.

— В Мытищи, — ответила Марина, глядя в сторону.

Шофер вздохнул и тоже окинул взглядом площадь.

— Подвезти вас? — спросил он, помолчав.

— В Мытищи? — скептически спросила Марина.

— Ага.

— Ну, если вам по дороге...

Шофер закивал.

— По дороге. Довезу с ветерком.

И Марине как-то сразу стало ясно, что Мытищи ему совсем не по дороге, и вообще он страшно рискует, тратя казенный бензин, но он им поможет, потому что хороший парень.

И он подвез. Доставил прямо к леспромхозу и пожелал удачи. И больше они не виделись. И писать ему Марина не стала, потому что зачем? И даже имени его не запомнила. Петя? Коля? Но зато теперь она знала, что где-то есть парень, который спас ее и Сергея. А может, уже и нет этого парня. Может, убило где-нибудь в Белоруссии или в Польше. Или начальство отравило в штрафбат за нецелевую трату бензина. Зато она запомнила его слова, сказанные на прощанье:

— Значит, бог так захотел, чтоб мы встретились. Ангел-хранитель у вас, должно, очень голосистый, раз до бога докричался.

Дома, когда Сергей, уже помытый и переодетый в свою старую, висевшую на нем теперь мешком одежду, заснул на кровати, не дождавшись ужина, им вдруг нанес визит директор. Марина не пустила его на порог, вышла поговорить в коридор.

— Чего вам? — спросила она, скрестив руки на груди.

«Теперь не отделаешься от него, — подумала она со злостью. — Так и будет слепнем кружить».

— Я слышал, вас можно поздравить? — осторожно начал он. — Не зря съездили?

— Не зря.

— Как себя чувствует супруг?
— Ранен в живот. Как он может себя чувствовать?
— Да-да, конечно. Извините. — Директор потоптался и, вздохнув, сказал: — Марина Прохоровна, не надо смотреть на меня волчицей. Вы, конечно, можете обвинять меня, что я воспользовался моментом... и будете правы. Слаб человек! Но преследовать вас я не буду. Не тревожьтесь. И за свое рабочее место можете не беспокоиться. Я там выписал вам доппаек. Нужно же вам мужа откармливать и вообще... Зайдите завтра на склад. Там для вас масла немного, сала, фасоли, мяса. — Он вдруг осекся и быстро договорил: — Ну хорошо, счастливо оставаться! Мужу здоровья и наш трудовой привет!

Марина остолбенела и не нашлась что ответить. Молча проводила его взглядом, вернулась в комнату и закрыла дверь. Ну кто бы мог подумать! Жизнь-то налаживается!

А еще ее несказанно обрадовало, что Сергей так и не спросил про бабу Раю. Слава богу, не пришлось врать и выкручиваться. Слава богу!

Сочинение ученика 8-го класса «А» Авдеева Егора «Подвиг советских партизан»

В первых числах декабря 1941 года в Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку-москвичку, назвавшую себя Татьяной. То было в дни наибольшей опасности для Москвы. Дачные места за Голицыным и Сходней стали местами боев. Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их через фронт для помощи партизанским отрядам в их борьбе с противником в тылу. Вот тогда в Петрищеве кто-то перерезал все провода германского полевого телефона, а вскоре была уничтожена конюшня немецкой воинской части и в ней 17 лошадей. На следующий вечер партизан был пойман. На нем были шапка, меховая куртка, стеганные ватные штаны, валенки, а через плечо — сумка. Партизан был отведен в избу, где жили офицеры, и тут только разглядели, что это девушка, совсем юная, высокая, стройная, с большими темными глазами и темными стриженными, зачесанными наверх волосами. Хозяевам дома было приказано выйти в кухню, но все-таки они слышали, как офицер задавал Татьяне вопросы, и как та быстро, без запинки отвечала «нет», «не знаю», «не скажу», и как потом в воздухе засвистели ремни, и как стегали они по телу. Через несколько минут молодой офицер выскочил оттуда на кухню, уткнул голову в ладони и просидел так до конца допроса, зажмурив глаза и заткнув уши. Хозяева насчитали двести ударов, но Татьяна не издала ни одного звука. А после опять отвечала «нет», «не скажу», только голос ее звучал глуше, чем прежде. После допроса Татьяну повели в избу Василия Кулика. На ней уже не было ни валенок, ни шапки, ни теплой одежды. Она шла под конвоем в одной сорочке и трусах, ступая по снегу босыми ногами. Когда ее ввели в дом, хозяева при свете лампы увидели на лбу у нее большое иссиня-черное пятно и ссадины на ногах и руках. Губы ее были иску-

саны в кровь и вздулись. Наверно, она кусала их, когда побоями от нее хотели добиться признания. Она села на лавку. Немецкий часовой стоял у двери. С ним был еще один солдат. Василий и Прасковья Кулик, лежа на печи, наблюдали за арестованной. Она сидела спокойно и неподвижно; потом попросила пить; Василий Кулик спустился с печи и подошел было к кадучке с водой, но часовой оттолкнул его. «Тоже хочешь палок?» — злобно спросил он. Солдаты, жившие в избе, окружили девушку и громко потешались над ней. Одни шпыняли ее кулаками, другие подносили к подбородку зажженные спички, а кто-то провел по ее спине пилой. Натешившись, солдаты ушли спать. Часовой вскинул винтовку наизготовку и велел Татьяне подняться и выйти из дома. Он шел позади нее вдоль по улице, почти вплотную приставив штык к ее спине. Потом он крикнул: «Цурюк!» — и повел девушку в обратную сторону. Босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока ее мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под теплый кров. Этот часовой караулил Татьяну с десяти вечера до двух часов ночи и через каждые полчаса-час выводил ее на улицу на 15–20 минут. Наконец изверг сменился. На пост встал новый часовой. Несчастной разрешили прилечь на лавку. Она пролежала до утра без движения, не стеля, хотя ноги ее были отморожены и не могли не причинять боли. Никто не знает, спала она в эту ночь или нет и о чем думала она, окруженная злыми врагами. Поутру солдаты начали строить посреди деревни виселицу. В 10 часов утра пришли офицеры. Старший из них спросил по-русски: «Скажите, кто вы?» Татьяна не ответила. «Скажите: где находится Сталин?» — «Сталин находится на своем посту», — ответила Татьяна. Продолжение допроса хозяева дома не слышали — им велели выйти из комнаты и впустили обратно, когда допрос был уже окончен. Из коммандатуры принесли часть Татьянинных вещей: жакет, брюки, чулки. Шапка, меховая куртка и валяные сапоги исчезли — их успели уже поделить между собой унтер-офицеры. Тут же лежала ее походная сумка и в ней — бутылки с бензином, спички, патроны к нагану, сахар и соль. Татьяну одели, и хозяева помогали ей натягивать чулки на почерневшие ноги. На грудь Татьяне повесили отобранные у нее бутылки с бензином и доску с надписью «Партизан». Так ее вывели на площадь, где стояла виселица. Место казни окружало десятеро конных с саблями наголо. Вокруг стояло больше сотни немецких солдат и несколько офицеров. Местным жителям было приказано собраться и присутствовать на казни, но их пришло немного, а некоторые, придя и постояв, потихоньку разошлись по домам, чтобы не быть свидетелями страшного. Под спущенной с перекладины петлей были поставлены один на другой два ящика из-под макарон. Татьяну приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего «кодака». Таня воспользовалась этим и, обращаясь к колхозникам и колхозницам, крикнула громким и чистым голосом: «Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите, травите!» Стоявший рядом немец замах-

нулся и хотел то ли ударить ее, то ли зажать рот, но она оттолкнула его руку и продолжала: «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ». Таня повернулась в сторону коменданта и, обращаясь к нему и немецким солдатам, продолжала: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов! Всех не перевешаете. Вам отомстят за меня». Русские люди, стоявшие на площади, плакали. Иные отвернулись и стояли спиной, чтобы не видеть, что должно было сейчас произойти. Палач подтянул веревку, и петля сдавила Танино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы: «Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет!» Палач уперся кованым башмаком в ящик, и ящик заскрипел по скользкому, утоптанному снегу. Верхний ящик свалился вниз и гулко стукнулся оземь. Толпа отшатнулась. Раздался и замер чей-то вопль. В ночь под Новый год перепившиеся фашисты окружили виселицу, стащили с повешенной одежду и гнусно надругались над ее телом. Оно висело посреди деревни еще день, исколотое и изрезанное кинжалами, и вечером 1 января фашисты распорядились спилить виселицу. Таню похоронили без почестей, за деревней, под плакучей березой, и вьюга заваяла могильный холмик. Я скажу о Тане, что это героиня, достойная самой высшей награды. Настоящее имя ее Зоя Космодемьянская.

Владислав Лецик

Благовещенск

ПЕРВЫЕ ПРИВЕТЫ

Повесть о детстве

Придётся и мне, в неведомый срок, уйти из этого мира, никуда от такой перспективы не увильнёшь.

Но одна малость меня всё-таки тревожит.

Уйду — и не успею рассказать. Будет жаль.

Хотя — кому жаль? Если мне самому, так это сожаление с моим уходом и развеется. А всем прочим с чего бы жалеть неизвестно о чём?

Тем более что то, о чём успею или не успею рассказать, — это не Бог весть какие откровения, а просто запавшие в память кусочки жизни.

Давно исчезнувшей жизни.

Вот запали они в память и лежат там. Не то чтобы зудят и просят на бумагу, но как бы смотрят на меня насмешливо: ну и что надумал ты, толкующий об уходе? Так и бросишь нас?

А как их бросить? Ведь это какие ни есть, а дары судьбы. Вернее, приветы, которые посылала мне в детстве моя грядущая, неизведанная, неясная судьба. Не пророчества или обещания, а просто приветы. Завязывалось наше с ней знакомство. И было бы небла-

годарно с моей стороны не вспомнить на склоне лет об этих самых первых её знаках внимания.

Так что начнём успевать.

Сковородино

О самых началах, о месте, где я родился, остались в памяти даже не кусочки, а малые крохи. Но как же без них.

Сковородино. Убогий городишко среди таёжных сопкок на величайшей в мире железной дороге — Транссибирской магистрали. Сочетание несочетаемого — великого с убогим — дело в России обыкновенное. Это едва ли не самая заметная черта и нашей повседневности, и нашего самосознания. Мы живём с этим странным сочетанием в крови, мешая самонасмешку с самопочтением.

— Бог создал Ялту и Сочи, а чёрт — Сковородино и Могочу, — часто повторял отец ядовитую местную шутку. И он же в Москве, где оказался во время отпуска, какому-то случайно встреченному иностранцу с гордостью похвалился, что живёт на Дальнем Востоке, аж за десять тысяч километров от Москвы. Три тысячи кэмэ прибавил батя, не моргнув глазом: знай наших, карликовая Европа!

Великий Транссиб. Чёрные паровозы, их огромные красные колёса, клубы пара на полперрона, тяжкое пыхтенье, постоянные гудки, запах каменноугольного дыма — всё это с первых проблесков сознания со мной. Вот отец за руку подводит меня к путям. Показывая на зелёный пассажирский вагон, уважительно произносит:

— Цельнометаллический!

Отец — начальник вагонного участка, а такие вагоны тогда, во второй половине сороковых, были ещё новинкой. И этот термин, ныне забытый (пассажирские вагоны с деревянной обшивкой кто ж теперь помнит?), стал одним из первых слов, мною выговоренных:

— Цен-мета-лись-кий...

Жили мы в типовом пристанционном доме — деревянном одноэтажном, на четыре крыльца. Узкая, как щель, кухонька, небольшая комнатка. Родители на работе, со мной оставлена нанятая нянька, девчужка лет десяти. Мать прибегает на обед и видит: я на кухне сплю на полу, весь обделавшийся и вдобавок извалявшийся в холодной золе, которую выгреб из печного поддувала. Мать — в комнату. А там моя нянька крутится перед зеркалом платяного шкафа в материнском цветастом платье, достающем ей до пят, в огромных женских туфлях на тощих ножках, с накрашенными губами...

Бедная девочка, отданная в няньки в нашу совсем не богатую семью за еду и жалкие копейки, жива ли ты? Тебе сейчас, если жива, уже должно быть... да что там! — немало лет. Прости и не сердись на мою мать, выгнавшую тебя...

Пришлось в няньки нанимать бабу. И бабки долго к нам ходили. Дело в том, что к детсаду меня, как ни старались, не смогли приучить. Я убегал, прятался от



воспитательниц за какой-нибудь забор или в траву, меня находили, но всё повторялось... Один раз искали довольно долго, и после этого мать перестала меня туда водить. Мне не нравилось, что там было слишком много незнакомых детей, и вообще всё не нравилось. Помню, как сижу за детсадовским столиком и враждебно гляжу в тарелку, где по белой манной каше разлилось какое-то тёмно-красное варенье. Ни до того, ни после того я манной каши с вареньем не пробовал и до сих пор не понимаю, почему один её вид вызвал у меня полнейшее неприятие. Которое, между прочим, сохранилось надолго. Когда уже школьником я прочитал, что голодному Буратино померещилась тарелка манной каши пополам с малиновым вареньем, то не поверил: неужели деревянному человечку хотелось съесть такую гадость? Всей сказке поверил, а этому обстоятельству — нет.

С манной-то кашей в те годы, к слову сказать, было туго. Это потом, в «тучные» пятидесятые, манной крупы женщины чистили свои модные белые валенки-«чёсанки» — для пушей белизны. А в послевоенном сорок шестом, когда пришло время отнимать меня от груди и давать прикорм, мать не могла достать манки нигде. Ей посоветовали купить на базаре отрубей. Мать их запаривала и давала мне сосать через марлечку. Теперь я слышу, что это вышло даже полезнее для детского здоровья, потому что в отрубях витаминов много, а в манке их вообще нет. Может, и так. Но переболел я в детстве, несмотря на сосание отрубей, очень многими болезнями, как и все тогдашние дети. Хотя говорят, что это тоже было полезно — для обретения иммунитета.

Про бабу-знахарку, которая молитвами и пришёптываниями избавила меня от жуткой золотухи, у меня даже стихи есть. Но не писал я стихов про детскую больницу тех лет. Там были две большие смежные палаты. В одной лежали совсем малые дети с мамашами и стоял тяжёлый запах, а в той, где был я, находились детишки посамостоятельней. Не знаю, с какой хворью я туда попал, но был, видимо, плох, потому что сначала кормили меня с ложечки, в кровати с высокими деревянными бортами. Когда стало получше, вытащили из кровати и усадили есть со всеми.

Общий стол, который поставили на время приёма пищи тут же, в палате, был совсем низенький, но очень длинный, в длину всей большой комнаты. Наверное, это были просто доски, на что-то уложенные. По обеим сторонам расселись дети, все стриженные наголо, с бледными лицами. Они смотрели огромными глазами в ту сторону, откуда принесут еду. И её принесли. Это был, надо полагать, полдник, перекус. Расставили тарелки общего пользования: одна с нарезанным чёрным хлебом, за ней другая — с горкой сахарного песка, и так далее, по всей длине стола. Дети стали есть, дружно тыча куски хлеба в сахарный песок. Сидевший рядом со мной мальчик с большой зелёной каплей под носом, жадно откусив хлеба, снова потянулся мокрым от слюны куском к тарелке с сахаром — и зелёная капля, приклеившись к хлебу, потянулась туда же.

Кто-то, наверное, подумает, что если даже приличной манной кашей я побрезговал, то уж ту-ут...

Да ничего подобного! Я просто смотрел, и мне запомнилось. А сам ел или нет — не знаю. Плох был, говорю. Наверное, ел.

Стихи об этом вряд ли напишешь. Однако и обобщений делать не хочется. Ну, было. Мало ли что в этой жизни было. Но ведь лечила же детей больница. И кормила. Я, во всяком случае, вышел из неё здоровым — и ей, сквородинской послевоенной больнице, спасибо буду говорить до конца дней своих.

Севастополь

Одно из самых первых воспоминаний. Если не самое первое.

Год тысяча девятьсот то ли сорок восьмой, то ли сорок девятый. Уточнить уже не у кого. А мне, значит, или два с половиной, или три с половиной.

Мать по бесплатному билету моего отца-железнодорожника через всю страну приехала вместе со мной в гости к её дядьке. Из холодного Сквородино — в разрушенный Севастополь. Вот идём куда-то, — должно быть, к морю, — и проходим мимо уцелевшей от бомбёжек закопчённой стены двухэтажного дома. А в стене — прямоугольные дыры окон, и в тех окнах не квартирный полумрак виден, а полуденное синее небо.

Тяжело хромавший мамин дядька жил вдвоём с женой в белой мазанке. Работал он в инвалидной артели, которая рылась в развалинах домов, отыскивая швейные машинки «Зингер» (чьи хозяева или хозяйки, возможно, в тех же развалинах и погибли). Артельщики ремонтировали эту ценную технику, и она шла нарасхват. Возле дядькиной мазанки росли помидоры — их отродясь не выдывали в нашем Сквородино. Я делал, как меня научили: срывал круглый красный помидорчик, а потом совал его под струю воды, нажав рычаг помпы, стоявшей тут же, во дворе. Вода из крана шла белая, известняковая.

Ещё запомнилось: солнце, зеленоватые брызги, мать, смеясь, купает меня в море. В уши попала вода, больно, я ору. Боль была сильная, долго не проходила...

Уже много позже, когда мне исполнилось десять, я в день рождения получил в подарок «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, невзрачную книжку в бумажной обложке из дешёвой «Массовой серии» — была такая замечательная серия классики. Я прочёл эти толстовские очерки тогда же, в десять лет, и, хотя не всё понял, читал с цепким вниманием, особенно про то, как уходили наши, оставляя город врагу. Читал — и горло сжималось от отчаяния. А ещё в те же годы по радио крутили песню о расстреле немцами черноморского матроса: «...шёл моряк, прощаясь с бастионами, с мёртвой Корабельной стороной...»

По-настоящему я увидел Севастополь, приехав туда уже в тридцать лет. Тогда и открылась мне его приморская красота.

Кстати, и белую известняковую воду в крымских краях тогда узнал. Вспомнил.

И вот что любопытно: не романтическое очарование города заставило дрогнуть что-то в душе, а именно эта, с беловатой примесью, вода — чего в ней хорошего, прости Господи. Дело, конечно, не в воде, а просто она живо напомнила о тех, самых первых, впечатлениях. Чем дальше катятся годы, тем больше убеждаюсь: и жуткие дыры окон в чудом не рухнувшей стене, и пыльные груды городских развалин, и осиротевшие машинки «Зингер», и более позднее потрясение от вычитанного в невзрачной толстовской книжке, и песня о «ветвях израненного тополя», звучавшая у нас в доме из чёрной картонной тарелки радио, и даже моя детская незабываемая боль в ушах от морского купания — всё это крепче, чем любые красоты, роднит меня с Севастополем.

Что же получается: без разрухи и боли нет любви?

Не знаю. Может быть и так. Но знаю, что всё можно вывернуть как угодно. Можно и эту мысль подать с весёлым вывертом: без мазохизма нет патриотизма. Шутить можно по-всякому. Шуты гороховые тоже зачем-то нужны.

Писательство. Соседи. Сестра

В Сквородино я научился писать, а потом и читать. Именно в такой очерёдности.

Однажды зимним утром — очевидно воскресным, поскольку мать была дома — я вышел погулять. Ночью выпал небольшой снег, и соседи уже успели протоптать через двор тропинку. Иду, шурясь от солнца, и вижу у тропинки на ровном белом снегу вычерченные палкой буквы. Букв я ещё не знаю, но здесь их немного — всего три. Натренированным глазом рисовальщика, всегда готового изобразить что на ум взбредёт, запоминаю конфигурации. Вернувшись домой, воспроизвожу карандашом на бумаге.

— Мама, прочитай, что я написал.

Мать глянула — за голову схватилась:

— Кто тебя научил?

— Никто. На снегу так написано.

Тут она явила чудеса педагогической дипломатии.

— А давай, — говорит, — учиться читать! Ну-ка неси книжку-раскладушку.

Я принёс. Это была картонная раскладушка кустарного производства. Самоделка в сущности. Отец её купил в вагоне у немых продавцов — ходили тогда такие в поездах, жестами предлагали пассажирам купить игральные карты, открытки с кошечками и прочее. В книжке-раскладушке была изображена в картинках, довольно примитивных, история похождения храброго солдата старой русской армии. Стихотворные подписи мне читали много раз, и я их помнил наизусть:

Шёл солдат с войны — нашёл подкову и часы.

Продав подковку — купил сороковку,

Продав часы — купил колбасы,

Напился, наелся — и сделался царём.

Не захотел быть царём — сделался попом.

Не захотел быть попом — сделался звонарём,
Не захотел быть звонарём — сделался извозчиком,
Не захотел быть извозчиком — сделался разносчиком.
И так мотался, болтался, пока к чертям в ад не попался.

На последней картинке были чёрные черти с рогами и несчастный солдат в красных языках адского пламени.

— Ну вот, смотри и повторяй. «Шёл... сол-да-ат...»

Мать принялась медленно читать, водя пальцем под строчками. Буквы в этих строчках, написанные неизвестным художником от руки, были совсем не такие прямые и чёткие, какие я видел на снегу. А между тем моя бумажка с копией трёх чётких букв благополучно исчезла. Я про неё совсем забыл, разбирая вместе с матерью по танцующим разухабистым буквам слово «с-о-л-д-а-т», но в этом, очевидно, и состоял хитрый педагогический ход. Утомившись грамотой, я пошёл играть.

Зато на другой день в доме появилась детская книжка с картинками. Называлась она «Ясочкина книжка». Там были стишки про хорошую девочку. Но главное, там были аккуратные ровные буквы.

Мать несколько дней читала мне эти стишки вслух, по ходу показывая, где какая буква. И вот, в очередной раз открыв вместе со мной книжку, она удивилась: «Это ты сам?..»

Там, где были нарисованы игрушки девочки Яси, под каждой красовалась моя карандашная подпись: под конём на колёсиках — «КОН» без мягкого знака, под куклой — «КУКЛА» с «у», повернутым в обратную сторону, под щенком — «ЩИНОК», под плюшевым Мишкой — «МЕДВЕТ».

Прошло ещё немного времени — и «Ясочкину книжку» я прочитал самостоятельно, без подсказок. Но заметьте, что сначала она была мною — пусть частично, пусть на малую долю — но написана! Или, если угодно, дописана. И радость писательства я остро ощутил.

Гораздо более интересную книжку показал мне соседский мальчик Шурик Мурдасов. Точнее, не книжку, а журнал «Мурзилка». Там были большое зелёное дерево, и волк, и ступа с Бабою Ягой, и кот на жёлтой цепи... И стихи про Лукоморье. Там я впервые увидел портрет Пушкина. Это «Мурзилка» отмечал сто пятьдесят лет со дня рождения поэта — о чём я спустя годы догадываюсь, прикинув даты.

Мурдасовы были семья интеллигентная, а сам Шурик был вежлив и рассудителен. У него имелся набор разноцветных деревянных кубиков, шариков, плашек и конусов. Шурик выстраивал из них затейливые дворцы, арки, башенки — и всякое такое сооружение называл удивительным словом «красиват». А ещё у них я впервые попробовал сыр: родители, уходя на работу, оставили Шурику на блюде два тонких ломтика, пустивших слезу, и он со мной поделился. Сыр оказался необыкновенно вкусным. А какой у него был тонкий, волнующий запах! Прочитав потом у Крылова, как «сырный дух Лису остановил», я Лису понял. Это вам не манная каша Буратино!

Но Мурдасовы вскоре уехали. Далеко, в Латвию. Мамины сковородинские подружки не могли запомнить название города, потешались: Гав-гав-пилс — тыфу ты!

Остался у меня один сосед-ровесник — серьёзный такой татарчонок Марик Сиродеев. По-русски он говорил забавно: мамка пришёл, мамка ругался. Отец у него был милиционер, службу нёс при железнодорожном вокзале, ходил туда с длинной шашкой в чёрных ножнах на боку. Она меня очень впечатляла, эта шашка. Потом мы поменяли квартиру, и Марика я больше не видел.

А квартиру — более просторную — родители мои стали просить недаром.

Откуда ни возьмись — так мне теперь представляется — появилась сестрёнка. Нет, наверняка я видел мамин растущий живот и наверняка мне говорили: скоро у тебя будет сестричка или братик, ты кого хочешь? — и тому подобное. Но вот не помню я этого! Зато помню, как её вдруг привезли в нашу ещё старую квартирку и положили на кровать в комнате. Родители сидели на узенькой кухне за столом, молодые и счастливые, а я, крутившийся рядом, то и дело спрашивал:

— Можно я посмотрю Наташку?

— Ну иди посмотри! — улыбались они.

И я бегал смотреть. Сестрёнка тихо спала. А иногда просыпалась и спокойно глядела на меня большими глазами, тёмно-карими, как у отца.

Длинных декретных тогда не было, и скоро очередная нанятая бабка-нянька должна была присматривать уже за нами двоими.

Каустическая сода. Явление Маргариты. Розовая сопка

Новая квартира была намного больше — две просторные полупустые комнаты, — но запущенная, серая, неуютная. Мать яростно взялась приводить её в порядок: скребла, белила, красила... С ног падала от усталости — зато как гордилась преображённым жильём. И с каким же потом отчаянием она выкрикивала приходившим соседкам, показывая на сверкавшие свежей краской полы, двери, оконные рамы, на ослепительно белые стены:

— Ради чего надрывалась? К чёртовой матери! Всё вымажу каустической содой!

Соседки сочувственно кивали. Я сгорал от любопытства: какая сода? Мать сердито объяснила: это такая сода, которая всю квартиру сделает страшной и уродливой. И я с испугом представил себе обезображенное оспой лицо слепого дядьки, раза два виденного мною на улице.

А всё дело в том, что едва мать закончила ремонт, как отцу предложили новое место работы — в Завитой. Он туда съездил, и ему понравилось. Там и с продуктами лучше, и климат теплей — даже помидоры растут. Вот мать и впала в отчаяние: а пораньше не могли предложить?

До каустической соды всё же не дошло. Повезло кому-то въехать в чистенькую квартиру — ну так что ж теперь...

Мне же, прощаясь с родным городом, хочется привести ещё две памятные подробности.

Как-то, уже на новой квартире, я простыл, поднялась температура, и пришла детский врач. Её звали Маргарита Исаковна. Она наклонилась над моей постелью, и я с неведомым до той поры восторгом увидел перед собой сверкающие чёрные глаза, яркие губы в красной помаде, ниспадающие тёмной волной волосы. Она что-то спрашивала, я что-то отвечал, глядя на неё как заворожённый.

Когда врач ушла, я долго лежал в задумчивости. Потом захотел поделиться с матерью этим непонятным, но почему-то так растревожившим меня впечатлением. Стал искать нужные слова. Такие нашлись. Они были усвоены мною из лексикона маминих подружек, приходивших обменяться своими женскими мнениями обо всех и вся. И я, подозвав маму, сообщил ей солидным тоном человека, который знает цену тому, о чём говорит:

— А Маргарита Исаковна *симпатично выглядит на лицо!*

Наверное, было потом подружкам над чем повеселиться. Конечно смешно. Но тем не менее я видел *Маргариту*. А это уже отчасти и серьёзно. Не так ли?

К сожалению, в моей детской памяти почти отсутствует сковородинская природа. Проблеском видится лишь одна картинка: сочная зелень травы и быстрая серебристая вода (река Ольдой?), весёлые лица отца и его друзей, протянутый мне ломтик зелёного огурца. И почему-то слышится слово «маёвка», хотя, судя по огурцу, это явно не май, а лето. Может, «маёвкой», в пролетарской традиции, называли и летний пикник? Поди теперь узнай.

Тамошняя природа приоткрылась мне позже. Когда я уже закончил первый класс, мы на несколько дней приезжали с отцом из Завитой в Сковородино погостить к деду моему, Филимону Михайловичу. У него, бывшего украинского колхозника, приехавшего после войны на Дальний Восток к сыну, пенсии не было (много позже её всё же назначат — восемь рублей тридцать копеек), и он зарабатывал тем, что пас по склонам сопки частных коз.

А домик деда, где они жили с бабкой, стоял на самой окраине, вплотную к лесу. В их тесной халупке мне было скучно, и я пошёл погулять. Поднялся на пологий склон сопки — и попал в заросли багульника. Высокие, много выше моего роста кусты сплошь утонули в розовых цветах. Помню своё изумление: мне показалось, что ничего там больше и нет, кроме розового цвета и розового света. Я шёл и шёл в этом расплывчатом акварельном великолепии, пока не понял, что могу и заблудиться. Но не испугался, а продолжал шагать, сворачивая то на одну тропку, то на другую, охваченный отчаянным, весёлым куражом. В конце концов вышел из розового на обыденное, не цветное,

и долго стоял, с трудом соображая, в какой стороне находится дедов дом.

Набрёдал я не раз в другие годы в других краях на заросли цветущего багульника — рододендрона по науке, — но такого пьянящего, колдовского разгула цвета и света больше не встречал.

Переезд в Завитую

Отец уехал первым, перевёз вещи, вышел там на работу. А потом и мы втроём — мать, я и годовалая Натка — отправились в путь в переполненном плацкартном вагоне.

Мать неотлучно была при сестрёнке, а я из любопытства пошёл на вылазку. В соседнем купе четверо мужиков, сидя на нижних полках, шлёпали костяшками домино по фанерному чемодану с железными уголками, приспособленному в качестве стола. А за мужиками, на столике у окна, где дребезжали в подстаканниках стаканы с остатками чая, я увидел такое, что сразу забыл обо всём на свете.

Поймут ли меня нынешние дети? Они смотрят цветной телевизор, у них смартфоны с красочным экраном, у них и игрушки одна другой нарядней, и сами они одеты, как игрушки, а на улицу вечером выйдут — там цветное буйство реклам... Нас же в те годы и в доме, и во дворе, и на улице окружало в основном серое и тусклое.

Так вот, сокровищем, пленившим меня, была плоская картонная коробочка из-под папирос. Из-под дорожных папирос — у отца я таких не видел. На коробочке была цветная картинка: на зелёном поле два борца в спортивной форме стоят друг против друга, изготавившись к схватке.

Картинка была словно окошко в сказочно яркую жизнь.

Мне невыносимо захотелось получить красивую коробочку. Томимый этим желанием, я пошёл дальше по вагону, заполненному людьми, узлами, мешками, гулом голосов, запахами пота и табачного дыма. Всё тот же тусклый серый мир.

Я не выдержал и, вернувшись, снова мучительно залюбовался цветным сокровищем. Доминошники продолжали игру, не обращая на меня внимания.

И я подумал: попрошу у них коробочку! Может, отдадут... Но не посмел попросить — слова в горле застряли.

Опять пошёл по вагону, размышляя: она ведь этим дядькам не сильно и нужна, они курят другие папиросы, а в красивой коробочке просто держат свои доминошки. Ну так пусть положат эти костяшки во что-нибудь другое...

Наконец я решился. Снова подойдя, тронул за рукав мужика, что сидел поближе, и с замиранием сердца выговорил:

— Дяденька, а можно мне вон ту коробочку?

Мужик, мельком глянув, куда я показывал, покачал головой:

— Нет, пацан, она нам нужна. — И углубился в игру.

Я отошёл. От стыда и обиды перехватило дыхание. Слёзы, моментально заполнив глаза, волшебным свечением расцветили тусклый серый мир.

Так впервые я познал унижение.

Это был благодатный опыт. Мне потом, разумеется, часто случалось у кого-то что-то попросить. Но выпрашивать — никогда.

На новом месте

Особой разницы в климате не почувствовалось. Зябкая поздняя осень, потом холодная зима. Квартирка, где мы в Завитой поначалу приютились, была, как и первая сковородинская, с узенькой кухней и маленькой комнатой. Помню нагромождение полураспакованных пожитков. Сестрёнка Натка спала в жестяной ванне, в которой нас и купали. Эту «колыбельку» мать то на кровать свою приткнёт, то на кухонный стол... Однажды раздался грохот, мать метнулась из комнаты в кухню, я за нею, — а ванна на полу валяется, и сестрёнка рядом. Но каким-то чудом даже без ушибов обошлось...

Скоро мы перебрались в дом неподалёку, в квартиру попросторнее. Там в январе наступившего 1952 года я на своё шестилетие получил в подарок чайную чашку.

Этот дом, как и все пристанционные дома типовой застройки времён прокладки Транссиба — добротные срубленные, крашенные охрой и суриком, — был на четыре подъезда, а проще говоря, на четыре крыльца.

Два крыльца были со стороны улицы, а два других, в том числе и наше, выходили в большой двор. По ту сторону двора стояла добротная, как и сам дом, бревенчатая хозяйственная постройка, где на каждую семью имелись тёплая стайка для скотины и чердак для сена. А слева и справа, за заборами, располагались огороды. По обширному голому двору часто бродили куры и свиньи, которых хозяева выпускали прогуляться. А вот ребятшек я почти не видел. Если какой мальчишка и пробежит, так лишь мимоходом.

Наш подъезд был на две квартиры. С нами соседствовал дядя Коля Грешников, худой как смерть, с жёлтым лицом, да ещё и согнутый в дугу. Ходил он медленно и всегда глядя вниз. Если к нему обращались, то дядя Коля, чтобы увидеть говорящего, выставлял вперёд одну ногу и откидывался всем корпусом назад: разогнуть ссутуленную спину он не мог. Часто, остановившись среди двора, громко и натужно отхаркивался, сплёвывая на землю. Говорили, что, когда дядя Коля ещё до войны служил в армии, лошадь ударила его копытом по спине, и с тех пор он болел туберкулёзом. Жил он с женой и дочкой — старшеклассницей Валей. Удивительно, но у такого больного отца дочь была — просто кровь с молоком, так и брызгало от неё здоровьем и весельем. Дядя Коля любил выпить, а поскольку пенсия у него была крохотная, пил он то, что стоило копейки, — денатурат. На бутылках с фиолетовой спиртовой жидкостью был нарисован череп с двумя перекрещёнными костями. «Коньяк три косточки!» — подмигивал народ. Как ни странно, продавался этот в общем-то яд в продуктовых магазинах, там же,

где сахар, крупа и прочее. Что тут скажешь? А ничего. В то жёсткое послевоенное время власть учитывала не только потребности, но и возможности покупателя. Всякого покупателя.

Надо заметить, что пил дядя Коля хоть и сущую отраву, но умеренно. Он был человек серьёзный, читал газеты. Его уважали и жалели, однако тесно общаться с туберкулёзником избегали.

В другом подъезде, выходявшем во двор, жила одна семья: муж с женой и дочка, тоже почти взрослая. Глава семьи, дядя Яша, был высокий грузный мужчина с висловатым носом и задумчивым лицом.

Позже я слышал про него такую историю. Дядя Яша выкормил свинью. Колоть свиней он не умел, а нанять кого-то — денег было жалко, и не столько ему самому, сколько жене. И он решил, что справится сам. Его кто-то научил: ты сперва оглуши чушку кувалдой по башке, а потом коли.

Вот он зашёл в загон, поставил тазик со свиным хлёбвом, открыл дверь стайки и, пряча кувалду за спиной, ласково позвал: «Маша, Маша!» Свинья выскочила и стала есть. Дядя Яша занёс кувалду, примерился — бац! — и чуток промахнулся. Кувалда попала не по темечку, а скользом по уху. Свинья завизжала от боли и, опрокинув еду, шаррахнулась в угол загона. Дядя Яша поправил тазик и снова стал зазывать: «Машенька, Маша!» Но сколько он ни заискивал, Маша ему больше не верила. Так и визжала как очумелая, пока её не пристрелил из ружья дяди Яшин знакомый.

«Назови меня Дёмушкой!»

Вглядываясь в тогдашнего себя, понимаю, что время жизни в этой второй нашей завитинской квартире стало для меня важной вехой. О взрослении в шесть лет говорить смешно, но какая-то внутренняя закладка то ли характера, то ли мировидения начала происходить именно тогда. С того времени я стал ощущать себя собой.

Может, дело ещё и в том, что я часто оставался дома один. Отец, по своему военному билету всего лишь сержант, носил, как начальник вагонного участка, капитанские погоны (железная дорога была в ту пору военизированной), на работе пропадал денно и нощно. Мать устроилась счетоводом в привокзальный ресторан. Сестрёнка, в отличие от меня, с большой охотой включилась в ясельную, а позже и в детсадовскую жизнь.

Общения с ровесниками у меня поначалу не было. Потом оказалось, что в двух подъездах с другой стороны нашего дома дети есть. Но это выяснится с наступлением тепла, а пока кто-то из них был в школе, кто-то в детсаде, игры они затевали в других местах — чего им было делать в нашем голом дворе? С началом лета у меня появится весёлая шустрая компания — но та зима прошла в квартире.

Итак, две смежные комнаты. В первой — плита, кухонный стол и шкаф, обеденный стол, бачок с водой, раковина. И тяжёлый деревянный сундук, на котором я поначалу спал, а потом для меня в дальнем от

окна углу поставили кровать. Во второй комнате, обогреваемой печью-голландкой, — кровать родителей, кровать сестры, комод, платяной шкаф.

Я, оставшись на хозяйстве, выполняю мамин наказ: мою посуду, делаю мелкую уборку. Когда висящая на стене у окна чёрная картонная радиотарелка объявляет передачу для детей, я, повернув зубчатое колёсико, прибавляю громкости и с упоением слушаю какую-нибудь «Снегуркину школу».

Детские книжки у нас были, хоть и немного. Но мне больше помнится «Кому на Руси жить хорошо» — копейное издание из уже упомянутой «Массовой серии». Длинная некрасовская поэма читалась мною долго. Можно сказать, я в ней обитал. Пропускал непонятные места, зато на понятных останавливался, снова и снова перечитывал. Колыхание белых стихов завораживало, как гипноз.

Но однажды мать пришла на обед, а я весь в слезах.

— Что случилось?

— Ничего!

Сначала отмалчивался, а потом сказал:

— Мама, назови меня Дёмушкой!

— Что-о-о?..

А оказалось вот что. Там, в «Кому на Руси», в главе «Савелий, богатырь святорусский», немощный подслеповатый дед скормил по недосмотру свиньям своего внука. Смерть маленького Дёмушки меня потрясла. Я хотел жить за него.

Обзаводимся хозяйством

Как ни занят был отец в своём вагонном участке, а, приходя домой, брал топор, ножовку, молоток с гвоздями и шёл в стайку. Устроил вверху насест для кур, а внизу выгородил места для скотины. Сначала в стайке поселился поросёнок Борька, потом, по настоянию матери, была куплена белая коза Люська — чтобы нам с Наткой было молоко.

А отец, что называется, вошёл в раж — и на крыше общего сарая построил сбоку голубятню. Это его на работе надоумили: подарили пару голубей, да ещё рассказали про деда с бабкой, живших до войны возле конторы «Заготзерно». Дед держал много голубей, которые кормились дармовой пшеницей, горами лежавшей рядом, за забором, под навесами заготовительной конторы, и поэтому содержание птиц не стоило старикам ни копейки.

Тут скажут: ну да, не стоило... Наверняка на них настучали, за ними пришли... Да, возможно, так и было. Но когда я слушал, как отец пересказывает эту историю маме, я подобные детали то ли пропустил, то ли не понял. Да отец и не собирался красть для голубей пшеницу — её и на колхозном базаре в Завитой было полно, причём дешёвой. Он рассудил, что держать голубей будет для семьи выгодно. Ведь те дед с бабкой питались, словно в прежнее время господя: у них всегда была на столе и варёная голубятина — ох и вкусная, говорят, зараза, — и супы мясные, и всё что хошь. Яйца варёные ели, как картошку.

Мать затею не одобрила, но отец настоял на своём. Через какое-то время — была уже ранняя весна — он подвёл меня к голубятне:

— Ну, залазь, посмотри на птенцов.

Я залез по сколоченной из реек лесенке наверх и заглянул в открытую дверцу. Там лежали, беспокойно пошевеливаясь, три странных существа: большие, размером, как мне показалось, со взрослого голубя, но при этом голые, угловато-уродливые, — ничего в них не было птичьего.

Много позже я вспомнил тех голых птенцов, увидев на картинке динозавра.

Птенцы выросли, и пришло время, когда мать поставила на стол тарелку с варёной голубятиной. Сама за стол не села, сказала:

— Это божья птица. Есть голубей — грех!

Вот что любопытно. Не было у нас дома икон — и быть не могло в семье коммуниста. И ни разу я не видел, чтобы мать крестилась, не слышал, чтобы украдкой шептала молитвы. И со мной разговоры о Боге не заводила. Но когда я, уже школьником, уверял её, что Бога нет, она резко обрывала:

— Молчи! Есть ли, нет ли — не твоё дело!

Отец, хоть и был партийным, на эту тему рассуждал благодушно.

— Бога, конечно, нет, — говорил он. И, многозначительно подняв палец, добавлял: — Но *что-то* есть!

Теперь, прожив жизнь, прихожу к выводу: в вопросе о существовании Бога я ни на миллиметр не продвинулся дальше моих родителей.

Ну а белое голубиное мясо вроде и правда было вкусным. Вот только осуждающий вид матери, ставившей тарелку на стол, а также воспоминание об уродливых птенцах сделали своё дело: особой радости от той еды я не помню.

Голуби вскоре то ли улетели, то ли кто их украл. И отец разобрал голубятню.

Зато белая коза Люська была у матери в почёте, потому что исправно давала ковшик молока. Меня же привлекали её крепкие рога: я любил ухватиться за них и с силой потянуть. Но Люська мне заигрывать не позволяла: наклонив бородатую голову, давала понять, что эти рога быстро доберутся до моих рёбер. Её самостоятельность и чувство собственного достоинства вызывали уважение. А ещё поражала козья ловкость. Когда пошла трава, Люську стали выводить за огород, на лужайку у придорожной канавы, и привязывали к столбику забора на длинной верёвке. Однажды я увидел, как Люська забралась на раскидистое деревце молодого карагача и спокойно объедала листья на полутораметровой высоте.

А в стайке подрастал кабанчик Борька. Летом его, уже подростка, выпустили во двор погулять. Тогда свиньи свободно бродили по всей Завитой, рылись под заборами, валялись в лужах. Это дело запретят лишь года через три, где-то в середине пятидесятых. Ну так вот, я Борьку окликнул, подошёл, почесал ему за ухом — и тут меня осенило...

У нас дома, в числе нескольких детских книжек, был сборник звонких, пружинистых стихов Сергея Михалкова. И вот, вообразив, что я — «лихой наездник Али-бек на рыжем скакуне», хватаюсь обеими руками за Борькину жёсткую редкую щетину на загривке и, задрвав ногу, вскакиваю ему на спину.

Борька замирает на миг — и с утробным визгом срывается с места. Я тут же летаю наземь, обдираю локоть и коленку. Какую-то долю секунды, может, и продержался «в седле».

Но это дало мне основание уже довольно скоро в разговорах с появившимися у меня приятелями «вспоминать», что я, «когда был маленьким», *катался* верхом на кабана.

Такова бывает порой степень достоверности наших мемуаров.

А вот тут — стоп! Эту фразу — о достоверности мемуаров — я вставил, чтобы подпустить ироничности, не более того. А написал — и тут же с удивлением осознал, что дальше-то мой рассказ ну никак не обойдёт такого рода «мемуарную» тему.

Воистину, *процесс писания о жизни так же полон неожиданностей, как и сама жизнь.*

Что ж, пора представить новых знакомых. И в первую очередь того, кто не сразу, но со временем проявит себя как очень даже незаурядный «мемуарист».

Мир стремительно расширяется

Начало лета. Я в одиночестве играю в пустынном дворе. Какую-то палку превратил в винтовку и бегаю с ней в атаку. Вдруг слышу:

— Эй, парень, тебя как зовут?

Оглядываюсь: у крыльца дяди Яши стоит незнакомый мальчик, намного старше меня — лет, наверное, двенадцати. Он вышел из-за дома с той стороны, что обращена подъездами на улицу.

— Владик, — говорю.

— А меня — Арик. А что ты один играешь? Иди к нам!

Я пошёл за ним на другую сторону дома — и оказался... в другом мире.

Да, именно так!

Если с нашей стороны дома наводил тоску голый, изрытый свиньями двор, да и с этой стороны возле другого крыльца хоть и росли два-три тополя, слегка оживляя вид, но всё равно виделась неухоженность, то крыльцо квартиры, где жил Арик, выходило в уютный огороженный дворик. Сбоку от усыпанной мелкими камешками дорожки, ведущей от крыльца к калитке, стояла небольшая беседка под шатровой крышей на четырёх столбиках. Со всех четырёх сторон беседки уже начали подниматься по натянутым шнурам ростки вьющихся растений — вьюнков. Я ещё не знал, что к середине лета эти вьюнки поднимутся до самой крыши беседки и образуют зелёные стены, украшенные лиловыми колокольчиками. Но и без того всё здесь было красиво. Повсюду — у крыльца и вдоль изгородей — были вскопаны маленькие клумбы, огороженные кирпичами и засаженные цветочной рассадой,

а огород за низким штакетником чернел и зеленел ровными грядками.

Всё деревянное было выкрашено: штакетник — зелёной краской, крыша и столбики беседки — синей, а крыльцо — ярко-жёлтой: чисто вымытое, оно так и сияло на весь дворик. А на этом праздничном крыльце сидел на венском стуле дед с белой бородой, в соломенной шляпе и круглых очках (когда я потом увидел портрет Мичурина, то поразился: ну точь-в-точь!). В руках у деда был журнал. «Новый мир» — успел я разобрать на обложке.

Дед, сняв очки, посмотрел на меня, я сказал: «Здрасьте!» Он не ответил.

— Он плохо слышит, — сказал Арик и крикнул: — Деда, это Владик, наш сосед!

Дед кивнул и, более не проявляя ко мне интереса, снова надел очки и раскрыл свой журнал. А из беседки вышли три мальчика.

— Это Владька, — сказал им Арик. Потом по очереди указал на всех троих: — Это Эдя... Это тоже Эдя... А это Вова... — И спросил меня: — Пойдёшь с нами играть в пиратов?

— В кого? — не понял я.

— Ну ты даёшь! — весело сказал Арик. Остальные заушмылялись.

— В морских разбойников, — пояснил Арик.

— Пойду! — немедленно согласился я.

— Это у тебя винтовка? Давай поменяемся! — Он взял мою палку за конец, повертел ею в воздухе и сделал колющий выпад. — Это будет моя шпага. А тебе — вот, держи!

— Ух ты! — выдохнул я, когда он протянул мне нож, красиво вырезанный из дерева, с затейливой рукояткой. По деревянному лезвию, широкому и злодейски кривому, шли выведенные химическим карандашом лиловые буквы.

— «Царство небесное!» — прочитал я вслух. — А это что такое?

— Так положено у пиратов, — сказал Арик.

Но сначала представлю новых своих приятелей, которые составят мне компанию на следующие полтора-два года.

Во-первых, два Эди. Один — Эдя-Брэдя — года на два старше меня, маленький, худенький, вёрткий, как юла, был двоюродным братом Арика. «Эдя-Брэдя съел медведя» — так его дразнили, но только когда хотели вызвать на неминуемую драку: в ярость он приходил мгновенно. Его считали «психическим», и он этим даже щеголял. Охотно показывал, как у него пальцы трясутся «от нервов».

У другого Эди фамилия звучала как торжествующее рычание — Гржабовский. Такую фамилию без разбега не произнесёшь, и её выговаривали в облегчённом варианте — Грыжабовский. На кличку «Грыжа» он не обижался, но его, в отличие от Эди-Брэди, лишний раз злить не следовало: крепкий и отчаянный Эдя-Грыжа никому спуска не давал. А самым добродушным был Вова, высокий, белокурый, с развалистой походкой. Его кличка «Кобыла» была произведена — вы не поверите! — от фамилии Коваленко. Я, самый млад-

ший из всех, тоже немедленно обзавёлся кличкой, и тоже по сомнительному созвучию: был Владька, а стал Лапка, — через год-другой, впрочем, «повзрослев» до Лапы.

И только у самого Арика, заводилы нашего, никогда не было клички. Хотя и полным именем — Артур — его стали звать уже, пожалуй, лишь после того, как он отслужил армию и женился...

Итак, мы пошли играть в пиратов?

Ну что на это ответить... Я мог бы написать, что мы отправились, скажем, в пустынный школьный двор неподалёку, бегали там и кричали: «На бордаж!», размахивая деревянным оружием, а потом добродушный пират Вова-Кобыла нечаянно заехал локтем в нос чересчур вертлявому пирату Эде-Брэде, и у того пошла носом кровь...

Что касается случайных и неслучайных тычков в нос, то такое, конечно же, бывало. Однако не помню, чтобы это произошло именно тогда, в первый день знакомства. И самой игры в пиратов совершенно не помню. Да и бог с ней. Мне сейчас важно не заполнять пустоты памяти, сочиняя правдоподобные сцены (что было бы легко и приятно!), а по мере сил восстанавливать и осмысливать те — к сожалению, отрывочные — картинки, которые хаотично, но прочно застряли в сознании.

Хотя вот загадка: очень скоро у меня появятся и другие приятели, в других дворах, и там мы будем «сражаться» на палках, а зимой спихивать противника с «крепостных стен» — куч мёрзлого коровьего навоза (в Завитой у многих были коровы), или до темноты играть в войну, «стреляя» друг в друга из-за угла («Тра-та-та! Я тебя первый убил!»). И у меня перед глазами эти забавы до сих пор мелькают, как живые.

Так почему же те игры, которые устраивал Арик, я, как ни силюсь, не вспомню?

Да потому что игр, в обычном понимании, пожалуй, и не было.

А что же было? А была необычная личность нашего заводилы. С виду этот подросток ничем особым не выделялся...

У пишущей братии часто возникает необходимость, нарушив хронологию повествования, сообщить о том, что произойдёт в дальнейшем, а потом вернуться к прерванному течению событий. И вот пишут: «Забегая вперёд, скажу...»

Мне тоже придётся иногда пользоваться этим оборотом. Итак:

Забегая вперёд

Некоторая необычность в его внешности образуется лишь с годами. Когда Арик вырастет, а потом заматерееет и начнёт стареть, когда шапка курчавых каштановых волос поредеет, спина ссутулится, а лицо пожелтеет от злостного курения, он, странным образом, ещё долго — лет, я думаю, до шестидесяти, — будет сохранять свою подростковую худощавость, лёгкую походку и живость карих глаз.

Однако и в юные, и в зрелые годы он при первом знакомстве у многих вызывал удивление — а следом,

как-то само собой, и уважение — своей внутренней непохожестью на других. Сразу и не скажешь, в чём именно проявлялась эта непохожесть. Может быть, в его манере, плотно сжав губы, внимательно слушать собеседника, порой издавая короткий смешок, сразу располагавший к себе. В том, как он на любой вопрос давал ответ, заставлявший по-новому взглянуть на дело. В том, как мог обескуражить неожиданным замечанием, которое запоминалось надолго. Расхожих банальностей я от него за всю жизнь не слышал...

Стоит рассказать про короткую судьбу моего пиратского ножа. Вечером я принёс его домой и похвастался: «Мама, смотри!» А она, увидев надпись «Царство небесное!», пришла в ужас: «Нельзя такое писать!» Попыталась нож переломить, но не смогла. И тогда пришёл мой черёд ужаснуться: она схватила кухонный нож и, шепча: «Господи прости!» — стала неловко, но яростно обстругивать эту замечательную вещь со всех сторон, пока не осталась дурацкая палочка. Наверное, если бы дело было зимой, она бы просто бросила деревянный нож в горящую печь.

На другой день я виновато сообщил об этом Арику. Он удивлённо помолчал, словно обдумывая случившееся с какой-то новой для него точки зрения, а потом засмеялся и сказал: «Ну и ладно!»

Он уже подростком многое умел. Хорошо рисовал. Мог из куска дерева вырезать что угодно — мой злополучный пиратский нож лишь малый тому пример. Первым на нашем квартале освоил фотодело — и других научил, в том числе и меня. Но главное — Арик был зажигательный рассказчик. Игры, которые он затевал — в пиратов, в мушкетёров, в индейцев, — собственно играми и побыть-то не успевали, а сразу же превращались в пересказы книжных историй, обильно сдобренные его собственной фантазией. Мы слушали — и мир для нас распахивался так широко и многоцветно, что дух захватывало.

Вот он сделал шпагу — с клинком из толстой стальной проволоки, с красивой рукоятью и никелированной чашечкой гарды (уж не знаю, от чего была эта чашечка, — от будильника, что ли). Дал нам шпагой полюбоваться, а потом, держа её в руке, начал пересказывать книжку «Королева Марго». При этом время от времени фехтовал с воображаемым противником, делая повороты, уклоны и выпады, и каждому из нас по очереди давал проделать то же самое. Не знаю, как другие, но я, сжимая рукоять шпаги, до холодка в груди ощущал себя отважным гугенотом на тёмной улице Парижа.

Захватывающих событий в «Королеве Марго» оказалось много, и на другой день Арик продолжил свой пересказ по дороге за город, к берёзовой роще, куда вся наша компания отправилась за жёлтыми саранками. Нарвать их попросила, кажется, бабушка Арика и Эди-Брэди. Мы шли и слушали продолжение, вразнобой восклицая: «Ого!.. А чё дальше?..» Вышли за город, прошли по булыжной «сашейке» (шоссейке), свернули на просёлочную дорогу. Зелёная ширь поля, синее высокое небо — а я иду, ничего толком не замечая: всё на свете заслонили для меня прекрасная королева и храбрые французы, особенно отчаянный

«Демуй» (так Арик произносил имя Де Муи). У этого Демуя конь совершал какие-то невероятные по длине прыжки (привирал и перевирал рассказчик, как я теперь понимаю, безбожно).

Под ногами, в жёлтой суглинистой пыли просёлка, что-то сверкнуло серебром — наверное, серебристая обёртка от шоколада. Я хотел её поднять, да заслушался и не поднял, прошёл мимо. Навстречу проехал на малой скорости мотоциклист, внимательно нас оглядевший и на той же малой скорости проследовавший дальше к городу.

Нарвав у роши цветов, мы отправились домой. И снова нам встретился тот же мотоциклист, он опять оглядел нас, но, снова ничего не сказав, медленно укатил к роще.

А когда мы уже подходили к нашему дому, Эдя-Грыжа запустил руку в карман и вытащил наручные часы на широком браслете, сверкающем серебром. Ценность немислимая! Даже я, всё ещё погружённый в блеск и ужас Варфоломеевской ночи, понял, что это и была та самая, лежавшая в дорожной пыли, «обёртка от шоколада».

«Ух ты!» — вскрикнул Эдя-Брэдя. «Ни фига-а себе!» — протянул Вова-Кобыла. В этих восклицаниях были и восторг, и зависть, и немалый испуг.

Арик с интересом рассмотрел потрясающую находку, а потом пожал плечом и спросил: «Ну и что ты с ними делать будешь? Прятать?»

Не помню, что ответил Эдя-Грыжа. Тема часов больше не возникала.

Такой ли уж Арик был правильный подросток? Ну... не совсем.

У их седобородого деда, похожего на Мичурина, в конце огорода росло несколько кустов чёрной смородины. Это была заманчивая редкость: в те годы почему-то ни у кого из наших соседей ни смородины, ни малины в огородах не было.

Эдя-Брэдя однажды, глядя на те кусты, посетовал:

— А ягоды уже крупные! Я просил — а деда не решает.

— Зелёные ещё, — ответил двоюродному брату Арик.

— Ну и что? — Эдя-Брэдя даже подпрыгнул: так ему хотелось попробовать ягодок. Я, глядя на него, тоже захотел.

А дед сидел на крыльце. Читал газету, но время от времени снимал очки и поглядывал вокруг. Весь огород был в поле его зрения.

У Арика глаза вдруг зажглись новой идеей:

— А хотите поиграть в индейцев?

Зашёл в беседку. Там лежал моток дедова шпагата. Арик отмотал и складным ножичком отрезал метра полтора, потом ещё столько же. Повёл нас за ограду, где росли при дороге тополя, и срезал шесть тополиных веточек — все они были в широких зелёных листьях.

— Вот так индейцы маскируются от англичан! — И три веточки примотал шпагатом на спину Эде-Брэде, а три — мне.

Подошёл к забору, оглянулся: не смотрит ли кто чужой? — и, приподняв одну из штакетинок за нижний конец — она там плохо держалась на ржавом гвозде, — отвёл в сторону. Получился лаз. От этого места через весь огород шла между грядок глубокая межа — прямо к смородиновым кустам. Арик скомандовал:

— Ложитесь в межу и ползайте. Деда вас в маскировке не увидит. Много не рвите. Когда поспеет, нам же больше достанется.

Юркий Эдя-Брэдя ловко, не задев штакетинами веточки на спине, проник через лаз в огород, лёг в межу и пополз, работая локтями и коленками. Его тополёвая маскировка и правда сливалась с зеленью грядок. Я пополз за ним. Сердце бешено колотилось, было и весело, и страшновато: а ну как дед всё же заметит?

Доползли — и сразу бросили каждый себе в рот по целой кисточке ягод. То, что смородина неспелая и кислая, нас не смущало. Тогдашняя пацанва летом какую только зелень ни жевала — и траву кислицу, и конский щавель, и молодые листья черёмухи, и жёлтые цветки одуванчиков, и даже их истекающие горьким молочком цветоножки.

Со вкусом жуя и причмокивая, мы с Эдей-Брэдей срывали ягодные кисточки и совали их за пазуху, но сквозь кусты зорко поглядывали на читавшего газету деда, готовые замереть и затаиться.

Чувствовал ли я себя воришкой? Нет, конечно. Я чувствовал себя индейцем.

И так оно, пожалуй, и было.

Снова сиделец

Весёлым запомнилось мне то славное лето пятьдесят второго года! Помимо частых визитов в уютный дворик, совершал я вылазки и во дворы соседних домов, и в парк, что был неподалёку, завёл двух-трёх новых приятелей. И повсюду бегал в одних трусах и майке, загорелый дочерна, с болезненными пузырями солнечных ожогов на плечах. Босиком — однако непременно в кепке, как было принято тогда.

Но вот у моих друзей опять начались школьные уроки. Мне же семь лет должно было исполниться только в январе, а пока я снова стал квартирным сидельцем. Правда, теперь у меня появились обязанности няньки. Сестрёнку Натку часто оставляли дома, потому что у них в яслях, а потом в садике, то и дело объявляли карантин от какой-нибудь детской заразы.

А ещё в детсадах в те годы вовсю гуляла вшивость: скорее всего, вшей приносили дети из самых бедных семей. По этой причине всех детсадовских постоянно стригли наголо, а дома многие мамы обтирали им головы тряпочкой, смоченной в керосине.

И вот сидит сестрёнка на моей кровати — тут ей просторней, чем в собственной кроватке, — и возится с игрушками, склонив большую стриженую голову, украшенную, по обыкновению, пятнами зелёнки. Игрушек не так уж много, но какие-то куклы есть. Помню, например, привезённого отцом с курорта крохотного голого пупсика в такой же крохотной ванночке. Да и я подсутился: сам сшил небольшую куколку, замотанную в цветной лоскуток, как в одеяльце, а на белом

лице (отрезал кусочек от простыни) нарисовал глаза, брови, рот и розовые яблочки щёчек. Натке эта новая игрушка, кажется, тоже понравилась.

А у меня в ту зиму вообще пробудилась охота к рукоделию. И не к тряпичному, а вполне мужскому.

Уже после Нового года мы с матерью в выходной день ходили на фильм «Садко». Совсем рядом, на нашем же перекрёстке, стоял клуб имени Ленина. Это было дряхлое деревянное здание с небольшой статуей (скорее, статуэткой) вождя, укреплённой над входом. Я уже не раз в этом клубе бывал, видел и знаменитого «Тарзана» (и потом со многими другими пацанятами нашего квартала качался на верёвках, подвешенных к тополи, громко вопя «по-тарзаны»), и блистательных «Королевских пиратов» посмотрел (никакого там ножа с «царством небесным» не было — Арик о нём в какой-то книжке вычитал). Ох, какая же давка творилась у входа в кинозал перед началом детских сеансов! Толпа мальчишек, размахивая синенькими билетами, напирала на бедную контролёршу, стоявшую в дверях. Каждый хотел занять место получше. И в этой давке некоторые, кто поменьше ростом, умудрялись протиснуться мимо ошалелой контролёрши без билета — и сидели потом, задрав головы, на полу перед самым экраном. Смотреть кино — когда оно тебя захватывает — можно и так: я немного позже на собственном опыте в этом убедился.

Да, то были чудесные фильмы. Но цветной «Садко» всех их затмил. Я был ошеломлён и раздавлен этой роскошной сказкой. Статный Садко, прекрасная Любава, в рогатых шлемах грозные норманны, зловещей красоты женщина-птица... А главное — расписные парусные ладьи! Эти пузатые чудо-кораблики просто терзали моё воображение, так и плыли перед глазами и днём, и ночью.

В порыве внезапной решимости я отцовской ножовкой отпилил от соснового полена, лежавшего у печки, толстую чурочку сантиметров пятнадцать длиной — и ринулся в безумную работу. Ни резца, ни стамески, ни маломальского умения у меня не было. Простым кухонным ножом, то и дело подтачивая его на бруске, не один раз порезавшись, я много дней подряд с ожесточением фанатика обстругивал, резал и ковырял бесформенный кусок дерева.

И она появилась на свет — пузатенькая ладья с мордой то ли зверя, то ли змея на носу! Я раскрасил корпус своими акварельными красками, в середине палубы провертел кончиком ножа углубление, вставил мачту и надел на неё выгнутый, будто раздутый ветром, бумажный парус с нарисованным солнцем.

Мой кораблик плавал в тазу с водой, и, хотя вода смывала с днища акварельную краску, я был не менее счастлив, чем сам отважный Садко в конце фильма.

Эта ладья стала моей первой в жизни победой.

Натка, хотя и сидела частенько на карантине, хотя и стригли её для профилактики наголо почти всё раннее детство, слишком уж болезненным ребёнком тем не менее не была. И только однажды и мать, и отец не на шутку испугались за её здоровье. И я испугался. Ещё бы: ведь я-то и был всему виновником.

А вышло так. Мать купила тоненькую книжку русских сказок с цветными картинками. И я, незадачливый нянька, взялся читать сестрёнке эти сказки вслух. Да с выражением, да с рычанием, с завыванием. А там, в числе прочих, была сказка про Бабу Ягу — и, конечно, картинка со страшной старухой. Я, войдя в образ, до того «довыражался», что у двухлетней Натки от испуга случилось нервное потрясение. Она смотрела на всех как чумная, не понимая, что ей говорят, а по ночам криком кричала — всё ей чудилась Баба Яга. Мать чуть с ума не сошла, не зная, как её успокоить. Пригласили врача, чем-то стали отпаивать. И бабка какая-то приходила, лечила её. Насилу оправилась сестрёнка от наваждения, а я, зная свою вину, накрепко запомнил этот случай.

Но и сам я примерно тогда же испытал сильнейшее потрясение от книжки. Это был «Тарас Бульба» — из всё той же неказистой «Массовой серии». Убийство Тарасом своего сына Андрия... «Стой же, слезай с коня!.. Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо...» Читая это, я ничего вокруг себя не видел от слёз. Меня сотрясали рыдания.

Снежённица

Зима подошла к концу. Солнце ярче светило в окно, и я радовался, что скоро снова буду много бегать. «Бегать» у нас означало «гулять». К матери зашла соседка, из их разговора я понял, что на днях повалит снег — будет *снежённица*.

Мне понравилось это красивое слово: так и виделось в нём густое и плавное кружение снежинок...

Однако снег не выпадал, становилось всё теплей, и меня чаще стали отпускать на улицу.

И вдруг переполох: умер Сталин. Не знаю, как встретил это известие отец, — он был в командировке. А мать ходила расстроенная: нет-нет, да и заплачет. Но особенно я запомнил страх соседской Люськи, школьницы лет девяти. Я вечером во дворе столкнулся с ней, заполошно куда-то бежавшей.

— Владыка, ты слышал — Сталин умер! Ой, что теперь будет! Говорят, на нас немцы нападут!

Немцы меня почему-то не обеспокоили. А Сталина было жаль. Конечно, не до такого отчаяния и рыданий, как убитого Тарасом Андрия, как казнённого Остапа и как самого Тараса, сожжённого на костре, но всё-таки очень жаль. Я привык, что если о Сталине кто-нибудь упоминал, то всегда с особым почтением, и при этом у говорящего сразу менялись и голос, и выражение лица. Для меня Сталин был человеком почти родным и очень значительным. Я верил, что он может всё-всё на свете.

При нехватке в продаже детских книг мать ещё за год до того купила мне, тогда шестилетнему, учебник «Родная речь» для второго класса. Был там, среди прочего, портрет Сталина в маршальском мундире, а под ним стишки, навсегда засевшие в память:

Новый год над мирным краем.
Бьют часы двенадцать раз.

Новый год в Кремле встречая,
Сталин думает о нас.

Он желает нам удачи
И здоровья в Новый год,
Чтоб сильнее и богаче
Становился наш народ.

Ещё мне нравился виденный где-то снимок: сидят на скамейке Ленин и Сталин, оба улыбаются. Я вообще-то знал, что Ленин давно умер, но этот факт для меня как-то не имел значения. Однажды перед сном я даже размечтался — вот приедут к нам в гости Ленин и Сталин и спросят меня: ты маму слушаешься? Я скажу: да. И мама подтвердит: он у нас и посуду моет. И тогда они подарят мне трёхколёсный велосипед.

Не уверен — то ли в день смерти Сталина, то ли днём позже — прошёл небывалый, для многих памятный мартовский снегопад.

И я понял: вот наконец она, та самая *снежённица*, которую ожидали мать и соседка! Наутро вышел во двор. Там в снегу уже были прокопаны в разные стороны дорожки. Да не дорожки — целые траншеи! Я из них едва выглядывал. Вот бы в войну поиграть или в снежки — да не с кем, все в школе. Погуляв, пошёл домой в радостном удивлении: ничего себе снежённица!

Настал день похорон. Мать, уходя на работу, наклонилась ко мне, приблизив заплаканное лицо с покрасневшими глазами, и то ли строго наказала, то ли умоляюще попросила:

— Сыночка! Сегодня будут давать прощальные гудки — протяжные такие. И депо будет гудеть, и паровозы, и мельница, и маслозавод. Ты, как услышишь эти гудки, сразу стань по стойке смирно — и руки по швам, как солдат... — Она взяла мои руки и показала, как их надо опустить и вытянуть, прижав к бокам. — Да... — вспомнила вдруг. — Натку тоже так поставь, слышишь?

Задержалась перед зеркалом, ещё чего-то там припудрила. Обернулась с порога, умоляюще посмотрела на меня:

— Слушай протяжные гудки — не пропусти!
И ушла.

Я был взволнован этим наказом. Даже страшновато стало: только бы не сплеховать, не прозевать...

Сел за стол у окна. Чем бы пока заняться? Порисовать, что ли. Огляделся в раздумье. Натка спокойно играла на моей кровати, что-то бормоча под нос.

И тут — гудок за окном!

Я вскочил, вытянул руки по швам — а он уже умолк. Я облегчённо выдохнул: нет, это всего лишь паровоз на станции. Они постоянно дают гудки, и день и ночь.

Снова сел и стал слушать. Опять загудело, я дёрнулся... Но нет, это опять паровоз, короткий гудок. Потом подряд три коротких... А вот, кажется, протяжный?.. Я поморгал, соображая, потом вскочил, но стойку смирно принять не успел — гудок затих. Через

некоторое время раздался тоже вроде протяжный. Я вскочил, вытянулся — а гудок на полсекунды замолк — и снова прогудел довольно длинно.

Длинно — или протяжно? Как отличить? Я озадачился. Мама не сказала, насколько протяжными будут эти прощальные гудки. И не сказала, когда именно их будут давать — то ли вот-вот, а то ли ближе к обеду. Наверное, она и сама не знала.

Гудки продолжались — то короткие, то подлиннее. Самые обычные пристанционные паровозные гудки, я всю свою жизнь, с самого рождения, слышал их и не обращал на них внимания. А сегодня слушал — и терзался: а вдруг пропущу тот протяжный, прощальный? И не отдам последней почести самому Сталину! Разве можно будет меня за это простить? Да никогда!..

Посмотрел на сестрёнку, спокойно игравшую на моей кровати, и спохватился: её ведь тоже надо научить стоять по стойке смирно! Подошёл к кровати.

— Ната! Смотри, как я стою! — И встал перед нею, вытянувшись солдатиком.

Она засмеялась:

— Будем играть?

— Ну да, играть! И ты так же должна стоять, как и я. Поняла?

Но она только хлопала большущими тёмно-карими глазами.

— Вот когда гудочек загудит, — стал объяснять я, — мы с тобой оба вот так встанем и постоим. Хорошо? Ну-ка, давай встанем... Вот та-ак...

Я деловито поднял её, поставил на ноги.

— Ручки вот так опусти и прижми. Вот молодчина! Так и стой!

Сам быстро отскочил от кровати и встал навтыж-ку, показывая пример.

Моя наголо остриженная подчинённая в распашонке, старательно вытаращив глазщицы и выпятив большой детский живот, секунду постояла, но, не сдержав на мягкой пружинной кровати равновесия, завалилась на бок. И снова засмеялась.

— Ну что же ты!.. — Я подскочил, поднял её, поставил, но едва отбежал и сам принял стойку, как она снова упала на бок.

Вне себя от досады, я снова поднял её.

— Да стой же ты прямо, не вертись! — И какое-то время попридержал её руками с обеих сторон, чтобы привыкла сохранять нужное положение. А она, поняв, что я недоволен, перестала улыбаться и ещё старательней выпучила глаза и выпятила живот.

А отошёл — опять упала.

— Натка! — сердито прикрикнул я. А она вдруг заплакала.

— Наточка! — взмолился я. — Ну что ты плачешь? Ну давай ещё раз!..

А гудки за окном всё раздавались и раздавались, приводя меня в отчаяние. Короткие гудки, не те, что надо... Но вдруг загудит тот, такой важный, такой... страшно подумать!.. А я что буду делать? Эту дуру Натку поднимать и ставить? И сам буду как дурак...

— Наточка, ты не плачь, ты вот так встань... — упрасивал я, деля очередную попытку. Но опять — всё то же самое.

Я почувствовал, что сам вот-вот заплачу. И правда — не сдержался, заревел. Но продолжал делать свои безуспешные попытки, а время шло, и паровозные вскрики звучали уже издевательски...

В конце концов пришла на обед мать. А мы с сестрёнкой сидим на кровати, оба в слезах.

— Что такое? — испугалась она. — Владик, что случилось?

Отчаянная гримаса скривила моё зарёванное лицо, и я провыл:

— Не стои-и-ит!..

— Что-о-о? — оторопела мать. Недоумение, появившееся на её лице, вдруг сменилось ещё большим испугом, даже ужасом. Она побледнела.

А меня прорвало.

— Натка не стой! — выкрикнул я. И, захлёбываясь слезами, обрушил на мать всё, что почти полдня изматывало меня. — Она не может, как солдат... Падает и падает... А если вдруг гудок?.. Который протяжный?.. А мы-ы... Руки по шва-а-ам...

Я изливал матери свои безысходные муки, а она слушала — и ужас постепенно сходил с её лица.

— Господи! — выдохнула с облегчением, прижав ладонь к груди. Слезы блеснули в голубых глазах, она криво улыбнулась, но тут же всхлипнула. Достала платочек, вытерла глаза. — Ой, горюшки вы мои бедные!

Села на кровать, прижала нас обоих к себе с двух сторон и целовала, виновато приговаривая:

— Успокойтесь, хорошие мои! Не нужно вам стоять смирно! Не слушайте больше гудки. Всё прошло, всё хорошо... Сейчас умоемся, обедать будем...

Посидела с нами в обнимку, помолчала — и, ни с того ни с сего, засмеялась. И не просто засмеялась — затряслась от смеха! Я был изумлён. А она поспешно разжала свои объятия, встала и отошла от нас к окну, раскачиваясь и сгибаясь от отчаянного хохота.

— Ну на-а-до же! — тоненько выкрикивала сквозь смех. — Это на-а-до же!..

Я не знаю: то ли профсоюзное и партийное начальство привокзального ресторана дало матери бестолковую информацию о прощальных гудках, то ли она сама что-то не так поняла. Известно, что Сталина в Москве хоронили в четыре часа дня. Сейчас разница нашего амурского времени с московским — шесть часов, а тогда, в пятьдесят третьем, восточная часть Амурской области, где расположена и Завитая, входила в Хабаровский часовой пояс, поэтому разница с Москвой была и вовсе семь часов. Значит, в момент прощания с вождём у нас было одиннадцать вечера. Ночь, в сущности. Едва ли кто-то стал бы включать в такое время траурные сирены. Если и включал, то ненадолго. А давать прощальные гудки днём, до начала прощания, было бы просто нелепо.

Ну и напоследок — про красивое и загадочное, будто созданное для поэзии и сказки, слово «снеженица». Не было такого слова. Как уже могли догадаться сведущие читатели, предметом разговора моей матери с соседкой была не почудившаяся мне в приливе

фантазии *снеженница*, а всеми тогда ожидаемое *снижение цен*. Знаменитое сталинское — на продукты и другие товары. Оно в том году состоялось первого апреля. Между прочим, в последний раз.

Снижение цен — это очень доброе дело. Но за поэзию и сказку всё же обидно.

И вдогонку — ещё раз про *поэзию и сказку*.

Летом того же года, в одну из суббот, мы с отцом, как всегда, пришли в железнодорожную баню. У входа ожидали своей очереди мужики — кто стоял у дверей, кто сидел на лавочке. Подбежал маленький грязный цыганёнок:

— Дяденьки, дайте двадцать копеек, я спляшу.

Ему, смеясь, бросили под ноги монетки. Он собрал их, зажал в кулаке — и прошёлся вприсядку, мелькая босыми чёрными пятками и голосисто выкрикивая:

Изменник Берия
Потерял доверие,
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков!

Навсегда запомнилась мне эта частушка.

По форме — самая настоящая народная *поэзия*.

А по содержанию — партийно-правительственная *сказка*, — если в самом деле, как считают нынешние историки, Берия оклеветали.

Новое время — новые песни. Так было и будет.

Дела корабельные

Весеннее солнце припекало, как летнее. Надоело сидеть дома.

В поисках какого-нибудь занятия я залез в отцову кладовку, что была сбоку от сарая, — сверху над ней ещё недавно была наша голубятня. Среди лопат, вил, каких-то старых стульев мне на глаза попались сколоченные отцом из досок санки. Я ими почти не пользовался — никакой горки, чтобы кататься, поблизости не было. Повозил зимой закутанную от мороза Натку два раза по двору на этих санках да и забросил их.

Теперь они меня заинтересовали. Полозьями в них служили две сосновые доски, поставленные ребром и спереди опиленные с закруглением. Они были лёгкие, а главное, очень толстые. Взглядом опытного корабеля я это сразу оценил. Из такой толстой доски можно сделать большую ладью! Выдолбить, поставить мачту с парусом, посадить туда слепленных из цветного пластилина людей и пустить в плавание не в каком-то тазике, а в настоящей большой глубокой луже!

Азарт созидания снова охватил меня.

Но как отсоединить нужную доску? Она же крепко прибита гвоздями к дощечкам саночного сиденья, соединяющего полозья.

В углу был прислонён к стене топор. Поднял его — тяжёлый. Потрогал блестящее лезвие — ух какой острый! Но лезвие сейчас не имело значения. Тяжёлый обух — вот что было важно. Я видел, как отец расколывал обухом дощатые ящики — чтобы потом из до-

щечек наколоть растопки. А я вот санки так же расколочу.

Выйдя наружу, уложил санки на землю, взял в обе руки топор, лезвием вверх, обухом вниз. Примерился, куда нанести первый удар. Взмахом, с некоторым усилием, занёс тяжёлый топор над головой... и почувствовал тонкую резкую боль где-то между лбом и макушкой. Ничего не понял, но несколько смешался — и удар по санкам получился вялым и неточным.

Тут что-то потекло со лба на лицо. Потрогал лицо — на пальцах кровь. Не успел удивиться — а она уже на рубашку закапала.

А через двор шла соседская тётенька. Увидев меня, с залитым кровью лицом и с топором у ног, охнула, подскочила. Сдёрнув со своей головы лёгкую ситцевую косынку, прижала её к моей наголо стриженной голове, уголком обтерла наспех лицо и за руку потащила меня через двор в нашу квартиру. Я, набычившись, еле поспевал за ней.

У нас на квартире был телефон — великая по тем временам редкость. Он был не наш, а казённый, мать иной раз проклинала его: по нему в любое время дня и ночи оглушительным звонком вызывали отца на работу. Но, бывало, телефон здорово выручал.

Соседка крикнула в трубку: «Мне жэдэ ресторан!» А потом: «Алё, позовите Надю-счетовода... Надя, только ты не волнуйся... Твой Владик голову топором разрубил... Да живой, живой...»

Мать примчалась молниеносно. И только увидев её побелевшее, насмерть перепуганное лицо, я наконец заплакал. Вернее, захныкал — в предвидении грядущей взбучки.

Ничего я, слава Богу, не разрубил, а всего лишь порезал лезвием топора кожу на голове.

Но, конечно, мне крупно повезло.

Забегая вперёд

А корабль, хоть и много позже, я всё-таки сделал. Я уже учился в четвёртом классе, и не Садко царил в моих взбудораженных далёкими морями мозгах, а адмирал Нахимов и капитан-лейтенант Головнин, и не крутобокие ладьи мерещились, а стройные брига и фрегаты. Отец в очередной раз лежал в больнице, измотанная мать дала мне какие-то малые деньги, и я купил себе на свой одиннадцатый день рождения самый в тот момент вожделенный подарок — рашпиль! Кто не знает — это такой крупный напильник по дереву.

Мною уже был выдолблен из берёзовой чурки настоящей стамеской корпус парусника. Но он был грубый, необработанный. И вот, заполучив желанный рашпиль, я с его помощью довёл борта до нужной гладкости, а потом ещё и наждачной шкуркой прошёлся. Настелил фанерную палубу с прорезанным в ней люком, который закрывался жестяной крышечкой на проволочном шарнире. Поставил две мачты с реями и бушприт на носу, закрепил паруса из простыночной ткани — они поднимались и опускались на ниточных канатиках. И верёвочные трапы из тонкой проволоки были протянуты от палубы к верхним реям, и

вымпелы реяли на мачтах, а на корме — Андреевский флаг. Выкрасил корпус чёрным кузбаслаком, а на бортах вывел по чёрному белилами имя своего брига: ДИАНА — как у трёхмачтового шлюпа капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца.

Боже мой, как же я тогда хотел, как горел желанием стать моряком!

Даже странно, насколько легко и — как изъяснялись в эпоху парусных кораблей и гусиных перьев — *нечувствительно* исчезают со временем пылкие детские мечты. Развеиваются как дым.

Но всё же маленький огонёк от них остаётся, продолжая тлеть где-то глубоко в душе. И что ни говори, а не хочется, чтобы он совсем погас.

А ведь я теперь и не вспомню, какая именно тёнька пришла на помощь мне, залитому кровью корабелу. То ли из соседнего подъезда (жена дяди Яши?), то ли даже из соседнего дома.

Но, в общем-то, все соседи у нас в околоте прекрасно знали друг друга.

Круговорот соседской жизни

В те незабвенные пятидесятые едва ли не главной особенностью житейского уклада было постоянное общение соседей. Отцы семейств вечером заходили друг к другу в гости — распить чутушку¹ или просто покурить, до полуночи споря о политике. Что уж говорить о гостях-соседках! Их вдохновенная трескотня была для невольно подслушивавших детей, особенно девочек, источником любопытнейших сведений. Ну нескучно, нескучно жилось нам без телевизоров и компьютеров — уж вы поверьте, недоверчивые потомки!

И детям квартирная теснота тех лет не мешала толпами ходить по гостям.

С другой стороны нашего дома, кроме крыльца с уютным двориком, был подъезд, ухоженностью, как я уже сказал, не отличавшийся. Там жила многодетная семья, однако старшие дети уже разъехались кто куда, и остались только Люська, года на два постарше меня, Райка, моя ровесница, и самая младшая — Надя, подружка моей сестрёнки. Был ещё ровесник Арика Толька, но тот с нами, мелкотой, не водился и вскоре тоже уехал — поступил в речное училище.

В их двухкомнатной квартире постоянно толкались соседские мальчишки и девчонки. И взрослых хозяев это не раздражало. Мать Райки и Люськи, погружённая в домашние хлопоты, лишь беззлобно шуганёт кого-нибудь: мол, не мешайся тут! А отец, в железнодорожной фуражке, невысокий, плотный, с небольшим пузцом, приходя на обед, весело оглядывал ораву гостей и добродушно кивал головой на наши «здрасьте».

Помню: начало лета, но у них всю топится печь, и потому окна распахнуты. На плите исходят паром и клокотанием две огромные кастрюли. Райка, подста-

вив к плите табуретку, взбирается на неё и открывает крышку той кастрюли, что поменьше. Сообщает мне:

— Квасоля на ужин варится.

Шумовой вытаскивает из кипящего варева прямо на раскалённую плиту несколько продолговатых белых фасолин. Они сердито шипят. Райка тут же торопливо, пока не пригорели, хватает их по одной прямо пальцами и, подув, кидает в рот.

— А ты что — не любишь квасолю?

Я с опаской — не обжечь бы о плиту пальцы! — беру фасолину, дую на неё, жую. Она очень горячая, но ещё полусырая, твёрдая.

— Ладно, пускай кипит! — И Райка перетаскивает табуретку к той кастрюле, что больше размером. — А здесь соя чушкам!

Шумовой вытаскивает на плиту с десяток жёлтых соевых зёрен. Пробуем и их. Соя для чушек оказывается и мягче, и вкуснее.

Дорого мне одно воспоминание. Лет в восемь я попал (скорее всего, та же соседская Райка затащила) на новогодний утренник в совсем незнакомую мне квартиру. Это был не добротный, как у нас, дом, а ветхий *шлакозасыпной* барак — встречались тогда по Завитой в немалом числе такие жилые строения: их стены сколачивались из дощатых щитов, между которыми засыпался серый угольный шлак. И вот я оказался в невообразимо нищей комнате с облезлой извёсткой на закопчённых стенах. Уж не знаю, был ли в той квартире хозяин мужчина. В окне одна из стеклин отсутствовала, и в раму была засунута для защиты от зимнего холода не очень чистая на вид подушка.

Однако гостей — то есть соседских детишек — пришло много. На ёлке были развешаны самодельные гирлянды из бумаги, неумело раскрашенной цветными карандашами, а также дешёвые карамельки — облепленные сахарными песчинками розовые кругляшки, известные позднее как «дунькина радость», но в те годы бывшие для детей вполне нормальной радостью.

Сначала все походили хороводом, задевая в тесноте колючие ветки, и я всё боялся, что карамельки от этого будут падать на пол и их растопчат. Потом дело пошло веселее: желающие по очереди, встав у ёлки, исполняли стишок или песенку, и одна из старших девочек — лет, может быть, тринадцати, — приветливая и серьёзная, снимала с ветки карамельку и вручала каждому маленькому исполнителю в награду.

Но вот она сама встала у ёлки — и громко запела:

Хорошо нам жить на свете —

Беспокойным, молодым!

И мороз, и знойный ветер,

Если надо, укротим...

Музыки никакой не было, но мы затихли — её звонкое пение птицей закружило над нами и словно околдовало всех.

Открыв рты, замерли столпившиеся у новогодней ёлки малые дети, одетые плохо и уж никак не празднично, многие в пятнах зелёнки на замурзанных сопливых личиках. Да и ёлка, в бедном наряде, без еди-

¹ *Чутушка* — такое имя, родственное словам «четвертушка», «четвертинка», носила нынешняя *чекушка*, родства не помнящая. — *Примечание автора.*

ной блёстки, тоже выглядела невзрачно. Январское низкое солнце освещало этот убогий праздник сквозь мутное, составленное из ломаных стёкол окно с нелепо торчащей в нём подушкой. А девочка стояла, в стареньком застиранном платъице и тяжёлых серых валенках, но всё равно красивая какой-то до сих пор памятной мне строгой красотой, и пела уверенным чистым голосом:

Расцветает степь лесами,
А в лесах поля цветут.
Это сделали мы сами,
Это наш великий труд...

Жалкая нищета барачной комнаты — и такая ликующая, победная, счастливая песня... Слёзы подступают, когда вспомню об этом.

И пусть не покажется диким, но это слёзы восхищения и гордости.

Трактуйте как хотите.

Странное семейство

В общем, ходить в гости было в те времена делом практически повседневным.

И только семейство, жившее в подъезде с уютным двориком, у всех обитателей нашего квартала вызывало недоумение. Оно соседских отношений ни с кем не поддерживало и гостей тем более никогда не принимало. Исключение составляли мы, мальчишки, дружившие с Ариком. Но, во-первых, нас было мало — я, в сущности, всех уже перечислил, — а во-вторых, и мы, «избранные», бывали только в их дворике.

Хотя нет — ещё мы бывали в их стайке.

У всех семей нашего дома, как я уже говорил, имелась в большом бревенчатом сарае стайка для скотины. Но это семейство, опять же к всеобщему недоумению, ни кур, ни свиней и никакой другой живности не держало. В их пустой, летом прохладной стайке было просторно и чисто — ни грязи, ни вони. Приятно пахло сухими травами — их пучки висели на стенах. На полке в баночках и бумажных кульках хранились какие-то семена. А на полу желтела солома — её дед откуда-то принёс и расстелил, — и от этой соломы сам воздух в стайке казался золотистым.

И там творились чудеса.

У Арика был фильмоскоп — штукавина, ныне забытая, а тогда очень уважаемая. Представьте небольшой, размером с ручную фотокамеру, аппаратик в жестяном корпусе, с окуляром, а сбоку колёсико — для прокрутки. Внутри заряжалась узкая плёнка с тремя-четырьмя десятками кадров какого-нибудь кинофильма: сейчас бы это назвали слайдами, а тогда такие плёнки были известны как диафильмы. Надо было один глаз зажмурить, а другим прижаться к окуляру и, покручивая колёсико, смотреть кадр за кадром, читая под каждым подписи.

Смотреть мог лишь один человек. Но нас-то была целая компания!

Арик нашёл выход. В дощатой двери стайки были небольшие щели. В солнечный день через них, если

дверь закрыть, в полутёмную стайку пробивались солнечные лучи. Арик прикреплял фильмоскоп к самой широкой дырке — и солнечный луч переносил на приколотый к противоположной стене большой лист ватмана увеличенные кинокадры.

С той поры, когда речь заходит о фильме «Александр Невский», я вспоминаю золотистую полутьму стайки, запах сухих трав — и на стене чёрно-белые кадры великого фильма: гордый Александр в богатой длинной рубахе, сияющие купола собора, подлый изменник Твердило, жуткого вида ливонские рыцари с безликими железными мордами, грозные топоры новгородцев... Эх, коротка кольчужка!..

За все годы соседства я лишь раз или два ненадолго заходил в квартиру этого семейства, не помню зачем. Там была образцовая чистота — но при этом и невообразимая теснота. Ещё бы — в двухкомнатной квартирке с узенькой кухней размещались девять человек: дед с бабкой и две их взрослые дочери, из которых у каждой по двое детей, а у младшей — ещё и муж.

Итого — три поколения, объединённые в три семьи.

И у каждой семьи своя фамилия: у деда с бабкой одна, у старшей дочери с детьми — другая, у младшей дочери с мужем и детьми — третья.

Начну с третьей семьи. Младшую дочь деда и бабки, невысокую фигуристую дамочку, звали тётя Шура, её мужа — дядя Женя, он был начальником среднего звена на железной дороге, кажется, по части сигнализации и связи, худощавый, всегда куда-то спешащий: промелькнёт и исчезнет. Их дети — непоседливый Эдя-Брэдя и худенькая капризная Вика-Викуся.

Старшая дочь деда и бабки — Тамара Васильевна — работала, кажется, где-то в бухгалтерии. Как сейчас вижу: неспешно идёт на работу с маленькой сумочкой в руке, стройная, слегка наклонив вбок голову с высокой строгой причёской. Вежливым кивком отвечает на приветствие. Вид её всегда вызывал у меня почтение. Её детьми были Арик и Регина — молчаливая замкнутая девочка, младше брата года на три.

Забегая вперёд

Много лет спустя Арик — вернее, Артур Алексеевич, ибо к тому времени он сам уже был и отец, и дед, — коротко рассказал мне такую историю. Его отец воевал, мать растила двух малых детей и ждала мужа. А потом узнала, что он сошёлся с другой. Когда вернулся и стал просить о прощении, Тамара Васильевна прогнала его. И больше замуж не выходила. Состарившийся сын рассказывал, а я с удивлением слышал в его голосе злобу. За нанесённую матери обиду он отца-фронтовика так и не простил. Хотя столько лет прошло. Но кто тут сыну судья? И что мы знаем о милосердии?

И наконец о старшем поколении семейства. Похожий на Мичурина глуховатый дед, содержавший в образцовом порядке и дворик, и огород, был родом с Урала. Бабка, его жена, — из забайкальских казаков.

Они когда-то (о чём я тоже узнал уже через много лет) жили в Китае, где дед работал на КВЖД, но успели выехать оттуда в Амурскую область, кажется, за долго до войны. Во всяком случае, репрессии, под которые попадали бывшие «харбинцы», их миновали.

Вот им-то, деду и бабушке, наш рассказчик Арик и был обязан знанием всякой всячины. Ведь они вывезли из Харбина немало книг и журналов. Кое-что Арик тайком от бабушки выносил из дома и показывал мне. Например, ту самую «Королеву Марго» дореволюционного издания. В ней я впервые увидел букву «ять». А какие там были гравюры сцен Варфоломеевской ночи!

Позже — уже, наверное, года через два после того первого лета — он давал мне на дом почитать такую же старинную книжку. Она называлась «Маленький лорд Фонтлерой». Чтение с «ятами», твёрдым знаком в конце слова и чудаковатого вида окончаниями — вроде «большаго», «синяго» — я освоил без труда, но сама эта книжка, хоть и детская, показалась мне скучной. Запомнилась почему-то лишь одна фраза, сказанная маленьким американцем: «Я хочу поехать в Англию и сделаться *лордом*».

Ещё Арик показывал журнал «Нива» — тоже с «ятами» и твёрдыми знаками. Там, среди прочего, была «Пёсенка Дон Жуана»:

Я знаменитый сердцеѣдъ,
Ко мнѣ лнуть женщины какъ мухи —
И высшій свѣтъ, и полусвѣтъ,
И молодья, и старухи...

«Как мухи» — это звучало смешно, а «сердцеѣд» и «полусвет» — непонятно.

Из второго куплета помню две последние строчки:

...Въ Парижѣ сто одинъ корсетъ
На память дамы мнѣ вручили...

Что такое «корсет» — и Арик толком не знал, но, видимо, что-то неплохое, если так расхвастался этот самый Дон Жуан (тоже, кстати, не очень понятно, кто такой). Далее было:

Съ американкою не разъ
Подъ небесами мы летали...

А запомнил я почти весь стишок благодаря концовке:

Въ России мнѣ подбили глазъ
За тет-а-тетъ на сеновалѣ.

Эти две строчки привели меня в восторг. И главным тут было даже не возбуждавшее законный интерес туманное «тет-а-тет», а подбитый в России глаз. Это же умора! И, опять же, — знай наших!

А однажды Арик вынес очередную книгу и, таинственно глянув по сторонам, произнёс: «Запрещённая!»

В руки мне он её не дал, а только открыл переднюю сторонку переплёта, и я увидел рисунок: сидят какие-то дядьки и тётки на длинной скамье, и среди

них красноармеец в будёновке и шинели с «разговорами». Арик сказал, что это рассказы писателя Зоценко, очень потешные. Почему они запрещённые — он не знал. Когда я любопытствовал, о чём этот Зоценко писал, он ответил:

— Если пересказывать, будет неинтересно. Надо читать.

Однако читать вслух не стал и унёс книжку обратно.

Да и время пересказывания книжных историй, кстати сказать, подходило к концу.

Наступала пора устных «мемуаров».

«Шапка-флот»

Как-то летом, — перед тем как мне идти то ли второй, то ли в третий класс, — прошли сильные ливни, и наш перекрёсток улиц Кирова и Чапаева совсем затопило. Это было моё недолгое морское счастье! Мальчишек набежало со всего квартала. Мы с хохотом бродили по мутной грязной воде, где по колено, а где и по грудь. Откуда-то понагнали старых калиток, ворот, железнодорожных шпал — и плавали на этих боевых кораблях, сталкиваясь «бортами» с противником, нещадно обрызгивая друг друга ударами ладоней по воде и очумело зажмуриваясь от встречных брызг, мокрые и грязные с головы до ног.

Арик с забора наблюдал. Смеясь, выкрикивал:

— Вон палка плавает! Бери её и толкайся, как шестом!.. Сильней толкайся!

— Калитка твоя тонет! Перелазь на шпалу!..

— Заплывай к нему сбоку! Тарань в борт!

В этот-то день, как я теперь понимаю, и родилась у него идея собственных «флотских мемуаров». Она оказалась поистине неисчерпаемой.

Прибывав домой, я торопливо (пока мать не вернулась с работы) искупался в бочке с дождевой водой, пополоскал в ней же майку, трусы и кепку — всю свою летнюю одежду, — кое-как отжал и опять надел как ни в чём не бывало. Взбучку от матери всё равно получил — но это пустяки, не стоящие внимания.

К утру потоп сильно пошёл на убыль, и скоро перекрёсток снова стал проезжим. Ливней больше не было, хотя дождик временами моросил. Мы собрались в беседке, увитой цветущими вьюнками, и возбуждённо говорили о вчерашнем. Арик пренебрежительно махнул рукой:

— Чепуха! Вот у нас был флот — это да! Когда мы жили в Куйбышевке...

Я сейчас не уверен: то ли он назвал Куйбышевку, нынешний Белогорск, то ли город Свободный. Впрочем, это не имеет ни малейшего значения. Итак:

— ... у нас там был один пацан — Шапошников. Мы его звали — Шапкин. Он был старше всех — такой, как я сейчас... У него батя работал директором лесобазы. Там брёвен было — жуть! И в штабелях сушились, ошкуренные, и так валялись, и в воде плавали...

Про какую воду Арик говорил — про речной затон, озеро или просто затопленную дождями территорию

при этой самой лесобазе, — я не очень-то понял. Но меня такие мелочи и не волновали.

Разворачивался рассказ о небывалых, грандиозных вещах.

Этому Шапкину будто бы разрешалось, как сыну начальника, в любое время туда приходить, да ещё и друзей приводить, сколачивать из брёвен плоты, по два-три бревна, и плавать на них сколько угодно. Никто пацанят не прогонял. Полная свобода, широкий простор для плавания — и вода чистая, не то что здесь! А плот из брёвен, особенно ошкуренных, — это не то что грязная шпала, а тем более перекошенные ворота и хлипкая калитка, которые всё время тонут то одним боком, то другим, да ещё и на гвоздь можно напороться.

— Вот там были бои так бои! Мы бились эскадра на эскадру!

Этот рассказ впечатлил всю компанию.

Но, как я — опять же теперь — догадываюсь, ещё больше он впечатлил самого рассказчика. Арик неожиданно наткнулся на драгоценную жилу — только знай разрабатывай! И за этим дело не стало.

Как раз и погода наступила подходящая: нет-нет да и сеял мелкий дождик. Мы сели в уютной зелени беседке и слушали продолжение увлекательнейших «мемуаров».

Этот мальчишечий адмирал Шапкин разделил всю водную братию на две эскадры. Одной командовал сам, а другую отдал своему однокласснику. Эскадры вели между собой сражения. И рассказ об этих сражениях, то прерываясь надолго, то с новым огоньком возобновляясь, в общей сложности растянулся на месяцы — и даже на годы!

Каждый раз Арик вспоминал всё новые подробности и новые приключения. Так, оказалось, что плот из двух брёвен — это был миноносец, из трёх — эсминец, из четырёх — крейсер. А Шапкин, разумеется, находился на линкоре, сколоченном аж из пяти брёвен. И этот тяжёлый линкор четверо крепких ребят с шестью разгоняли до такой скорости, что, когда он врезался во вражеский крейсер, команда неприятеля, не удержавшись, вся плюхалась в воду.

Сам рассказчик был — как он уточнил через некоторое время — мичманом на адмиральском линкоре. О собственных подвигах умалчивал — очевидно, соблюдая меру, — зато боевые дела его эскадры водопадом обрушивались на слушателей. Лихие тараны, коварные пуски «торпед» — разогнанных до большой скорости одиночных брёвен, — отчаянные абордажные схватки, хитроумные угоны кораблей противника...

Не знаю, как другие, а я сначала не сомневался в достоверности всех этих приключений — настолько ярко они рисовались воображению.

Долгоиграющим «мемуарам» мы дали название «Шапкин флот», а затем, для беглости, упростили в «Шапка-флот».

Забегая вперёд

Но со временем распалась слушательская аудитория. Сначала откололся Вова-Кобыла, бывший почти ровесником Арику: повзрослел. Потом уехал с родителями в Норильск Эдя-Грыжа. Эдя-Брэдя, хоть и родственник рассказчику, интерес к «флотским» историям утратил. А скоро эта часть семейства — дядя Женя, тётя Шура и Эдя-Брэдя с Викой — тоже уехала из Завитой: дядю Женю перевели на новое место работы. В их квартире стало намного просторнее.

Но и я, самый прилежный слушатель, гораздо реже стал бывать в их дворике. Школа, новые приятели — и по дому обязанностей прибавилось, особенно с болезнью отца.

Наша семья к тому времени снова сменила квартиру — в последний, как оказалось, раз. Переехали мы недалеко, всего-то через дорогу — в дом, что стоял торцом на улицу Чапаева, окнами прямо на железнодорожный клуб. А фасадом он выходил на улицу Кирова, как раз напротив нашего бывшего дома. И крыльцо Арика смотрело теперь напрямиком на наше крыльцо.

Видеться мы стали реже. Его, уже старшекласника, теперь трудно было и представить в компании детворы.

Но иногда он выходил на крыльцо и, прижав кулак ко рту, выдавливал из плотно сжатых губ воздух — и раздавался резкий пронзительный звук: как будто кто-то отдирает прибитую ржавыми гвоздями доску. Это был условный сигнал. Я, если был дома, выскакивал и отвечал таким же сигналом. Переходил неширокую улицу, и мы сели у них под окном на заваulinke.

— Ну что — «Шапка-флот»? — спрашивал он.

— Давай! — кивал я.

Сколько же выдумки в нём бурлило! Уже года два прошло с тех пор, как зафонтанировали его «мемуары», а всё ещё рождались новые подробности. Появились даже «катапульты» — огромные рогатки, в которых резина была нарезана из автомобильных камер. Укреплённые на плотках, эти орудия вели огонь по вражеским экипажам зелёными помидорами, жёлтыми огурцами и даже небольшими тыквами...

Я уже давно понимал, что это враки, но слушать было всё ещё забавно.

Впрочем, и рассказчик утратил прежний пыл. Истории о «Шапка-флоте» стали перемежаться разговорами на разные темы. А вскоре и вовсе сошли на нет.

Зато фонтаном забили эти самые разговоры на разные темы. Мы говорили о наших знакомых, об учителях, о школьных делах — его, старшекласника, и моих... Но больше всего о живописи, о фильмах, о книгах...

И эти разговоры оказались намного интереснее «Шапки-флота». Тут мой собеседник брал уже не бурной фантазией, а точными и часто неожиданными оценками, которые давал и людям, и событиям, и книгам. Книжные вкусы у него, кстати, резко переменялись. Когда я сказал, что хотел бы почитать «Королеву Марго», он меня удивил:

— Длинно и нудно! Лучше возьми Мериме. Про то же самое — но коротко и интересно.

Не скажу, что я внял его совету, но так уж вышло, что «Королеву Марго», потрясавшую меня когда-то в его же пересказе, я, годы спустя, не раз открывал, но не осилил и до середины. А «Хронику времён Карла IX» Мериме прочёл дважды.

Вижу, что я уже далеко *забежал вперёд* в своих *первых приветях*. Но всё равно — прежде чем вернуться к детским годам, прослежу дальше историю «мемуариста».

После десятилетки Арик поработал какое-то время художником при городском кинотеатре, потом год учился в Хабаровске на худграфе. В те времена люди писали письма — и он мне, уже девятикласснику, прислал пару писем, недлинных, но ёмких, с краткими, порой язвительными характеристиками текущей культурной жизни («...тут у всех на языке эта модница Хемингуэй»), с деталями студенческого бытия («...разгружал вагон соли, упирался так, что лопнули на заднице единственные штаны»). У него, не совру, был свой стиль — лапидарный и выразительный. Он мог бы, пожалуй, писать рассказы, если бы захотел.

Со второго курса его забрали в армию. Отслужив три года на Сахалине, в институте доучиваться не стал, а вернулся на то же место художником — в городской кинотеатр, кирпичное оштукатуренное белое здание которого стояло в центре городка. Потом он женился на директрисе этого кинотеатра.

Приезжая в Завитую к родителям, я непременно заходил к нему в его тесную студию-каморку. Там он обновлял рекламу кинофильмов. Ставил перед собой большой холст, натянутый на подрамник, замазывал рекламу уже показанного в кинотеатре фильма и поверх рисовал красками новую афишу. Быстро и уверенно. Я удивлялся: как он умудряется так ловко работать в этой тесноте, где и отойти-то некуда от холста, чтобы оглядеть нарисованное с расстояния.

В каморку был втиснут стол, на нём с одного края стояли банки с краской и отмокали кисти, а с другого имелось довольно места, чтобы поставить бутылку-другую портвейна и пристроить закуску — какая подвернётся.

Мы садились за стол, чокались стаканами — и будто переносились в прошлое, на ту завалинку. Начинались многочасовые разговоры, вольное перепрыгивание с одного на другое.

Я приходил к нему студентом, потом газетчиком, штатным охотником, снова газетчиком, рабочим «дикий» бригады, литератором на вольных хлебах и наконец редактором маленькой издательской фирмы. Я успел вволю пошарахаться по амурской тайге, побывать в Москве, в Ленинграде, на Украине, в Крыму, в Краснодаре и Сочи, на Камчатке и в Приморье, поработать «диким» строителем в сёлах, косцом сена в подсобном хозяйстве прииска, лесорубом у геологов, даже походить на рыболовных судах по Японскому морю.

А он так и рисовал изо дня в день свои афиши. Кроме Хабаровска, где год учился, и Южного Сахалина, где служил, он, собственно, нигде и не бывал.

Но это ровно ничего не меняло.

В наших разговорах он по-прежнему был (думаю, это точное сравнение) вводящим, а я ведомым.

Мы закуривали после первой — и я с жаром начинал рассказывать о том, что увидел в очередных странствиях. Я не бахвалился — просто жаждал поделиться. Но всё же присутствовал, наверное, в моих речах невольный подтекст: мол, сидишь ты тут, в своей келье, — а вот мы!.. в тайге!.. в морях!..

Он слушал невозмутимо: ни восторженного удивления, ни насмешливого недоверия. И при этом — предельно внимательно, без всякого притворства. Я бы даже сказал: по-деловому слушал, понимающе кивая головой.

Меня порой так и подмывало поразить его чем-нибудь необычным, художественно приврать — но эта его деловитая внимательность как раз меня и останавливала. В ней словно тоже читался подтекст: да, ты говоришь любопытные вещи, но жизнь, в своём главном, — везде одна: и в столице, и в тайге, и в захолустном городишке...

Те годы были, как считается ныне, счастливым временем для нашего кинематографа, и он, художник кинотеатра, знал все новинки. Само собой, мы говорили и о кино. В моде, среди многих прочих, была Татьяна Дорониная. Мне понравилось, как Евгений Евтушенко написал о ней в «Комсомолке»: «...нервное обаяние Дорониной». И я, желая блеснуть тонкостью оценки, сказал Арику:

— У неё такое нервное обаяние!

— Да брось ты! — скривился он. — Начитался Евтушенки...

Это была стыдоба! До меня впервые дошло, что кроме литературного бывает и разговорный плагиат, не менее позорный.

Изредка я привозил ему свои, из районной газеты, вырезки репортажей — тех, что считал удачными. Он внимательно прочитывал и, кивнув головой, возвращал мне вырезку: дескать, ознакомился. И на этом — всё.

Привёз свою книгу прозы — то же самое: ни похвалы, ни критики.

Я никогда не задаю этих «дамских» вопросов: «Ну как тебе мой рассказ? Как тебе моя книга?» Захотят — сами скажут. И Арику не задавал. Если он не счёл нужным что-то сказать — значит, писанина оказалась не вполне в его вкусе, а ты уж сам давай ей оценку — если уверен в себе. Не должен автор питаться комплиментами. Это не полезно.

К концу наших бесед в студии-каморке мы изрядно накачивались дешёвым портвейном. К нам, бывало, присоединялись его коллеги — местные художники-оформители. У них он был почитаем и как профессионал, и как советчик по житейским вопросам. И нетрудно было догадаться, что Арик — то есть Артур Алексеевич, — если и не каждый день, то довольно часто приходил домой в подпитии.

Но я не видел, чтобы он во хмелю бывал буен или крикливо весел. Становился молчаливее — и это всё, пожалуй.

Ещё меня удивило, что, несмотря на эти его возлияния, с женой они жили вполне мирно. И дочки его очень любили, а он с ними был ласков и заботлив.

Я бывал в его просторной трёхкомнатной квартире. Точнее — квартиру выделили его жене: ведь она, директор кинотеатра, была номенклатурным работником. Видел сделанный его руками мини-бар, украшенный деревянной резьбой: Бахус выжимает гроздь винограда. Невольно вспомнил тот злодейский пиратский нож и понял: умение резать по дереву никуда не делось.

А потом дочки выросли, уехали в Хабаровск, завели семьи. Жена умерла. А его самого, как долго ни выглядел он молодцом, годы всё-таки догнали. Дальним эхом отозвалась служба на Сахалине, где однажды из-за чьего-то разгильдяйства пришлось простоять несколько часов в карауле на сыром ветреном морозе в кирзовых сапогах вместо валенок. К старости ноги стали отказывать — и былая лёгкая походка осталась в прошлом.

Да что походка — всё изменилось.

Но не буду расписывать немощи и болезни. Не хочу и не буду.

В его домашнем кабинете все последние годы стоит большой, натянутый на подрамник холст, на котором начата масляными красками картина. В нижней части подмалёвком обозначена пышная черёмуха в цвету, а под ней, такой огромной, сидят на лавочке, маленькие и старенькие, провинциального вида мужчина и женщина. Перед ними — лужа, гуси, деревянное корыто. А высоко вверху — летящий реактивный самолёт и опоясывающая весь верх композиции дуга инверсионного следа.

Есть в задумке картины что-то от духа шукшинских рассказов. Я сказал ему об этом. Спросил: когда закончишь? Он пожал плечом.

Так и не закончил. И в этом обстоятельстве видится грустная переключка с полными надежд *первыми приретами* наших судеб.

Однажды я напомнил ему давние детские забавы, «Шапку-флот», наши длинные разговоры в уютном дворике их странного семейства. Сказал, что всё это для меня много значило.

Он удивлённо вскинул голову, подумал — и, будто провоцируя, усмехнулся:

— Что ж ты про это не напишешь?

Ну вот — как мог написал.

Первый класс

Мир уютного дворика, с его не совсем обычными обитателями, был лишь островком — не в море, конечно, а, скажем так, в заливе моего детства, куда накатывали волны большого житейского моря.

И вот — школьная волна накатила.

Школа деревянная, двухэтажная. Она недалеко — доходим с мамой минут за пять. У меня в руках новенький, пока ещё тесный, не разношенный портфель, пахнущий кожзаменителем. И у многих первоклассников такие же портфели, у двух-трёх — даже ранцы за спиной, как на картинках про столичную детвору.

Но у нескольких мальчиков и девочек надеты через плечо самодельные крестьянские холщовые сумки на длинной ляжке. Не сумки — котомки. Отголосок некрасовских времён:

Видю я в котомке книжку.

Так учиться ты идёшь...

Всё лето пробегавший босиком, я отмыл ноги — в цыпках, с затвердевшими, как у страуса, пятками — и надел новенькие ботинки. И все первоклашки были обуты: кто в ботинки, кто в «сандалики». Но один мальчик — не из нашего, а из параллельного класса — пришёл в школу с босыми ногами. Потом я слышал: отца нет, мать уборщица, трое детей... И дня через два купила ему школа ботинки. Где-то же нашли деньги.

В нашем классе учеников было то ли сорок два, то ли сорок три. Расселись по партам, в три ряда. Мы, мальчишки, все были острижены наголо, а у девочек косички никто даже не подумал стричь — ну и правильно. Мне место досталось в центре — в среднем ряду и в середине ряда. Пожилая учительница Вера Карповна, строгая и внимательная, спросила:

— Дети, кто из вас знает буквы?

Руку сразу подняли двое: я и сидевшая в первом от окон ряду, впереди меня, девочка. Потом ещё две или три руки в классе поднялись.

— А кто умеет читать?

Тут только двое подняли руки: я и та девочка в первом ряду. Она и на другие вопросы, вставая из-за парты, отвечала громко и чётко. Я, сидевший позади, видел эту умненькую незнакомку только со спины. Она, одна из немногих в нашем классе, была в нарядном форменном белом фартуке. И без косичек. Зато на макушке был пышный белый бант. А светлые волосы спускались до плеч и завивались в крупные кольца.

Потом, на перемене, я её по этим светлым кольцам и узнал. У неё, светловолосой, оказались карие глаза и смуглое красивое лицо. Она была выше на полголовы, и это вызвало во мне чувство досады — хотя с чего бы? Дружить с ней я не собирался. Были у меня знакомые мальчишки, игравшие с девочками в дом, в магазин и прочую чушь. Я был не из таких.

Но радостная думка о ней с того первого школьного дня без спросу поселилась где-то в дальних закоулках моей стриженной головы.

Звали её Наташа Забудская. Она была дочкой машиниста паровоза — человека по завитинским меркам богатого. Мы отличниками так и шли с ней на пару все четыре класса начальной школы.

Читать-то я умел как угодно: и бегло — молча, и «с выражением» — вслух. Но, когда класс освоил сколько-то букв и началось чтение вслух по слогам, я оконфузился.

Не знаю, зачем Вера Карповна нас двоих заставила наравне со всеми читать слова по букварю, разбивая слоги паузами: Ма-ша, ма-ма... Возможно, не хотела выпячивать умников лишний раз. Наташа Забудская, с

её девчоночьим послушанием, легко и изящно прочла всё как требовалось.

Настала моя очередь. Слово мне в букваре досталось — проще некуда. Сколько раз мы, играя в войну, с азартом вопили его. Но тут оно было по-дурацки разбито чёрточкой на две части, да ещё и повторялось в таком виде дважды: «у-ра! у-ра!» Эти чёрточки вызывали раздражение. Торопясь отвязаться от такой нелепости, я с преувеличенным усердием выкрикнул: «у-ра! у-ра!» — перенеся ударение на первый слог: наверное, чтобы паузы подчеркнуть.

— Владик, ты что? — рассердилась Вера Карповна. — Какая такая «ура»?

По классу прокатились: хи-хи... ура-дура...

Да. Не следует ставить человеку слишком простые задачи. Он от этого глупеет.

А всё же чудесная учительница была Вера Карповна. Спокойно улаживала конфликты, вспыхивавшие в классе. Читала нам сказки вслух — русские, грузинские, узбекские. А однажды рассказала удивительную вещь. В Москве будто бы придумали ящичек, в котором есть экран — как в кино, только маленький. И вот где-нибудь в клубе идёт концерт, а люди, сидя у себя дома, включают свой ящичек — и весь концерт на маленьком экране и видят, и слышат.

Я, честно говоря, не мог представить себе, как такое может быть.

Зелёные метёлки полыни

После первого класса, уже в разгар лета, я заболел, и настолько серьёзно, что меня отвезли в больницу на станцию Куйбышевка.

Невероятно, но врачи определили брюшной тиф — хотя, казалось бы, эта зараза к тому времени давно была побеждена. Положили в изолятор — небольшую палату с единственной койкой. Я несколько суток лежал в беспамятстве, потом стал приходить в себя, но очень медленно, порой снова теряя сознание. Не хотел ничего есть, даже смотреть на еду не мог — тарелочки с больничными омлетами и кашами так и уносили нетронутыми. Маме сказали, что надо бы засушить белых сухарей, и она, уезжая, попросила об этом свою куйбышевскую знакомую. Та раза два приносила такие сухари — их я и правда начал грызть, по полсухарика, по сухарику в день, макая в остывший чай. Книжки, второпях купленные матерью, лежали на тумбочке, не вызывая интереса.

Однако помаленьку задвигался. Вышел в коридор — но там стояли и прогуливались только большие дядьки в пижамах: больница была для взрослых. Тогда я стал забираться (поначалу с трудом — голова кружилась) на широкий подоконник и смотреть в окно. Изолятор мой находился на втором этаже кирпичного здания. В окно был виден двухэтажный жилой дом, такой же, как больница, кирпичный, в такой же белой штукатурке, с просторным двором, заросшим полынью. И дальше стояли похожие дома. Наверное, это был военный городок.

С тоской, как на что-то несправедливо отнятое у меня, смотрел я из окна на полынь в чужом дворе, на тополя и даурские берёзы, на белые облака в синем небе. Острая больничная тоска была безжалостна, но она же, надо признать, и потащила меня, будто рывками, к выздоровлению. Я стал понемногу что-то есть кроме сухарей. Стал брать в руки и перелистывать оставленные матерью книжки.

Однажды, взобравшись на подоконник, так и прильнул лбом к стеклу. Внизу, в просторном дворе, гуляла девочка в светлом платьице — моя ровесница или, может, чуть младше. Опрятная такая — явно офицерская дочка, — она бегала среди высоких редких стеблей полыни. На их верхушках уже появились зелёные метёлки соцветий. Девочка, останавливаясь, делала то, что и я часто делал: ладошкой стягивала с такой метёлки горсточку мелких, как зёрнышки проса, нераспустившихся цветочков, от которых исходил терпкий полынный запах. Но я обычно, рассмотрев эти зелёные зёрнышки, просто бросал их под ноги. А она, смеясь, широким взмахом руки пускала всю горсточку на ветер. И перебежала на другое место, что-то рассказывая сама себе.

Потом она убежала за угол дома, и больше я её в тот день не видел, хотя постоянно поглядывал в окно.

На другой день пришла! Снова увлечённо разбрасывала по двору зелёное полынное просо. А иногда совала горсточку-другую в кармашек платья — уж не знаю зачем, может, кукол своих кормить. И я, никогда не лезший в девчоночьи игры, вдруг понял, что очень хочу оказаться там, рядом с ней.

Она опять убежала. А я разом и взгрустнул, и повеселел. Моя больничная тоска, вспыхнув ещё острее, словно дала мне пинок, окончательно вернув к жизни. Я впервые поел больничного супу, а потом, устроившись на подоконник, чтобы чаще поглядывать в окно, взялся наконец за книжки.

Среди них детской была только «Тройка без тройки» — про мальчишек-футболистов из московского двора. Она мне не понравилась, я её вскоре бросил. С любопытством полистал журнал с бледно-синими фотографиями, целиком посвящённый недавней корейской войне. Короленковский «Слепой музыкант» заинтересовал, но в чтении показался тяжеловат. В итоге единственной книжкой, которая пришлась по душе, были рассказы Льва Толстого: «Люцерн», «Ягоды», «После бала», «Хозяин и работник»... Да-да — благословенная «Массовая серия».

Девочка в светлом платье ещё несколько раз, хотя и не каждый день, появлялась во дворе. Я тут же забывал про чтение. А она, бегая среди полыни, иногда поднимала голову и глядела на моё окно. Видела ли меня за стеклом — не знаю. Открыть окно я не мог — створки были наглухо закрыты.

Потом она совсем исчезла. Но в памяти осталась. Как оказалось, навсегда.

Урал и Кама. Генкина тайна

А после второго класса — это был пятьдесят пятый год — мать повезла нас с Наткой к своей родне: на Урал и на реку Каму. По отцовскому бесплатному билету мы сели в мягкий вагон. Мягкий-то мягкий, да место всего одно, причём на верхней полке. Трудно поверить, но мы, все трое, умудрялись уместиться там на ночь. Мать клала нас у стенки: Натку головой к окну, меня — в обратную сторону, а сама ложилась с краю. Как она удерживалась, чтобы не свалиться, и что у неё за сон был — не знаю.

Все дни я простаивал в проходе у окна. Помню белый бюст Сталина на скале под Амазаром, — по вагонному радио пассажиров предупредили: смотрите, мол, в окна, не пропустите! Паровоз салютовал каменному вождю долгим гудком. Затем мелькали бесчисленные тоннели, когда вагон минуты на две погружался в полную тьму. Помню, что очень долго состав шёл вдоль самой кромки синего Байкала и совсем рядом с вагоном плескалась поверх круглых камешков чистейшая вода. (Этого теперь не увидишь: бюст Сталина взорван, дорога у Байкала проведена в другом месте, тоннелей стало мало). Потом замелькало в вагонных окнах то, что пассажиры видят и ныне: хвойная сибирская тайга, степи и берёзовые перелески Западной Сибири, уральские рябины на склонах гор.

В уральском городишке Кунгуре мы собирали землянику в сосновом бору, среди редко стоявших огромных корабельных сосен. Мать так хотела показать нам знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру, но та была временно закрыта. А в городе Молотове (ныне это опять Пермь) я увидел Каму, полноводную и быструю.

Но больше впечатлил городской базар. Вернее, не сам базар, а то, что творилось при подходе к нему. Всё пространство возле базарных ворот и высокого забора так и кишело страшными старухами, слепцами, глухонемыми, самыми разными калеками — и однорукими, с жестяной баночкой для подаяния в уцелевшей руке, и одноногими, на костылях, и совсем безрукими и безногими, на деревяшках с колёсиками. Всё это вопило, бубнило, мычало, умоляло, стучало костылями, дёргало визгливые меха гармошек, выхрипывало и выкрикивало слезливые песни — и висел в воздухе тяжёлый запах немывтых тел.

После большой войны прошло всего каких-то десять лет — и здесь, на западе страны, её следы были заметнее, чем у нас на Дальнем Востоке. Я, во всяком случае, такого множества нищих и калек ни прежде, ни потом не видел.

Осенью пошёл в третий класс. Впервые узнал, как это здорово — из дальних странствий вернуться домой. В том сентябре часто перепадали дожди, я шёл в школу по дощатому мокрому тротуару мимо парка, и листья ясеня влажно шуршали под ногами — жёлтые, перистые, так любимые мною с тех пор, как я увидел их ещё в первую свою завитинскую осень. А в школе — родные деревянные парты, тяжёлые, коричневые, с чёрным блестящим верхом, тысячекратно изрезанные

перочинными ножичками и залитые чернилами, но столь же тысячекратно отмытые и заново покрашенные, — несокрушимые! А за партами — мои одноклассники и одноклассницы, за лето подросшие, но всё равно хорошо знакомые, свои. И среди них — Наташа Забудская, хоть и знакомая, но каждый день и каждый час как будто увиденная мною заново.

Учиться в первые дни после летних каникул было легко и интересно. А на переменах мы наперебой делились свежайшими воспоминаниями о дальних и ближних поездках. Да и после школы взахлёб рассказывали — кто о деревне, кто о рыбалке, а кто и о Чёрном море.

Раз под вечер прибегает к нам домой Генка Барановский:

— Давай выйдем!

— Зачем?

— Узнаешь! — А сам аж прыгает от нетерпения.

У нас с ним в общем-то были разные компании, но он был мой одноклассник и жил неподалёку. Наверно, что-то срочное погнало его ко мне.

Мы вышли на крыльцо, и он тут же выпалил:

— Я Наташку Забудскую люблю!

Такого я не ожидал. Застыл, не зная, что сказать. Казалось бы, это не мои, это Генкины дела... Но ледяной холодок пробежал по спине — будто меня вытолкали на всеобщее обозрение, насмешливо приговаривая: а ведь и ты — *тоже*, и ты — *тоже*...

Скривив ироническую ухмылку, я промямлил:

— Да ты чё?

А он, словно торопясь избавиться от того, что мучило, распирало и томило его, выдохнул:

— У неё кучери, как у короля!

И, довольный моим ошарашенным видом, заключил:

— Только никому! Это тайна, понял?

Он убежал, а я подумал немного — и снова заухмылялся, но теперь уже не деланно, а по-настоящему — и с немалым облегчением: да ну его, Генку этого... Жених нашёлся... Смешно даже: «кучери, как у короля...» А почему не как у королевы? Или как у принцессы?

Теперь же, выудив из бездны времён простодушное Генкино восклицание, я вдруг признал, что «кучери, как у короля» — это не так уж глупо. Не отличался паренёк пристрастием к книжкам — но ведь читала нам вслух Вера Карповна сказки Андерсена. И картинки показывала. А там именно короли и принцы носили похожие волосы — почти до плеч и внизу с завитушками. Вполне дамские — по представлениям наших тогдашних пятидесятых годов. Да и корона у них на голове чем-то напоминала пышный бант Наташки Забудской.

Так что, уважаемые начинающие литераторы, учитесь зоркости наблюдений у простого народа!

Закрытое письмо

В конце зимы пятьдесят шестого отец, придя с работы позднее обычного, с порога стал рассказывать

матери про письмо, которое им читали на работе и которое почему-то называлось закрытым. Вид у отца был взбудораженный, растерянный. В том письме говорилось про какой-то «культ личности». Это, как я понял, означало, что Сталин вовсе не такой хороший, как все думают, а наоборот — чуть ли не враг.

— Да как же это? — выкрикивал отец. — Да не может быть!

Мать и вовсе пришла в ужас:

— А что ж теперь будет?

— Не знаю, — качал головой отец.

Такие же по смыслу вопросы и восклицания не раз той весной раздавались на нашей кухне, когда к отцу приходил кто-нибудь из знакомых мужиков. Они там курили и допоздна перемалывали ошеломительную новость, переходя с бубнящего полусшёпота на хриплый крик, порой с матом — и тогда отцу приходилось осаживать кухонного оратора: у нас дома не матерились. Всё в этих беседах спуталось в один ворох: безоговорочная защита Сталина (да мы же с ним Гитлера победили!), одобрение критики (правильно пишут — он же сколько народу в лагерях сгноил!), полное неверие написанному в закрытом письме (это брехня и вредительство!), а больше всего — сомнение (может, оно и так, но чего-то нам недоговаривают!).

Мы, мальчишки, ещё меньше отцов понимали происходящее, но воспринимали его не менее бурно. Держали сначала сторону вождя.

— Я сталинец, а ты хрущёвец! — торжествующе орал я, с хохотом спихивая Толяна Молчанова с ещё мёрзлой кучи коровьего навоза у сараев.

— Это ты хрущёвец! — орал Толян и снова лез на кучу — спихивать меня.

Но... «Перестройка — она идёт!» — как через треть столетия скажет с уверенностью удачливого стратега главный соратник Горбачёва. Шла она и тогда, милейшая. И вот уже вспоминается «Родная речь» для третьего класса, где цветной портрет генералиссимуса весь исчёркан прямо по лицу карандашом. Я его той же весной и исчёркал — новообращённый перестройщик середины пятидесятых.

По спирали история движется — или всё же по кругу?

«Мы теперь не министры...»

В солнечный день, накануне Первомая, я пришёл из школы, а соседка сказала, что отца положили в больницу и мать — там, у него. Он вдвоём с матерью таскал на носилках коровий навоз в огород — и вдруг упал. На тех же носилках, как я понял, отца и унесли в железнодорожную больницу, она была неподалёку.

Мать пришла с отцовыми вещами, сказала: лежать будет долго, у него инфаркт миокарда. Что это такое, я не спрашивал — видел: мать в отчаянии и лучше не лезть с вопросами.

Сердце своё отец, конечно же, посадил на работе: из года в год, изо дня в день — и огромная ответственность, и дисциплина, бывшая на тогдашней железной дороге строже военной, и хамская ругань началь-

ства, и телефонные звонки на квартире чуть ли не каждую ночь, да не по одному разу...

Но, думаю, и злополучное письмо о культе тут сказалось: уж слишком близко к сердцу отец принял слом всего, во что он верил.

Ему было всего сорок лет. Но странно лечили тогда инфаркт: велели как можно меньше двигаться, он несколько месяцев пролежал на больничной койке — и нажил вдобавок хроническую пневмонию. Всю оставшуюся жизнь — ни много ни мало ещё тридцать четыре года — отец прожил больным человеком. Сколько помню его — он и во время ходьбы, и копая грядку, и задавая корм скотине, и стуча молотком, то и дело останавливался, чтобы отдышаться и утереть с лица крупные капли пота. Регулярно ездил в Свободный, в больницу отделения Забайкальской железной дороги, лежал там подолгу.

С должности начальника вагонного участка его перевели в простые осмотрщики вагонов, а потом он работал дежурным по складу топлива. Телефон, так досаждавший матери ночными звонками, у нас забрали, и она смеялась:

— Мы теперь не министры!

Так, по её словам, говорила жена уволенного министра в какой-то итальянской кинокомедии, недавно шедшей в нашем клубе.

Но других поводов для смеха было немного. Доставалось матери, чего уж там. И работу она бросить не могла, потому что отцов денежный вклад сильно уменьшился, и по хозяйству надо было крутиться, и нас, двоих, кормить, обстирывать, обшивать. Хорошо ещё что Натка в детсад ходила.

Когда отец выписывался из больницы, матери становилось полегче. Он, хоть и потихоньку, с передышками, а многое делал по хозяйству.

Хозяйственные дела

Я тоже старался: копал огород, полон частично грядки — какие попроще, таскал на коромысле воду для поливки, чистил обе стайки — и «чушкину», и коровью, а в коровьей ещё и лазил вверх, забирая несённые курами яйца. Это надо было делать своевременно, а то некоторые куриные дамы так и норовили самостоятельно засесть высиживать цыплят: и не высидят ничего, и яйца в негодность приведут.

Другое дело, когда отец или мать, собрав сколько надо яиц, сами сажали на них наседку. Под присмотром она благополучно высиживала жёлтеньких цыплят. И у меня наступала ответственная пора. Наседку с цыплятами выпускали во двор, и я должен был их караулить, отгоняя кошек и бдительно поглядывая на небо, где частенько ходил кругами коршун.

Куры, которые без цыплят, а также петухи летом держались взаперти: едва выпустишь из стайки — они сразу лезут в огороды.

Одно лето отец заводил и уток. Вот те были народ дисциплинированный. Выстраивались, как солдаты, и с кряканьем шли со двора плавать в заросшей зеленью луже, которая была за нашим огородом в придорожной канаве. Поплавав, так же строем возвраща-

лись во двор — а я должен был успеть нарубить сорной травы из огорода, смешать с отрубями и выложить в корытце. Утки, благодарно крякая, опорожняли корытце и снова уходили плавать. Так повторялось несколько раз за день. Яйца они несли зеленоватые, крупнее куриных.

Соседские Витька и Генка Матюхины летом ездили со своим отцом на покос с ночевой, и я им завидовал. Раньше наш отец тоже косил сено для коровы Майки, но, когда пришла пора и меня учить косьбе, он заболел. Сено мы стали покупать. Воз сена привозила грузовая машина «полторка» или лошадь, запряжённая в рыдван — телегу с высоченными развалистыми бортами из жердей. Я залезал на чердак, отец вилами подцеплял пласт сена, какой мог поднять, и подавал мне наверх, а я его принимал с вил в охапку и оттаскивал вглубь чердака. Отец часто прерывал работу и, опершись на вилы, тяжело дышал, вытирая пот. А я в это время на чердаке утапывал сваленное, чихая от сенной пыли.

Ну и картошка, конечно. Нам, как и всем, выделялся в полях участок под картошку. Каждый год почему-то в разных местах. Мы брали и по пять, и по восемь соток. Посадка, прополка, окучивание, копка — во всём этом я участвовал лет с шести.

Только не надо думать, что бедный ребёнок был замучен непосильными делами. Дети тогда помогали родителям — так было заведено, и это не обсуждалось.

Тем более что и на игры находилось время, и на многое другое.

Вылазки за город

Километрах в двух от Завитой, если идти на запад вдоль железной дороги, было мелководное болотистое озеро со смешным названием — Штаны. Не знаю, почему его так называли. Возможно, оно имело очертания распланных штанов, если глядеть сверху? Но мы этимологией не заморачивались — Штаны да и Штаны. Озеро было извилистое, всё в заливы и мысках, и вместо берегов — сплошные кочки. Там мы рыбачили.

Новые мои приятели из соседних домов помогли мне соорудить удочку: леска — из обыкновенной толстой нитки десятый номер, грузило — из обрезка свинцовой пробки, зубами крепко придавленного к леске, поплавок — бутылочная пробка с продетым сквозь неё гусиным пером.

Удилище иногда приносилось из дома — с уже привязанной, полностью оснащённой леской, — но чаще просто срезалось в ивовых кустах по дороге.

Наживишь на крючок червяка, подтянешь поплавок на нужную глубину — чуть повыше или пониже — и забросишь снасть подальше. Пробка с продетым пером ляжет на воду набок — и стоишь босыми ногами на кочке или между кочек в болотной жиже, ждёшь, когда поплавок, поднявшись вертикально, начнёт короткими толчками приплясывать вверх-вниз: гольян подошёл! Тут не зевай, иначе стянет червяка и уйдёт. А если поплавок с ходу резко утонет — тогда не волнуйся: это ротан надёжно «зажрал» крючок.

Такой поплавок хорош был для ловли карася, но в Штанах водились только ротаны да гольяны. И мы, наскучив ловить то и дело норовивших сорваться с крючка гольяшек, сдвигали пробку с пером к самому удилищу и, опустив крючок с червяком в воду у самого берега — а точнее, у самых кочек, — начинали, дразня жадных ротанов, опускать и поднимать его, быстро вода удилищем вверх-вниз. Ротаны на пляшущего червяка кидались так, что успевай снимать с крючка.

Не раз приносил я домой бидончик, доверху, без воды, набитый уловом. Мать жарила мою рыбку мелочь всю разом, как нарезанную соломкой картошку, и жарёха эта бралась общей аппетитной корочкой. «Ты смотри — вкусно!» — удивлялся отец. Сам он не рыбачил.

Была у меня одна тайна, связанная с походами на Штаны. На полпути туда находился так называемый Первый мост — обычный железнодорожный мост Транссиба, возведённый над продолговатым узким озерцом с желтоватой мутной водой. Озерцо тоже так и звали — Первый мост. Оно было безрыбное, зато с твёрдыми берегами. Вода в нём сильно поднималась только после затяжных дождей. А обычно в самом глубоком месте — мне, мальцу, от силы по шею. В этом озерце мы, по дороге на Штаны, а потом возвращаясь домой, вволю плюхались в жаркие дни. И там я, глядя на ныряющих и плавающих приятелей, как-то незаметно для самого себя научился плавать — сначала «по-собачьи», а потом и «вразмышку». Но дома об этом помалкивал. Знал, что мать устроит мне выволочку: ведь я лез в воду без присмотра!

Тайна приоткрылась через год, когда нам в той стороне выделили участок под картошку. Мы с отцом, рано утром высадившись с пригородного поезда, проползли наши рядки — я рвал траву руками, а он рыхлил тяпкой — и пошли домой пешком по шпалам. День был жаркий, отец беспрестанно снимал шляпу и вытирал платком обильный пот. Когда дошли до Первого моста, я предложил:

— Пап, давай скупнёмся!

Отец согласился. Спустились с насыпи к озерцу. Я разделся, готовый прыгнуть в воду, но отец сказал: «Погоди!» Опустился на коленки на самом краю бережка — и черенком тяпки принялся мерить глубину. Мне стало смешно.

— Пап, да тут неглубоко — по яйца!

— Что-о? — резко обернулся отец. Я осёкся: у нас дома такие словечки были под запретом.

Всё-таки он тоже разделся, зашёл в воду до середины озерца и стал приседать и плескаться, блаженно фыркая. А я не удержался: будь что будет! — и проплыл перед ним туда и сюда «вразмышку». Он был удивлён — и, по-моему, доволен. Дома матери сказал, что сын, оказывается, плавать умеет, и успокоил её: там мелко!

Но это была не вся тайна! Я уже бегал купаться и на другое озеро — на Большанку. Вот в ней люди ино-

гда тонули. Говорили, будто причина тому — какие-то загадочные водовороты. Но там было так здорово!

Чтобы добраться до Большанки, надо было сначала тут же, на станции, перейти железнодорожные пути. Тоже дело опасное, и тоже были известны несчастные случаи, но что поделаешь — нормального перехода не было, виадук появится ещё только лет через пять. И многие, особенно те, кто жил, как у нас говорили, «за линией», в том числе школьники-первоклашки, ежедневно, под гудками маневровых паровозов, перебежали пути, с малых лет приучаясь не ротодействовать.

Часть Завитой, называемая «за линией», была настоящей деревней. Там казённых домов не было — только частные избышки и халупки. И просторные огороды, все в жёлтых подсолнухах, и тихие, заросшие плотной кудрявой травкой улочки. А на улочках и гуси попадались, и козы, и овцы. Я однажды увидел даже яркого грозного индюка — и долго, не решаясь подойти вплотную, разглядывал этого сказочного не то красавца, не то уродца.

Потом дорога шла через широкое пшеничное поле. Видно было, как среди молодых зелёных колосьев снуют перепёлки. А глянешь вперёд — тянется по всему горизонту гряда невысоких округлых сопок. А в синем небе висит, раскинув крылья, хищный копчик, и весь воздух, и даже весь мир наполняет звенящая в вышине трель невидимого жаворонка, и кажется, что это звенит не жаворонок, а сама небесная, напоённая летним зноем синева... Где всё это осталось, где?..

И вот дорога упирается в довольно высокий песчаный берег. С него видно всё озеро. Оно продолговатое, уходит и влево, и вправо. Противоположный берег низкий, травяной. Дальние левый и правый края озера зелены от распластанных по воде листьев кувшинки, и там, следя за поплавками закинутых удочек, стоят рыбаки. Их немного, два-три на всё озеро. Зато тут, на песчаном пляже, смех и веселье. Плещется у берега и валяется в горячем песке в основном ребятня, хотя есть и взрослые купальщики-загоральщики.

А вода чистейшая! Говорили, что в озере подземные ключи бьют. От них, мол, и водовороты бывают.

Накупавшись и наплававшись досыта, направляюсь туда, где рыбачат двое взрослых мужиков.

Вот один из них размахнулся длинным составным удилищем — и оно, с гудящим свистом разорвав воздух, выбросило снасть дальше середины озера — грузило булькнуло почти у противоположного берега. У другого удилище лежит на берегу, а сам он не торопясь распутывает спутанную леску. А леска у него — крепкая шёлковая нить, взятая из парашютной стропы: я уже просвещён на этот счёт. С расстановкой говорит напарнику:

— Сейчас есть капроновые жилки — вот они никогда не путаются... Но я их как-то не люблю.

А у берега опущены в воду на проволочном кукане два больших карася. Затаив дыхание, подхожу поближе. Какая у них крупная золотая чешуя! Вздрагивают, разевают рты, шевелят жабрами. А глаза круглые, с золотым ободком вокруг чёрного зрачка...

Спыхватываюсь: надо бежать домой. Спросят, где так долго был, — привычно совру, что играл в школь-

ном дворе в войну, а потом на другом квартале в выжигалки. Только кто ж мне поверит: после купания в светлых водах запретной Большанки уж больно я чистенький!

Бегу — и по дороге хватаю горстями пыль, осыпаю себя с головы до ног. Так — надёжнее.

И всё думаю про тех карасей на кукане. Но мать на Большанку рыбачить не отпустит — и мечтать нечего.

Мечты иногда сбываются

В том доме у клуба, где мы теперь жили, в соседнем с нашим подъезде, жил главный бухгалтер паровозного депо Иван Сергеевич с женой Раисой Андреевной и дочкой Нинкой, немного младше меня. Иван Сергеевич был мужчина в годах, седеющий, приветливо-молчаливый и во всех отношениях положительный. По вечерам после ужина он не спеша прогуливался по нашему деревянному тротуару от дома до парка. Раиса Андреевна, домохозяйка, имела обыкновение в новогодние дни приглашать Нинкиных знакомых девочек и мальчиков и угощать их праздничным — по тогдашним понятиям — обедом: большими домашними котлетами с картофельным пюре, а также сладким компотом.

И вот к ним приехал из Хабаровска на летние каникулы старший Нинкин брат Юра — он учился на последнем курсе мединститута. Солидный такой, чуть полноватый, с усиками.

Юра-то и взял меня с собой на утреннюю зорьку. На карася!

Мать не возражала — с доктором можно и отпустить.

У Юры леска была из капроновой жилки, но всего одна. Он с сомнением осмотрел мою нитку десятый номер, легонько подёргал её на растяжку:

— Ладно, должна выдержать. — Заменяю мой маленький крючок на довольно крупный и сказал: — Завтра будь готов: в три часа утра стукну вам в окошко.

Мы пересекли железнодорожные, вечно бессонные пути, с огнями светофоров и лучами прожекторов, с совиными вскриками маневровых паровозов. Прошли в темноте тихие улочки «за линией», над которыми мигали предутренние звёзды, а затем и спящее поле, где вместо трелей жаворонка слышалось трескучее пение кузнечиков.

На подходе к Большанке только-только занялась заря.

— Как раз успели, — довольно сказал Юра.

Пошли в правый конец озера — где по тропинке, а где прямо по росистой траве. Штаны у меня сразу вымокли, но это был пустяк. Сердце заколотилось, когда я увидел маленькую заводь в окружении осоки, с плавающими листьями кувшинок. Юра показал, куда забросить удочку.

— Поплавок подтяни так, чтобы было сантиметров сорок до крючка. Клевать начнёт — не спеши. Когда поведёт в сторону или вниз потащит — спокойно под-

секай и плавно тяни вверх. И сразу — на берег, а то он может в воду сорваться.

Сам прошёл чуть дальше.

Я забросил удочку и, вцепившись руками в удилище, устоялся на поплавок. Скоро моя пробка с протыком в неё гусиным пером стала подрагивать и приплясывать — часто-часто, но слабенько. Я сдержал себя: это гольяны, им мой крючок не заглотить. А потом поплавок словно уснул. Я ждал. А зорька разгоралась, стало совсем светло.

Рядом раздался плеск воды — и следом весёлый возглас Юры:

— Есть один!

Я глянул в ту сторону и увидел, как он наклонился в осоке над добычей. Может, покажет мне, что поймал? Но он не показал, а распрямился и снова закинул удочку. Вздохнув, я повернулся к своему поплавку — и похолодел. Поплавок вело в сторону! И как вело! Он мчался, как миноносец, прямо к зелёным листьям кувшинок. Сейчас уплывёт... Не знаю, как мне удалось не потерять голову. Легонько дёргаю удилище вбок, подсекаю и тащу вверх. О-о, как тяжело тащить... Тальниковое удилище согнулось дугой... И вот он показался из воды — какой широкий, как изгибается, сопротивляясь, и как сверкает мокрым золотом! Ошалев от восторга, смотрю на него... Спихватившись, в развороте отвожу удилище от воды — и вовремя! Он срыгается с крючка в траву.

Выпустив удилище, я кидаюсь на него, хватаю обеими руками, а он вырывается, бьётся, такой сильный, такой толстый в своём почти чёрном хребте! И так волнующе пахнет озёрной глубиной!

Юра, оказывая уважение первой моей удаче, подхихкивает:

— Ну вот, это уже рыба.

Юра поймал ещё двух карасей, а мне больше не повезло. Но всё равно я шёл домой счастливый. Я нёс не каких-то гольяшек-роташек — у меня в сумке, завернутый в мокрую траву, подрагивал золотой карась! Настоящий лапоть! Ну, если и не лапоть, то уж точно побольше ладони взрослого мужика!

Карась лежал на кухонном столе, ещё не потрошённый, когда я в окно увидел Эдю-Брэдю: он заходил в свою калитку. Я схватил карася. Выскочив из дома, поднял свою добычу за хвост и, распираемый гордостью, крикнул:

— Эдя! Смотри!

Он обернулся на крик — и сказал без особого удивления:

— Что, рыбку поймал?

Я так и остолбенел. Рыбку?.. Он сказал — рыбку?! На моего-то карася!

Но что было ожидать от этого Эди? Что он понимал в карасях? Он не рыбачил, как и Арик, и все остальные в этом семействе. Они на озеро и купаться-то не помню чтоб ходили.

Однако досада долго не отпускала меня.

А вскоре мне снова пришлось испытать острую досаду. И — смешно сказать — по прямо противоположному поводу.

Из Хабаровска приехала Юрина молодая жена, его однокурсница. Видная такая юная женщина, стройная, весёлая, городская. Они вместе пошли порыбачить на то же место — и меня, не думаю что с большой охотой, но взяли.

На зорьку мы опоздали, пришли когда уже было светло. Закинули удочки. Клёва нет и нет. Я устал смотреть на свой поплавок. Слышу: она запела новую тогда песню про огней так много золотых на улицах Саратова:

Парней так много холостых,
а я люблю женатого!..

Засмеялась. Снова запела:

Ах, рано он завёл семью...

Опять хихиканье — и молчание. Я оглянулся: они с Юрой целуются. Ну и ладно, бывает. А вот что рыба не клюёт — это плохо.

Так и не дождавшись ни одной поклёвки, стали собираться домой. Я испытывал не столько огорчение от неудачи, сколько чувство неловкости перед гостьей — за то, что наше замечательное озеро так позорно подкачалось!

Но она, поглядев вокруг, задумчиво сказала:

— А места-то красивые!

И я повеселел. Конечно же! Посмотрите на эти плавающие кувшинки, на их чудесные округлые листья и чашечки белых, с жёлтой серёдкой, цветов! На синюю воду, где отражаются облака. На прозрачные крылышки стрекозы, которые так радужно трепещут, на сверкающую белым крылом озёрную чайку, на весь этот простор...

Я размашисто шагал, слыша позади себя их негромкий, вперемежку со смехом, разговор, и думал: ничего, в другой раз повезёт!

Но что-то меня смущало, что-то было не так... И вдруг понял: я ошибся! Я ослышался — опять вообразил не то, что было сказано на самом деле! А на самом деле она сказала:

— А места-то *карасиные!*

И не задумчиво сказала, а удивлённо и разочарованно.

Обида за родную Большанку разыграла во мне. И досада поднялась теперь не на тех, кто в карасях ничего не понимает, а наоборот — на тех, для кого на карасях свет клином сошёлся. И эта досада была куда сильнее!

До старости лет не избавлюсь я от таких приступов отчаянного детского патриотизма.

Бесёнок бизнеса

У Генки, сказавшего про Наташку Забудскую, что у неё «кучери, как у короля», был брат Мишка, года на два постарше нас. Он, в отличие от Генки, читать любил.

Этот Мишка меня как-то спрашивает:

— У тебя есть интересные книжки?

И тут же ошеломляет:

— Продай — я куплю!

Растерянно смотрю на Мишку. Знаю, у него карманные деньги есть: отец-то машинист паровоза. Но — продать книжку?.. Это как?.. Деньги за неё взять?.. Да разве можно?..

И тут словно какой-то бесёнок завертелся внутри меня. Колется там рожками, тычет копытцами и хихикает: у тебя же валяется «Тройка без тройки»! И «Слепой музыкант»! Тебе не нужны, а Мишке сойдёт. И денежки получишь...

Всё дальнейшее поплыло, как во сне. Принёс ему обе эти книжки, получил синюю бумажку — целых пять рублей. Сунул их в карман, и они там лежат, будто ворованные. Не зная, что с ними делать, пошёл куда глаза глядят. Пришёл на вокзальный перрон, а в киоске за стеклом — сладкая коврижка, коричневая такая, аппетитная. Давно хотел попробовать.

Продавщица сняла кусок с витрины, положила на весы.

— Всю возьмёшь? Тут на четыре рубля.

Завернула в жёлто-серую обёрточную бумагу, на сдачу дала рубль — такого же примерно цвета бумажку.

Свёрток здоровый, в карман штанов не лезет. А вдруг кто увидит? Возле чужих сараев оглянулся — и мигом залез на чей-то пустой чердак-сеновал. Ел, ел эту коврижку — и половины не осилил. Во рту противно слиплось от сладкого.

Слез с чердака, закинул остаток в заросли дурнишника у придорожной канавы. Напился воды из колонки — вроде стало легче.

Подошёл к дому. Натка в детсаде, отец в больнице, мать на работе. Но куда рубль девать? Смотрю — а через дорогу от нашего дома, у клуба, афиша: «Андреш». Сказка какая-то. Цветная. До прихода матери успею!

Детский билет — как раз рубль. И вот сижу в кинозале, смотрю цветную сказку. Красиво, интересно. Молдавский пастушок в белой бараньей шапке что-то говорит, на свирели играет, злого волшебника побеждает. Мне бы его заботы...

Выхожу с толпой из клуба — а у калитки мать встречает:

— В кино был, значит! А где деньги взял?

Немного не успел! Теперь и не соврёшь ничего.

Пришлось подробно всё изложить, посотрудничать со следствием. Получил, конечно, положенную порцию бельевой верёвкой по известному месту. Отец на меня ни разу за всю жизнь даже не замахнулся, а мать верёвку не раздумывая пускала в ход, и не сказать чтобы редко. Бывало, прохаживалась и отцовым ремнём с пряжкой. Но не так уж и больно было от этого шлёпанья. Больше мучило понимание того, что сам виноват — заработал.

Забегая вперёд

Много позже, где-то после шестого класса, за очередную мою выходку, усугублённую враньём, она замахнулась отцовым ремнём, но я перехватил и сжал

её руку. Я был уже сильнее. Она вдруг заплакала. А я, здоровый обалдуй... я тоже заплакал. И с той поры старался ей не врать. Такие повороты.

А в тот раз моё коммерческое предприятие привело в восторг пятилетнюю Натку. Она выдала про непутёвого брата обличительный шедевр:

Продал книжку —

Купил коврижку,

Сходил в кино!

И долго ещё с торжеством декламировала мне: «Пводав книжку — купив ков'ижку...» До тех пор, наверное, пока не научилась выговаривать «л» и «р».

Трудная тема

Вернусь ненадолго к этой непростой теме — непослушания и вранья.

Я не про свой позорный «бизнес» с продажей книг. Тут я благословляю и мамину бельевую верёвку, и саму судьбу, наглядно показавшую: не суйся не в своё дело, не быть тебе коммерсантом! Что и было потом подтверждено жизнью.

Я про те свои тайные купания в озёрах. Если бы я послушно не лез в воду — то где бы смог научиться плавать?

Или ещё. Отец у кого-то с рук купил лыжи, не новые, — одна лыжина, сломанная, была аккуратно скреплена широким хомутиком из мягкой жести на мелких гвоздиках. Эти лыжи мне прекрасно и долго служили. Но если бы мать, отпуская меня с друзьями «покататься», видела, с каких крутяков, рискуя и ногу сломать, и башку свернуть, несёмся мы вниз с того же железнодорожного тупика на Первом мосту или со склонов большого оврага за городом... Да, всякое могло там случиться. Однако лет через пятнадцать, когда пришлось на лыжах одолевать и утомительные подъёмы, и опасные спуски на таёжных горных перевалах, я добрым словом вспоминал свой мальчишеский опыт.

Всё это так. Но прошли годы — и я сам, на своей шкуре, узнал, что такое родительская боль и тревога — по любому поводу. Каково хотя бы бегать в панике по чужим дворам и гаражным закоулкам, разыскивая маленького сынишку, когда он на прогулке с тобой, не успел ты отвернуться, вдруг исчез — убежал непонятно куда. И кричишь, зовёшь, а его всё нет, а минуты тянутся, чудовищно долгие, как часы, — и нет сил успокоить себя, и уже лезет в голову одно страшнее другого...

К несчастью, бывают и не напрасными такие страхи. Только сбываются они неожиданно. И соломки не постелить...

Малая толика чужого родительского горя приоткрылась мне уже тогда.

Мой товарищ и ровесник Витька Степанов учился в параллельном классе, а жил в соседнем с нами доме. Мы с ним часто дурачились на всё тех же мёрзлых навозных кучах, и помню, как он кричал, идя на меня в атаку:

— Руки прочь от *Египта!*

Это был актуальный лозунг. Газет мы не читали, но заголовки «Руки прочь от Египта!» прочитывали — мельком... Витька был паренёк сильный, но не вредный. Мать у него давно умерла, жили они вдвоём с отцом, и я часто бывал в их двухкомнатной квартире: холостяцкой, неприятной, полупустой.

Две вещи у них меня привлекали. Во-первых, патефон. Была всего одна пластинка, с песнями из кинофильма «Дети капитана Гранта». Фильма мы не видели, но пластинку крутили постоянно. Она зажигала боевым задором:

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай пропоёт:
Кто весел, тот смеётся,
Кто хочет, тот добьётся,
Кто ищет — тот всегда найдёт!

А на обратной стороне — лукаво подстёгивала:

Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка — это флаг корабля...

А во-вторых, у Витьки был настоящий боевой наган. Ну, если уж быть точным, остов от нагана: ствол и ржавый скелет корпуса, с прямоугольной дырой на месте барабана. И всё равно было здорово держать его в руке и во что-нибудь целиться.

Иногда я заставлял Витькиного отца. Это был высокий мужчина, суровый, всегда мрачновато сосредоточенный, но не злой. Помню, я у него спросил, вертя в руках остов нагана:

— А что лучше — наган или револьвер?

Он с некоторой досадой, будто его отвлекли от какой-то мысли, пожал плечом:

— Наган и есть револьвер. — Помолчав, добавил: — Есть револьвер системы Наган, есть револьвер системы Браунинг...

А ещё он запомнился мне у гроба своего сына.

Да, после пятого класса, летом, мой хороший товарищ Витька Степанов утонул в той самой Большанке. Как это случилось — я не видел, меня в тот день на озере не было. Однако по всему выходило, что он, крепкий мальчишка, умевший плавать, утонул на довольно мелком месте. Опять болтали про какие-то водовороты, якобы внезапно возникающие в том озере. Какие водовороты? Рядом плескалась малышня — и вдруг увидели, что он плавает, полупогружённый в воду — и неживой... Может, внезапная судорога схватила — и он, неловко дёрнувшись, захлебнулся... Кто знает?

Почему-то не помню я Витьку лежащим в гробу. Но помню, как согнулся над гробом его отец. Огромный, с худым посеревшим лицом, он не плакал, а только, плотно сжав губы и мелко вздрагивая, по-собачьи издавал короткие скулящие звуки.

Это было страшнее слёз.

О чём мечтал Том Сойер, или Приемственность поколений

Мишке купленная у меня «Тройка без тройки» понравилась — и это была хоть какая-то капля оправдания моему постыдному деянию!

И я, всегда расположенный к разговору о книжках, у него спросил:

— А ты читал про Тома Сойера? Правда, здорово?

— Да, — кивнул Мишка. И вдруг, глядя вдаль, с какой-то тёплой грустью, задушевно так, произнёс: — Он мечтал о красном галстуке!

Я опять растерялся. Когда и где Том Сойер мечтал о красном галстуке — мне что-то не припоминалось. Но если и мечтал, то, наверное, о *взрослом* красном галстуке. О буржуйском! А Мишка явно решил, что о нашем — пионерском! Это как же надо было умудриться мечтать о таком галстуке за сто лет до того, как красногалстучная пионерия вообще появится — и не в Америке даже?

Но я промолчал. Общение наше, двух книголюбцев, на том и заглохло.

А красный галстук я уже носил. Ещё во втором классе, в день рождения Ленина, двадцать второго апреля, пришли парни-семиклассники и стали наши тяжеленные парты громоздить одна на другую. Парты первого и второго ряда частью подняли на третий ряд, а частью сдвинули в конец класса, тоже поставив в два яруса. Обшарпанный пол на освобождённой территории классной комнаты уборщица помыла. Нас выстроили в две шеренги, спиной к окнам. Не весь класс, а человек тридцать из сорока. Остальных, двоечников и балбесов, пока сочли недостойными. Молодая завуч сказала торжественные слова. За комсомолкой — старшей пионервожатой — мы хором повторили слова пионерской клятвы: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей...» Нам повязали заранее купленные и принесённые нами же красные галстуки. И показали, как делать рукой пионерский салют, а в ответ на призыв: «К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!» — отвечать: «Всегда готовы!»

Потом ребята постарше научили нас другому ритуалу: схватить у кого-нибудь галстук прямо на груди и, крепко держа его в кулаке, требовать: «Ответь за галстук!» Отвечать же следовало так: «Не трожь рабоче-крестьянскую кровь — она и так пролита!»

Старшая пионервожатая нас убеждала:

— Никаких ответов за галстук не существует! Не делайте этого!

А нам этот неформальный обряд нравился. И только со временем стало, конечно же, смешно.

«Пионер — всем ребятам пример!» — был такой лозунг. Но не замечалось, чтобы он как-то воплощался в жизнь. Меня, например, и до принятия в пионеры злостным нарушителем дисциплины никто бы не назвал. Был обыкновенным обормотом, как все. И в пионерах таким же остался.

В третьем классе мать сшила мне из купленной на базаре солдатской гимнастёрки мундир настоящего

военного покроя — со стоячим воротником и жёлтыми металлическими пуговицами со звёздочками. С гордостью явился я в нём в школу! Но на первой же перемене подрался не помню с кем, и мой враг запустил в меня пластмассовой чернильницей-«непроливайкой». А «непроливайка» — название условное. Стукнувшись мне в грудь, она благополучно пролилась — и замечательный, защитного цвета мундир украсило большое тёмно-фиолетовое пятно. Удивительно, что чернила не попали на повязанный поверх стоячего военного воротника красный галстук. Наверное, он во время потасовки съехал набок.

Чернильные пятна не отстирываются — мамина бельевая верёвка эту истину до меня незамедлительно довела. И целый год пришлось щеголять в мундире цвета хаки с фиолетовым «орденом» на груди.

Я всё не мог понять: почему у некоторых — у той же Наташи Забудской — концы галстуков на груди такие ровные, разглаженные, а у других, в том числе и у меня, свёрнуты в мышинные хвостики, хотя я по своему галстуку регулярно еложу нагретым на печке утюгом.

Оказалось, что они из разных тканей: гладкие — из шёлка, а хвостики — хлопчатобумажные. Купили мне потом новый, но всё равно не шёлковый. И я был рад вдвойне, когда мать взамен злополучного мундира сшила мне вельветовую куртку с воротником на застёжке-молнии: под курткой красные хвостики так удобно прятались — и гладить их стало уже ни к чему.

«Октябрюта» — такого слова мы в начальной школе и не слышали. Октябрюта появятся уже когда Натка будет учиться в первом классе. Фабричные октябрютские значки — эмалевые красные звёздочки с портретом маленького кудрявого Володи Ульянова — ещё не выпускались. Звёздочки велено было сделать родителям или старшим братьям и сёстрам. Я, пятиклассник, отрезал кусочек от переплёта бывшей у родителей книги Горького «Дело Артамоновых» — мне понравился очень плотный, прочный картон. Вырезал пятиконечную звёздочку и обшил её кумачом своего старого галстука. А потом, как звеньева, носивший красную нашивку на рукаве, привёл своё пионерское звено в сестрёнкин первый класс, и мы прикололи первоклашкам самодельные звёздочки булавками на рубашки, платья и фартучки. Младшему поколению — от старших товарищей!

Вполне торжественно вышло.

Пионерским звеньевым меня выбрали (а точнее — с учительской подачи утвердили) лишь за то, что хорошо учился. Пионерский вожак из меня был никудышный.

А однажды поручили сделать стенгазету с критикой двоечников. Я сам и цветные карикатуры нарисовал, и стишки сочинил. Один из них помню:

Наш Долгов хватает двойки
Через день да каждый день.
Он за партой сидит бойкий,
У доски стоит, как пень.

После этого меня, к моей великой радости, перевели из звеньевых в редакторы.

А первый в жизни стишок, исполненный беспроблемной меланхолии (чистый Козьма Прутков!), мною был написан ещё во втором классе, во время болезни:

Вот уж три дня, как я лежу в постели,
Ещё четыре дня осталось пролежать,
И мне уже до смерти надоели
Подушка, одеяло и кровать.

Врач говорит, что гриппом я болею
И что таблетки надо мне глотать,
И я лежу, лежу один в постели
С температурой тридцать семь и пять.

Но время стихов ещё не пришло. Оно придёт — и обрушится на меня, как ливень и ураган, — лишь в девятом классе. А пока другое увлекало.

Снова «лихой наездник». Как важно мыть чайники

Наша деревянная двухэтажная школа-семилетка, как я уже говорил, была недалеко, в пяти минутах ходьбы. Но примерно такая же деревянная школа стояла и вовсе рядом — на перекрёстке улиц Кирова и Чапаева, наискосок от нашего дома. Только это была десятилетка, с классами от восьмого по десятый, в неё и Арик ходил. Я в этой школе никогда не учился. Зато усердно учился... в её просторном, а летом совсем пустынном дворе.

Дело в том, что Эдя-Брэдя, несмотря на наши с ним вечные мелкие стычки, был нежадный мальчуган — и охотно давал мне свой велосипед, который я и заводил ежедневно в школьный двор. Этот старинный немецкий велосипед отдал ему дед. У велосипеда был тяжеловатый ход, а у одной педали вместо обычной ступеньки торчал железный штырь, с которого неловко соскальзывала нога. Велосипед был мне велик, до седла я достать не мог, и даже через раму не мог перекинуть ногу, чтобы ездить, как у нас говорили, «на раме». Поэтому ездил «в раме», то есть скособочившись, заведя в раму одну ногу, чтобы поставить её на педаль противоположной стороны.

Да и не ездил поначалу — а учился ездить! Никто меня не наставлял, не помогал, не страховал от падений. Раз за разом грохался вместе с тяжёлым «драндулетом» на пыльную, всю в острых камешках землю школьного двора, обдирая колени и локти. Но понемногу начал проезжать не падая четыре-пять метров, потом полкруга по двору, потом круг, другой, третий — и наконец выехал и прокатился по нашей улице Кирова: от школы и клуба до самых ворот парка — и назад.

Забегая вперёд

Посмотрел мой батя на такое дело — и, хоть не сразу, а только года через два-три, уже после шестого

класса, но зато с лёгким сердцем купил мне голубую «Каму»!

Не просто купил, а с хозяйским расчётом. Привязав к раме тяпку, укрепив на багажнике бидончик с водой и узелок с перекусом, я ездил за город, в поле, и один, за несколько поездок, пропалывал или окучивал весь наш картофельный участок. А в конце лета гонял по трассе в направлении деревни Камышенки на дальние орешники, возвращаясь с мешком орехов — не шелушёных, конечно, а в обёртках из толстых сочных листиков. А как-то раз топал оттуда домой восемь с лишним километров пешком, ведя свою «Каму» аж с двумя мешками орехов — один в раме, другой на раме.

Ну а гонки с друзьями через весь город и за город — это само собой...

И всё-таки однажды, в конце четвёртого класса, я пришёл не в знакомый до боли — в битых коленках! — двор этой десятилетки, а в само школьное здание. На кружок рисования.

Позвал меня туда Толян Молчанов. «Давай сходим! Там, говорят, здорово!»

Пришли. Сидят и рисуют в основном старшекласники. Учитель сразу поразил меня своим видом. Жилый, смуглый, стремительный в движениях, с тёмными, зачёсанными со лба назад густыми волосами, — и цепким взглядом чёрных глаз, которые то и дело остро, даже вёдливо щурились.

— Ещё новенькие пришли? Садитесь вот здесь, смотрите.

Мы сели рядом с мальчишкой и девчонкой, которые не рисовали, а просто сидели — тоже, значит, новенькие.

Старшекласники срисовывали странные вещи, выставленные у доски на каких-то подставках. Это были шар и куб, очень белые, без единого пятнышка. А также — я не поверил своим глазам — ухо! Да, человеческое ухо — только белое и огромное, раз в десять больше нормального. И — нос! Также смертельно белый, тоже огромный. Страшновато он выглядел...

Я, косясь и вытягивая шею, смотрел в альбомы. Кто рисовал куб, кто шар, а кто — и ухо, и нос. Но все, я заметил, делали одинаково: они часто-часто водили карандашом, сначала слабенько, а потом нажимая всё сильнее, и карандаш, оставляя поначалу едва заметные следы, потом, передвигаясь по бумаге, чертил всё темнее и темнее, и я с удивлением видел, как прямо на глазах зачерченная поверхность выгибалась! И шар, и ухо становились выпуклыми, будто вылезали из бумаги! Вот это да...

Сидели мы недолго — урок закончился.

Учитель задержал нас, новеньких, записал в тетрадку имена-фамилии, кто где учится, и сказал:

— Меня зовут Сергей Григорьевич. Занятия через неделю. За это время нарисуйте дома что-нибудь. Поставьте перед собой натуру — ну, кувшин, куклу, инструмент какой-нибудь — кому что понравится. И попробуйте нарисовать похоже. А мы посмотрим.

Дома я огляделся: что бы срисовать? Приглянулся заварной фарфоровый чайник. Он был весь в корич-

невых следах чая. Я его тщательно отмыл, и он засиял белизной — не хуже того белого носа!

Старательно набросал в альбоме тонкими штрихами общие контуры чайника. А потом, глядя как закругляются на белых фарфоровых боках тени, переходя от светлого к тёмному, стал как те старшекласники делать карандашом растушёвку — сначала слабенько, а потом со всё большим нажимом, чтобы получились такие же тени. Хотя самих этих слов — контур, штрихи, растушёвка — я ещё не знал. Просто радовался, что чайник постепенно становится выпуклым и объёмным.

Через неделю пришли на кружок. Толян нарисовал на альбомном листе инструменты: топор, ножовку, молоток. Все изображены контуром, отдельно друг от друга, вид сверху. Сергей Григорьевич посмотрел, сказал: «Та-ак», взял у тех двоих рисунки — и опять: «Та-ак... Та-ак...» Глянул на мой рисунок, резко наклонился к нему, потом так же резко откинул голову, пронзая его острым прищуром, и сказал:

— О! Это уже хорошо... это уже лучше...

И дал мне задание рисовать этот странный белый куб — гипсовый, как я наконец узнал.

А про Толяна и тех двоих не помню — или они тоже сели рисовать куб, или сразу перестали ходить на кружок. Да и я приходил ещё раза два, не больше — наступили каникулы.

Деревянная моя, незабвенная

В нашей деревянной двухэтажной семилетке (потом она стала восьмилеткой) было — если сравнивать с нынешними школами — очень много учителей мужчин. И сам директор, и физик (сын директора, кстати), и учителя географии, математики, пения, рисования, физкультуры, труда (причём трудовиков было двое), одно время — и истории, и английского. Даже школьный библиотекарь был мужчина — низенький горбатенький Иван Григорьевич. Но главное не в том, что они были мужчины, а в том, что это были люди толковые — и на своём месте. Как, впрочем, и женщины, учившие нас. Нисколько не вру: обо всех, кого из учителей и учительниц помню, у меня язык не повернётся худое слово произнести.

Но среди педагогов выделялись энтузиасты. Фанатики.

Сергей Григорьевич Ческидов, учитель рисования и черчения, давал уроки в обеих школах: и в десятилетке, и в нашей семилетке — в пятых-седьмых классах. Он окончил училище, где рисунок преподавал не кто-нибудь, а ученик самого Крамского. Те, кто понимает, оценят уровень подготовки нашего учителя. Он никогда не делал замечаний вроде: «тихо!.. не вертись!.. выйди из класса!..» — не было такой нужды. Стремительно входил, обводил класс своим пронзительным взглядом и говорил:

— Сегодня изучаем штриховку!

И все затихали: сейчас начнутся чудеса.

Он оборачивался к чёрной лакированной классной доске и одним широким взмахом руки чертил мелом безупречный круг — подходи и проверяй циркулем!

Потом мелом начинал штриховку: внутри окружности, с самого края, чертил мелом полудугу, довольно жирную; рядом, чуть ближе к центру, ещё полудугу, параллельную первой, но чуть потоньше и покороче; потом третью, ещё тоньше и короче — и так почти к самому центру окружности. И на наших глазах круг превращался в выпуклый шар.

Он приносил чучело скворца — и мы увлечённо рисовали скворца. Он просил кого-нибудь из ребят или девочек постоять у доски — и весь класс быстро делал наброски, не рисуя лица, но стараясь точно сохранить все пропорции и позу стоящего. А Сергей Григорьевич шёл между рядов, подсказывая и поправляя. И ведь у всех что-то да получалось, и каждый, даже самый безнадёжный рисовальщик, испытал вкус хоть маленькой, но удачи.

В школьном коридоре на втором этаже, в том месте, куда с первого этажа поднималась лестница, была довольно широкая светлая площадка — и там висел огромный, во всю стену высотой, незагрунтованный холст, а на нём — написанный красками, сухой кистью, портрет Сталина. Качество работы было ошеломительное. И написал это Сергей Григорьевич. Портрет, конечно, потом убрали — и, подозреваю, уничтожили.

Сергей Григорьевич вёл не только кружок рисования, но и драматический. И туда отбою не было от старшеклассников. Он был и режиссёром, и главным декоратором, учил и актёров, и оформителей, и всё это делал в своей неподражаемой манере: стремительно — и в то же время обстоятельно, разъясняя всё просто и доходчиво, без дёрганий и понуканий. Школа дала в нашем клубе несколько спектаклей, с продажей недорогих билетов, и зрители — дети и взрослые — заполняли зал до отказа. Меня особенно восхитил спектакль-сказка с роскошными декорациями, с русскими богатырями и красавицами. Кстати, мечи для богатырей изготовил из дерева Арик, и они, покрашенные алюминиевым порошком, грозно сверкали со сцены.

Жена Сергея Григорьевича, Пелагея Михайловна, преподавала ботанику. Работе своей отдавалась с не меньшим фанатизмом, обучая юных натуралистов (в основном, конечно, девочек) в обширном пришкольном саду. Женщина она была очень добрая и, без всякой иронии, деревенская. Речь её была простая, с налётом не местного, а какого-то среднерусского говора, может, рязанского. Мы её за глаза звали Палаша. Предмет свой она тем не менее объясняла толково и интересно, а осенние школьные юннатские выставки (огромные оранжевые тыквы, жёлтые и красные ранетки, пышные георгины и астры и многое другое) всегда вносили в начало учебного года заметную нотку радости.

Математику вёл Николай Фёдорович Коваленко, бывший кадровый офицер. Худощавый, подтянутый, он всегда ходил в защитном военном кителе с глухим стоячим воротником, без погон, в синих галифе и блестящих хромовых сапогах. Был очень строг. Хотя внезапно мог и смешно пошутить, снимая излишнее напряжение класса. Но брал он не столько строгостью,

сколько умением чётко и увлекательно вести урок, а ещё тем, что часто устраивал летучие конкурсы: кто найдёт другое решение этой задачки? Или: кто найдёт большее число вариантов её решения?

Счёт шёл на минуты, лихорадочно работал весь класс. Я не забуду, как однажды на геометрии сумел найти целых пять вариантов. Но ещё больше памятен мне — да и многим, наверное, — случай, когда он матёрому двоечнику Данилову за удачно найденное решение громогласно влепил... пятёрку. Замшелый лоботряс был ошарашен — и после этого в математике более или менее подтянулся, стараясь не втапывать в грязь память о своём звёздном часе.

Однажды в начале октября Николай Фёдорович пришёл на урок не в военном кителе и сапогах, а в странно изменившем его привычный вид гражданском двубортном костюме, при галстукe, в новеньких полуботинках. Девчонки ахнули, да и мы, ребята, озадаченно взирали на него.

Наш пятый класс, как обычно, встал, приветствуя учителя. А он не сказал «садитесь». Обвёл всех каким-то непонятным, горящим взглядом — и торжественно произнёс:

— Сегодня великий праздник! — Помолчал, словно стараясь продлить наше недоумение, и продолжил отдельно и веско: — Сегодня мы запустили в космос искусственный спутник Земли! А это... — Он снова обвёл всех горящими глазами. — ...это вторая Луна, только маленькая!

У всех дома было радио, и многие из нас мельком слышали перед уходом в школу про какой-то спутник, да уже и забыли. А теперь, молча переглядываясь, мы заново вникали в его слова. И минуты эти запомнились навсегда.

Прошло несколько дней. Мы сидели на уроке географии, развернув на партах свои атласы, где на развороте была физическая карта полушарий: голубые моря, зелёные низменности, жёлтые возвышенности, коричневые горные хребты. Витька Тупичкин что-то черкнул на своей карте наливной авторучкой и толкнул меня в бок: «Смотри!»

Я увидел у Западного полушария, над Чукоткой, нарисованный им маленький кружочек с тремя штрихами сзади. «Спутник летит!» — сказал Витька и засмеялся.

Я тоже засмеялся: здорово он придумал!

Так — мимоходом, незаметно, но и бесповоротно — в наше сознание начинала вселяться новая, космическая эра.

Уроки в школе велись в две смены. Но и после уроков долго не гасли окна в обоих этажах. В спортзале шли занятия то волейболистов, то гимнастов, в соседнем классе сидели над досками тихие шахматисты. Из дверей физкабинета тянуло запахом горячей канифоли — там на кружке физики что-то паяли. В других классных комнатах готовились к разным мероприятиям или оформляли стенгазету, учителя и успевающие ученики (обычно девчонки) подтягивали отстающих. На все два этажа то гремела под звуки баяна, то рез-

ко затихала хоровая песня — это учитель пения Прокопий Гаврилович вёл занятия школьного хора. Бездельники шлялись по коридорам, открывали двери классов, корча рожи и гыгыкая — и не столько из вредности, сколько из желания пообщаться.

Магнитом тянула к себе школа по вечерам. Даже тех тянула, кто днём на уроках изнывал от желания смыться на улицу.

Ранние авансы

«Авансы юности опасны!» — написал с фирменной своей хлёткостью Андрей Вознесенский. Он имел в виду ранние успехи в чём-либо.

Я бы добавил, что и авансы детства... ну, опасны они или не очень — не знаю, но с панталыку сбить могут. Похвалы взрослых способны пустить тебя по ложному пути, вызвать соблазн делать не то, к чему ты предназначен. Блуждание по чужим территориям бывает полезно, как всякий опыт, — однако важно, чтобы оно не затянулось.

В пятом-шестом классах я увлёкся физикой. Из толстенной «Книги вожаго» — потрясающей, между прочим, энциклопедичности была эта книга! — вычитал, как сделать «реактивную тележку», и немедленно такую соорудил. Зажжённый огарок свечки нагревал до кипения воду в пробирке, пробка из неё вылетала — и маленькая, на катушках от ниток вместо колёс, тележка, на которой были установлены и пробирка, и свечка, — дёрнувшись от «реактивной тяги», проезжала через весь стол!

Дальше — больше. В моде было выжигание картинок по фанере. Я сделал деревянную рукоять, на ней укрепил главную часть выжигателя — жало из нихромовой проволоки, взятой мною из спирали домашней электроплитки. Подсоединил электрический шнур с вилкой. Но включать инструмент напрямую в сеть было нельзя — проволока мигом сгорит. Требовался трансформатор, понижающий напряжение до двенадцати вольт. И вот — теперь даже не верится — нашёл на свалке у дома связи подходящий сердечник, где-то выцыганил огромный моток тонкого медного провода — и сам сделал трансформатор. Выжигатель работал исправно.

Стал ходить на кружок физики, чего-то там умничал, вызывая удивлённые и одобрительные замечания нашего физика Льва Николаевича. Сейчас, наверное, не все знают, что такое не транзисторный, не ламповый даже, а детекторный радиоприёмник. Он и тогда уже был экзотической древностью. Я сплавил свинец и серу, остывший сплав расколол, выбрал подходящий, с блёстками, кусок. Получился детекторный кристалл. Надев наушники, водил по этому кристаллу иголкой. В наушниках раздавался треск — и вдруг прорывалась радиопередача из Благовещенска или непонятная китайская речь. Кто-то из ходивших на кружок даже пытался дать мне кличку «Фарадей». Она, слава Богу, не прижилась. Я её не заслуживал — и сам чувствовал это. К физике в конце концов охладел. Записался было в городской радиокружок, начал

делать двухламповый приёмник, но стало невыносимо скучно — и бросил.

А в основе этого затянувшегося наваждения были опять-таки книжки. Те советские научно-популярные, в которых заманчиво излагалось, как делали свои открытия Галилей, Ньютон и прочие стародавние великие. Тысячи будущих технарей и кандидатов наук нашли свой путь благодаря в том числе и им, этим книжкам, в которых меня увлекла, увы, только внешняя, декоративная сторона науки, они затронули во мне всего лишь художественную жилку. Других жилок и не было.

Это отразится годы спустя в стихах:

Век, в коем был я астрономом, —
Как занимательный пролог:
Камзол, парик, и время оно,
И неба синий лепесток...

Вот именно: камзол, парик... Тут собака и зарыта.

С художественной жилкой тоже не так всё просто.

Сергей Григорьевич с самого начала выделял меня из многих. С долей понятного тщеславия сообщу, что в шестом классе я вместе с Сергеем Григорьевичем оформлял стену физкультурного зала, где стояла ёлка. Сам он нарисовал цветной гуашью Старый Год в виде Деда Мороза в красном тулупе, а мне доверил изобразить в таком же стиле маленький Новый Год — в виде румяного весёлого малыша, тоже в красном тулупчике. Заданный стиль, довольно простой, я умудрился выдержать, не сфальшивил.

Забегая вперёд

В восьмом классе Сергей Григорьевич как-то пригласил меня к себе домой. Пелагея Михайловна угостила нас чаем и пышными оладьями с домашним вареньем. А потом он в комнате поставил натуру: на белой скатёрке — блюдец с двумя румяными оладушками, а рядом — стакан чая в подстаканнике, с опущенной в чай ложечкой. Нейтральным фоном этому натюрморту послужила серая задняя сторонка переплёта какой-то большой книги. Положил передо мной коробку масляных красок в тюбиках, кисти, скипидар, чистую тряпочку, небольшую палитру и прямоугольный кусок загрунтованного картона.

Я карандашом набросал на картоне всю композицию и стал перебирать тюбики. Впервые в жизни смотрел, как вылезают на палитру жирные яркие червячки. Пахли краски восхитительно.

Он подсказал, какие краски добавить в белила для серого фона.

— Фон пиши самой широкой кистью, вот этой. Не заливай, смелей работай. — Забрал у меня кисть, сделал два-три размашистых мазка. — Вот так!

Покончив с фоном, я взялся за оладушки и блюдец. Он смотрел.

— Здесь пережелтил, ну-ка в охру — чуточку сиены... А тут наоборот — чуточку кадмия лимонного... Так... А в этом месте, где оладушек малость приго-

рел... Нет-нет, чёрную не трогай, лучше кобальту синего добавь... Ишь, как горелое заблестело!.. А тень на блюде... та-ак, правильно угадал... А здесь засинил — дай-ка мне кисть... Ну а теперь задачка потруднее — чай в стекле!..

Часа два работы пролетели как миг, и вот я смотрю на готовый натюрморт — насмотреться не могу. Какое единство разного! Оладушки — тёплые, домашние, мельхиоровый подстаканник и ложечка — с холодноватым официальным блеском, а чайная тьма в стакане будто прячет в себе какую-то тайну.

И пусть это наполовину написано Сергеем Григорьевичем — но всё-таки!..

Я унёс домой натюрморт, а с ним — подаренные мне тюбики и две-три кисточки.

Загрунтованного картона у меня не было, но Сергей Григорьевич подробно объяснил, как делать грунтовку. Я отрезал кусок старой клеёнки и загрунтовал её изнанку. На синюю скатерть поместил отцовы принадлежности для бритья, в том числе помазок в пластмассовой чашечке и уже слегка обмыленный по углам кусок розового туалетного мыла. Для фона поднял край той же синей скатерти. Писал, держа в памяти советы учителя. Долго прописывал старый помазок — вернее, его деревянную ручку, на которой от долгой службы облезла коричневая лаковая покраска. Зато получилось точь-в-точь — все мельчайшие потёртости видны!

Принёс. Сергей Григорьевич окинул мой натюрморт стремительным прищуром.

— Так. Помазок ты засушил. А мыло отлично схвачено — вон какие свободные мазки!

У них на квартире я впервые увидел работы французских импрессионистов в огромном, изданном в Германии альбоме. Сидел, с изумлением переворачивая страницы, и будто кружился в нескончаемом празднике красок, обрызганных солнцем.

Сергей Григорьевич, ткнув пальцем в пейзаж пуантилиста Жоржа Сёра, весело хмыкнул: «Смотри-ка — точками у него всё сделано, точками!» Кажется, импрессионисты его не столько восхищали, сколько забавляли.

Альбом прислал из Москвы их сын, заканчивавший архитектурный институт. Сергей Григорьевич всерьёз был уверен, что и я после школы буду поступать туда же — или, в крайнем случае, куда-нибудь на худграф. Но я выбрал другое. И этим, как потом понял, нанёс ему обиду.

Уже студентом филфака, приехав из Благовещенска в гости к родителям, я столкнулся с ним на деревянном завитинском тротуаре. В ответ на моё радостное приветствие он сухо кивнул и прошёл мимо, даже не замедлив шага.

До сих пор ощущаю вину перед ним. И всё же считаю, что я был прав.

Да, какие-то успехи в рисовании за мной числились. Эффектно выглядело умение точно схватывать карандашом лица с натуры. Помню портреты отца (в двенадцать лет нарисовал), матери, сестры, друга моего Борьки Тищенко, свои автопортреты... В девя-

том классе, учась уже в новой кирпичной школе «за линией», по предложению Сергея Григорьевича начал рисовать галерею портретов школьных отличников. Потом затея была заброшена, но один портрет сделал — красавицы и скромницы Наташи Забудской, нашей кареглазой блондинки. Этот портрет был отправлен в Читку, на выставку творчества школьников Забайкальской железной дороги. Да там и сгинул.

Вроде и были основания гордиться, но что-то меня грызло. Случайно понял, что именно.

Познакомился с одним парнишкой, Валеркой Никаноровым. Мне было уже шестнадцать, а ему четырнадцать. Он сказал, что тоже рисует. Я снизошёл к салаге: ну, покажи. Поглядел его наброски — и прикусил губу. Склон сопки с видом на поле... уголок озера... полянка у берёзовой рощи... Что-то чёрной тушью, что-то акварельными красками, что-то тем и другим вместе... Ничего особенного, в общем-то...

Но я сразу увидел главное: уверенность быстрого штриха и свободного мазка. Врождённую уверенность и точность — Валерка никаких кружков рисования не посещал! У меня этого дара не было. Я рисовал осторожно, напряжённо, поминутно опасаясь заехать карандашом или кистью не туда.

Конечно, упорным трудом можно выработать профессиональную мастеровитость. Но за это же время, приложив упорный труд, десятки таких Валерок куда умчатся? За недостижимый для меня горизонт! Я, конечно, столь логически не рассуждал. Спинным мозгом почувствовал эту истину — и принял её.

Упомянутый кусок розового мыла — это всё, что мне когда-либо удалось написать уверенными мазками.

Но где был мой премудрый спинной мозг, когда, окончив в вечерней школе десятый класс, я, юный слесарь паровозного депо, всерьёз возмечтал поехать в Москву учиться на физика-ядерщика? Видимо, та детская дурь полностью ещё не выветрилась.

От нелепого шага спасла меня бедность нашей семьи. На какие шиши поехал бы я в Москву?

Рассказы родителей

Я мог воображать себя кем угодно: вдохновенным вихрастым физиком, живописцем с гениальным прищуром, обветренным лихим моряком... Но всегда неосознанно тянулся к тому, что волновало по-настоящему — к магическому, неохватному, как вселенная, неотразимому в своей притягательности явлению. И это было — слово. Язык.

Книги — да. Книгам всегда низкий поклон. Но живая речь ещё больше удивляла смыслами и оттенками. Даже наша пацаньячья — уличная и дворовая. Она, кстати, от нынешней отличалась. Например, слово «шакал» у нас не было ни ругательным, ни презрительным, а являлось всего лишь синонимом слову «пацан». Мы говорили: «Это наши шакалы... Он шакал нормальный...» Имя «Коля» произносили с блатным шиком — «Кыля». А восклицание «моща!» подразуме-

вало не характеристику измождённому человеку, а высшую похвалу чему угодно: «Здóрово! Интересно! Вкусно!» *Мо́щá* — не потому, что *мо́щи*, а потому что *мо́щно!*

Слушая рассказы отца и матери об их родных краях, я впитывал в себя далёкие от наших мест речевые ароматы — и как-то по-родственному, по-свойски придвигалась ко мне география огромной страны, да и история тоже.

Мать была родом из Елабуги, ныне это Татарстан, а прежде — Вятская губерния. Она говорила обычным русским языком, как большинство в дальневосточных городах, где ни один из «приезжих» диалектов не возобладал над прочими, а Всесоюзное радио все говоры подравнило под общую норму. Но всё же у неё то и дело проскальзывали нездешние словечки. Ватрушку она называла «шанежкой», вместо «говядина» говорила «скотское», обычную паутину именовала пугающим словом «тенёта», а паук у неё и вовсе был не паук, а какой-то загадочный «мизгирь» — в этом имени слышалось что-то древнее, чародейское.

А когда сыпала поговорками, вятский говорок, с его непередаваемыми на письме интонациями, вливался в её речь, как свежий воздух в открытую форточку: «Не отведашь реденьки, дак не поешь и свёколки», «Кушай, кумушка, девятую шанежку, я же не считаю», «Сердилась баба на базар, а базар и не знал», «Голому собрацца — только подпоясацца», «Бедному же ницца — и ночь коротка».

Всю мамину родню, о которой она рассказывала, я будто вживую видел благодаря этим вятским словечкам и поговоркам. Но для матери моей не чужим был и иной язык.

Её отец, Игнатий Андреевич Пупышев, мой вятский дед, владел жестяной мастерской, где работали у него не наёмные рабочие, а сыновья — родные и приёмные. Моя мать в детстве, уже после его смерти, слышала от тётушек такую историю. Однажды её отец с двумя сыновьями был в деловой поездке: настелили заказчикам железные кровли, возвращались при деньгах. Ночевать остановились у татар на постоялом дворе. Когда укладывались спать, отец услышал разговор хозяина с работниками за стенкой. Речь шла о деньгах постояльцев. И об их жизнях, разумеется. Игнатий Андреевич никогда не показывал, что понимает по-татарски. Это их и спасло. Шёпотом тут же велел сыновьям тихонько одеться и ждать сигнала. Сам вышел, будто до ветру, быстро запряг лошадей, открыл ворота и громко свистнул. Сыновья выскочили, прыгнули в таратайку — и лошади вынесли их всех со двора. Хозяин с работниками выбежали, но успели только выругаться вслед.

В семье не без урода — а в общем-то, вспоминала мать, русские с татарами жили мирно. Она сама росла среди татарчат и язык этот знала как родной.

Помню, как работавшая уже не счетоводом, а киоскёршей на вокзале мать пришла домой радостно взволнованная. Рассказала: остановился поезд, к киоску подошли трое пассажиров: двое молодых людей и девушка. Обсуждают, что купить.

— Слышу — разговаривают на татарском! Говорю им: пирожки свежие — «яна». А они обрадовались: ты татарка? «Син татарча?» Да нет, смеюсь, я русская, «мин рус». Они не верят: не может быть, такой чистый выговор. Ну, рассказала им, откуда я родом. Поговорили по-татарски... Как в детстве побывала, честное слово!

Поскольку Игнатий Пупышев, владелец жестяной мастерской, наёмных работников не держал, он слишком суровым репрессиям при советской власти не подвергся. Хотя в кутузке его в годы нэпа подержали. Мать вспоминала, как её юная мачеха носила куда-то серебряные ложки — и его отпустили.

Умер он в 1930 году от рака в возрасте шестидесяти семи лет, оставив молодую жену с грудным младенцем на руках. Матери моей было тогда семь лет. Воспитывали её родные тётушки. Скитаясь по родне, жила в Елабуге, в Перми, в уральском Кунгуре. Перед войной, окончив семилетку, уехала на Дальний Восток. Здесь встретила моего отца.

В пятьдесят пятом году в Кунгуре, куда мать привезла нас с сестрёнкой, я видел у родственников фотографию деда Игнатия с сыновьями, — моими, значит, дядьями. Бородатый мужик в косоворотке и пиджаке. Я сейчас, кажется, даже стал на него немного похож. Только он рослый, а я пошёл в мелкую отцовскую породу.

Жаль, что не побывали мы в ту поездку в Елабуге. Зато в Кунгуре помню своего тогда двухлетнего родственника — Юру, кажется, — с его забавным оканьем. Мать, смеясь, спрашивала:

— Юра мальчик хороший?

Он важно отвечал:

— *Хорóшой!*

— Славный?

— *Слáвной!*

Юрины «хорошой», «славной» я вспомнил, когда прочитал у Радищева: «этот барин *доброй...*»

Родина отца — село Спасское на реке Сейм. Восточная Украина, Сумская область. Шестнадцатилетним уехавший на Дальний Восток, он всю жизнь говорил на приблизительно правильном русском, который сразу выдавал в нём украинца. У нас, впрочем, похоже разговаривала половина Завитой — напому хотя бы словечко «квасоля» моей ровесницы и соседки Райки. Чистота *ридной мовы* возвращалась к нему, когда он читал наизусть *вирши*, которые учил когда-то в школе. Особенно любил из Шевченки:

Садок вишневий коло хати,
Хруці над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть...

Сем'я вечерея коло хати,
Вечірна зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає...

Есть такое любопытное явление, которое я называю для себя «эффект Гоголя». Читаешь его «Вечера на хуторе близ Диканьки» — и будто оживает украинская речь, хотя написаны они на чистейшем русском. О своём детстве отец рассказывал мне, конечно же, на русском, но срабатывал тот же эффект — я будто слышал украинскую речь! Не знаю, что тому причиной: то ли отцов хохлацкий выговор, то ли мелькавшие местами слова «хлопчик», «шматочок», «ховаться», то ли сам дух тогдашней сельской Украины, оживавший в его памяти. Я будто своими глазами видел, как с моим отцом, тогда ещё совсем маленьким хлопчиком, *ховалась* старая бабка в клуне, зарываясь с ним в солому и шепча: «Тихо, не плачь, а то нас денкикинцы *знайдуть!*» Как та же добрая бабка в разгар строгого поста тайком от родителей совала ему с младшими братом и сестрой по шматочку сала: «*Вы ще малэньки*, вам можно!» Живо представлял себе и странную сценку, которую отец почему-то не раз вспоминал. Выгнали они, мальчишки, коней в ночное, сидят у костра, пекут картошку, и вдруг появляется из темноты незнакомая старуха, приближается к костру — и они слышат её слова, похожие на заунывный вой: «Большие дети меня не тро-онут, а маленьких я и сама-а не боюсь». Хохотал, когда отец рассказывал, как они парубками, несмотря на сухую летнюю погоду, надевали на чоботы (сапоги) модные городские галоши, смазывали их сырым яйцом, чтоб сильнее блестели, и шли на майдан у церкви завлекать девчат. Не вызывал веселья только рассказ о том, как его, четырнадцатилетнего комсомольца, выгоняли на раскулачивание.

С отцом учился мальчик по фамилии Кныш. Росту был очень маленького: в четырнадцать лет — как восьмилетний. Семья Кнышей была многодетная, но жили неплохо, потому что все работали не лентяй: и дети, и взрослые. Батраков никогда не держали. Почему местные власти записали их в *куркули*, отец не понимал. Но разбудили его среди ночи, сунули в руки винтовку со штыком: пойдём Кнышей *розкуркулювати*. Комсомолец — куда денешься. Пошёл. Стоял с винтовкой и молча плакал, глядя, как всю эту семью, в том числе и его маленького товарища, погрузили с узлами на две телеги и повезли на станцию.

Думаю, с великим облегчением на ту же станцию ушёл через какое-то время, подавшись в железнодорожники, и мой юный батя. Хотя однолошадной семье его отца, Филимона Михайловича, раскулачивание не грозило.

«Крейсер вору»

В том нашем доме, что стоял через дорогу от клуба, жила за стенкой семья, состоявшая из трёх человек, причём таких, с которыми не соскучишься.

Главой семьи, ядрёной её сердцевинной, была тётя Таня Срыбная — или Таня Безрукая, как звали её между собой знакомые. Крупная, мощная, с гладкими тёмными волосами и грубым голосом.левой руки у неё не было выше локтя — зато была суровая мужская решительность и бесшабашность.

Работала Таня Срыбная на «брикетке» — это было что-то вроде маленького цеха при складе топлива, там угольную пыль прессовали в небольшие брикеты, которые народ охотно раскупал: ими было удобно топить печку. От угольной пыли лицо её, и без того бурого оттенка, было всё в мелких чёрных точках. Она моей матери говорила, громыхая зычным голосом:

— Я морду кремом каждый день мажу — не помогут!

Их подъезд был со стороны двора, и поэтому Таня Срыбная на работу и в магазин ходила мимо нашего крыльца (а мы к сараю ходили мимо их подъезда). Моя мать покрасила наличники окон. Пожаловалась: погода сырая, долго сохнет. Таня ткнула пальцем в крашеное, посмотрела, вытерла палец о завалинку — и назидательно громыхнула на всю округу:

— А я в краску *ссыкатин* добавляю!

Я, изумлённый, спросил мать, о чём это тётя Таня говорит. Неужели... Мать засмеялась: это сиккатив — раствор такой, чтобы краска быстрее высыхала.

Ещё меня удивляла её фамилия — Срыбная. Как это — с рыбой, что ли? Как пирог? Оказалось, что правильно следовало бы говорить «Срибная» — то есть «Серебряная» по-украински. Это объяснила мне мать: она, хоть и вятская русачка, об украинском языке понятие имела. Я поразился: надо же, из красивого слова сделали смешное!

Когда-то был у Тани муж, но попала она под поезд и лишилась руки. Муж сбегал, а ей оставил их маленького сына — в придачу к своей хохлацкой фамилии.

Сама-то она была русская, даже кацапка, что было заметно по еёговору, а ещё больше — поговору её мамы, бабки Срыбной.

Русская фамилия у мамы если и была, никого не интересовала. «Бабка Срыбная» — да и всё. Эта деревенская старушка, в неизменной платочке, очень любопытная, но в общем безобидная, была родом то ли из Брянской, то ли из Рязанской области, — из мест, не очень далёких от Москвы, — и этим фактом гордилась. Когда ей сказали, что её дочь матерится как сапожник, она простодушно ответила:

— У нас-то, в Москве, все матерятся!

Выговор у неё был вполне московский, хотя, возможно, и рязанский:

— У нас-т, в Ма-аскве, все м-тярятся!

От неё самой, впрочем, матов никто не слышал.

Перед нашими и семьи Срыбных окнами был заборчик, за ним огород, а дальше, через улицу Чапаева, совсем близко, стоял клуб. У клуба киномеханик, хро-мой Митя, замазал старую афишу и написал название очередной картины: «Крейсер «Варяг». Буквы были крупные. Бабка Срыбная, привалившись к заборчику огорода и шевеля губами, название прочитала. Я шёл мимо, и она мне озабоченно сообщила:

— Картина-т про воро-ов!

— Почему про воров? — удивился я.

— Дык, нябось, крейсер — энто и есть главарь ихний!

— Чей главарь?
— Ну, варяг этих. Ворюг, стал-быть!

Купили мне велосипед. Я у крыльца подкачиваю камеры велосипедным насосом. Бабка Срыбная останавливается, долго смотрит. Спрашивает:

— А чтой-то ты туды качаешь? Бянзин?

— Воздух, — говорю.

— Во-оздух! — понимающе кивает она. — А я думала, бянзи-ин! Во-оздух!..

Пошла дальше — и, сколько я слышал её, повторяла: «Я думала, бянзин! А энто во-оздух!..»

Юра, тот что брал меня на рыбалку, во время очередного приезда шёл вечером мимо родительских окон и увидел, как бабка Срыбная, встав на цыпочки, тянет шею, стараясь заглянуть в освещённое окно.

— Бабушка, — мягко сказал он, — если вам так интересно, зайдите к нам в квартиру и посмотрите.

Она недовольно что-то буркнула: мол, ходят тут всякие! — и пошла себе прочь.

Ну как на такую сердиться?

«Калескоп»

Третьим членом семьи Срыбных был сын Тани Безрукой Колька, ровесник моей сестры Натки.

Когда мы только переехали в эту квартиру, он через несколько дней сам, без приглашения, пожаловал к нам в гости — настырный такой пятилетний малец. Деловито, будто оценивая, оглядывал нашу обстановку и говорил: «Хм!» Но вдруг остановился как вкопанный.

В каждой квартире в те годы имелась чёрная картонная радиотарелка. У нас она висела на стене у окна. Но почему-то в тот день рядом с ней была и другая такая же чёрная тарелка, подвешенная к стоявшей в углу тумбочке. Откуда она взялась — не помню. Может, отца попросили передать её кому-то, может, что-то другое. Но неважно.

— Две радивы! — изумился маленький Колька. Долго глядел на чёрные тарелки, о чём-то думая. Сейчас я даже допускаю, что он размышлял о несправедливом распределении благ. Уходя, обернулся на пороге и прокричал не то восторженно, не то негодующе:

— У нас одна радива, а у вас две!

Он рос весёлым, нахальным и умным. Соображал быстро, схватывал всё налету. Мог бы стать круглым пятёрочником, но учился скверно. Зато без устали изобретал всяческие каверзы и пакости. За стенкой ежедневно гремело Танино: «Ах ты, сукин сын!» — и маты, и звуки глухих шлепков, и стук падающих табуреток, и кудахтанье бабки Срыбной, то возмущённое, то испуганное. Слышался и Колькин голос — это было или нарочито громкое хныканье, или наглый смех.

Иногда Колька Срыбный вроде бы включался в добropорядочную жизнь.

В те годы повсюду: и в школах, и на производстве — были коллективы художественной самодеятельности. Их концерты собирали толпы зрителей, иные певцы, плясуны и баянисты становились буквально на-

родными любимцами. Творческий ажиотаж заражал и детей. Они устраивали во дворах свои выступления с песнями и танцами, а родители и соседи дружно хлопали им.

Сестрёнка моя уговорила Кольку подготовить вместе концертный номер — и он, к удивлению соседей, согласился. Жильцы дома собрались в небольшом дворике у нашего крыльца, расселись на вынесенных из дома стульях и табуретках. Натка с Колькой повесили на бельевую проволоку большой, вязанный из цветных тряпочек половик. И выступление началось. Натка выскочила из-за половика — в цветастом платье, с мамиными бусами на шее. Подбоченилась, топнула ногой, махнула платочком — и пропела:

Где ж ты, цыган, цыган молодой?

Из-за того же половика, только с другого края, выскочил Колька, в рубахе навыпуск, подпоясанной ремешком, в кепке с цветком георгина над козырьком, встал перед Наткой козырем и залихватски пропел в ответ:

Вот я, цыган, цыган молодой!

Наши родители и соседи смеялись и хлопали. У Тани Срыбной на буром лице тоже расплывалась довольная улыбка, открывая блестящий серебром вставной зуб.

Но через день уже слышалось за стенкой: «А-а, скотина! Зачем у бабки пять рублей спёр!» — «Ха-ха! Она их сама потеряла, дура старая!» — «Ах ты...» И маты, и топанье, и грохот роняемых табуреток.

А я сделал одну штуку, которая буквально пошла по рукам. Все просили: «Дай глянуть!» Это была небольшая картонная трубка, с обоих концов закрытая круглыми стёклами. Заднее стекло заклеено белой бумажкой, а в переднее глянешь: мама родная! Цветной узор невиданной красоты! Чуть повернёшь или просто слегка шевельнёшь трубку — и с тихим шелестом на месте прежнего возникает новый, ещё более невероятный узор. Сколько ни поворачивай, хоть тысячу раз, хоть миллион, хоть сто миллиардов раз — узор всегда будет совершенно новый! Ни один рисунок ни разу не повторится.

Называлась эта волшебная трубка калейдоскоп. Секрет изготовления я перенял всё у того же Арика. Внутри трубки были маленькие стеклянные осколки — красные, зелёные и жёлтые (от стёкол железнодорожных сигнальных фонарей), а также синие, коричневые и прочие (от бутылок). Осколочков этих было немного — десятка полтора. Но они многократно отражались в трёх специальных отражателях, а эти бесчисленные отражения как раз и складывались в затейливые геометрические узоры. Отражателями служили вставленные в трубку, во всю её длину, три узких обрезка обыкновенного оконного стекла. Отец наши окна стеклил — и я эти обрезки прибрал.

Слегка повернёшь трубку — цветные осколки шевельнутся, задевая друг дружку с лёгким шорохом, по-

хожим на слабый шелест листы, и чуть-чуть изменят своё положение. А стёкла-отражатели мгновенно создадут совершенно новый потрясающий узор.

Хитрее всего был способ сделать для этой трубки два круглых стекла — переднее и заднее.

У нас на перекрёстке улиц стояла обычная для тех времён деревянная электрическая опора. В ней столб к столбу намертво крепился толстенной проволокой — скрутками в несколько оборотов каждая. А между проволочными оборотами кое-где были щели. Я вставлял в такую щель кусок оконного стекла и, осторожно нажимая, отламывал от самого его краешка малюсенький кусочек. Чуть сдвигал стекло — и снова отламывал. И так, передвигая и постепенно «обкусывая» краешки, придавал куску стекла округлую форму.

Работа требовала немислимого терпения — но зато каков был результат! Даже взрослые соседи, глядя в трубку, так и ахали. Иных и оторвать нельзя было от созерцания меняющихся узоров: «Ну подожди, я ещё маленько...»

И вдруг мой калейдоскоп пропал. Исчез.

Потом выяснилось, что его украл Колька Срыбный.

Забегая вперёд

Спустя года три или четыре — в девятом классе — я написал рассказ, где изложил ещё свежую тогда историю этой кражи. Но рассказ был утерян. Я и вспомнил-то о нём лишь недавно, взявшись перебирать в памяти события детства, а до этого всю жизнь первым своим рассказом считал совсем другой¹.

Теперь я уже начисто забыл, как именно Колька украл калейдоскоп, как был разоблачён, вернул ли мне украденную вещь или она так и пропала бесследно. Помнится только заголовок рассказа — «Калескоп». Таня Безрукая гоняла сына, громыхая руганью: «Какого шиша ты спёр калескоп? Отдай людям калескоп, скотина!»

Заголовок даёт подсказку: почему я забыл подробности кражи. Потому и забыл, что эти криминальные мелочи меня не очень-то волновали. Главное, что мне хотелось, когда брался за перо, — это описать колоритную семейку Срыбных.

В конце концов, характеры людей и их язык бывают причудливее любых узоров калейдоскопа.

Как ни жаль, но Колька со временем попал в детскую колонию, а потом и на зону. Вернулся ещё более ушлым. Дальнейший путь его мне неизвестен.

Предводительница кур

В соседнем со Срыбными подъезде, тоже выходящем во двор, было две квартиры. В одной жила одинокая тётя Валя Яцун, в другой — тётя Маруся Ильина с мужем, дядей Витей Клюевым.

Невысокого роста, плотная, средних лет тётя Валя Яцун была дамочка энергичная и громкоголосая. Хо-

дила быстро, держа прямую осанку и слегка пританцовывая. Своих соседей по подъезду — тётю Марусю и дядю Витю — она в упор не видела. С прочими любезно здоровалась. Со мной, помню, иногда разговаривала о книжках — она любила толстые, о старинной заграничной жизни.

Но настоящими друзьями — вернее, подругами — были у неё куры, десятка полтора. Они никогда не слышали от своей хозяйки пошлое «цып-цып!», а тем более хамское «кыш!»

Она выходила с миской пшеницы и на весь двор торжественно восклицала:

— Где вы, мои ненаглядные? Где вы, мои божественные?

И куры бежали к ней со всех сторон. Она бросала на землю горсточками зерно — но не всё сразу. Смотрела, кого из её кур рядом нет, и выкликала их по именам, с лирическими добавлениями:

— Чернушка, р-роковая моя подружка! Беляночка, беззаботная куртизаночка!

Каждая из опоздавших слышала своё имя и спешила из дальнего угла получить персональную горсточку зёрен.

Поскольку все прочие были пеструшками, то лишь одна из них звалась Пеструшечка — моя душечка. Зато у остальных имена были самые аристократические: Элеонора, Королева, Инесса, Мадмуазель и так далее. Была даже Герцогиня Камберлендская. А уж поэтические добавки так и сыпались:

— Элеонора! Царица моего взора!.. — упоённо восклицала тётя Валя, бросая перед царицей горстку зёрен. — Инесса! Где же ты, огнедышащая моя любовь?

И тут же, сменив ударение в слове, нараспев декламировала в рифму:

Огнедышащая,
Всегда спешащая!..

Слушать её было — не переслушать. И куры внимали ей с удовольствием.

Своей судьбе не хозяин

Тётя Маруся Ильина была тоже маленького роста, тоже очень шустрая, но ходила не пританцовывая, как её соседка по подъезду, а озабоченно глядя в землю. Тётя Маруся тоже держала кур, однако подружками их не считала. У неё подруг вообще не было. Был дядя Витя Клюев — вроде бы муж, но никак не друг. Нужный в хозяйстве работник. У него случались запои, а потом он, искупая вину, покорно выполнял все её распоряжения и молча выслушивал крикливые поправки.

Кроме кур, яйца которых тётя Маруся копила, а потом сдавала в магазин сельпо, у неё были ещё и кабанчик, а то и два, и три, и свинья с поросятами, и корова. Дядя Витя, вдобавок к казённым стайке и сеновалу, нагородил для этой живности клетушек, без конца чистил их. Летом косил сено — и для коровы, и, по распоряжению жены, на продажу. Горбатился в поле, обрабатывая картошку, которой они сажали не по

¹ Владислав Лецик. Первый рассказ // Амур: литературный альманах БГПУ. № 15. Благовещенск, 2016. С. 22—27.

пять-восемь соток, как мы, а два раза по пятнадцать, оформляя по два участка в разных местах. Картошка шла и себе на еду, и на корм скотине, и, опять же, на продажу. Сама тётя Маруся работала в чайной судомойкой и с работы всегда возвращалась с ведром помоев — свиньям в корыто добавить, в поило корове подмешать.

Детей эта пара не имела: что-то там у тётя Маруси было не так. Ну а дядя Витя, как по всему получалось, был своей судьбе не хозяин.

Ежедневно во время киносеансов в стоявшем через дорогу клубе из мощного динамика на всю округу раздавались музыка кинофильма и реплики персонажей. Это так и манило купить билет. Но ни разу на моей памяти тётя Маруся и дядя Витя не сходили ни в кино, ни на какой-нибудь концерт. Она всегда была одета по-деревенски, для работы, голова замотана в платок, на ногах сапоги — резиновые или кирзовые. Дядя Витя тоже ходил в чём-то мятом, пыльном, рабочем. Он у меня и сейчас будто перед глазами: понурый, пришибленный, но по нему видно — добрый. Если улыбнётся, то застенчиво, виновато. Нос приплюснут — перебили по пьянке. На руке синим наколоты якорь и «Витя» — следы двухлетней отсидки, тоже за пьянку.

— Знаешь, Владик, не жизнь это у меня, — тоскливо сказал он однажды мне, мальчишке. — Люди, смотришь, оденутся прилично, в клуб сходят, в парк... А мы...

И безнадёжно махнул рукой.

Забегая вперёд

Прошли годы. Приехал я в очередной раз в Завитую навестить отца и услышал новость: Маруся Ильина в дополнение к мужу завела батрака.

Это был бродяга из знакомых дяди Вити, прибывший к их семье. Имени его никто из соседей не знал. Отец мой так и звал его — батрак. Жил он летом, весной и осенью в стайке, а зимой бывал допущен в квартиру, где спал на полу в кухне. И, помогая Виктору, работал за харчи в Марусином хозяйстве, которое с годами не уменьшалось.

Отец наш просто бесился:

— Куркулиха! И мясо, и сало сдаёт, и картошку, и яйца! И молоко продаёт, и поросятами торгует. Всё на книжку складывает. И не лопнет ведь от жадности!.. У неё уже там... да миллион, не меньше! А куда ей это всё? Ни детей нет, ни сама жизни не видит...

А потом с Виктором Клюевым случилась беда: он ослеп. Не вникал я в подробности, но представляю, каково ему жилось совсем слепым и чего только он, ставший беспомощным нахлебником, ни наслушался от жёнушки в свой адрес.

Прошли ещё годы. Сестра моя приехала из Благовещенска к отцу. Торопливо переходит через двор, а Виктор Клюев сидит на крыльце. Подходить к нему, чтобы сказать: «Здравствуйте, это Наташа, помните такую?» — она не стала: и тяжело, и неловко, да и о чём говорить-то?

А он вдруг окликает её:

— Наташа! А ты что не здороваешься?

Она так и опешила:

— Дядя Витя!.. А вы... видите меня?..

— Вижу, Наташа! — И улыбается, постаревший.

Оказывается, ему бесплатно вернули зрение в Хабаровске, в только что открывшемся там лечебном центре офтальмолога Фёдорова.

На закате ненастной, несложившейся жизни выглянул и для дяди Вити маленький лучик радости.

Клуб

Наверное, вдвойне обидно было дяде Вите изо дня в день гнить в беспросветном болоте тётя Марусиногo хозяйства, живя на такой улице, как наша Кирова. А точнее, именно на нашем её отрезке, который вёл от перекрёстка, где стоял клуб имени Ленина, к воротам парка.

Каждый вечер по улице к клубу не спеша шёл народ — в основном железнодорожники с жёнами. Все одеты в чистое, лучшее, и у всех на лицах, после дневных трудов и суеты, умиротворённость и предвкушение праздника.

Клуб, кстати, был уже не тот дряхлый, со статуэткой Ленина над входом, где я мальцом смотрел кино про Тарзана и Садко. На его месте построили новый клуб — тоже деревянный, одноэтажный, он был намного просторнее, с высоким фронтоном, и смотрелся вполне элегантно.

Как же мать радовалась, собираясь в кино, наряжаясь в крепдешинное платье, приводя в порядок отцов железнодорожный китель. Как бурно и восторженно делилась потом впечатлениями — от той же, помню, «Карнавальная ночи». И не меньше, если не больше, любила спектакли («постановки» — как она говорила) приезжавшего на гастроли Благовещенского драмтеатра.

Поскольку динамик на фронтоне клуба громко и не по одному разу за день транслировал всё, что звучало на киносеансах, я, даже не посмотрев фильма, примерно знал, о чём он, и «на слух» рисовал в воображении невидимые кадры.

Как-то перед сеансом к нам заглянули наши знакомые: дядя Коля и тётя Пана Васильевы. Пока мои родители собирались, дядя Коля завёл со мной разговор о кино. Я сказал, что люблю такое, где сражаются на саблях и шпагах.

— Тогда тебе надо посмотреть «Фанфан-Тюльпан», — сказал дядя Коля.

— Ага! — возразил я. — На него до шестнадцати лет не допускаются!

— Да? А что там такого? — Дядя Коля удивлённо поднял брови, мысленно пробегая кадры виденного им недавно фильма. Хмыкнул, качнул головой и ничего не сказал.

Забегая вперёд

Уже взрослым сходяв на «Фанфана», я понял, что «до шестнадцати лет не допускалось» смотреть декольте Джини Лоллобриджи. Я-то понял — а нынешние, наверное, уже не поймут, пожмут плечами:

декольте — ну и что тут такого? Свои «тараканы» есть у каждой эпохи. И поди разберись, у которой они хуже.

А фильмы «до шестнадцати» я начал смотреть в пятнадцать лет, когда считать себя «дитём» было уже просто унижительно. Со скучающим видом протягивал контролёрше билет, а внутри всё замирало: вдруг попросит показать паспорт? Позора не оберёшься. Подобные конфузы случались с моими сверстниками, не один я был такой умный. Но, кроме этих волнующих моментов с контролёршей, ничего от посещения «запретных» сеансов в памяти не осталось.

Зато навсегда сохранилось воспоминание о том, как я в пятнадцать лет ходил на двухсерийный индийский фильм «Четыре дороги» — самый обыкновенный, никаких «до шестнадцати», и начало сеанса вполне дозволяемое: четыре часа дня.

Ночью выпал запоздалый апрельский снег. С утра он начал таять на весеннем солнце и после обеда остался лишь белыми пятнами в огородах да на обочинах дорог. Я накануне посмотрел первую серию фильма, теперь собирался на вторую. И тут по радио (не из чёрной картонной тарелки, а из недавно купленного динамика в корпусе из коричневой пластмассы, с золотистым декоративным экраном) раздался размеренный и торжественный голос Левитана: «Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза!..»

Я замер в напряжённом ожидании.

Оказалось, что в космос впервые полетел человек! Гагарин... Несколько раз жадно прослушал сообщение и отправился в кино. Задержавшись на мокром деревянном тротуаре, глядел на сверкающие белизной клочья снега на чёрных мокрых обочинах, на ослепительно синее небо — и растерянно думал: «Здорово!.. Но только бы вернулся...»

Вышел из кино и узнал: Гагарин приземлился. Благополучно.

В тот же вечер я как в лихорадке написал стихи. Восторженные. С точки зрения размера и рифм — вполне терпимые. С точки зрения сути — банальная чушь.

До стихов оставался ещё целый год.

Среди ясеней и берёз

На другом конце квартала улица упиралась в парк. Там по вечерам гремел на танцплощадке духовой оркестр — звуки вальсов, фокстротов и танго доносились даже до нашего дома.

Но мы, мальчишки, в парк наведывались днём.

Росли в нём берёзы и ясени. В дальнем глухом левом углу я ещё застал старую яблоньку-дичку с толстым, сверху обломанным стволом и красными кисло-сладкими яблочками — маленькими, как ягоды. Они были почти все оборваны мальчишками, но и мне несколько яблочек досталось. Это было первое в моей жизни дерево, на которое я, в ту пору ещё шестилетний, залез. На следующий год старая яблонька засохла.

Что сразу бросалось в глаза — так это яркие плакаты, стоявшие по бокам аллеи, идущей от входа. На

них были нарисованы цветные карикатуры. Одну помню: пара стилиг пляшет, немисливо задирая ноги, — и подпись:

Жора с Фифой на досуге
Лихо пляшут «буги-вуги».
Этой пляской безобразной
Служат моде буржуазной.

Такие же карикатуры были в журнале «Крокодил», подшивку которого, вместе с подшивками «Огонька» и «Работницы», можно было посмотреть тут же, в одном из дощатых «павильонов» парка, где сидели над досками шахматисты.

Мужчины, да и молодые парни, гулявшие по парку, были все в приличных брюках — то есть в чёрных, серых или тёмно-синих, но непременно широких и даже широченных, — и аккуратно стрижены под бокс и полубокс, а девушки — в скромных, значительно ниже колен, платьях, с волосами, заплетёнными в косы. Стилиги же в «Крокодиле» и на парковых плакатах изображались в узких клетчатых брючках, в широких, как распашонки, рубахах с попугаями и пальмами, в ботинках на толстой подошве и с дурацким коком, завитым надо лбом. А девушек-стиляг карикатуристы рисовали в узких и кошмарно коротких, лишь чуть-чуть закрывавших колени, юбках, с причёсками как вороньи гнёзда, а уж подошвы на женских туфлях были просто чудовищно толстыми.

Как же мы потешались, разглядывая нарисованных стилиг: ну чучела и чучела!

Сам-то я, разумеется, выглядел по-человечески: в одних трусах и босиком, зато на стриженной голове — кепка, хоть и мятая, и пыльная, но зато вполне нормальная, не то что стилижья клетчатая шляпа...

Видел я лично такую шляпу! Весной ходил в магазин за хлебом — и вдруг застыл на месте. По главной улице шагал молодой человек, явно приезжий. Он был в полуботинках на толстой подошве и в узеньких брючках — клетчатых, как у клоуна! Более того, у него клетчатыми были и нелепое короткое пальто, подпоясанное пояском, и сам этот пояс, и даже — вообразите — шляпа!

Молодой человек шагал быстро. Я, очнувшись от столбняка, побежал следом — и сопровождал его до тех пор, пока он не свернул куда-то. И я потом всем упоением рассказывал, что видел настоящего стилигу!

Входная аллея парка пересекалась с длинной центральной. На их пересечении стояла скульптура Сталина в полный рост. Исчезнет она не скоро — лишь в шестьдесят втором году, через год после двадцать второго съезда партии.

Неподалёку от Сталина мороженщица продавала мороженое, накладывая его в вафельные стаканчики. Иногда стаканчики попадались ломаные, и она отдавала их ребятишкам, которые крутились рядом. Мне тоже однажды повезло похрустеть бесплатным вафельным стаканчиком. А как-то мы с одним приятелем нашли у магазина в грязи две целёхонькие бутылки из-под водки, хорошенько помыли их у колонки и сда-

ли в тот же магазин, получив рубль двадцать копеек за каждую. Побежали в парк и купили по порции настоящего мороженого. Вот это был пир!

В конце центральной аллеи высилась изящная полукруглая крыша деревянной летней эстрады. По выходным и по праздникам сюда толпой валили зрители. Успехом пользовались и плясуны — мастера отрывать «матросское яблочко», и самодеятельные жонглёры с акробатами, и балалаечники с гармонистами, но особенно певцы и певицы.

Тут царили — другого слова не найду — наш школьный учитель пения Прокопий Гаврилович, мужчина бравого вида, с чёрными, начавшими седеть волосами, и его жена, заведующая клубом и парком — не помню её имени. Полногрудая, с царственной осанкой, она под баян мужа великолепно пела романсы и русские песни. А ещё Прокопий Гаврилович сопровождал смуглой девушке по имени Аза, которая с лукавыми переливами в голосе, задорно двигая плечами, исполняла песни про цыган:

Ехал цыган на коне верхом,
Видит: девушка идёт с ведром.
Заглянул в ведро — там нет воды,
И решил: не миновать беды!..

Интересное дело: в школе, на своих уроках пения, Прокопий Гаврилович никогда не мог наладить дисциплину, при том что ученики его очень уважали как баяниста. На нас он никогда не повышал голос, был внимателен и слегка насмешлив. Кружок, им руководимый, школьные певцы посещали с большой охотой. Но на его уроках — хоть ты тресни! — традиционно стоял шум, гвалт, даже мелкие драчки затевались. Почему-то считалось, что «на пении» это можно. Прокопий Гаврилович, держа баян на коленях, с отстранённой усмешкой оглядывал шумевший класс. Рванув меха баяна, нарочито громко начинал что-нибудь играть. У него на одной руке не было двух пальцев, безымянного и мизинца, но играл он замечательно. Музыка на какое-то время заставляла заткнуться и самых оголтелых — но потом шалман возобновлялся.

Зато тут, в парке, когда Прокопий Гаврилович выходил с баяном на эстраду, замолкали и школьные бузотёры — чего уж говорить о взрослых зрителях.

Тогда я впервые услышал удивительную песню, не похожую ни на какие другие, прежде мною слышанные. Он пел, потрясающе соединяя насмешливость с задушевностью, и это звучало заразительно:

Друзья, природою самую
Назначен наслажденьям срок:
Цветы и бабочки весной,
Зимою — виноградный сок.
Снег тает, чувства пробуждая,
Короче дни — хладеет кровь.
Прощай, вино, в начале мая,
А в октябре — прощай, любовь!..

Через много лет, увидев в сборнике стихов Беранже эти строки, волшебным переводёнными Василием Курочкиным, я будто снова оказался на миг в парке моего детства.

Однажды в дальнюю часть парка, где росли берёзы, — она показалась мне в тот утренний час наиболее глухим уголком, — я пришёл испытать пистолет, который сделал сам. На деревяшке, имевшей форму пистолета, сверху был прочно закреплён ствол — медная трубка, с заднего, «казённого», конца сплюснутая и загнутая вниз. Ближе к сплюснутому концу я пропилил в трубке маленькое отверстие — для поджигания. Ствол набил, за неимением пороха, серой от спичечных головок и затолкал туда настоящую боевую остроконечную пулю от трёхлинейной винтовки. Эту пулю и подходящую к ней по диаметру медную трубку мне уступили опытные «самопальщики».

Прицелился в берёзу, стоявшую в пяти шагах, и чиркнул спичкой.

Выстрел грянул. Слава Богу, трубку не разорвало. Хотя, говорят, могло.

Пуля целиком вошла в берёзу. В маленькой округлой ямочке, образовавшейся в белой берёзовой коре, ещё долго можно было разглядеть хвостовую часть пули. Но постепенно след от выстрела затянуло. Годы спустя найти ту берёзу я, как ни пытался, уже не смог.

Осенью мне нравилось бродить в ближней части парка, среди ясеней, — с них падали красивые, почти лимонной желтизны, перистые листья.

А в доме, что стоял ближе всех к парку, жила девочка. Тоже дочка паровозного машиниста — только звали её не Наташа, а Лариса, Лорка. Тоже со светлыми кудрями — и кудри у Лорки были не просто светлые, а золотые!

Очень медленно прохожу по деревянному тротуару мимо её дома. Во дворе бегают, играя, дети — и она среди них. Присоединиться к ним, к малышне — это для меня просто стыд и срам: ведь я учусь уже в пятом! Да и сама она, увы, младше меня на целых два года.

Но я глаз не могу от неё оторвать.

Дети играют во дворе, а две тётки у забора глядят на неё (а на кого же ещё глядеть!) — и одна другой говорит:

— Это Павлюченкиных дочка. Она у них прямо как кукла!

Я иду дальше, захожу в парк и брожу там. Под пасмурным небом панорама сентябрьского парка подсвечена снизу слабым лимонно-жёлтым светом опавших листьев ясеня. Чуть-чуть отсыревшие, они шуршат под ногами еле слышно. Их неяркое свечение и тихое шуршание не мешают, а помогают мне думать, думать, думать... И не мыслями думать — боже, какие там мысли!.. Немыслимые картинки встают в воображении и, кружась, сменяют одна другую... Вот дикие леса Северной Америки, у меня в руках заряженный мушкет, я иду, вглядываясь в тёмные заросли, а за мной идёт Лорка... Вот бушующее море, я у штурвала брига, команду: убавить паруса! — а рядом Лорка...

Вот несётся мой верный конь по степи, а за спиной — свист шляхетских пуль, и конский топот, и вражье злобное улюлюканье, но всё ближе спасительный казацкий стан, и замерла у меня на руках, с надеждой и верой прижавшись ко мне, Лорка...

Кажется, это и было прощание

В сентябре тысяча девятьсот пятьдесят восьмого я пошёл в шестой класс. Минувшее лето выдалось дождливым, радио передавало про наводнение в Благовещенске. У нас опять затопило перекрёсток улиц Кирова и Чапаева, но я не помню пацанячьих морских баталий: может, они и происходили, но без моего участия. Отца снова положили в больницу, причём надолго, а мне, в мои уже двенадцать с половиной, и хотелось бы повалять дурака, да не давали дела по дому.

И вот пришла пора копать картошку. Участок нам в том году был выделен по Поярковской железнодорожной ветке. С одной стороны — хорошо: рано утром отвезут туда поездом вместе со всеми, организованно, а поздно вечером увезут назад вместе с выкопанной картошкой. А с другой стороны — как же мы с мамой вдвоём успеем всю свою картошку выкопать за один день?

Ей подсказали взять в помощники Мишку. Этот парень временно работал у них в привокзальном ресторане на разных работах — «куда пошлют».

Картошка в тот год из-за дождей не очень удалась. Место под участок отвели не топкое, но земля всё равно была липкая, тяжело напитанная влагой. Картофелины приходилось руками очищать от грязи. И было много мелкой картошки. Мишка рассудительно говорил:

— Ничего! Курáм будет!

(Мать потом долго ещё посмеивалась, вспоминая это «курáм».)

Белокурый, чуть выше среднего роста, но узкоплечий, не слишком крепкий, Мишка всё же здорово помог нам. Он был откуда-то с запада — не то из Брянской, не то из Курской области. Как очутился в нашей Завитой и куда потом вскоре уехал — не знаю. Ему было девятнадцать лет. В раннем детстве он пережил немецкую оккупацию и, покачивая головой, говорил матери:

— Э-э! Вы тут, на востоке, разве войну видели?

Была одна вещь, в те времена в наших краях для молодого парня совершенно неслыханная: Мишка был верующим. По этой причине парни, что знали его по работе на вокзале, глядели на него как на чокнутого.

А ещё он несколько странно копал картошку. Мы привыкли сначала пройти рядок, подкопав сбоку вилами каждый кустик, а потом уже выдергивать кустики за жухлую ботву, обрывая с корней клубни и выбирая из взрыхлённой вилами земли то, что там осталось. А Мишка сначала выдёргивал все кустики, а потом снова проходил рядок с вилами. Какой-то парень подошёл, посмотрел и хмыкнул:

— Всё у тебя как-то по религии!

Мишка лишь улыбнулся едва заметной улыбкой и продолжал делать по-своему. Он, видно, привык молча сносить насмешки.

Картошку из вёдер мы ссыпали неподалёку, разгребая кучку пошире, чтобы клубни хоть немного подсыхали. Да, многовато было мелкой. Ну что ж, не только «курáм», но и чушке пойдёт, и корове. Да и самим — мало ли что...

В обед хорошенько перекусили. Были варёная картошка, помидоры, крутые яйца. Кажется, были даже холодные котлеты, которые мать с вечера купила в ресторане... Но мне запомнились плавленый сырок «Дружба» и банка консервов «Камбала в томатном соусе» — редкие, магазинные лакомства!

А Мишка, я думаю, ел бы одну варёную картошку, если бы мать настойчиво не требовала: «Миша, бери яйцо!.. Бери помидор!.. Ну что ты сырок не возьмёшь?..»

Выкопать мы успели. Клубни, толком так и не подсыхшие, стали снова бросать в вёдра, обламывая с некоторых слишком уж большие комки грязи. Потом ссыпали картошку в мешки и таскали ближе к железной дороге — туда, куда и остальной народ сносил своё накопное.

Носить было далековато. Сначала Мишка набирал в свой мешок по четыре ведра, еле-еле взваливая его себе на спину, а я, тоже с натугой, но таскал свой оклунок — два ведра в мешке. Однако мать наше рвение пресекла, и Мишка стал набирать себе по три ведра, а я и вовсе по одному. Зато дело пошло быстрее. Уже там, на месте, мы, как полагалось, насыпали по пять вёдер в каждый мешок с написанной по мешковине химическим карандашом нашей фамилией. И каждый завязали особыми завязками, на которые мать пустила яркой расцветки тряпочку — чтобы сразу было видно чей.

Таких же, как наши, мешков, тесно составленных у железнодорожной насыпи, скопилось множество. Из приехавших с нами копальщиков кто-то ещё подносил к общей куче последние мешки, но многие уже сели ужинать, расположившись там и сям.

В сумерках, усталые, разложили и мы на расстеленной скатёрке остатки обеда. Хлопая себя по лицу от комаров и мошки, торопливо ужинали, ожидая, что вот-вот подойдёт поезд и надо будет грузиться. Но закат догорал, а поезда всё не было. Первые звёзды зажглись, и мать сказала: хорошо, дождя хоть не будет. Зато стало холодновато, пришлось накинуть ватные телогрейки.

По эту сторону насыпи в сумерках темнели разбросанные по всему полю копны: здесь был покос какого-то колхоза или совхоза, но сено почему-то до сих пор не сметали в стога — хотя надвигалось время осенних дождей.

Что ж, сгнить ему не дали. Несколько парней растворились в сгущавшейся темноте и вскоре вернулись с охাপками сена, свалили их в кучу. Весело засветился костёр. Я среагировал мгновенно:

— Мам, пошли туда!

Мы подхватили свои вещи и поспешили к огню. У нас оставалось ещё несколько свёрнутых пустых мешков, и мы уселись на них.

Разместиться успели удачно: не слишком близко, чтобы чересчур не припекало, но и так, чтобы никто нас от огня не загораживал, хотя у большого костра вскоре столпился вкруговую почти весь народ. Мишка тоже подошёл, но не сел с нами рядом, а отошёл куда-то в сторону, и я его больше не видел. Так он где-то, всех стесняясь, и топтался за спинами, странный человек.

Пламя костра людей взбудрило: оживились, заговорили о том о сём, тут и там раздавался смех. Всеобщим вниманием завладел огромный черноволосый мужик, горластый и, несмотря на свои внушительные размеры, очень подвижный. Он оглушал публику трубным голосом, непрерывно что-нибудь рассказывая, и при этом приседал, размахивал ручищами и делал выразительные гримасы.

Вспомнили показанную на днях в клубе серию «Тихого Дона» (для меня по малолетству запретного) — и этот мужик тут же начал бурно вспоминать один эпизод за другим. Выпучив глаза, басисто хохотал:

— ...А она ей через плетень — вот так!.. — И, оставив зад, двумя руками откинул вверх воображаемую юбку.

Кто-то заговорил про деда, который не может добиться пенсии, и говорун сразу загудел про своего знакомого:

— Он в Москву ездил — и добился! — Подняв на всеобщее обозрение огромный указательный палец и сдвинув лохматые чёрные брови, с особой значительностью понизил свой трубный голос: — До самого Сулова дошёл!

— Да-а, Москва... Там-то, конечно, проще... — завздыхал, закивал народ. А говорун и эту тему немедленно оседлал:

— Москвичи — не как мы, они экономные! — громкогласно напирал он на слушающих. — Там иначе не проживёшь. Если корка хлеба засохнет, москвич её чушкам не бросает. Он её — в воду... — Зажав щепотью воображаемую корку хлеба, говорун широким жестом показал, как москвич макает её в воду. — ...А потом — в духовку! — Снова соответствующий жест. — И она опять как свежая!

А поезд всё не приходил. Парни время от времени выныривали из темноты с новыми охапками сена. Затухающий костёр снова вспыхивал, взмётывались алые языки, и в клубах дыма плавно взлетали высоко в чёрное небо огненные стебельки сухой травы.

Разговоры постепенно утихли, а огромный говорун словно где-то затерялся. Хотя, наверное, просто умолк. Кто смотрит на огонь, тот всегда умолкает — эта нехитрая истина впервые открылась мне в тот долгий вечер. Молча смотрели на костёр и пожилые люди, и девушки в косынках, и чубатые парни.

А потом запели — и, слушая песню, я словно потерял ощущение времени...

Уже за полночь поезд пришёл. Мужики перекидали на открытую платформу мешки с картошкой, потом

все вошли в теплушку, тесно расположились на нарах и на полу, и поезд повёз нас домой. Но мне подробно погрузки не запомнились — хотя я и смотрел, и под ногами путался, как мама потом сказала, а уснул уже только в теплушке.

Зато навсегда остались в памяти алые языки пламени, взлетающий в тёмное небо дым с огненными сухими травинками, освещённые лица вокруг костра — и песня, так захватившая меня, заставившая забыть про всё на свете. Начал петь парень, у которого из растёгнутого ворота куртки выглядывала полосатая тельняшка — мода такая была. И песня, хоть я её до этого ещё не слышал, тоже была *модная*. Тогдашний *шлягер*. Но слова эти лживы! Какая мода, какой шлягер? Эта песня нахлынула на меня как внезапное откровение, как близкое дыхание чего-то вечного, огромного, неудержимо манящего, чего-то такого, без чего и жить нельзя.

Вечерком
за окном
в синем небе мерцает звезда.
Каждый раз в этот час
о тебе я тоскую всегда...

Песню подхватила стоявшая рядом с парнем девушка в косынке, а за нею и другие девушки и парни. Остальной народ будто оцепенел, слушая. Задумчивый, негромкий хор чудным образом соединился в одно целое с пламенем и дымом костра, с летящими в небо искрами.

Вижу в сумерках я
в платье белом тебя, —
ты рядом,
ты рядом со мной, дорогая,
и всё ж далека, как звезда...

Я слушал, смотрел в костёр — и в нём видениями струились смутные образы. Мелькнула и строгая скромница-отличница, у которой кучери, как у короля, и Лорка с золотыми локонами, и даже девочка в светлом платье среди стеблей полыни, и много чего ещё... Но не мелькало там ни опасных зарослей с затаившимися американскими индейцами, ни рваных парусов брига в штормящем море, и не слышалось свиста шляхетских пуль... Что-то другое чудилось в языках пламени и в лёгких клубах дыма, какая-то иная жизнь, непонятная и загадочная. Взрослая. Всё в ней — и я это с неожиданной ясностью почувствовал — будет уже как-то иначе...

Тот вечер в осеннем тёмном поле у железной дороги, пламя и дым первого в моей жизни костра, песня, от которой замирало сердце, отрешённые лица слушателей, будто глядящих каждый в себя, — всё это представляется мне сейчас как прощание с детством.

Это немного странно: вроде бы рановато было прощаться — впереди ожидала ещё целая вереница памятных детских эпизодов. Более того, кое-что из рас-

сказанного мною выше происходило уже *после* этого вечера.

Но кто способен провести чёткую границу: вот здесь — детство, а здесь уже... как это называется — отрочество, что ли, или ранняя юность?.. И можно ли искать чёткие границы там, где «всё течёт, всё меняется»?

Как бы там ни было, а не отпускает ощущение, что именно в тот вечер совершилась неуловимая перемена — и мой мир сделался в чём-то другим, уже не вполне детским.

Этот вечерний костёр я всегда буду вспоминать как последний из *первых приветов*, которые посылала мне судьба в те далёкие годы.

Когда завязывалось наше с ней знакомство.

